



*Русское и советское* в поэтическом мире Ярослава Смелякова не противопоставлены альтернативно друг другу, а находятся в преемственной связи. Советское — продолжение русского, но не подменяющее и не отрицающее его. Какой всё-таки сложной и тонкой была общая идеологическая картина в Советском Союзе, в России! Во всяком случае, в послевоенный период. Но теперь-то, двадцать лет спустя после “демократической” революции, мы можем и должны признаться самим себе, что практически выходило из такого противопоставления русского и советского: исподволь насаждалась идеология нового революционного анархизма, а во все не “освобождения от коммунизма”. Ведь таким противопоставлением, признанием XX века “тупиковым” и якобы не принадлежащим “исторической России” этот самый, пожалуй, сложный и трудный век вообще вычеркивался из истории страны, образуя лакуну в исторической преемственности.

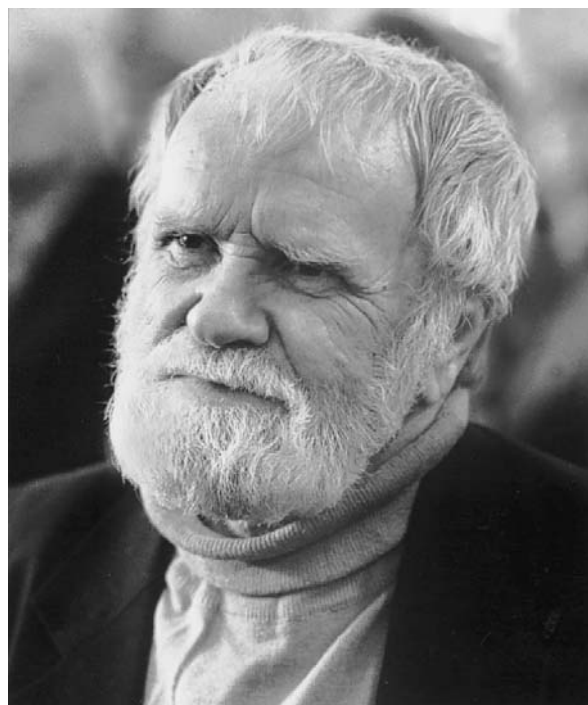
Статью Петра Ткаченко “Русский поэт советской эпохи” (к 100-летию со дня рождения Ярослава Смелякова) читайте на стр. 222.

# НАШ СОВРЕМЕННОК

*Журнал писателей России*



## № 1 2013



### Премия им. В. В. Кожина



**Е. Савченко**

### Премия им. Л. М. Леонова



**А. Касмынин**

### Премия им. Ю. П. Кузнецова



**О. Кочнова**

### Премия им. А. Г. Кузьмина



**И. Дронов**

### Ежегодные премии журнала



**А. Водолагин**



**Ю. Воротнин**



**Н. Денисов**



**И. Евсеенко**



**А. Ивантер**



**С. Кара-Мурза**



**А. Лиханов**



**Ю. Пахомов**



**М. Попов**



**И. Ростовцева**



**А. Татарин**



**И. Тюленев**



**Д. Урнов**



**В. Шаповалов**



**В. Штыров**

Печальный итог минувшего года — умер Василий Иванович Белов. Последнее время он тяжело болел. Исхудал, потемнел лицом. Он стал похож на Николая Угодника со старых икон в деревенских храмах. Аскетический лик и глаза в пол-лица — яростные, рвущиеся куда-то вверх, горé.

В таких случаях говорят: “Отмучился”. Но это не врачует тяжесть потери.

Василий Иванович был давним и любимым автором “Нашего современника”. О нём с доброй улыбкой говорили и сотрудники редакции, и многочисленные читатели по всей России. Прощаясь с В. И. Беловым, вспомним проникновенные слова другого выдающегося русского писателя — Валентина Григорьевича Распутина, которые он посвятил своему другу в день его 70-летия: “Благодушно и мудро с первых же своих работ Василий Белов как бы уравновесил жизнь: сколько в ней трудностей, горя, отчаяния, столько и радостей, счастья, надежды. Можно, конечно, задаться вопросом: почему не дали они урожайные всходы, если в конечном итоге всё свелось к тому, что мы имеем сегодня? И где оно, благотворное и учительное влияние литературы, если густой чащей взойшли развращённость и жестокость? Да ведь не нам знать, что случилось бы с людьми без этого учительства и без этой молитвы и можно ли сегодняшние нравы принимать за окончательный результат? Может быть, по-прежнему “нам не дано предугадать...”

Писательство для Василия Белова — это заступничество за народ перед сильными мира сего и против подлых этого мира. Всё, что написано Василием Ивановичем, от “Привычного дела” до “Канунов” и от детских рассказов до публицистики последнего десятилетия, от первой книжки стихов и до воспоминаний о Шукшине и Гаврилове, с которыми он был очень дружен, — всё в воспитание, остережение и защиту своего народа”.

*Редакция*

## ВАДИМ ТЕРЁХИН



## СЛОВО И МУЗЫКА ВЕЧНЫ...

\* \* \*

Слышишь, заводит сверчок  
Песню на лире запечной.  
Как бы мир ни был жесток,  
Слово и музыка вечны.

Мы рождены, чтоб пропасть.  
Канут во мгле бесконечной  
Слава, богатство и власть.  
Слово и музыка вечны.

Как же нам жить на земле  
Просто, неспешно, сердечно?  
В мире, лежащем во зле,  
Слово и музыка вечны.

Жизнь поместилась в семь нот.  
Но в суете быстротечной  
Всё в этом мире пройдёт.  
Слово и музыка вечны.

---

*ТЕРЁХИН* Вадим Фёдорович родился в 1963 году в пос. Песоченский Суворовского района Тульской области. Окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. маршала артиллерии М. Н. Чистякова (1980—1985) и Московский литературный институт имени М. Горького (1991—1996). Служил на космодроме Байконур (1985—1990). Автор книг “Прозрачное время” (1996), “Разочарованный странник” (1997), “Среди гласных и согласных” (2009) и др. Секретарь правления Союза писателей России. Живёт в Калуге.

\* \* \*

Не думая о каждом часе  
Невольно прожитого дня,  
В безудержном однообразье  
Уходит время от меня.

Но разгоняет жизни морок  
Дитя, рождённое на свет.  
Последний раз мне будет сорок,  
Ну, то есть, сорок девять лет.

И если стоит жить на свете  
Не для стяжания венцов,  
Нам радость — бабочки и дети  
И звон прощальный бубенцов.

Нам радость — данная свобода,  
Господь, творящий естество.  
И честь достойного ухода  
Под сень могущества Его.

\* \* \*

Мы всегда пребываем вдвоём:  
Я и ты, как жар-птица.  
Как тебе удалось уместиться  
В тесном теле моём?

Говорят, ты у нас хороша,  
Из-под рваной рубахи  
В разудалом славянском размахе  
Рвёшься к небу, душа?

Говорят, нам с тобой повезло.  
И порядок понятен,  
Если мало на совести пятен,  
Расступается зло.

\* \* \*

*А. Тупакову*

На искусстве не наваришь,  
Жить не будешь сыто-пьяно.  
Только старший мой товарищ  
Вновь бренчит на фортепьяно.

Люди держат в мыслях числа.  
Люди думают о деле.  
Ты какого ищешь смысла  
В этом музыкальном теле?

От такой пустой работы  
Что в миру себе оставишь?  
Ты какие ищешь ноты  
Среди чёрно-белых клавиш?

Лик его высок и светел.  
На вопросы нет ответа.  
Только музыка и ветер  
Обнимают части света.

Он привержен лире стойко  
С обреченностью Мессии.  
И несётся птица-тройка  
Вновь по Матушке-России.

\* \* \*

Тёмен язык и обилен, и зол,  
Если он следует дикой природе.  
Солнечным светом наполнить глагол  
Призваны были Кирилл и Мефодий.

Им помогло провиденье само —  
Вера, смирение, промысел Божий.  
И обрастало навеки письмо  
Речью прямой, ни на чью не похожей.

Ради спасенья, во имя Христа,  
Чтоб замолить осквернённое тело,  
Как мотылёк на огонь, на уста  
Одушевлённое Слово летело.

Каждый теперь в этом племени мог  
Сквозь воспалённые связки гортани  
Правильно славить того, кто есть Бог!  
И называлось то племя славяне.

\* \* \*

*Е. Т.*

В день десятой годовщины  
Признаю, насколько мы разны.  
Женщина — душа мужчины,  
И душа моя прекрасна.

Окрести меня шепотью.  
Подними меня над бездной,  
Окружённой грубой плотью  
И тщетою бесполезной.

Слаб я и тебя не стою —  
Даже маленькой частицы,  
Но свою красоту  
Дай мне с миром примириться.

---

---

***Поздравляем постоянного автора нашего журнала  
с пятидесятилетием!  
Желаем душевного здоровья, телесной крепости  
и поэтического вдохновения!***

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ



## КАПИТАН ЛЕТАЮЩЕГО САРАЯ

ПОВЕСТЬ

— Какое у тебя звание?

Честно говоря, я не ожидал, что этим вопросом прямо на пороге штурманской комнаты меня встретит мой командир Иннокентий Ватрушкин.

После окончания лётного училища, в новенькой серой лётной форме и белой рубашке, наглаженный и начищенный, я приехал на свой первый вылет.

— Лейтенант, — бодро ответил я, ещё не понимая, к чему этот неуместный вопрос.

— Вот что, лейтенант! — Ватрушкин сделал паузу, быстрым глазом оглядел мою форму и строго произнёс:

— Если хочешь стать капитаном, больше на вылет не опаздывай!

Я машинально глянул на часы. До вылета в Жигалово, который значился в нашем задании, оставалась ещё уйма времени, целых пятьдесят минут. Тем более что рейс был почтово-грузовым, есть-пить не просил и жаловаться на задержку с вылетом у него причин не было.

— Это не твоё время, — словно угадав мои мысли, строго сказал Ватрушкин. — На вылет надо являться за час, а тот, кто хочет стать капитаном, является за два.

Я промолчал. Хотя Ватрушкину не было и пятидесяти, но он был знаменит: про него говорили, что он знал самого маршала Иосипа Броз Тито.

---

*ХАЙРЮЗОВ Валерий Николаевич родился в 1944 году в г. Иркутске. Окончил Бугурусланское лётное училище. Летал командиром корабля, пилотом-инструктором. В 1981 году окончил Иркутский государственный университет. Автор нескольких книг. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.*

Друзья звидовали: мне повезло, что буду летать с таким опытным командиром.

Ватрушкин был одним из немногих, кто пришел в авиацию во время войны пятнадцатилетним мальчишкой. Был мотористом, потом переучился и стал лётчиком. Говорили, что во время войны он бывал в Италии, в той самой авиационной части, которая спасла Тито, когда его штаб в Югославии обложили немцы.

Были у Ватрушкина и взлёты, когда он командовал авиаотрядом в Киренске, были и падения, и тогда ему приходилось начинать свою лётную жизнь с нуля. Впрочем, начальство, уважая его боевое прошлое, с пониманием относилось к послеполетным фронтовым, как он выражался, стаграммам. Для острастки иногда ему всё же грозили пальцем, мол, смотри, Михалыч, последнее предупреждение. Но где найдешь такого лётчика! Такие на дороге не валяются.

Ватрушкин был лётчиком от Бога, ему доверяли самые трудные задания. Он летал на аэрофотосъёмку, садился там, где и ходить-то было опасно. Он знал все пригодные и непригодные для посадки площадки, доставлял туда врачей, вывозил больных и не считал, что делает что-то особенное.

— Нам сказали — мы слетали, нам бы стопочку подали, — посмеиваясь, говорил он, вернувшись из очередного полёта.

К нему в экипаж меня направили после того, когда его очередной второй пилот Коля Мамушкин на оперативной точке прогулял с местной красавицей всю ночь, а утром пришёл на вылет, как было написано в медицинском протоколе, с остаточными явлениями алкоголя в крови. Наказание последовало незамедлительно: Мамушкина собирались уволить. Чтобы спасти его, Ватрушкин предложил на полгода отправить его на одну из вновь открывшихся посадочных площадок на севере области. Лётное начальство пошло ему навстречу: Мамушкина вначале отправили в Карам, а затем перевели в Ченгилей.

Сделав мне начальственное внушение, Ватрушкин приказал бежать на грузовой склад и получить почту, а если подвернется, то и попутный груз.

— Чтоб через двадцать минут всё было в самолёте! — добавил он.

На складе нашу почту никто пока не загружал. И, судя по всему, не собирался. Грузчики принимали московский рейс.

— Людей у меня нет, — развела руками начальница грузового склада. — Если хочешь вылететь вовремя, грузи сам. Кстати, вот ваша сопровождающая.

Она показала на светловолосую девчущку, которая упаковывала парашютную сумку. На ней была синяя колоколом юбка, и, когда она приседала, мне она напоминала подпрыгивающий шарик.

— Так это, значит, вас мы повезем до Жигалово? — сказал я, подождав, пока шарик отскочит от земли.

Девушка резко обернулась. На меня глянули огромные, в пол-лица, глаза.

— Что значит “повезем”? — медленно произнесла она, оглядев меня с головы до ног, и я увидел, как слабая улыбка тронула её губы, мол, что за неуместный вопрос. — Возят груз, а я лечу сама.

Шмыгнув носом, она присела и продолжала впихивать в сумку бумажный пакет.

— Давайте помогу, — я взял пакет и, нагнувшись, открыл сумку пошире. В ней был собранный по всем правилам ранцевый парашют.

— Вы поосторожнее, там у меня специи, приправы, — сказала девушка.

— Что, решили этого кабана, — я кивнул на парашют, — замариновать? Откуда он у вас?

— Мне его подарили, — ответила девчущка. — Вот, везу с собой как учебное пособие.

— Вы, случаем, автомат Калашникова не везёте? — не очень удачно пошутил я.

— Да если бы и везла, вам-то до этого какое дело!

Ответ оказался неожиданным: сопровождающая вела себя так, точно она, а не я, могла определить, что именно можно везти в самолете. В её голосе я услышал обиду. Но меня это не остановило, более того, я решил поставить пассажирку на место.

— Мне до всего есть дело, — стараясь придать своему голосу необходимую твёрдость, сказал я. — У вас, должно быть, и документы на всё это есть?

Девушка выпрямилась, глаза её стали узкими и сверкнули, как бритва. Мне даже показалось, что сейчас произойдёт *короткое замыкание*. Но она погасила взгляд и спокойно произнесла:

— У меня нет с собой ничего такого, что запрещено брать на борт.

Я отметил, что она грамотна и почти профессионально сказала “борт”, а не “самолёт”, как говорят те, кто не имеет отношения к авиации.

— И паспорт у вас с собой?

Я решил не сдаваться и, очевидно, сказал очередную глупость, но понял это лишь тогда, когда она протянула мне паспорт: ну, не милиционер же я, в конце концов!

— Анна Евстратовна Капель, — почему-то вслух прочитал я. — Да-а-а... фамилия у вас.

— Что, и это не нравится? — спокойно, но уже с некоторым вызовом спросила девушка, забирая паспорт. — Вообще-то я закончила советский пединститут. И вот, по милости нашей славной авиации, уже который день торчу здесь, пытаюсь добраться до места своего распределения. Если надо, то я могу показать вам все свои документы. И медицинскую справку, что меня допустили к полётам. Кстати, груз прошел все необходимые проверки. Везу школьные материалы и наглядные пособия.

— И как же называется конечная точка вашего путешествия?

— Почти Северный полюс — посёлок Чикан. Когда прилечу, мне в районо точно укажут. Туда и поеду.

— Но в Чикан самолеты летают только зимой! — воскликнул я. — От Жигалово туда еще семь верст киселя хлебать. Ну, если, конечно, воспользоваться парашотом, тогда можно добраться и быстрее.

— Что хочу, то и везу! — неожиданно рассердилась будущая учительница и поставила парашютную сумку на поддон, где уже лежали гитара, школьный глобус, объемистый чемодан и еще какие-то узелки, коробки и сумки. Рядом с вещами “парашютистки”, так я про себя окрестил учительницу, лежали затянутые в материю белые посылки и серые газетные мешки.

Препариться далее не имело смысла, всё это хозяйство надо было поскорее отвезти на самолёт. Свободная грузовая машина стояла метрах в двадцати от поддона, но переносить эту поклажу на себе я не собирался. Я глянул на себя со стороны: через пять минут парадная форма превратится в робу грузчика. И тут мне в голову пришла блестящая идея. Возле стены стоял грузовой кар, я подошел, подергал рычаги. Он подал признаки жизни, и я, забравшись на сидение, потихоньку подогнал его к нашему грузу, кое-как, со скрипом, загнал его железные клыки под поддон и, приподняв, начал разворот в сторону грузовой машины. Погрузчик вел себя послушно, нацелившись на кузов, и я дал многотонной махине ход. Она, урча и переваливаясь на неровностях, покатила вперед. Когда до кузова оставалось метра два, я начал давить на педаль тормоза, но погрузчик вдруг показал свой нрав: он даже не сделал попытки затормозить и через пару секунд со всего маху врезался в кузов грузовика. С ужасом я увидел, что все посылки, мешки и коробки посыпались на бетонный пол. Но и это не остановило набравшую скорость машину: погрузчик, словно разъяренный слон, боднул кузов машины, она тронулась с места и опрокинула стоявшую впереди тележку с московской почтой. Сделав свое чёрное дело, погрузчик покрутил ещё немного колёсами и заглох.

И тут набежал народ! Учительница кинулась спасать свои школьные принадлежности, я бросился помогать ей, машинально откладывая в памяти: гитара цела, глобус не повреждён — их спасла парашютная сумка, приняв весь удар на себя. От гнева работников грузового склада меня спасла но-



венькая форма и любовь народа к молоденьким лётчикам. А то бы точно за-  
пахали под погрузчик...

Однако вскоре я к своему ужасу услышал, что грузовой терминал закры-  
ли по техническим причинам, о чем тут же мне по телефону пришлось до-  
ложить Ватрушкину.

Он уже был в курсе и сухо поинтересовался причинённым ущербом.

— Так, мелочи. Раздавил пару посылок, — быстро ответил я. — Но мне  
обещали, что составят акт, там ничего быющегося не было.

Говорил я машинально, но бодро, пытаясь утаить размеры катастрофы.

— Хорошо, что только грузовой прикрыли, могли бы закрыть аэропорт.  
Тогда бы точно башку нам открыли, — буркнул Ватрушкин. — Ты там ме-  
ня жди, я сейчас подойду.

— Кто твой командир? — нацелившись ручкой в лист бумаги, строго  
спросила меня начальница ночной смены с поджатыми накрашенными губа-  
ми. Я понял, что сейчас на меня будут составлять протокол.

— Иннокентий Ватрушкин, — буркнул я.

— А-а! Командир, как его, ах, да, вспомнила — сарая! — Накрашенная  
неожиданно прыснула, но тут же сделала строгое лицо:

— Если бы не он, то спустила бы с тебя штаны и выпорола как следу-  
ет. Чего стоишь, давай, собирай свои посылки.

Она захлопнула блокнот и ушла к себе. Мне в помощь она прислала  
грузчика, который больше смахивал на породистого прикормленного волко-  
дава.

— Выходит, с Кешей летаешь, — не то спросил, не то подтвердил свой  
вопрос грузчик и засмеялся лающим смехом.

— С ним, — я кивнул головой.

— Повезло!

— Не понял?

— Я говорю, тебе крупно повезло.

И всё равно я не понял, с чем мне повезло: с командиром или с тем, что  
я мало раздавил посылку.

Грузчик присел на поддон, достал сигарету.

— Ты не переживай. Кто из нас в детстве мимо горшка не ходил.

Я бросил взгляд на учительницу, слова грузчика выходили за пределы  
педагогической этики, но вполне укладывались в те рамки, которые исполь-  
зуют мужики, обсуждая сугубо деловые проблемы. Грузчик почему-то посчи-  
тал, что моя случайная напарница заслужила доверительного мужского обще-  
ния. Но меня покорило, что посторонний человек приравнял мой возраст  
к младенчеству, не хватало еще, чтоб мне соску подали.

— Ты не бери в голову! — грузчик неожиданно рассмеялся, кивнув на  
разбросанные вещи, которые собирала будущая учительница. — Это мелочи.  
А вот года три назад произошло такое! — Грузчик вновь зашелся лающим  
смехом. — Три дня аэропорт не работал. Все ассенизаторские машины горо-  
да были тут.

— Что, так много наделал?

— Наделал. У них в экипаже был радист. В то время в городе дрожжей  
днем с огнем не сыскать было, вот он и привозил откуда-то с севера дрож-  
жи. Какая бражка обойдется без этого продукта, да и хозяйкам встряпне он  
нужен. Кому-то это шибко не понравилось, сообщили куда надо, и к прилё-  
ту самолёта милиция в аэропорт пожаловала. Но Кешины друзья успели пре-  
дупредить, так, мол, и так — встречают... Они сели и порулили к вокзалу.  
Но по пути, чуть в сторонку свернули, туда, где общественный сортир на во-  
семь дыр стоял. Его еще до войны соорудили и, считай, что с того времени  
не чистили. Кеша притормозил, прикрытый самолётом радист выскочил  
и выбросил дрожжи.

Я увидел, как учительница насторожилась, затем сделала попытку под-  
нять свой чемодан. Грузчик выказал неожиданную прыть. Оборвав на полу-  
слове свой рассказ, он перехватил у нее ручку чемодана и хотел одним ма-  
хом забросить его в кузов. И неожиданно опустил чемодан на землю.

— Что там? — глухо спросил он.

— Книги, — виноватым голосом сообщила “парашотистка”. — Я учительница.

— Слава Богу, что не пианистка! Такие тяжести будете носить, родить не сможете. — Набрав побольше воздуха, грузчик, как штангист перед снарядом, выдохнул и поднял чемодан в кузов. — Так вот, милиция обыскала самолёт, — продолжал он с той же улыбкой, — но ничего не нашла. А тут, как назло — жара, каждый день за тридцать, ну, всё и поплыло! Что было! Стометровую санитарную зону вокруг аэропорта обозначили, потом бульдозерами яму засыпали и возвели нормальный толчок.

— Выходит, не было бы счастья?

У меня на языке вертелся вопрос, почему начальница смены грузового склада назвала Ватрушкина командиром сарая, но не решился, не та была обстановка, чтобы заводить разговор на эту тему.

— А у нас всё через задницу доходит, — философски подытожил грузчик и, присев на поддон, достал пачку папирос. Было видно — ликвидировать почтовый завал он не торопился.

Поскрипывая кожаной курткой, подошел Ватрушкин, и мне показалось, что с его приходом в сумрачный тёмный склад заглянуло солнце. Тут же откуда-то набежали женщины, окружили моего командира, защебетали. Иннокентий Михайлович, как и подобает знатному жениху, начал их обнимать, впрочем, вскоре я убедился, что он ни на секунду не забывал о цели своего визита.

— Мои любимые и дорогие! — рассыпая синь своих глаз, с улыбкой говорил Ватрушкин. — Грех свой признаем, и за неподвижную работу обязуемся привезти вам рыбки. И всего, чего вы пожелаете.

— Мы много чего можем пожелать! — смеялись женщины.

— Не сомневайтесь — исполним. Чего не сделаю сам — попрошу вот этого лейтенанта.

— Да он ещё, поди, нецелованный!

— Вот вы ему урок-то и дадите.

Меня подставляли здесь самым наглým образом, я краснел и потел, но приходилось терпеть: сам виноват, какие уж тут могут быть обиды. Краем глаза я видел, что учительница, посмеиваясь, с сочувствием поглядывает в нашу сторону.

Появление Ватрушкина сделало свое дело, и через несколько минут уже не только мой ленивый, но разговорчивый “волкодав”, но и вся смена собирала посылки и газетные пачки.

Произошло чудо: завал исчез, и мы взлетели почти по расписанию, и, набирая высоту, отвернув подрагивающий мотор от города, взяли курс на север. Через минуту, открутив Весёлую гору, винт нашего самолета пошёл жевать Кудинскую долину, на которой, как и тысячу лет назад, буряты пасли скот. Минут через двадцать на капот стала напозвать Усть-Орда.

Почему-то я вспомнил Золотую Орду и подумал, что то разорение, которое пришло с монголами на Русь, было несравнимым с тем, какое произошло по моей вине на грузовом складе. Далее мои мысли перепрыгнули к более поздним временам, я припомнил, что по тому пути, который связывал Иркутск с Леной и вдоль которого сейчас летел наш самолёт, началось освоение Якутии. Да чего там Якутии — по этой дороге шло приращение России, по ней добрую сотню лет снабжали товарами всю русскую Америку. Позже этот путь был хорошо освоен ссыльными, которых направляли сюда на поселение. Все это я вычитал в книгах, когда начал готовиться к полётам по северным трассам.

Минуты через две после Усть-Орды Ватрушкин, выкурив очередную папиросу, решил подремать.

— Если что, толкни меня, — сказал он и, подперев ладонью голову, прикрыл глаза.

Я покрепче взялся за штурвал: уже не в тренировочном полете, а в самом что ни на есть настоящем рейсе мне доверили вести самолёт. Сличая карту с местностью, я про себя отметил, что вскоре должно показаться озеро, а за ним будут Ользоны.

Время от времени я нет-нет да и поглядывал в грузовую кабину, где, впялившись в боковой иллюминатор, сидела Анна Евстратовна. Поймав её взгляд, я махнул рукой, приглашая в кабину. Она не стала отнекиваться и подошла к кабинному проходу.

И тут дремавший до сей поры командир приоткрыл глаза. Он оглядел пассажирку, затем молча достал стопорящую рули красную металлическую струбцину, засунул её учительнице за спину и предложил сесть. Она с некоторой опаской и растерянностью выполнила его просьбу. Я, зная, что труба не лучшее средство для долгого сидения, начал крутить головой, чтобы найти что-нибудь поудобнее. И тут Ватрушкин, словно читая мои мысли, достал из сумки толстый регламент и быстрым, почти неуловимым движением засунул его под учительницу. Я даже восхитился, как он молниеносно проделал эту операцию и как она быстро поняла, что от неё требуется, почти синхронно приподняв со струбцины своё лёгкое тело. Почти неуловимо она глазами поблагодарила Ватрушкина, а он чуть заметным кивком ответил, и, закурив очередную папиросу, начал расспрашивать: кто она такая и зачем летит в северные края.

Позже я не раз стану свидетелем того, как совсем посторонние люди будут открывать Ватрушкину свою душу, свои незамысловатые тайны, рассказывать и доверять то, чего хранили в своей душе за семью печатями.

Анна Евстратовна быстро разговорилась, и уже вскоре мы знали про неё всё.

Оказалось, что отец её был военным лётчиком, а мать — учительницей, и всю жизнь они мотались по гарнизонам, пока отец был жив. К нашему несказанному удивлению, она хотела стать лётчицей, в школе записалась в парашютный кружок, участвовала в соревнованиях и совершила больше ста прыжков. Когда я услышал такое, мое лицо вытянулось в морковку, и нос нашего самолета пополз в сторону от курса, что вызвало мгновенную реакцию командира: он лишь слегка двинул ногой и вернул самолет на заданный курс.

— Всю жизнь мечтала летать, но пилотом так и не стала, — с грустью в голосе поведала Анна Евстратовна. — Девушек в лётное в мирное время не берут. Пришлось поступать на исторический.

Когда пролетали Ангу, Ватрушкин, ткнув пальцем в стекло кабины, сказал, что в этом селе родился будущий патриарх всея Руси Иннокентий Вениаминов.

— Он был митрополитом Московским и Коломенским, — поправила его учительница. — В России в то время был синодальный период, патриаршество было упразднено. Но вы правы, то положение, которое занимал Иннокентий, по сути, было патриаршим.

Нос самолёта вновь повело в сторону, но я вовремя спохватился. Таких тонкостей церковной жизни в лётном училище не преподавали, там учили одному: чётко держать курс. “Ну ладно, историки должны это знать, но откуда Ватрушкин знает?” — думал я. Нет, не прост был мой командир, совсем не прост!

— А вон и Верхоленск! — вновь ткнув пальцем в стекло кабины, сказал Ватрушкин. — Посмотрите, какая замечательная церковь.

Анна Евстратовна привстала и внимательно вглядывалась в ниточки поселковых домов.

— Моя мама здесь родилась, — сообщила она. — А я здесь никогда не была.

— Так надо было сюда и попроситься, — сказал Ватрушкин.

— Но это другой район, я не знала.

— А вот скажи, мне, дружок, — командир неожиданно повернулся ко мне. — Если у тебя нет компаса, как можно, глядя на церковь, определить стороны света?

От неожиданности я вспотел: надо же, учинил мне экзамен при этой пигалице.

— Можно определить по кресту, — ответила за меня учительница. — Помимо большой перекладины на кресте есть нижняя малая. Верхний конец её всегда указывает направление на север.

— Верно, — заметил Ватрушкин. — Если есть солнце, то сторону света можно определить по часам.

— Еще по деревьям, — наконец-то и я пришёл в себя.

— Весной — по снегу, — добавила учительница.

От навигации командир перешел к астронавигации, похвалил казаков-землепроходцев, которые без компасов и моторов дошли до Восточного моря — так в России в старину называли Тихий океан.

Пока командир вел светскую беседу с пассажиркой, я запросил погоду Жигалово. Сводка оказалась неутешительной: к нашему прилёту ожидалось усиление ветра до штормового. И самым неприятным было то, что дул он поперёк посадочной полосы. Для нашего самолета предельно допустимой нормой было восемь метров в секунду. Но фактически сила ветра была одиннадцать, с порывами до пятнадцати метров. Я доложил о фактической погоде Ватрушкину.

Нужно было принимать решение — следовать в Жигалово или уходить на запасной аэродром. Запасным у нас была Усть-Орда, которую мы пролетели час назад. Был еще Качуг, но он с утра был закрыт по техническим причинам: там ремонтировали полосу. Был еще вариант: лететь до Осетрово, но туда могло не хватить бензина.

— Следую к вам, — сообщил Ватрушкин свое решение жигаловскому диспетчеру. — К прилёту прошу сделать контрольный замер ветра.

И Ватрушкин, и диспетчер понимали, что вся связь пишется на магнитофон, по правилам полётов на Ан-2 боковой ветер не должен был превышать восемь метров.

Через несколько минут Жигалово вновь вызвало нас на связь. Голос у диспетчера стал другим, более жестким и встревоженным:

— Ветер усиливается, ваше решение?

— О-о-о! Сам Ваня Брюханов поднялся на вышку, — протянул Ватрушкин и достал свежую папиросу.

— Следую к вам, сделайте ещё раз контрольный замер, — доложил он.

— Уже сделали, семнадцать метров!

— Хорошо. К вам на точку выйду через десять минут, — прикурив папиросу, сказал Ватрушкин. Повернувшись к Анне Евстратовне, он попросил её спуститься в пассажирскую кабину и пристегнуть ремни.

— Это начальник аэропорта Ваня Брюханов, — объяснил мне Ватрушкин. — Он знает, что мне надо восемь, я думаю, мы договоримся.

— Но с ветром вряд ли, — заметил я. — Он-то нас не слышит.

— Пожурем — увидим.

Через десять минут мы были над Жигалово. Было видно, что на земле действительно сильный ветер, полосатый конус на аэродроме стоял колом, макушки деревьев клонило к земле, а на улицах поднимались клубы пыли.

— Сделайте контрольный замер, — попросил Ватрушкин.

— Пятнадцать метров, — спустя некоторое время сообщил Брюханов.

— Вот видите, уже сбавил, — спокойным голосом сказал Ватрушкин. — Я сделаю кружок, а вы сходите на полосу. Судя по всему, ветер стихает.

Вместо ответа в наушниках раздалось нечто нечленораздельное.

Минут через пять, когда Ватрушкин вновь запросил погоду, Брюханов уже с сердцем выдавил:

— Ветер одиннадцать метров. Советую уходить на запасной.

— Он, видите ли, советует! Не страна, а дом советов, — прокомментировал Ватрушкин. И, выждав еще пару секунд, попросил: — Вы еще раз замерьте. А мы постараемся угадать между порывами.

В наушниках вновь произошло какое-то клокотание, через секунду всё стихло, а через пару минут выдохнуло:

— Ветер восемь метров. — Брюханов на секунду умолк, чтобы тут же добавить: — Но о-о-чень си-и-льный!

Ватрушкин показал мне большой палец и начал снижение. Бороться с боковым ветром он не стал, а посадил взбрыкивающий самолёт поперёк полосы. Пробега, в сущности, не было: едва коснувшись земли, самолёт встал, как вкопанный. Но это ощущение было секундным, мне показалось, что ве-

тер сейчас опрокинет нас на крыло. Самолёт начал крениться, и было такое ощущение, что уже без помощи мотора он может самостоятельно подняться в воздух или, чего доброго, его, как щепку, унесёт в овраг. Но Брюханов призвал всех мужиков, кто был на аэродроме, и они, повиснув на крыльях, помогли нам доползти до стоянки. Там самолёт привязали, зачехлили. И тут я наконец-то разглядел Брюханова. Был он крепок и высок ростом, на лице выделялся крупный нос. Он подошёл к крылу, погрозил кулаком Ватрушкину, но через минуту они уже обнимались у дверей самолёта.

Освободившись от своих пилотских обязанностей, я схватил чемодан Анны Евстратовны, в другую руку, для равновесия, взял её парашютную сумку, чертыхнулся про себя, вспомнив грузчика, и поволок поклажу к выходу из салона. Ватрушкин, глянув на мой новенький летный костюм, улыбнулся:

— Ты уж извини, но сюда погрузчиков не завезли, — перекрывая ветер, громко сказал он. — И грузчиков здесь ещё долго не будет.

Вот так, аккуратно, но со значением, Ватрушкин припомнил мне грузовой склад. Я молча проглотил пилюлю.

Много позже до меня дошло: он хотел предупредить меня, что за всеми пассажирками багаж не наносишься, а разгружать и загружать почту и иной груз в маленьких аэропортах придется самому, и что моя новенькая, точно для кино, форма вскоре покроется пятнами, и мне придется то и дело отмывать их и отчищать её бензином. А пассажиры и пассажирки будут помнить меня только до той минуты, как я поставлю на землю их чемоданы, и они, подхватив их, тут же забудут, с кем летели, кто нёс поклажу, и побегут себе дальше по своим делам.

Мои размышления и впечатления прервал налетевший ветер: он сорвал с головы новенькую лётную фуражку и покатил по траве. Я едва успел догнать её, и тут с аэродромной вышки все тот же порывистый ветер чуть ли не в насмешку мне донёс модную в то время югославскую песню из кинофильма “Любовь и мода”, которая была больше известна у нас как “Маленькая девочка”:

*Всю жизнь мечтала, пилотом стала.  
И вот лечу я,  
И не страшно ничуть.*

Мне пришлось ещё раз сходить к самолёту и, преодолевая порывистый ветер, перетащить остальные вещи Анны Евстратовны к деревянному зданию жигаловского аэровокзала. Анна Евстратовна решила сходить в районо, чтобы сообщить, что она прибыла и готова ехать, куда её укажут. А нам оставалось лишь готовиться к ночевке: погода испортилась окончательно, и лететь куда бы то ни было или возвращаться на базу нам запретили.

— Вот что, не в службу, а в дружбу, — когда мы уже разместились в пилотской гостинице, сказал мне Ватрушкин, — сбегай до магазина. — Командир протянул мне двадцать пять рублей. — Надо обмыть твой первый полёт. Возьми коньяк. — На какое-то мгновение командир призадумался. — Две бутылки мало, три много. — Ватрушкин махнул рукой. — Вот что, бери пять. Не хватит, так останется. И сними свой парадный костюм. Лучше надень мою куртку. Увидят тебя жигаловские — подумают, что это Муслим Магомаев к ним прилетел.

Сравнение со знаменитым певцом мне польстило. Магомаев был тогда у всех на устах. И то, что командир предложил мне взять его куртку, сразило меня окончательно. Действительно, могут не понять: летчик, да еще молодецкий, затаривается спиртным. А в куртке — другое дело: и покупателям, если они там окажутся, будет понятно, что берёт коньяк бывалый летун.

— Да я вообще-то не пью, — заметил я.

— Что так? Больной? Или подлюка? — Ватрушкин как-то по-новому оглядел меня:

— Пить не будешь, капитаном не станешь. Но насильно заставлять не буду. Как говорится: вольному воля.

— Спасённому — рай, — в тон ему поддакнул я. — А еще мой отец говорил: бешеному — поле, ходячему — путь.

— Лежачему — кнут, а бестолковому — хомут! — засмеялся Вторушкин. — Тот, который на нас надевают.

— Считается не тот, который надевают, а тот, который мы надеваем на себя сами, — буркнул я.

— Уже и заверещал, — удивленно протянул Ватрушкин. — Тебе бы надо на филолога, а ты в лётчики подался! Ну что, идёшь?

— А у меня есть выбор? Конечно, иду, даже не иду, а лечу.

— Вот и ладненько! Если увидишь там папиросы “Герцеговина Флор”, возьми пару пачек. В городе их днём с огнём не сыщешь, а здесь бывают, должно быть, в память о тех временах, когда здесь в ссылке был соратник Сталина Валериан Куйбышев.

— Здесь еще бывал и Радищев, — вспомнил я. — Который написал “Путешествие из Петербурга в Москву”. И проездом — Чернышевский.

Реакция командира оказалось мгновенной.

— “Что делать”? — прищурившись, спросил себя Ватрушкин. — Вот что прикажешь делать мне? Был у меня уже один такой филолог, фамилия у него была Тимохов. Любил играть в карты и филонить. Чем всё закончилось? А тем, что сам себя сослал он на Кольому. Дальше было некуда. Может статься, что и тебя могут в этот самый Чикан отправить, к Анне Евстратовне. Скоро туда откроются полеты, и там наверняка потребуется человек.

В Чикан мне совсем не хотелось. Я понял, что Ватрушкина начала раздражать моя говорливость. И не мой первый полёт он хотел обмыть, а скорее всего, снять напряжение, которое с самого утра создавал ему я. Вновь перед моими глазами встал почтовый завал, и, судя по словам командира, нам предстоял *разбор полётов*, который не сулил мне ничего хорошего. Чего доброго могут и сослать.

И я пошел в незнакомый мне северный посёлок.

“Надо же, он даже знает, что в этих местах бывали Куйбышев и Чернышевский, — размышлял я над словами Ватрушкина. — Да, забавный старикан. Но надо с ним ладить. Не то и вправду сошлёт в Чикан. Тогда точно — не видать левого сидения, как своих ушей”.

Удивительно состояние молодости. Как волна, накатило плохое настроение и тут же откатило. Через пару минут я уже совсем с другим чувством посматривал на рубленые столетние деревянные дома, на сидящих у калиток на лавочках людей. Сколько событий произошло, и сколько разных людей проезжало мимо этих высоких гор, обступивших Лену. Жигаловские дома спокойно смотрели на очередного залетевшего в их края летуна.

*Затерялась Русь в мордве и чуди,  
Нипочем ей страх.  
И идут по той дороге люди,  
Люди в кандалах...*

Тихо про себя я стал напевать песню на стихи Есенина.

На улице было пусто и ветрено. Но натянута почти на самые уши лётная фуражка крепко сидела на голове, а на ногах были не кандалы, а уже посеревшие от пыли тупоносые башмаки. И всё же мне было приятно идти по улице в лётной форме, ощущать на себе не какую-нибудь, а настоящую кожаную командирскую куртку. Появись я в ней на улице нашего детства, вот уж было бы разговоров... Но до командирской куртки мне еще пылить и пылить. А здесь даже собаки с уважением поглядывали на мою видавшую виды брезентовую, из-под самолётных формуляров сумку, которую Ватрушкин сунул в последний момент мне в руки, чтоб скрыть цель моего похода в магазин.

Много позже, вспоминая свои первые лётные дни, я приду к одному простому выводу: впечатления от второго полета никогда не сравнятся с первыми: впоследствии всё сольется в один рейс, с такими же длинными, по нескольку дней кряду, задержками в аэропортах, а взлёты и посадки без спеш-

ки и по расписанию станут таким же обыденным делом, как открывание и закрывание дверей в нашей повседневной жизни.

В магазине, который располагался около судовой верфи, была обычная очередь, которая никуда не спешила. Я оглядел прилавки магазина, но ни водки, ни коньяка не увидел. Был питьевой спирт, папиросы “Казбек”, “Беломорканал”, “Прибой”. Еще я увидел, что здесь можно купить белую нейлоновую рубашку. Они лежали нетронутой стопкой, и меня это удивило — в городе их было не найти, а здесь лежат, бери — не хочу.

Позже Ватрушкин, используя ненормативную лексику, что с ним бывало крайне редко, объяснит, что деревенские быстро расчихали: в жару рубашка липнет к телу, и даже ее, как нам тогда казалось, несомненное достоинство — взял, постирал в холодной воде, встряхнул и надел, у них вызывало смех — не рубашка, а липкая резина.

— И я с ними согласен! — подытожил командир.

Власть надивившись, я пристроился к очереди.

“Не хватит, так останется”, — с улыбкой вспомнил я, поглядывая на безыскусные этикетки. И тут на меня из очереди знакомо глянули где-то уже виданные глаза. Анна Капель! Так и есть — она. Вот уж кого-кого, но ее я не ожидал увидеть здесь. Она кивнула, мол, и подходи и становись рядом.

Брать спирт при ней было неудобно, но и деваться было некуда, и я, с постным выражением лица, сгрузил бутылки в брезент. Не объяснять же прилюдно, что выполняю ответственное задание, что у меня сегодня первый полёт, что на ее глазах мы совершили сложную посадку, за которую командиру и мне, как его помощнику, могли запросто вырезать талоны нарушения, а их в пилотском удостоверении было всего два, после чего можно смело ехать в деревню и пасти коров. Нет, объяснять я ей ничего не стал, лишь задал дежурный вопрос:

— Как ваши дела?

— Дела у прокурора, — улыбнувшись, сказала Анна Евстратовна. — В районе уже никого нет, придется ждать. Вот стою, надо чего-нибудь купить перекусить.

— Да, дела хуже прокурорских, — пробормотал я и, подумав секунду, добавил: — Вот что, давай-ка пойдем в аэропорт. Поужинаем в столовой. Здесь, кроме тушёнки и рыбных консервов, и брать-то нечего.

— Как же нечего, а это? — Анна кивнула на мою авоську.

— Командир сказал, что сегодня у него юбилейный полёт. Хороший повод.

— Я уже поняла. А вот у меня настроение — хуже не придумаешь.

— А чего тут думать! — сказал я. — Все равно все вещи остались в аэропорту. Будем делать погоду.

Я уже знал, что в таких случаях не надо уговаривать — надо брать инициативу в свои руки. Сработало!

Когда мы вернулись в аэропорт, начался дождь. Крупные капли, шелестя, ударили по крайним высоким листьям, затем с шумом набежали и начали долбить заборы, крыши домов, деревянные тротуары. Мы с Анной Евстратовной едва успели вбежать в пустой аэровокзал, как за нами зашумело, зашуршало, точно кто-то большой и невидимый принялся жарить что-то на огромной сковороде.

В столовой уже был накрыт для нас стол. На белой скатерти стояли граненые стаканы, на тарелках были разложены красная рыба, огурцы и помидоры. И что-то еще шкворчало у поварахи на огромной сковороде.

Много лет спустя я открою для себя, что подобное внимание к лётчикам вовсе не является обычным делом, я, во всяком случае, больше почти нигде такого не встречал. Бывало, на сельхозработках и спать приходилось без простыней на матрацах, которые мы сами себе набивали соломой, и ужин готовить из тушёнки, а то и обходиться одним чаем. Здесь же, по одному только этому столу чувствовалось: в Жигалово к лётчикам относились с должным уважением: и накормят, и спать уложат, и поднимут, когда надо.

Я подошел к Ватрушкину и коротко доложил обстановку, мол, так и так, наша парашютистка попала в аварийную ситуацию. И ей нужна помощь.

— Зови её сюда, — распорядился командир. — Тем более что здесь есть представитель местной власти. — Ватрушкин кивнул на сидящего рядом начальника аэропорта Брюханова.

— Иван, выручай! — попросил Ватрушкин Брюханова. — Не в службу, а в дружбу. Девушке надо в Чикан. Она учительница, едет туда по распределению.

— Да, действительно, добраться туда непросто, дорога размыта, — почесав затылок, сказал Брюханов. — Неделю шли дожди. Автобус не ходит. Сейчас туда можно добраться только на попутном лесовозе.

— Надо что-то придумать, — сказал Ватрушкин. — Негоже бросать человека на полдороге.

— Ну, разве что отправить на вертолёте лесного патруля, — подумав немного, ответил Брюханов. — Или спустить её там на парашюте. Но это если вертолётчики согласятся. У них Чикана в задании нет.

— Так пусть нарисуют, — засмеялся Ватрушкин.

— Вы сказали про парашют, — неожиданно встала Анна Евстратовна. — У меня есть с собой парашют.

— Парашют?! — Брюханов озадаченно посмотрел на необычную пассажирку. — Что, уже и с парашютами начали летать? Забавно! А кто мне потом передачи в тюрьму носить будет?

— У неё действительно есть в багаже парашют. — Я решил проявить свою осведомленность.

— Зачем ей в медвежьем углу парашют? — удивился Брюханов. — Всё видел: и как медведь в самолёт забирался, и как свиньи по воздуху летали... Кеша, помнишь?

— Лучше не вспоминай, — вздохнул Ватрушкин.

— Я буду проводить с ребятами военно-патриотические занятия, — сказала Анна Евстратовна.

— Всё было, — продолжал Брюханов, стараясь перевести разговор в шутку, — но чтоб прыгали медведи!

— Я не медведь, — заметила Анна Евстратовна. — Скажете прыгнуть — я прыгну!

— Представляете: учительница спускается в таёжный поселок на парашюте, — рассмеялся Брюханов. — Можно писать очерк в районную газету.

— Парашют я везу, чтоб не медведей, а детей учить, — начала объяснять Анна Евстратовна. — К тому же он старенький, списанный.

— Понял, чтобы пацаны научились с кедров прыгать, — засмеялся Брюханов. — Да вы, милая, хоть представляете, куда едете?

— Думаю, что да!

— Ну, если знаете, тогда прошу к столу, — после некоторой паузы перевел-таки разговор Брюханов. — Ночевать вам, милая, все равно придётся здесь, в пилотской гостинице, у меня есть свободная комната. Чтоб запомнили, как северяне умеют встречать и провожать гостей. А вы, собственно, уже и не гостья, а наш человек, который не забывает, что надо не только учить детей уму-разуму, но и воспитывать настоящих мужиков.

Глянув на стол, Анна исчезла из комнаты, но не прошло и минуты, как она вернулась с бутылкой вина.

— Мне сказали, что у вас сегодня юбилейный полёт. Мне эту бутылку подарили перед вылетом. Я полагала, что открою её с коллегами, когда приеду на место, но раз такой случай...

— Ну, это вы зря! Мы больше привычны к этому. — Ватрушкин постукал пальцем по бутылке со спиртом.

— Надо же, запасивая, — протянул Брюханов. — И вино хорошее, “Кокур”, аж из самой Массандры. Ты, Кеша, посмотри, сколько медалей. Наверное, за каждого сбитого наповал вручали. Ты вот что, бутылочку эту спрячь. С коллегами в Чикане и откроешь. Там она будет к месту, а здесь мы спирт по широте разводим. Какая у нас — шестидесятая? Значит, воды будет всего сорок. Микитишь? И вообще, я сейчас позвоню начальнику районо, пусть они тебя у нас оставляют. Зачем тащиться в глухомань? Мы тебе и здесь жениха найдём.



— Зачем искать, у меня есть! — сказала Анна.  
— Что, он тоже прыгает с парашютом? — спросил я.  
— Нет, у него аэрофобия. Сейчас он работает в театре и учится на режиссёра.

— Что, это он срежиссировал вашу поездку в наши края? — поинтересовался Брюханов.

— Нет, я сама, — дрогнувшим голосом начала Анна Евстратовна. — Я уже давно самостоятельный человек и делаю то, что считаю нужным.

И, неожиданно улыбнувшись, продекламировала:

*Не надо мне чужого хлеба, —  
Поверьте, я должна сама  
Спустить с небес кусочек неба  
На эти серые дома.*

— Хорошие стихи, — похвалил Брюханов. — Вот что, дочка, ты его перетаскивай сюда. И ему здесь место найдём. Интеллигенции у нас маловато, ты и сама это вскоре поймешь.

— Уже поняла.

— Да, здесь люди попроще, поглубже, — сказал Ватрушкин, поглядывая на Анну с какой-то непонятной для меня грустью. — Но они, если полюбят, уже никогда тебя не предадут. Вы сидите, а я пойду, покурю на свежем воздухе, — неожиданно сказал он и, поднявшись из-за стола, двинулся к выходу.

Я знал, что Ватрушкин одинок — жена ушла от него, а другую он не заводил, хотя, наверное, мог: у женщин он пользовался неизменным вниманием. Мой командир был худощав и крепок, настоящий мужик, про таких говорят: глянет своими небесными глазами и может взять женскую душу с одного захода.

— А знаешь, мил человек, что твой командир был когда-то и моим командиром, — повернувшись ко мне, сказал Брюханов. — И было это в славном городе Киренске. Михалыч там руководил лётным отрядом. Это еще в пятидесятых было. Хотя высшего образования у него для такой высокой должности не было, но было, как говорится, хорошее среднее соображение. Ну, и, конечно, война! Недаром тем, кто был на фронте, год за три засчитывали. И вообще он человек исторический.

— Да ну, преувеличиваете! — протянул я.

— Вот тебе и *да ну*, — усмехнулся Брюханов. — Знать надо, с кем сидишь рядом. Так о чем я хотел рассказать? Михалыч — человек, как бы это вам сказать, который до всего сам, своим умом доходит. Расскажу один случай. Начала к нам в аэропорты приходить новая техника. Поначалу Михалыч не очень-то доверял ей. А тут привезли обзорный радиолокатор. Установили на горе. Ватрушкин решил в деле посмотреть и пощупать возможности новой, *всевидающей*, как говорили и писали, техники. Как это положено, заказал облёт. Сам сел в кабину и полетел с проверкой. Взлетели, значит, и пошли по кругу. Кеша начал запрашивать у диспетчера место и положение самолёта. Тот смотрит на экран локатора и дает: высота шестьсот, удаление двенадцать. Кеша через форточку посмотрит на землю и на высотомер.

— Верно!

Диспетчер по собственной инициативе подсказал, что сейчас они выполняют третий разворот.

— Верно, — подтвердил Михалыч, прикуривая очередную папиросу. Но не успокоился и решил еще раз перепроверить:

— А что я сейчас делаю?

— Курите, Иннокентий Михайлович, курите! — последовал ответ.

— Надо же! — изумленно протянул Михалыч. — До чего дошла техника, всё видят, — тут Брюханов расхохотался. — Даже самая последняя собака в Киренске знала, что застать Ватрушкина без папиросы всё равно, что увидеть Лену без воды.

— А между порывами ветра вы ему часто разрешаете посадку? — поинтересовался я.

— На этот случай смотри раздел руководства по лётной эксплуатации, полёты в особых случаях, — нахмурившись, ответил Брюханов.

— Я смотрел, там об этом ничего не сказано.

— А ты посмотри в дополнениях, — с нажимом ответил Брюханов. — Там чёрным по белому написано: действуй по обстановке. В переводе на наш язык — соображай! — Брюханов поднял вверх указательный палец. Как хороший актёр, он выдержал паузу.

— Расскажу ещё один эпизод. Ты слушай-слушай, авось пригодится! И не лезь с дурацкими вопросами. — Было видно, что Брюханову явно не понравился мой вопрос про боковой ветер. А мне и самому не он понравился: посадка-то была на грани фола. Но начальник аэропорта не стал указывать мне моё место — чего, мол, возьмешь с сопляка.

— В пятьдесят шестом в Киренск пришло пополнение. Там был и я, молодой, честолюбивый, скажу я вам, дальше некуда. Скорее-скорее в небо, а потом на большой лайнер — такие у меня были мысли тогда. Но по всем документам, прежде чем возить пассажиров, нам надо было налетать сто часов с грузом. А груза на складе нет. Сидим, как в доме отдыха, в карты играем, денег нет, что дальше будет — неизвестно.

Вот и начали с ближайших озер потаскивать домашних уток. Жители деревни пожаловались Ватрушкину, мол, нехорошо поступают ваши летуны.

И Михалыч неожиданно нагрянул к нам в гости. Мы сидим за столом, а на печи — ведро с утятинной, а на столе — графин с гамырой. Увидав высокое начальство, вскочили, вытянулись во фронт.

— Включите радио. Нет, вы включите и послушайте! — загремел Ватрушкин. — Такая сложная международная обстановка, а вы здесь пьянствуете! Вы же все офицеры запаса. Первый выстрел — и в бой. А вы тут — в запой!

— Так полётов нет, и денег тю-тю! — начали оправдываться мы. — Где же мы налетаем эти злосчастные сто часов, если на складе нет груза. Тут не только запынешь — от безделья подохнешь!

Тут взгляд Ватрушкина наткнулся на лежащего в кровати летчика, фамилия у него была Тимохов. Тот, как лежал, так и продолжает лежать, не обращая внимания на визит высокого гостя.

— Послушай, дружок, ты это чего? — повысил голос Ватрушкин. — А если бы сейчас война?

— Иннокентий Михайлович, — приоткрыв один глаз, ответил Тимохов, — если война, то я бы тогда надел каску и спал в ней.

— Ну, спи-спи, мы это учтём, когда будем составлять наряд, — мрачно сказал Ватрушкин и, взяв со стола графин, понохал, сморщился и вылил гамыру в помойное ведро.

— И вам не стыдно пить такую дрянь! — вновь загремел он. — Вы же лётчики! На вас люди равняются.

Мы стояли, словно остолбенели, — это надо же так упасть в глазах командира.

— Так по Сеньке и шапка, — философски заметил Тимохов. — Употребляем то, что доступно. Мы же с маршалом Тито дружбу не водили.

И тут с Ватрушкиным что-то произошло: он подобрал живот, достал из кармана четверную, и уже другим, командирским голосом обратился к Тимохову.

— За то, что вспомнил про Тито, — спасибо! Хватит, дружок, койку давить, слетай в магазин и купи коньяку.

Тут Михалыч сделал паузу и произнес: — Одну мало, две много...

— Возьми три. Не хватит, так останется! — воскликнул я.

— Молодец, выучил, — похвалил Брюханов. — Оглядел, значит, нас Михалыч, и уже другим, властным голосом рывкнул:

— Слушайте мой приказ! Ещё раз местные пожалуются — отберу пилотские права и пешком отправлю в Иркутск. А с завтрашнего дня будете возить свиней. Думаю, справитесь. Свиньи — не люди, о них в воздушном кодексе

ничего не сказано. Зарегистрируем как груз. Вот вам и работа, вот вам и грузовые полёты.

— И начали мы развозить свиней по колхозам и леспромхозам. И Иннокентий Михайлович сам сел возить свиней. И подложили эти самые свиньи свинью Михалычу, — вздохнув, подытожил Брюханов. — Этот филолог, Тимохов, поленился как следует связать свиней перед взлётом. А они в воздухе взбесились, порвали веревки и начали носиться по самолёту. А в каждом хряке пудов по десять было. Самолёт то на дыбы, то в пике. Хорошо, Кеша приказал своему горе-помощнику открыть дверь. Ну, боровки, естественно, без парашотов, — тут Брюханов косил глаза на Анну Евстратовну, — как из стайки, сиганули в бездну.

— Это же библейский сюжет! — воскликнула Анна Евстратовна. — Как только бесы вселились в стадо, свиньи взбесились, завизжали и бросились с высоты в воду.

— Ты, дочка, права, визг стоял на всю округу, — подтвердил Брюханов. — Потом начались разборки, стали проверять, кто разрешил возить и почему. На одной из таких партийных разборок кто-то возьми да и заяви:

— Ну, и что, что фронтовик! У него не самолёт, а сарай, из которого свиньи прыгают, куда хотят.

— И имя вам — легион, — ответил Михалыч партийцу.

А у того глаза из орбит, начал стращать, что сделает всё, чтобы лишить Михалыча пилотского удостоверения. Михалыч не стерпел, взял и врезал “другану” в лоб. Его судили, дали условный срок.

— Жалко, — неожиданно всхлинула Анна Евстратовна.

— У них выхода не было.

— У свиней?

— Да я не о том! Жалко Иннокентия Михайловича.

— Я же говорил, он мужик с характером. Таким всегда тяжело.

— А вы еще хотели про медведя рассказать. Который в самолёт залез, — неожиданно вспомнила учительница.

— Там все очень просто, — махнул рукой Брюханов. — Охотники убили медведицу. А у нее осталось двое медвежат. Одного они предложили нам, мол, отвезите в зверинец. А мы тогда работали на аэрофотосъёмке. Поселили медвежонка у себя. Особенно мишка полюбил сгущенку. Мы улетим — он ждёт нас в пилотской. Но как только слышит звук мотора, бежит встречать самолёт. Михалыч ему из своих запасов обязательно баночку сгущёнки отдавал. А потом мы улетели в город, и медвежонок ушёл в тайгу. Года через два мы прилетели и остались на ночёвку. Утром прибегает техник, глаза по площадке. Кричит: медведь забрался в кабину самолёта. Ну, мы с ружьями на стоянку. Точно — медведь! Выпрыгнул из кабины и к Михалычу. Тот самый, но повзрослевший. Пришел по старой памяти за сгущёнкой. Мы его хотели взять в полёт и опустить в тайгу на парашоте. Шучу! У мишки бы разрыв сердца мог случиться. Скажу честно, и лётчики-то не слишком жалуют тряпку. Ну, извини — парашют. А тем более медведи. С ними мы летали, только когда сбрасывали парашютистов, в других случаях — никогда. У нас говорили: лучше нырять с парашютом, чем прыгать с аквалангом. Сколько лет уже прошло, но я с содроганием вспоминаю свой первый прыжок.

Прыгали мы на По-2. Был такой самолет. Левая рука пилота вверх — приготовиться! Сердце — как колокол на пожаре! Переносишь ногу через борт, спускаешься на крыло и по команде “Пошёл!”, под углом сорок пять градусов отталкиваешься и летишь в бездну. Эти несколько секунд остаются с тобой навсегда. А тут проделать это сто раз! — умереть, да и только! Позвольте поцеловать вашу ручку.

Но Анна Евстратовна не позволила, она смущенно хлопала глазами, беспомощно оглядываясь на меня. Я решил прийти ей на помощь.

— Сегодняшняя посадка мне тоже запомнится надолго, — громко сказал я.

— Сильно болтало, — подтвердила Анна.

— А вот мы здесь болтаем уже больше часа, — глянув на часы, заторопился Брюханов.

— И все же расскажите, — попросила Анна Евстратовна.

— Хорошо, расскажу. — Брюханов хитровато улыбнулся. — Было это в том же Киренске. Однажды захожу на посадку, а на полосе туман. Видимость — ноль. — Брюханов сделал паузу. — Первый раз я промахнулся. Захожу второй раз. А у меня перед глазами горят красные лампочки критического остатка топлива. Я напряг всю свою волю, все умение и посадил самолёт. Иннокентий Михайлович прибежал к самолёту, чтобы поблагодарить меня за успешную и героическую посадку. Протягивает мне для рукопожатия руку, — Брюханов поднял над столом свою руку-лопату, — а я её из-за тумана не вижу.

Анна оценила очередную байку Брюханова, долго смеялась.

— Вот на этой весёлой ноте и закончим. Завтра рано вставать. Ты не огорчайся, отправим тебя, — сказал он Анне Евстратовне. — А к осени, думаю, откроем рейсы в Сурово, Коношаново, Чикан и Чингилей.

Утром в пилотской раздался стук. Приехал директор зверосовхоза — крепкий молодой парень с широким восточным лицом. “Скорее всего, из эвенков или якутов”, — подумал я. На нем, вопреки утверждениям Ватрушкина о нелюбви местных к новомодным новинкам, была белая нейлоновая рубашка и черный костюм. “Должно быть, чтобы все видели — начальник!” — усмехнулся я про себя и даже подумал, что он выглядит, как жених, который приехал за невестой, чтобы отвести ее в загс.

— Ну, кого здесь надо забрать? — громко спросил он, увидев Брюханова. — А то мне позвонили из района, сказали: “Петр Митрич, встретить учительницу”.

— Запоздал маленько, мы решили её оставить у себя, — пошутил Ватрушкин.

— Раз вам она так понравилась, значит, и нам подойдет, — легко и просто, в тон Ватрушкину, рассмеялся директор. — У вас стюардесс, должно быть, и без неё хватает.

— Такой нет, — сказал Ватрушкин.

— Не всё вам, что-то и нам достанется.

Переговорив ещё о чем-то с Ватрушкиным, Петр Дмитриевич погрузил в машину вещи Анны Евстратовны, и она, помахав нам рукой, села в кабину.

— Если что, ты обращайся, — сказал ей Брюханов. — Меня в Жигалово все знают. Даже собаки. Надо будет в город, всегда отправим.

— А ты взял у неё адрес? — поинтересовался у меня Ватрушкин, когда машина отъехала от аэропорта.

— А то как же! Северный полюс. Деревня Чикан, — отшутился я.

Запоздало, но всё же я успел уловить в его голосе неизвестные мне ранее нотки, что дало мне повод предположить: моему командиру Анна Евстратовна приплась по душе. Но чем?

Через кабину нашего самолёта потом пройдут сотни людей. Войдут, посидят пару часов и выйдут. А вот Анна Евстратовна запомнилась. И дело даже не в первом моём полёте.

Постепенно я начал привыкать к своей работе: чтобы экономить время, приходилось самому разгружать и загружать самолёт, отчитываться за почту и посылки, питаться неизвестно где и чем придётся, всё на ходу, всё на лету. И большой летчицкой зарплатой, как это считали мои знакомые, тоже не было, хорошо, что выдали добротную лётную спецодежду, она выручала во многих случаях, не надо было тратиться на нейлоновые рубашки и костюмы.

Но такие мелочи и неудобства совсем не огорчали меня, ведь главное — я летчик! На моё место хотели бы попасть многие, но именно я вытянул счастливый билет.

Особенно мне нравились полеты ранним утром, когда земля ещё спала, и самолёт шёл без единого толчка, как по хорошо укатанному асфальту, нравилось, что, пребывая в хорошем расположении духа, командир продолжал читать мне лекции.

— Всю работу в полёте выполняет мотор, — уже набрав высоту и прикуривая очередную папиросу, не спеша начинал Ватрушкин.

“Очень тонкое замечание”, — думал я про себя. Но уже не высовывался, а спокойно продолжал держать штурвал.

— Не ты крутишь колёнавал, а это он, тудяга, вращает винт, тянет нас вперед, — продолжал Ватрушкин свою мысль. — А те твои движения и навыки в пилотировании — поднять самолёт от земли, отвернуть, удержать на курсе, где — убавить, а где — прибавить мощность мотору, — всему этому тебя научили ещё в училище. Здесь перед тобой другая задача: безопасно долететь, посадить, выгрузить и загрузить самолёт. Существует еще одна работа, невидимая и неслышная, — Ватрушкин стучал пальцем по лбу, — она происходит вот здесь, когда ты свой предстоящий полет должен увидеть, продумать, выстроить и предусмотреть все кочки, все овраги, всю дорогу, то есть учесть погоду, ветер, облачность, размеры площадок, на которые придётся садиться, знать необходимое радиообеспечение, которым оснащена трасса. И даже знать, где будешь обедать и ужинать. Научись брать с собой термос, бутерброды — на голодный желудок много не налетаешь. Да и гастрит заработаешь. Хорошо, когда пассажирский рейс, — они вошли и вышли, а если рейс почтовый или грузовой, и светлого времени в обрез, то ты уже не только лётчик, но и грузчик, и кладовщик одновременно. — Тут я согласен кивал головой: прихотилось иногда за минуты перебросить тонну груза.

— Кроме того, второй пилот несёт ответственность за сохранность груза, и именно тебя начнут таскать по инстанциям, если что потеряется, — сквозь шум мотора долетал до меня голос командира. Почему-то мне казалось, что этими словами он напоминает мне про случай на складе, когда я опрокинул телегу с почтой. Но тогда Ватрушкин сделал всё, чтобы меня не наказали, и я на собственном опыте уяснил, что инициатива — наказуема.

— Эти ещё не всё: на оперативных точках порой приходится самому управлять самолёт, а тут надо держать ухо востро, что за бензин в бочках, нет ли в нем воды и грязи, — продолжал наставлять меня Ватрушкин. — И если остаешься на ночёвку, то приходится быть и охранником. Вот такая наша работа. Но кто это знает? Тебя встречают и провожают по одежке и ценят за то, что ты — лётчик, король неба. Свою работу надо делать с твёрдостью и надёжностью — без крика и суеты. Принял командирское решение взлетать — взлетай! Запомни: суетливый лётчик вызывает раздражение, а бегущий — панику. Микитишь?

Я кивал головой — микичу! Ватрушкин говорил обидные вещи, и мне казалось, что делает он всё это, чтобы заполнить паузу между взлётом и посадкой.

— Вон видишь поляну, там можно сесть в случае отказа двигателя, — говорил он, ткнув пальцем в стекло, — на эту площадку лучше садиться в горку, а то не дай Бог откажут тормоза, тогда точно будешь в овраге. Без нужды не лазь в облака, в них и летом можешь поймать лёд на крыльях.

А при заходе на посадку Ватрушкин учил меня правильно строить расчёт на посадку в случае отказа двигателя, бывало, показывал полёт на минимальной скорости с выпущенными предкрылками, когда нас внизу, на дороге, точно стоячих обгоняли машины. Еще были советы, как определить на земле ветер, когда сам подбираешь для посадки площадку. Иногда для интереса он показывал посадку, после которой самолёт останавливался почти без пробегса. С юморком Ватрушкин рассказывал, как еще на По-2 садился на баржу, когда надо было, спасая людей, срочно доставить на посудину врача. Мне нравилось, как Ватрушкин закуривает в кабине, втыкает коробок между тумблерами, и, откинувшись, смотрит куда-то, в одному ему известную точку. Запах папирос внушал мне неведомое доселе спокойствие и создавал ощущение уюта, если такое вообще возможно в маленькой и тесной кабине.

Я долго не мог привыкнуть, что буквально через час после вылета из Иркутска, с его шумом и суетой, попадаешь в совершенно иную, тихую и размеренную жизнь далекого таёжного поселка. У меня было такое чувство, будто самолёт — как машина времени, откручивает дни и годы в ту или иную сторону. Бывало, сядешь, например, в Караме, а там все как сто или двести лет назад; тут же, неподалеку от посадочной площадки, пасутся коровы; едва откроешь дверь самолёта, как в кабину врывается запах свежее-

скошенной травы, и тебя начинают атаковать оводы. Обычно первыми самолёт встречали местные лайки, а неподалеку уже толпились встречающие и провожающие. Они с интересом смотрели на тех, кто прилетел, что привез, чтобы через несколько минут обсуждать эту новость всем поселком. Северяне привыкли жить оседло, и любая поездка или новый человек вызывали у них живейший интерес.

На этих маленьких таёжных аэродромах к лётчикам было свое, особое отношение. А старых пилотов, как иногда они сами над собой подшучивали, *летающих сараев*, знали наперечёт. Про Ватрушкина и говорить было нечего, он уже давно был здесь своим человеком. Но и для меня, вчерашнего курсанта, нашлась своя ниша. Поскольку дело с посылками и иными передачами приходилось иметь мне, то и обратная связь осуществлялась через меня. Бывало, передашь из города посылку, тебе суют полмешка рыбы или кусок сохатины. Ты начинаешь шарить по карманам, чтобы рассчитаться, а тебе говорят: да чего ты суетишься, у нас этого добра полно, нам будет приятно, если ты возьмёшь и угостишь кого-то.

В одном из полётов я наконец-то познакомился с Колей Мамушкиным, проступок которого позволил мне занять то место, которое было отведено ему. Мы прилетели по санзаданию в Чингилей и, поскольку врач уехал к больному, остались ждать, пока он проведёт консультацию и поставит диагноз.

Отбывающий на площадке ссылку бывший второй пилот Ватрушкина Коля Мамушкин, невысокого роста, с уже наметившимся животиком паренёк, поздоровался с Ватрушкиным, затем подошёл ко мне.

— Давай знакомиться, — сказал он, протягивая руку. — Мы с тобой вроде бы как из одного экипажа. — Мамушкин кивнул в сторону Ватрушкина.

Подъехал “газик”, и на нём вместе с врачом Ватрушкин уехал в деревню. Мамушкин сказал, чтобы я запер самолёт, затем подозвал кого-то из местных ребят и распорядился, чтобы они его охраняли. Он повёл меня к ближайшему ручью, где, по его выражению, смородина висела вёдрами. И это была правдой, я быстро наполнил ягодой лётную фуражку. Но это было ещё не всё. Стараясь загладить свою вину перед Ватрушкиным, Коля приготовил нам по куску сохатины. По его словам, он сдружился здесь с директором зверсовхоза, и тот в свободное время берёт его с собой на охоту. И совсем недавно они добыли сохатого. Поскольку холодильник у него не было, Коля решил угостить мясом нас. Когда я попробовал приподнять мешок с подношением, то едва оторвал его от земли.

Уже в обратном полете в город я отсыпал ягод врачу, и тот сказал, что такой вкусной и запашистой смородины не пробовал никогда в жизни.

Натуральный обмен между лётчиками и местными жителями был поставлен на широкую ногу. Осенью из северных деревень и поселков везли ягоды и орехи, а из города лётчики доставляли охотничий припас, сети, запчасти для лодок и катеров. Бывало, что заказывали лекарства, но, по рассказам Ватрушкина, деревенские болели меньше, чем городские.

— Да им и некогда, смотри, сколько у них работы! — похохатывал он.

Но и в этот, я бы сказал, обособленный мир проникала обратная сторона цивилизации. На рыбе сильно не разживёшься, а вот на пушнине — вполне. Собирая смородину, я попросил Колю Мамушкина достать мне ондатровых шкурок на шапку, и тот, нахмурившись, поведал, что сделать это будет непросто, поскольку начальник местных воздушных линий Ефим Жабин обложил площадки и малые таёжные аэродромы своеобразным *ясаком*. Вот и приходится ему, чтобы сократить срок наказания и получить положительную характеристику, выменивать у охотников за спирт пушнину и передавать её Ефиму.

“Вот это да! — подумал я. — Всё, как и сотню лет назад. Есть хозяин, есть и приказчик. Только зовутся они иначе”.

— Ты возьми выходные и прилетай ко мне, — сказал Мамушкин. — Есть у меня человек, через него, думаю, твою просьбу и выполним. Заодно поохотимся и ягод пособираем. Будет тебе и на шапку, и чем друзей угостить. Билет брать не надо, свои же и привезут, и отвезут.

Я так и сделал: взял выходные и прилетел в Чингилей. Свою вынужденную ссылку Мамушкин коротал в стареньком, ещё, наверное, оставшемся со времен Радищева, домике. Видимо, зверосовхоз не рассчитывал на длительное пребывание в этих краях авиации, посмотрелись на разных перелётных птиц и решили, что работа начальника площадки — сезонная, чего тратить-ся, пусть сам обустроивает свое житьё-бытьё. И Коля решил не напрягаться: сегодня — здесь, завтра — в другом месте. Всю обстановку в доме, где обитал Мамушкин, можно было пересчитать по пальцам: стол, кровать, пара табуреток, умывальник, помойное ведро. На вбитых в стену гвоздях висели куртка и дождевик, в углу — ружьё и рыболовные снасти.

Только теперь я понял, какой участи избежал. Вся работа Мамушкина заключалась в том, чтобы вовремя перед посадкой самолёта разогнать с посадочной полосы коров и в амбарной книге зафиксировать время посадки, номер борта и фамилию командира.

— С такими обязанностями справился бы не только Радищев, но и отбывавший срок в этих местах Троицкий, — пошутил Коля, заваривая чай. — Тот хоть газеты читал, а у меня времени и на это нет. Но здесь, в школьной библиотеке, попался мне большой энциклопедический словарь. Нашел в нем троих Бабушкиных. Один — ученый, другой — революционер. Третий — полярный лётчик. И ни одного Мамушкина!

— В следующем издании ты будешь первым, — пошутил я.

— Ты намекаешь, что эту посадочную площадку моим именем назовут, — улыбнулся Мамушкин. — Скажут: первым, кто отбывал здесь ссылку, был Коля Мамушкин. Что я здесь открыл? Большого ума не надо, чтобы понять, что самолёт — как раз для таких медвежьих углов. Падая с неба на эти площадки, мы на минуту касались земли и поднимались обратно. Для деревенских же мы, вернее, вы, — Коля кивнул в мою сторону, — были и остаётесь небожителями. Они считают, что для лётчиков открыты иные дали. Лётчики могут войти сюда и тут же выйти, выпорхнуть на волю, а вот таким, как я, приходится перемалывать один на один и зимнюю скуку, и дожди, и жару, которая в иные дни бывает, как в Сахаре. Впрочем, это мой взгляд, мои представления об этих забытых Богом местах.

Нарубив охотничьим ножом огурцы и открыв банку с тушёнкой, Коля откуда-то из-под стола достал бутылку спирта, разлил по стаканам.

— Ну, что, за твой приезд, — сказал он.

— Да я, в общем-то, не пью.

— Что, больной? — знакомо спросил меня Мамушкин. — Ты это брось! Пить не будешь — командиром не станешь. А я себе не отказываю. Можно сказать — спасаюсь. Тут от скуки подохнуть можно. Если бы не тайга да не рыбалка, ушёл бы в партизаны. А вон и мой друган. — Коля выпил спирт и пошёл к двери, отзываясь на шум подъезжающего мотоцикла. Я вышел следом и увидел знакомого мне эвенка, который приезжал в Жигалово за Анной Евстратовной.

— О-о-о! Знакомые лица. Митрич, — сказал он, протягивая мне руку. Ещё раз оглядев меня с головы до ног, он вернулся к мотоциклу и, порывшись, достал резиновые сапоги.

— Возьми. В такой обуви, как твоя, можно только по городским асфальтам ходить. А здесь тайга. Возьми, переобуйся. — Он снова вернулся к мотоциклу и принёс мне толстые вязаные шерстяные носки.

— Надень, не то ноги собьёшь. И вместо полётов пойдёшь к доктору.

Попив чаю, мы кое-как уселись в его трёхколёсный мотоцикл “Урал” и по дороге, которую и дорогой-то назвать было сложно — пробитая и раздолбанная лесовозами, она напоминала залитые стоячей водой бесконечные грязные канавы, — разрывая рёвом мотора деревенскую тишину, то и дело подпрыгивая на ухабах, мы поплелись за околицу.

Через час Митрич привез нас на старую гарь. То, что здесь когда-то бушевал пожар, выдавали всё ещё торчащие во все стороны обугленные сухостойны с давними следами огня и многочисленные, уже заросшие мхом валяжины.

— Вот здесь и остановимся, — сказал Митрич.

Точно с лесного оленя, он ловко соскочил с мотоцикла и принялся выгружать ведра, кастрюли, котелки, обустроивая табор. Чтобы не казаться гастролирующим туристом, я начал таскать к мотоциклу сухие ветки, собирая их вокруг нашей стоянки.

— Ты побереги силы, — сказал Митрич. — Я сейчас свалю вон ту сосну, и нам дров хватит на всю ночь.

Он достал из мешка бензопилу и ловко подпилил стоящую неподалеку сухостоину. Когда она, ухнув, упала на землю, он за несколько минут распластал её на мелкие чурки. Пока Митрич налаживал костёр, мы с Мамушкиным пошли по ягоды. Их оказалось столько, что я, оглядев ближние полянки, замер в недоумении. Покрытые мхом кочки была красны от брусники. Её кустики тут и там перемежались целыми полянками черники.

— Я тебе говорил, ведрами стоит! — хвастался Мамушкин, доставая металлический, сработанный местным умельцем совок для сбора ягод.

— Комбайн, — я решил не отставать и продемонстрировал привычное для деревенского слуха название совка.

— Микитишь! — со знакомыми интонациями похвалил меня Мамушкин.

— Давайте мужики, работайте, — крикнул нам Митрич. — Как у нас говорят: ешь-потей, работай — зябни, на ходу маленько спи. А мне ехать надо. Начальство должно из района пожаловать. А к вечеру я к вам вернусь, только не заблудитесь.

— Да с ориентировкой у нас полный порядок, — засмеялся Мамушкин. — Или мы не лётчики!

— Лётчики, но не таёжники, — улыбнулся Митрич. — Это в небе вам всё знакомо, а здесь профессор я.

Митрич развёл-таки костёр, вскипятил нам чай в котелке и укатил обратно в Чингилей.

К вечеру мы набили ягодой всё, что взяли с собой: картонные коробки, ведра и кастрюли. Когда солнце опустилось к ближайшей горе, усталый и довольный удачно сложившимся днём, я от избытка чувств завалился на спину в мягкий мох и стал засмотрелся в вечернее безоблачное небо, которое сизыми заплатками проглядывало сквозь выросшие после пожара берёзки. Отсюда, с земли, небо казалось далёким, немым и каким-то незначительным, я бы даже сказал — крохотным. И нельзя было даже подумать, что оттуда, сверху, тайга и всё, что её населяет, все эти запахи, шорохи, перестук дятлов, посвист пролетающих птиц, шевеление листвы существуют как бы само по себе, без видимой связи с тем, что стояло над всем этим едва слышным человеческим ухом оркестром. Там же, вверху, в прозрачности и необъятности, тоже шла своя невидимая взгляду жизнь, текли воздушные реки, вздымались ввысь многокилометровые вихри, зарождались и уходили за горизонт облака и менялись краски. Я знал, что были там свои горы и распадки, это хорошо ощущалось на самолёте, бывало, что без видимых причин бросало из стороны в сторону, а в иной раз разбушевавшаяся стихия готова была скинуть его, как надоедливую железную птичку, в тайгу, прямо на эти вот лиственные колья.

Откуда-то из-за ближайшей горы неожиданно появился коршун. Перед сном он, должно быть, делал контрольный облёт своих лесных угодий, и сразу же небо приобрело свою, казалось бы, потерянную связь с окружающим земным миром. Я знал, он хорошо видит нас, возможно, стережёт, и, пока я следил за его полетом, мне стало тепло от одной мысли, что неслышно скользящий над нашими головами лесной собрат, пока мы отдыхаем, делает за нас нашу воздушную работу.

— Завтра надо попросить Митрича заехать в Чикан купить сигарет. В Чингилее одна махорка осталась, — сказал Мамушкин.

И я неожиданно для себя припомнил, что в чиканской школе работает знакомая учительница — Анна Евстратовна.

— Так она теперь не в Чикане, она у нас в Чингилее преподаёт, — сообщил Мамушкин. — Здесь такая штука приключилась. Накануне учебного года уехал в город в больницу учитель. Хотели возить ребят в Жигалово, но Анна Евстратовна попросилась приехать в Чингилей. Других не на-



шлось — здесь все учителя приросли к своим домам. И она поехала. Теперь здесь всё на ней. Скажу тебе, отличная учительница! Ягодка! Школьный театр организовала, и они уже к эвенкам съездили. Боюсь только, что долго здесь не удержится, заберут в район или в город. Охотников, шоферов в деревне полно, а вот такая — одна. Кстати, Митрич у неё вроде сторожа. Никого к ней на пушечный выстрел не подпускает. Все уже знают — втрескался. Но держит дистанцию. Когда Аннушка, так её теперь все у нас кличут, сюда приехала, то её здесь не ждали. Мужики все в тайге, а у женщин своих хлопот полно. Стала она печь растапливать, а дрова сырые, не разгораются. И тут мимо Митрич ехал. Увидел, что она с сырыми чурками возится, завёл трактор и приволок из леса пару сушин, распилил, наколол. С тех пор и она к нему питает особые чувства. Но дистанцию держит. У неё, говорят, городской ухаждёр есть.

Я слушал Мамушкина, и в душе у меня бродили какие-то непонятные, но ревнивые чувства. Конечно же, летая, я вспоминал Анну Евстратовну, как-никак она была моей первой пассажиркой. Из рассказа Мамушкина выходило, что мы из рук в руки передали ее на попечение Митричу. А уж он-то, я это уже успел оценить, умел быть заботливым и, судя по всему, надёжным человеком. Вот с тем, городским, о котором она рассказала нам еще в Жигалово, я её рядом не мог представить, а вот к этому тунгусу Митричу — приревновал.

Митрич приехал поздно, привёз рыбы — несколько крупных ленков, и мы сварили уху. Кроме ленков, Митрич привёз спальные мешки, и я, вспомнив, как он назвал себя лесным профессором, согласился: Митрич не только заботливый, но и предусмотрительный человек. По мнению Ватрушкина, это было главным качеством, которое отличает настоящего пилота от летуна. Действительно, с таким не пропадешь. В разговоре у вечернего костра Митрич признался нам, что хотел стать лётчиком и даже ездил поступать в училище, но не прошел медкомиссию. И в конце сказал одну фразу, которая, как вспышка, совсем по-новому осветила всю мою нынешнюю работу.

Для того чтобы любить небо, не обязательно быть лётчиком. И вообще, умные люди говорят: то, что сделано с любовью, и стоит долго, и помнится всю жизнь.

После таких слов говорить больше не хотелось. Я забрался в спальник и, размышляя над словами Митрича, уснул сном хорошо поработавшего человека.

А утром, загрузив мотоцикл коробками и ведрами с ягодой, Митрич повёз нас в Чингилей. Когда въехали в село, я попросил его подвезти нас к школе.

— Мне нужно повидаться со старой знакомой, — сказал я.

— С Анной Евстратовной, — догадался Митрич. — Это мы запросто. Но у неё сейчас уроки. Может, попозже?

— Ничего, мы на минутку.

Митрич подъехал к деревянной, срубленной из вековых лесин школе и попросил бегающих во дворе девочек позвать Анну Евстратовну.

— Скажите, что к ней гости из города.

Девочки быстрыми глазами оглядели меня, прыснули и скрылись в школе.

Анна Евстратовна вышла в строгом сером костюме и в модных туфлях, что сразу бросилось мне в глаза, потому что ходить в них по улице после прошедших дождей было бы безумием. Анна Евстратовна обрадовалась, сказала, что не ожидала меня увидеть, и когда я начал мямлить, что заехал на минутку, она тут же настояла, чтобы я обязательно подождал: она сейчас закончит урок, и мы должны будем у неё пообедать.

Жила она здесь же, при школе, в пристройке, которая, судя по свежим бревнам, была сделана совсем недавно.

— А вы зайдите, там не заперто, я сейчас подойду, — сказала она.

И мы зашли, но только с Мамушкиным. Митрич, сославшись на срочную работу, уехал по своим делам. Конечно, это было совсем не то же, что жильё Мамушкина. У Анны Евстратовны всё было прибрано, чисто, краше-

ный пол вымыт до блеска, на столе — стопки тетрадей, на этажерке и полках — книги, очень много книг. И свежий, пропитанный духом смолы и хвои воздух.

Я еще раз осмотрел комнату. Ну, и где же здесь можно было разложить парашют? Его можно было показывать в разобранном виде только на школьном дворе или на аэродроме.

Коля нашёл у Анны Евстратовны кастрюлю, наполнил её ягодой, затем сходил в огород и накопал картошки.

— Ну, чего расселся, давай, чистить будем! — скомандовал он.

И мы начали чистить. Искося я оглядывал комнату — так вот куда занесла её учительская судьба! Через окно в комнату заглядывал кусочек неба, а далее был виден край деревенского поля и, насколько хватало глаз, стояла тайга. А на столе небольшие часы отсчитывали свое и наше время. Оно неумолимо летело с такой скоростью, что даже и на самолёте не утонишься.

Действительно, Анна Евстратовна пришла скоро, не вошла, а влетела, увидев, что мы заняты домашней работой, похвалила и, быстро переодевшись, придала нашим действиям ту осмысленность и законченность, которую может придать только женщина.

Между делом она рассказывала, как её здесь встретили, как быстро, за пару дней соорудили вот эту пристройку.

— Побелили, покрасили, принесли новые табуретки и даже где-то разыскали барское кресло, перетянули его бараньей шкурой, а на пол под ноги бросили медвежью шкуру.

Меня так и подмывало спросить про сырые чурки, но она и сама рассказала, как она боролась с вязкой, сырой древесиной, пытаясь растопить печь.

На это самое кресло она усадила меня, чтобы я чувствовал себя, как в кабине самолёта. За столом, в свою очередь, я предложил ей помощь, если понадобится что-то передать в город; отвезти, привезти посылку или её в Иркутск. Она с улыбкой глянула на меня и сказала, что хотела бы передать в город работы учеников на конкурс.

— Передам! — бодрым голосом заверил я.

Она достала папочку с рисунками и ещё какой-то пакет.

— А это вам с Иннокентием Михайловичем, — сказала она.

— Что это? — спросил я.

— Ондатровые шкурки, двенадцать штук, как раз на две шапки.

— Да вы что, я не могу и не буду брать такие подарки, — нахмурившись, сказал я.

— Вы меня обидите, — ответила Анна. — Я была вам так благодарна!

— Бери, бери! — сказал Мамушкин. — Охотники здесь сдают их по пятьдесят копеек за штуку.

— Я их не покупала, мне принесли, сказали, сшейте себе шапку. Здесь такие холода!

— Они правы, здесь действительно холодно, — заметил я.

Мысли мои пошли зигзагами: взять — подумает, что лётчики все такие, берут и даже спасибо не говорят. Откажусь — обидится. Ещё в детстве мама меня учила: не бери чужого. Взял — потерял. Отдал — приобрел. И тут до меня дошло. Должно быть, шкурки ей принес Митрич.

— Я не люблю меховые шапки. Мне нравятся платки, — сказала Анна.

— Нет, — твёрдым голосом сказал я. — Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Мне Коля, — я кивнул на Мамушкина, — уже достал. — Мамушкин недоуменно глянул на меня, но я посмотрел на него долгим взглядом, и он прикрыл уже раскрытый было от возмущения рот.

На обратном пути к его обители Мамушкин отругал меня, затем сказал, что к ноябрьским праздникам из тайги начнут выходить охотники и тогда он точно пришлёт мне шкурки. За сданную пушнину государство платило охотникам гроши, и она уходила на сторону; в основном, передавали или продавали в город; одним надо было устроить своих родственников в больницу, другим нужен был мотоцикл или лодочный мотор.

— А ты зря не взял, обидел девушку, — сказал Мамушкин. — Хочешь, я тебе соболей на шапку достану? Ты мне пива, а я тебе соболей. Идёт?

— Я же не Чернышевский, — засмеялся я. — Это, говорят, он любил прохаживаться по Вилуйску в собольей шапке. Мне бы что попроще.

Была в нашей работе особая статья. О ней говорили мало, а если и говорили, то мимоходом. Те дрожжи, которые вез радист Ватрушкина, не были чем-то особенным или из ряда вон выходящим. Много чего приходилось возить лётчикам. Так повелось, где-то чего-то много, а где-то чего-то недостает.

Утром перед вылетом, у входа в стартовый здравпункт, нас поджидали разного рода ходоки. Одни просили привезти с Байкала рыбу, другие — орехи, ягоды, третьи — тушёнку, гречку, спирт, и все говорили, что просим-де не за себя и не для себя. Выяснялось, что у одного намечалась свадьба, у другого — именины или крестины, третьему надо было что-то нести в больницу. Поводов нагрузить нас заказами было множество. Конечно, всё то, что было в их просьбах, можно было найти на рынке, но там было дорого, а Ватрушкин, бывало, совсем не брал с них денег.

— Как пришло, так и ушло, — говорил он. — Богаче уже не стану, а бедным никогда не буду.

Чаще всего всю эту непредвиденную, левую работу он поручал мне, и я, не нарушая сложившихся традиций, брал передачи, посылки и разносил их по разным адресам. Хочешь стать командиром — терпи! — говорил я самому себе. Но история с заказом Мамушкина имела продолжение. Однажды Ватрушкин, выслушав очередной, оформленный в привычные причитания, заказ, неожиданно для меня протянул ходоку десятку.

— Не в службу, а в дружбу, — с улыбкой сказал он. — Пока мы летаем, ты съезди на пивзавод и купи пива.

— Ты, чо, Михалыч, охрэнел! — пожевав от удивления губами, буркнул тот. — Туда надо ехать на двух автобусах. Да и времени у меня нет.

— Но сюда-то приехать нашёл время, — сухо заметил Ватрушкин. — Вот что, дорогой, у нас, кроме ваших заказов, своих дел полно. А вот он, — тут Ватрушкин показал на меня глазами, — каждый день ездит на работу на двух автобусах. Утром сюда, а вечером — обратно, на дорогу полдня. И ничего — ездит. Бывает, и пиво возит. А ещё ваши заказы развозит.

— Ну, и лётчики пошли, шаг лишний боитесь сделать, — надулся заказчик.

— Ты это мне или себе? — поинтересовался Ватрушкин и уже другим, непривычным для меня голосом, добавил: — Вали отсюда и чтоб я тебя больше здесь не видел!

На моей памяти это был единственный случай. Обычно Ватрушкин никому не отказывал. Не только брал и привозил, но частенько на своей “Победе” развозил гостинцы и заказы по домам. А иногда и меня подвозил домой: из аэропорта добираться до Жилкино, где я жил в ту пору, мне действительно приходилось на двух автобусах.

Через некоторое время моя новенькая форма потеряла быллой лоск, как бы притёрлась к самолёту, ко всему, что окружало полёты. Да я и сам уже стал иным и не глядел на себя со стороны. И когда входил в автобус, на меня уже не оборачивались, не смотрели, как на белую ворону. В конечном счёте, всё стало на свои места, и мое каждодневное приземление в другие миры, в иную жизнь уже не казалось мне чем-то особенным. Ожидание увидеть неизведанные земли отошло в прошлое, а рассказы и авиационные байки на промежуточных ночёвках стали привычным атрибутом лётной жизни. Они стали как бы продолжением моей биографии, частью моей жизни.

Как-то в один из осенних дней мы вновь прилетели в Чингилей по санзаданию: надо было срочно вывезти пострадавшего при пожаре мальчишку в город. На площадке было непривычно много народа. Не сразу я разглядел среди провожающих Анну Евстратовну. Она как бы слилась с окружающей толпой: деревенский румянец на щеках, приталенная овчинная тужурка. Выдавал её только модный, завязанный галстуком платок на шее. И еще резиновые сапоги на ногах: асфальта в Чингилее не предполагалось на ближайшие сотню лет, а вот дожди шли регулярно. Она подошла к Ватрушкину и стала что-то оживленно ему объяснять. Оказалось, что пострадал её уче-

ник, пожар случился ночью, погибла бабушка, а у него множественные ожоги, теперь вся надежда на наш самолёт.

Мимоходом она представила нам своих учеников и пригласила Ватрушкина в школу, сказав, что для такой встречи она соберёт не только школьников, но и родителей.

— Вы лучше его пригласите, — кивнув на меня, ответил Ватрушкин.

— А я вас не разделяю, — ответила Анна Евстратовна. — Для меня вы одно целое. Как семья. Давайте назовём это вечером встречи с экипажем.

И вскоре такой случай нам представился.

Перед ноябрьскими праздниками нам поставили в план полёт в Чингилей. Напросился или организовал тот полёт Ватрушкин. Мне было всё равно, куда лететь, но я все же отметил, что в Чингилей Ватрушкин летает с особым удовольствием. И причина была понятна: обычно там нас встречала Анна Евстратовна.

Но едва мы пришли в диспетчерскую, как Ватрушкину позвонили с местных авиалиний.

— Вас тут домогаются артисты. Скандалят. Разберитесь с ними.

Разбираться Ватрушкин послал меня.

Выяснилось, что в Жигаловский район по приглашению администрации на гастроли летят артисты из филармонии. А скандал произошёл из-за рекевизита. Его оказалось много, и диспетчер боялась, что он не поместится в самолёте.

— Оформляйте через грузовой склад! — требовала она.

Но артисты взбунтовались: они-то считали, что это их личные вещи, и они могут, не оплачивая, взять их с собой в самолёт.

Руководитель группы заявил, что обо всём они договорились с начальником аэропорта Брюхановым, и попросили связать их с Ватрушкиным.

— Нам сказали, что он отвечает за нашу доставку в Жигалово.

Когда я пришёл в диспетчерскую, то неожиданно обнаружил, что уже встречался с руководителем ансамбля. Им оказался друг Анны Евстратовны Вениамин Казимирский, которому она через меня передавала на конкурс детские работы.

Осмотрев багаж артистов, я решил, что оформлять их через склад — только время терять даром. По моим прикидкам, реквизит прекрасно поместится в самолёте, но загружать его надо было быстро: для полета в Чингилей нам могло не хватить светлого времени.

Но пока реквизит загружали в автобус, пока выносили и вносили багаж необычных пассажиров, прошёл час. Самое интересное, что артисты решили, что всю работу для них должна делать служба аэропорта. А поскольку они — артисты, то их место в буфете.

Присланный мне в подмогу уже знакомый “волкодав” поглядел на шумливых пассажиров, послушал их выкрики: не так берёте, не так несёте — плюнул и, послав всех куда подальше, отбыл на свой склад.

Кое-как, с грехом пополам, мы все же загрузили весь артистический реквизит, усадили подвыпивших артистов на жёсткие металлические сидения и поднялись в воздух. Если в городе на солнечных местах ещё подтаивало, то за последними домами и в лесу уже лежал снег. Тёмной шёрсткой выделялся лес, в который огромными белыми лоскутами вдавались поля, справа, в той стороне, где Байкал, поднимались к небу горы. Самолёт шёл параллельно им по уже не один раз протоптанной воздушной дороге.

Казимирский оказался разговорчивым парнем.

— Ну, что, вперед и с песнями! — сказал он, притулившись в cabinном проходе на том самом месте, где сидела Анна Евстратовна, когда мы летели с ней в Жигалово. Но почему-то Ватрушкин не предложил ему сесть на струбцину, выкурив очередную папиросу, он, по своему обыкновению, решил подремать.

— Да, сложная у вас работёнка, — сказал Вениамин, оглядывая кабину. — Один на один с этим белым безмолвием. — Он кивнул на землю. — Как это там в песне? “Может быть, дотянет последние мили мой надёжный друг и товарищ мотор”. Одна надежда на него, ведь так?

Я, вспомнив слова Ватрушкина о труяге коленвале, согласно кивнул: как там работают крылья и расчалки, меня интересовали мало. Действительно, двигатель, громкий и неутомимый, порою из-за его грохота и поговорить было сложно, всегда оставался для лётчиков настоящим другом и помощником.

— Вот ты мне скажи, почему лётчикам не выдают парашюты, — начал дёргать меня за плечо Вениамин.

— Я выпрыгну, а ты останешься, — с улыбкой ответил я. — Что мне потом делать?

— Да, верно, помирать, так вместе, — согласился Казимирский. — Хочешь, расскажу анекдот про парашютистов? Летят. Вдруг один встаёт и идёт к двери. Сосед останавливает: “Ты же без парашюта!” А тот ему в ответ: “Ну и что, это же учебный прыжок”.

Он хохотнул, а я подумал: чего только не слушаешься в полётах. Пользуясь тем, что я знаком с его подружкой, Вениамин решил избрать меня временным поверенным в своих давних переживаниях.

— Когда-то я тоже хотел стать лётчиком и даже ходил на занятия в аэроклуб, — продолжал Вениамин. — И там насмотрелся такого!

Чего он там насмотрелся, мне было неведомо, почему-то вспомнился диагноз, который поставила ему Анна. Аэрофобия! Поразмыслив немного, я подумал, что говорит он много и возбужденно, потому что выпил перед полетом. Так делают многие, чтобы преодолеть свой страх. Думаю, он и в проход встал, чтобы не смотреть на землю.

Неожиданно Ватрушкин приоткрыл глаза:

— Послушай, а у тебя случаев нет спичек, — обратился он ко мне. — Я забыл свои.

Вениамин услужливо протянул Ватрушкину зажигалку.

— Значит, так, зачислили нас, усадили за столы, — рассказывал Казимирский. — И начали гонять. Ну, я и заявил им: нас принимали, как здоровых, а спрашивают, как умных. Меня взяли и отчислили.

— Вот что, дорогой мой, поди-ка и сядь на место. Не дай Бог болтнет, — спокойным голосом сказал Ватрушкин. — А парашютов у нас действительно нет.

Казимирский оказался понятливым, подняв руки, он быстрым голосом проговорил:

— Всё, всё, понял — ухожу с горизонта.

Спустившись в грузовую кабину, он, подмигнув мне, уселся на своё место и на всякий случай демонстративно пристегнулся ремнями.

В Чингилее нас встречало полпосёлка. Впервые сюда прилетели артисты аж из самого Иркутска. Был здесь и Брюханов. Он сказал, что договорился с Иркутском, и мы будем возить артистов по району, а сегодня здесь будет концерт, и мы остаемся на ночёвку.

Концерт должен был состояться в школе. Анна Евстатовна, узнав, что прилетел Ватрушкин, попросила его выступить перед школьниками. И Ватрушкин согласился.

Я думал, что он начнёт рассказывать о нашей работе, но он начал с того, что ему приятно бывать в таких вот отдалённых поселках.

— Основными скрепами, которые удерживают вот такие, как ваша, отдалённые деревни от вымирания и одичания, являются, — тут Ватрушкин начал загибать пальцы, — наличие работы, связь, я имею в виду транспорт, самолёты, машины. И сельские учителя. Лишится деревня хотя бы одной составляющей, и жизнь здесь станет ущербной и неполной, а может и вообще сойти на нет. Немецкий канцлер Бисмарк говорил, что победа над Австрией была победой прусского школьного учителя. Он имел в виду наличие в Пруссии всеобщего школьного образования, которое позволило готовить квалифицированные кадры для армии. Продолжая его мысль, могу утверждать, наша победа над Германией была бы невозможна без школьного учителя. Давайте возьмём самолёт. Можно управлять им, не имея образования? Давайте, как в цирке, посадим в кабину медведя. Думаете, найдутся охотники полететь на этом самолёте? Вряд ли. А во время войны были подготовлены десятки тысяч технически грамотных лётчиков. И кто их готовил? Учителя. И эти парни и девчонки побили фашистских асов.

Далее Ватрушкин рассказал, как во время войны они спасли маршала Иосипа Броз Тито.

— В сорок четвертом нашу часть отправили на авиабазу в Бари, — тут он подошёл к висевшей на стене карте и ткнул пальцем в сапог Аппенинского полуострова. — Кто мне ответит, какая здесь находится страна?

— Италия! — хором закричали ученики.

— Молодцы! — похвалил Ватрушкин. — Ставлю пять вашей учительнице. Так вот, оттуда мы летали к югославским партизанам. — Палец Ватрушкина скользнул вправо поперёк Адриатического моря. — Кроме нас, на аэродроме базировались англичане и американцы. Наши лётчики были привлечены к полётам с подбором на маленькие горные и такие же, как у вас, площадки. Мы летаем, американцы и англичане сидят и ждут, когда им подготовят хорошие аэродромы югославские партизаны. Более того, они не верили, что мы туда летаем. Тогда Шорников купил на базаре плетёные корзины и, слетав к партизанам в Боснию, привёз в них снег. Эти корзины мы поставили около английских самолётов, мол, посмотрите, снег здесь есть только на Балканах. А позже Шорников вывез на самолёте главу партизан Иосипа Броз Тито, которого немцы уже считали своей добычей. Можете себе представить, как после этого американцы и англичане смотрели на нас.

Я сидел в классе, вместе со всеми слушал Ватрушкина, смотрел на географическую карту, висевшую на стене, и вспоминал школьное время. В моей жизни было несколько учителей, которые определили всю мою жизнь. Самая первая учительница, еще в начальной школе, — Клавдия Степановна, затем физик Пётр Георгиевич, которого мы звали Сметаной. И, конечно же, преподаватель истории Анна Константиновна. Это она учила нас видеть себя и мир с большой высоты не только в пространстве, но и во времени. И вот теперь рядом со мной оказался Ватрушкин. Каждый день он садился со мной, образно говоря, за одну школьную парту. Перемещаясь от одного аэродрома к другому, он ненавязчиво подсказывал и показывал то, что станет и для меня со временем привычным делом. Разлетаясь утром с базового аэродрома, мы, как пчёлы, собирали пыльцу со всех сельских, северных аэродромов и везли в город взятки. Наш неуклюжий и внешне похожий на деревенский валенок “кукурузник”, поднявшийся из прошлой, казалось бы, другой, доисторической жизни, тащил нас вперёд и вперёд, в другие миры.

И вот рядом с ним здесь, в Чингилее, стояла маленькая, ладная Анна Евстратовна, которая рядом с ним совсем не походила на учительницу. Встретив в коридоре, ее можно было принять за старшеклассницу. Но едва она начинала говорить, как в классе наступала прозрачная, я бы даже сказал — благоговейная тишина. Что она знала такого, что её слушали с таким вниманием? Историю? Её знали и другие. Возможно, даже и не хуже. А если разобратся, она была моей ровесницей. Но сегодня я был всего лишь вторым пилотом, дело которого — не мешать левому, держать ноги нейтрально и терпеливо ждать зарплату. И мне ещё учиться и учиться, пока доверят самому вести самолёт и везти пассажиров.

Затем начался концерт. Вениамин со своими артистами спели несколько песен. Пели хорошо, с душой. Их долго не отпускали. А в конце, по просьбе Анны Евстратовны, артисты исполнили ее любимую “Маленькую девочку”, которую они посвятили нашему экипажу:

*В огромном небе, необъятном небе,  
Летит девчонка над страной своей, —  
Кто в небе не был, кто ни разу не был,  
Пускай вздыхает и завидует ей...*

Здесь же, в школе, нам был приготовлен ужин, да такой, что мы открыли рот от изумленья, едва вошли в учительскую. На столе была рыба солёная, копчёная, мясо пареное, варёное, жареное. Кроме того, картошка, солёные грузди, пельмени, брусника со сгущёнкой. Было приятно наблюдать за хлопотами Анны Евстратовны. Ей помогала *деревенская интеллигенция*: фельдшер местного здравпункта, почтальон и жена директора леспромхоза. Всем этим

действом заправлял Митрич. Он же предложил выпить за здоровье артистов, за представительницу районо, за большого авиационного начальника Ивана Брюханова и, конечно же, за Анну Евстратовну. Не забыли и нас.

— Редко вы к нам прилетаете, — обращаясь к артистам, сказал Брюханов.

— Но метко, — пошутил Вениамин. — Прилетели и угодили прямо за стол. Я вот что хочу сказать. Самое устойчивое представление о прошедшей жизни — это мифы. Например, создали миф, что ссыльным здесь плохо жилось. Ну, комары, они и в Питере комары. Морозы, они у печки хорошо переносятся. У создателя Ревтрибунала Льва Троцкого — он, как вам известно, тоже отбывал ссылку в этих краях — насчёт картошки дров поджарить, — тут Вениамин кивнул на стол, — тоже губа была не дура. И вообще, вожди наши любили поест. Мне давно хотелось своими глазами посмотреть, где и как отбывал ссылку Лев Давыдович. Думаю, с тех пор здесь мало что изменилось. Разве что появился наш самолёт. Убери его — и будет всё та же картина.

— Мой дед был родом из Тутуры, — сказал Брюханов. — Когда я спрашивал про ссыльных, он говорил — дармоеды. Жили на всём готовеньком, государственном. Это потом их стали называть *страдальцами за народ*. А этот народ вкалывал с утра до ночи, жалел их и нёс им, бедненьким бездельникам, всё, что заработал своим горбом. Пожили они здесь, отдохнули и — в бега. Кто в Лондон, кто в Швейцарию.

— Но их можно понять, — заметил Вениамин. — Цивилизованный человек должен жить в своей среде. Я всё время хотел понять революционную интеллигенцию, которая пошла в народ. Чего они добились? Да ничего. Многие из них потом бомбистами стали.

Слушали Вениамина молча, иногда дипломатично кивали — и только: мало ли чего наговорит залётный артист.

— Со стороны так, наверное, оно и должно, — перебил Вениамина Митрич. — Медведи должны быть с медведями, бурндуки с бурндуками. Это их среда. И вообще, сколько людей, столько и мнений. А справедливость, как и везде, имеет одно неуволимое, но определяющее свойство: подлаживаться под покупателя и служить тому, у кого больше прав. Диалектика!

Поняв, что разговор может повернуть в нежелательную для него сторону, Вениамин прекратил поминать ссыльных, поскольку они здесь жили по принуждению, а сидящие за этим столом — по собственной воле и никогда не жаловались, находя в здешнем житье-бытье свои выгоды и краски.

Но Митрич уже завёлся. Скинув с себя пиджак и выказав всем свою ослепительно белую нейлоновую рубашку, которая словно подчёркивала, что и здесь знают толк в моде, он глянул в упор на Вениамина своими глазмищёлочками.

Но тут поднялась Анна Евстратовна.

— Пётр Дмитриевич! — ласковым и примиряющим голосом обратилась она к директору. — Мы сегодня собрались здесь по другому поводу. Давайте отложим уроки диалектического материализма на завтра. А сегодня будем общаться.

— Нет, не отложим! Вот что я вам, дорогие гости, хочу сказать, — глухим голосом продолжал Митрич. — До войны в наших краях жили двадцать пять тысяч человек. Более трех тысяч здоровых мужиков и парней ушли на фронт. Обратю не вернулось и половины. А сколько еще было выбито в гражданскую? Ныне каждый год на учёбу в город уезжают сотни, и сюда, как с фронта, почти не возвращаются.

И тут мой командир вновь удивил не только меня, но и заезжих артистов, и всех, кто был приглашён на этот ужин. Он встал, высокий, красивый, и спокойным голосом, так, как он обычно вёл в воздухе связь с землёй, начал читать стихи. Я их слышал впервые.

*Не бывать тебе в живых,  
Со снегу не встать,  
Двадцать восемь огневых,  
Огнестрельных — пять.*

Присутствовавший на ужине Мамушкин сказал, что Михалыч читал так, будто устанавливал радиосвязь с далёкими мирами.

*Горькую обновушку  
Другу шила я,  
Любит, любит кровушку  
Русская земля.*

Ватрушкин замолчал, в учительской повисла тишина. Молчание сломал Митрич.

— Вы верно сказали, — директор кивнул в сторону Ватрушкина, — нас спасает лес, тайга. Вырубим его, здесь будет пустыня. Кому захочется жить в пустыне? Никому.

Спасибо Аннушке, не побоялась, приехала в нашу глушь. Всем показала, что жить интересно можно везде.

— Пётр Дмитриевич, я не знаю, как вас благодарить, — улыбнувшись, сказала Анна Евстратовна. — Такой теплоты, как здесь, я не встречала и, видимо, никогда не встречу нигде. Я слушала вас и подумала: есть ещё одна, но, может быть, главная составляющая, та, что нас сохраняет, охраняет и скрепляет в единое государство. Это наш родной язык. Спасибо Иннокентию Михайловичу, что он вспомнил Анну Андреевну Ахматову. В сорок втором она написала:

*Мы знаем, что ныне лежит на весах  
И что совершается ныне.  
Час мужества пробил на наших часах,  
И мужество нас не покинет.  
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,  
Не горько остаться без крова, —  
И мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово.*

Перед тем как идти к Митричу — он пригласил нас переночевать у него — Ватрушкин поинтересовался у Анны, проводит ли она с детьми уроки по парашютной подготовке.

— Сюда я летела, мне виделось одно, — с какой-то грустной улыбкой ответила она. — Вот приеду и переверну этот медвежий угол. “Я опущу кусочек неба на эти серые дома”. А он сам взял меня в оборот. Здесь на меня опустилось само небо. Здесь всё, как в затычном прыжке. От нас недалеко в тайге живут эвенки. Деревня называется Вершина Тутуры. Туда на зиму свозят детей, считая, что там их нужно не только учить читать и писать, но и приобщить к благам цивилизации. Так вот они, как могут, сопротивляются той цивилизации, которую мы всеми силами им навязываем. Хотят жить по тем законам, по которым жили их предки. И все эти дезодоранты, духи, машины, мягкие кресла и диваны, телевидение и прочие блага они с удовольствием поменяют на хороший карабин и собаку.

— А парашют у меня стащили. Так, из баловства. Соседский мальчишка Пашка-тунгус. Так его здесь все называют. Вообще они чужого не берут. Взять чужое — большой грех. Но его кто-то надоумил: ткани там много, возьмем кусок, и будет у нас костюм для охоты. На снегу его совсем не видно. Ну, испортили мне учебное пособие, но натолкнули на хорошую мысль. Я решила разрезать парашют и сшить из него спортивные костюмы. Когда сделали выкройку и прикинули, то получилось, что хватит на целую команду. Мы собираемся на районную спартакиаду школьников. Оказалось, что здесь все лыжники и стрелки. Ну, словом, охотники.

— А запасной-то хоть остался?

— Запаска осталась, — Анна улыбнулась. — Даже если я очень захочу отсюда выпрыгнуть, то обратного хода нет. Ни запасного, ни какого-то иного. Меня отсюда попросту не отпустят.

— Это почему же?

— Да в неё вселился бес, — влез в разговор Вениамин. — Одних сюда ссылали, а ты себя сама закопала.



— Веня, концерт окончен, — спокойным голосом остановила его Анна Евстратовна. — Сколько можно? Притормози!

— Нет, вы видели! — усмехнулся артист. — Я бросил всё, чтобы приехать и поддержать её. Человеку свойственно двигаться вперёд. Вот у лётчиков есть хороший девиз: летать быстрее, дальше и выше всех. Я правильно говорю? Как там в песне? “Всё выше, и выше, и выше!..”

— Ты говоришь, запасной у тебя остался, — сказал Ватрушкин. — Так отдай ему.

— Это ещё зачем? — не понял Вениамин.

— Веня, я себя не закопала, я живу, — засмеялась Анна Евстратовна. — Живу нормальной жизнью. Костюмы шью, мне весь посёлок помогает, детей учу. Чтобы понять меня, одного концерта мало. Надо здесь жить, а не прилетать на гастроли.

Утром мы перелетели в Жигалово, затем в Сурово, Коношаново. Везде были встречи, концерты, а потом мы вернулись в Жигалово. Там Брюханов передал Ватрушкину радиogramму, нас срочно вызывали на базу. Тогда мне казалось, что мы расстаемся ненадолго. Несколько раз уже с другим командиром я прилетал в Чингилей, но Анну Евстратовну почему-то не встречал. Года через два, когда закрыли леспромхоз, посадочную площадку в Чингилее тоже прикрыли, думали — до весны, а оказалось — навсегда.

Уже летая командиром на больших самолётах, возвращаясь с севера домой, с большой высоты я пытался найти в холодной и немой тайге крохотные огоньки Жигалово, и уже отталкиваясь от них по прямой, как в школьные времена — отталкиваясь от звёзд Большой Медведицы по внешней стороне ковша, искал Полярную звезду, — так и здесь я искал огоньки Чингилея. Иногда находил, но чаще всего ответом мне была пугающая пустота.

Уже тогда было ясно, что малую авиацию добивают, она подверглась такому разорению, после которого на восстановление понадобятся не годы — десятилетия: все посадочные площадки и аэродромы зарастали кустарником и травой, а самолёты были пущены на слом. Коля Мамушкин на мой вопрос, как же теперь добираются люди до Жигалово, ответил, что до Чикана и Жигалово можно добраться на машине и что на месте Чингилея остался всего один дом.

— Это Ватрушкин любил летать туда и делал всё, чтобы площадку не закрывали, — сказал Мамушкин. — И меня туда похлопотал, спасибо, я успел застать патриархальную таёжную Русь, ту, которая была и которой уже никогда не будет. А Брюханов помер вскорости после того, как перестали летать в Жигалово самолёты, — поведал Коля. — Васька Довгаль видел его в поликлинике. Брюханов похвастал, что был у врача, давление — сто двадцать на семьдесят, и пошутил, что ему с таким давлением можно и в космонавты.

— А через два дня в автобусе ему стало плохо. Успели только довезти до больницы.

Эти подробности я знал. Знал я и то, что Мамушкин так и не стал восстанавливаться на лётной работе, после Чингилея его перевели в Киренск. Там он и осел. Но говорить на эту тему не хотелось — чего ворошить прошлое. Уже прощаясь, Мамушкин добавил:

— Наша Аннушка, ну, помнишь ту учительку, она, представь себе, уехала. Ты думаешь, к этому артисту? Кстати, у нее, говорят, от него ребенок родился.

— Казимирскому, — припомнил я.

— Нет, она уехала с Митричем. Говорят, у них еще двое сыновей. Двойняшки. Вот и пойми этих женщин. Диалектика! — Мамушкин поднял вверх указательный палец. — Пришёл помочь, привёз сухих дров, растопил печь. И завоевал её сердце. Кстати, крёстным отцом у них стал наш командир — Ватрушкин. Ты же знаешь, он сейчас преподавателем в учебно-тренировочном отряде работает. Должно быть, рассказывает, как спасал Тито. Аннушку в Чингилее ещё долго вспоминали. Но кого бы она сейчас там учила?

## ЕВГЕНИЙ ЧЕКАНОВ



## В РАЗДУМЬЕ О САМОМ ВЫСОКОМ...

### СЛОВА

Край родимый! Леса да болота,  
Ливень с градом, метель-кутерьма...  
И хотелось бы вымолвить что-то,  
Да мешает природа сама.

В кои веки, рискуя судьбою,  
Наберёшься отваги для слов —  
Тут же туча взойдёт над тобою,  
Вихри бросятся из-за углов.

И, как листья в осеннюю пору,  
Все слова понесутся, крутятся...  
Вон одно — улетело за гору!  
Вон другое — затоптано в грязь!

Что поделать с бедою такою?  
Поневоле сквозь тайную грусть  
Глянешь в небо — и машешь рукою:  
Ничего не сказалось? И пусть!

---

*ЧЕКАНОВ Евгений Феликсович родился в 1955 году в г. Кемерово. Окончив в 1979 году Ярославский государственный университет и получив специальность историка, он много лет работал журналистом в областных газетах. Окончил Литературный институт (семинар Юрия Кузнецова). Живёт в г. Ярославле.*

За тебя наворчатся морозы,  
И нашепчется всласть листопад,  
И бесстрашные юные грозы  
За тебя на весь мир прогремят!

## СЧЕТА

Что впереди? Надежд тщета.  
А сзади? Нищета.  
В почтовом ящике — счета.  
Оплачивай счета!

За телефон, за свет, за газ,  
За лишний метр земли.  
За всё, что прадеды для нас  
Оплошно сберегли.

Плати за ветхое жильё,  
За утлый двор плати.  
Контора пишет — и её  
Тебе не провести.

Тариф, расчёт, перерасчёт,  
Надбавка за ремонт...  
А завтра — счёт за небосвод,  
За ржавый горизонт,

За грязный грунт, за хлор в воде,  
За ртуть в седых дождях,  
За жизнь в болезнях и нужде,  
За смерть. За бедный прах.

Плати за всё — и не крути  
Похмельной головой.  
Ты выбрал рынок? Заплати  
За этот выбор свой!

## РОДНЫЕ ЛИЦА

Чтоб были дома мясо и картошка,  
Я каждым утром отправляюсь в путь.  
Жена и дочь мне машут из окошка,  
Любовь и жалость мне стесняют грудь.

Как жить и выжить, как нам не сломиться —  
Не ведаю. Но веру и любовь  
Так бестревожно льют родные лица,  
Что я на них оглядываюсь вновь.

И ясный свет в мою земную душу  
Струится тихо, словно благодать...  
Я не ропщу, не злобствую, не трушу —  
Я должен жить. Я должен выживать.

Пройдёт мой век — и бедной жизни крышу  
Вмиг позабыв, шагну я за порог,  
И оглянусь. И в тот же миг увижу  
Родные лица... Чьи — укажет Бог.

И мир займётся ласковым сияньем,  
И мест не будет сумраку и мгле.  
Любовь и вера станут оправданьем  
Моей греховной жизни на земле.

### СВЕЧА

Идут года. Но помню я тот дом  
И голос тот, во тьме дрожавший глухо.  
— Ты молишься?  
— Молюся.  
— А о ком?  
— А обо всех, — ответила старуха.  
— И обо мне?  
— Поди-ка спать ложись  
И не броди тут попусту до свету!  
— Иду, бабуся... А есть у мёртвых жизнь?  
— А ты как думал? Неужели нету!  
И я не знала... Да случилось мне  
С покойною сестрицею моею  
Запрошлым летом свидеться во сне.  
Вот как с тобой, беседовала с нею.  
Поговорили о делах мирских,  
Да как живу... А я живу-то просто —  
Не ем на злате, не хожу в куски  
И доплетусь однажды до погоста.  
Ой, что там я! Об дочке вот реву:  
Мужик в бегах, одной зарплаты мало.  
И не помочь, без пензии живу —  
Военных справок не насобирала.  
Дед слепнет, катаракта у его,  
А сын всё пьёт... Почто, скажи на милость?  
Зальют глаза, не видят ничего...  
Уж под конец я, дура, спохватилась —  
Присела против явленной души  
И говорю ей этак осторожно:  
“А ты хоть мне маленько расскажи,  
Как тут живут, и чьё тут царство... Божье?”  
А та вздохнула тяжко, словно въявь:  
“И тут всё то же... Только свету мало.  
Ты нам хоть свечку, милая, поставь,  
Нехорошо в потёмках...”  
И — пропала.

...Идут года. Но только стоит мне  
Закрыть глаза — и вижу я мгновенно  
И тёмный дом, и тени на стене,  
И бабу, преклонившую колена.  
Пред нею жарко теплится свеча,  
И яркий свет горит в глазах открытых...  
О, как её молитва горяча  
О всех ушедших, тёмных позабытых!

### ЦЕЛЬНЫЙ МИР

Взгляни на глобус — и представь на миг  
Былых столетий грозную картину:  
Как раскололся протоматерик,  
Америку и Африку раздвинув.

Теперь меж них Атлантика ревёт!  
А жившие у трещины когда-то  
Нам по цепи прислали генокод,  
Где навсегда записана утрата.

Но снится нам не рёв морских зыбей,  
А щебет птиц средь райского цветенья, —  
Так дети из распавшихся семей  
Лелеют в сердце светлые мгновенья.

Они глядят во тьму забытых ссор,  
И перед ними вспыхивают зыбко  
Семейный ужин, тёплый разговор,  
Смех матери, отцовская улыбка...

Вот знак с небес! Не гибель, не разрыв,  
А веру в нерушимость мирозданья  
Хранит душа, когда-то оттеснив  
Все трещины трагического знанья.

Наверно, Тот, Кто создал небеса  
И твердь Земли воздвиг в пустом эфире,  
Навек открыл нам тайные глаза  
На замысел святой о цельном мире.

Не оттого ль, сплетаясь, мы с тобой  
Земной любви рожаем междометья,  
А беспечальный глобус голубой,  
Крутясь, летит в грядущие столетья?

### СЛАВЯНСКИЙ СОКОЛ

В раздумье о самом высоком  
Пред самым запретным — не трусь!  
Гляди, как пикирует сокол  
Славянским трезубцем на Русь.

Свистят раскалённые перья, —  
Ну, что им две тысячи лет!  
И древние наши поверья,  
Хрипя, выползают на свет.

Огнём наливается руна,  
Хохочет народ у костра,  
И сумрачный идол Перуна  
На берег идёт из Днепра.

\* \* \*

*Ломать коням тяжёлые крестцы...*  
Александр Блок

В своих квартирах все мы храбрецы.  
Эй, мальчик-с-пальчик! Верь своим победам,  
Смирйяй рабынь, ломай коням крестцы,  
Но не спеши наружу, к людоедам.

И без того сейчас померкнет свет  
И тьма решит свой бег начать сначала.  
И, как былинка, треснет твой скелет  
В тяжёлой лапе века-каннибала...

## БУКЕТ

*Дочери Даше*

Большой букет улыбки,  
Румяный цвет-букет,  
Дитя моей ошибки,  
Ты не ошибка, нет!

Ты дар небес цветущих  
Двум умным дуракам,  
Букет страстей грядущих  
И путь к иным векам.

\* \* \*

Тридцать лет пролетят — мы очнёмся с тобой стариками.  
Я заплачу тихонько. Обнимешь меня, загрустишь.  
Говорить? Но о чём? Всё давно уже сказано нами.  
Замолчать? Но зачем? В нашем доме давно уже тишь.  
Поцелуешь меня. Вытрешь слёзы мне жестом знакомым.  
— Время десять уже...  
— Я ещё посижу. Ты ложись...  
И ещё три часа просидим над семейным альбомом.  
И опять не поймём, что любили друг друга всю жизнь.

ЮРИЙ КРАСАВИН



## ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ПРАЗДНИКОВ

ПОВЕСТЬ

Молодой мужчина, его жена и их маленькая дочка хлопотали у подъезда жилого дома, собираясь в путь, явно неблизкий: выносили чемоданы, сумки, коробки, свёртки — всё это укладывалось в багажник и внутрь автомашины, расставлялось там и утискивалось.

— Не мешай, — сердито говорила мать дочери, которая бегала и прыгала вокруг.

Но девочку было не унять.

— А наши цветочки на подоконнике не засохнут? — приставала она к матери. — А рыбки не умрут?

— Ничего им не сделается, — утешал её отец.

— Может, отнести их Светке?

— Да не нужны Светке ни твои цветочки, ни рыбки! — с досадой отмахнулся он.

А на детской площадке рядом с качелями давно уже расположился парень в помятой кепочке-бейсболке и сильно потёртых джинсах. Он со жгучим чувством зависти и даже ярости смотрел на эту счастливую семью.

— Валентин Аркадьич, куда это вы собираетесь? — окликнула из лоджии четвёртого этажа кокетливая молодая особа в ярком, цветастом халате.

— К тёплому морю, Рита! — бодро отвечал он. — К тёплому морю!

— И надолго?

---

*КРАСАВИН Юрий Васильевич родился в 1938 году в с. Мелковичи Солецкого района Новгородской области. С августа 1941-го по август 1944-го — малолетний узник немецко-фашистских лагерей. Окончил Калязинский машиностроительный техникум (1959) и Литературный институт им. М. Горького (1969). Член Союза писателей СССР с 1972 года. Автор многих книг прозы. Лауреат премии им. Н. Островского за роман "Мастера" (1984). Живёт в г. Конаково Тверской области.*

— На весь отпуск, до сентября.  
— Вы по путёвкам?  
— Нет. У нас друзья в Гурзуфе и родня в Феодосии. В гости давно зовут...  
— Слышь, Витя, — сказала Рита в глубь своей квартиры. — Князевы на юг уезжают.

— Попутного им ветра, — отозвался невидимый с улицы Витя густым басом.

“Вишь, величают по имени-отчеству, — думалось парню, наблюдавшему за хлопотами. — Почему? Ведь мы с ним, пожалуй, ровесники. Но вот я всегда и для всех Толик, а он — Валентин Аркадьевич. Я Востриков, а у него и фамилия солидная — Князев. И жена, вишь, какая пышечка, словно одной сметанкой кормлена...”

Вчера поздним вечером контролёры высадили его в этом городке с электрички. Был он безбилетником, а ехал, сам не зная куда. Ночь провёл на вокзале, спал на голом скользком диване, его то и дело беспокоили проходившие мимо люди, он продрог на сквозняке от постоянно открывавшихся и гулко хлопавших дверей. Вчерашний день проболтался в другом незнакомом ему городе... и предыдущую ночь тоже ночевал на вокзале...

“Носит меня ветром, как сухой листок... Это что же, так и буду болтаться всю жизнь? Без определённого места жительства... бомж”.

Из разговора старших Князевых он понял, что квартира их на шестом этаже под номером пятьдесят девять, двухкомнатная, с лоджией... а вот автомашина не самой лучшей марки, однако новенькая, должно быть, недавно куплена... и одеты-обуты они, как полагается людям состоятельным.

— Холодильник отключил? — озабоченно спросила жена мужа.

— Да пусть работает! — отозвался он. — А то отсыреет, заплесневеет за месяц-то.

— Газ перекрыл?

— Да ладно тебе! Всё я отключил и перекрыл. Ты думай, как вещи лучше разместить. Что-то у нас их многовато.

Она порылась в сумочке, сказала озабоченно:

— Ключ от квартиры не потерять бы. Или украдут вместе с сумкой. Вернёмся — придётся дверь выламывать, как в прошлый раз.

— Давай вот что... — тихо сказал ей муж. — Один ключ с собой возьмём, другой спрячем прямо здесь, а?

— Дайте мне! — подскочила к ним дочка. — Я знаю куда! Всегда там прятала, когда гуляла.

Она нырнула под куст жасмина возле подъезда, выбралась оттуда, отряхивая ладошки.

— Потом не найдёшь, — предостерег её отец.

— Не-а! Я воткнула в землю и камешком приложила, плиточкой такой. Туда только кошки лезят, а больше никто.

— Ладно... Ну, что, поехали? Садитесь!

Они уселись, машина попятилась, отъезжая. Из окошка с заднего сиденья высунулась детская ручка, помахала неведомо кому.

Толик Востриков, сразу потеряв интерес к происходящему, встал с детской скамеечки и отправился куда глаза глядят.

Он долго бродил по городку. Побывал на рынке, постоял возле пристани, откуда отчалил и ушёл небольшой теплоход, посидел в сквере. И где бы он ни был, всюду ловил себя на том, что внимательно смотрит себе под ноги и по сторонам — надеялся, что кто-то обронил... хотя бы рублёвую монетку. Однажды ведь нашёл возле мусорной урны сторублёвую бумажку, её прибило ветром, но это случилось ещё на прошлой неделе, второй раз вряд ли так повезёт.

“Пивка бы”, — уныло подумал он и вздохнул.

Мимо него какой-то бедолага тащил ржавые железяки в приёмный пункт — наверное, этому счастливцу хватит на бутылку пива.

За всё время, пока бродил, его не оставляла картина: благополучное семейство отправляется на собственной автомашине к тёплому морю... Будут



лежать на пляже, нежиться в тёплой морской водичке, гулять по людной набережной, сидеть вечерами в кафе или даже в ресторане. Целый месяц блаженной жизни! И, небось, не в первый раз они так-то.

“Одному везёт — почему? за что? за какие заслуги? А другому — ну нисколючко... Чем я провинился перед Богом и людьми? За что такое невезение?”.

Размышляя таким образом, Толик Востриков вернулся к дому, возле которого сидел поутру, вернулся просто так, без всякой цели — ноги сами привели. На детской площадке повизгивала ребятня. Неподдалёку женщина охлопывала цветастый ковёр — звук этот эхом отдавался от стены дома. У знакомого подъезда Толик постоял, огляделся: на него никто не обращал внимания. Заглянул под жасминный куст и увидел там камень-плиточку. Копнул — достал ключ.

Далее он действовал, почти не размышляя. Лифт поднял его на шестой этаж. Тут было тихо. Где-то внизу разговаривали две женщины, чему-то смеялись. Дверь в пятьдесят девятую квартиру была обыкновенная, как у всех. Сунул ключ в замочную скважину, повернул — дверь послушно отворилась. Вошёл, осторожно притворив её за собой. Как это легко оказалось — войти в чужое жильё, когда там никого нет! Постоял, со смущением и даже в растерянности ожидая: вдруг кто-нибудь выйдет из комнат: “Ты кто такой? Что тебе здесь надо?”... Сердце тревожно стучало.

Но никто не вышел, полная тишина царила вокруг. Хозяева небось уже Москву миновали по объездной дороге и катят теперь по широкому шоссе в потоке машин на юг — к морю, к морю! Но квартира хранила хозяйское присутствие.

В прихожей ему, пришедшему сюда с улицы, где был сияющий день, показалось сумрачно. Щёлкнул выключателем — при ярком свете стало видно, как тут чистоенько и пусто. На вешалке одиноко висела куртка-дождевик. “Надо примерить, — решил было *гость*, но передумал. — Не теперь, потом...”.

Он потоптался, посмотрел на свои рваные и грязные кроссовки, выглядывавшие из-под истрёпанных штанин, запачканных неведомо чем. Кричащее несоответствие его одежды с чистотой прихожей смутило его, и он машинально разулся. Однако легче не стало: теперь на чистом полу топтались его босые ноги — из рваных носков выглядывали пальцы в траурной кайме грязи под ногтями.

Перевёл взгляд повыше и увидел на стене живописный прошлогодний календарь: сосновый бор, зеркальное лоно лесного озера, на фоне высокого чистого неба — кудрявые верхушки сосен; это было словно окно в другой мир — того и гляди послышится пенье птиц.

Справа и слева — золотые занавески с орнаментом из диковинных растений, похожих на гибкие водоросли. Правая неплотно прикрывала остеклённую дверь в комнату, левая — свободный проём. Толик нерешительно ступил налево, отвёл занавеску рукой. Перед ним были две двери, на каждой из которых он разглядел по маленькому шаловливому рисунку: малыш под дождичком и ещё один малыш — на горшке. Ясное дело — ванная комната и туалет.

Рядом вдруг заворчал холодильник — Толик вздрогнул.

— Чего рычишь? — тихо спросил он. — Я тебя тронул? Не тронул. Ну, и не рычи.

Не до холодильника ему было пока: грязные ноги смущали его, и он отворил дверь с нарисованным дождичком.

“Ну, плитку-то могли бы положить поровнее”, — оценил Толик, окидывая взглядом стены.

В чём, в чём, а в этом он знал толк: давно ли сам украшал кафелем такую же ванную.

Разделся, встал под душ — вот оно, блаженство! Плескался долго: куда спешить, раз уж выпал счастливый случай. Потом завернулся в большое махровое полотенце и вышел из ванной, ощущая, как ликует всё его тело, истомлённое за минувшие скитальческие дни пропотелым бельём и стоптанной

обувью. Чувство лёгкости душевной и телесной овладело им. Пусть хозяева квартиры блаженствуют на море, а он, Толик Востриков, поживёт тут!

Комната, в которую он вошел, оказалась детской: в углу — куклы, зайцы, мишки белые и бурые, большие и маленькие; на подоконнике — книжки с картинками, в углу у окна — большой аквариум. Толик постучал по боковому стеклу пальцем — рыбки тотчас с любопытством уставились на него: мол, кто ты такой, мы тебя прежде не видели. Была тут пара “мраморных” — медлительных, прямо-таки величавых... чёрная рыбка-“монашка” — она держалась одиноко в стороне... два сомика хлопотливо рылись на самом дне в песочке среди мелких камушков, над ними барбусы гонялись друг за другом среди водорослей...

Немного озадачило то, что одна стена детской от пола до потолка была заклеена цветными картинками, вырезанными из газет и журналов, они лепились одна к другой тесно, без просветов: рощицы, лужочки, цветочки, зверюшки... Ясно, что таким художеством занималась не только маленькая девочка — где ж ей достать до самого потолка! — а и кто-то из взрослых, небось, оба родителя.

Но некогда было ему рассматривать эту пестроту. Толик движим был уже проснувшимся азартом: а что ещё есть в этой квартире? Прошёл в другую комнату, более просторную. Тут на полу лежал ковёр с геометрическим рисунком... ещё один ковёр висел на стене над широкой кроватью, яркий, с преобладанием красного цвета... диван у стены, а напротив — телевизор с широким экраном... письменный стол... шкаф платяной и шкаф посудный.

“Вишь ты, на столе-то — ноутбук! — отметил Толик. — За него можно выручить неплохую денежку”.

Новый хозяин квартиры добыл себе из платяного шкафа домашнюю одежду, обрядился: оказалось, он с этим самым Валентином Аркадьевичем почти одного роста.

Включил телевизор и тотчас испуганно убавил звук: как бы не услышали соседи. Двое дикторов с телеэкрана попеременно рассказывали ему о том, что в арабских странах Северной Африки совершаются “цветные” революции, что где-то в море возле Малайзии затонул паром с людьми... а в Калифорнии горят леса...

“Ну, это их проблемы, — решил Толик и выключил телевизор. — У меня своих достаточно”.

Некоторое время он стоял посреди комнаты, осматриваясь. Вон посудный шкаф, но ничего особенно примечательного в нём не было, так себе: дешёвенький чайный сервиз на шесть персон, бокалы из простого стекла, высокие гранёные стаканы, может быть, даже хрустальные... там же и электрический самоварчик ещё советского производства, но вряд ли хозяева им пользовались.

На стене, где не было ковра, разместились *картины*: календари прошлых лет, вроде того, что в прихожей; на них был лес такой и сякой, речка, залив озёрный — всё этакое спокойное, умиротворяющее. Там же висела и фарфоровая настенная тарелка, и на ней была изображена мирная картинка: дворик, заросший травой, дощатые сарайчики, колоколенка церкви на заднем плане, дети, играющие на лужайке, не нынешние дети, а дети из далекого прошлого. Чуть повыше — вырезка из какого-то журнала: в старенькой баньке, вернее, в предбаннике без крыши обнажённая молодая женщина с распущенными по спине волнистыми волосами повязывала шаль на голову девочки лет пяти, сидя перед нею на корточках. Снежок на них падал лёгкими пушинками. Надпись под картиной: “А. Пластов. “Весна””.

— Была б у меня такая жена, — мечтательно сказал Толик сам себе, — да домик с банькой на берегу реки... Что ещё нужно человеку для полного счастья!

И снова он почувствовал странное присутствие хозяев. Оно исходило и от детских игрушек в маленькой комнате, и от посуды в шкафу, а главное — от этих картинок, развешанных по стенам. Понятно, что на той, с названием “Весна”, была изображена не жена Князева и не их дочь, однако... как они похожи!

Посидев на диване, Толик встал и отправился проверить, нет ли чего в холодильнике: он был голоден. Тут он удовлетворённо сказал вслух:

— Ого! Есть чем поживиться!

В холодильнике стояли банки с консервами — с рыбой, со свиной и говяжьей тушёнкой, с курятиной... пластиковая коробка с надписью “Топлёное коровье масло”... и даже упаковка яиц: не успели съесть их хозяйка, так не с собой же брать!

— Балыков нету, — отметил Толик весело. — И чёрной да красной икры... забыли оставить для меня, почётного гостя.

С банкой свиной тушёнки отправился он на кухню, озабоченно хмурясь: — Хлеба надо...

На его счастье, в деревянной расписной хлебнице нашлась горбушка. Вскрыв банку и принялся торопливо есть, словно боялся, что отнимут. Выскреб остатки, удовлетворённо похлопал себя по животу. Он чувствовал себя таким Робинзоном, выброшенным на необитаемый остров. Терпел бедствие, чуть не погиб в бурном житейском море и вдруг оказался на спасительной территории, богатой всяческими благами. Открыл дверцу высокого, под самый потолок шкафа — там оказались упаковки с вермишелью, макаронами...

— Э, балда! — укорил себя Толик. — Надо было сварить их да с тушёнкой... по-флотски.

Ещё в шкафу хранился немалый запас круп — гречневая, пшёнка, рис... две бутылки с маслом подсолнечным и оливковым... сушёные фрукты...

Вернулся в комнату, которую уже стал именовать своим кабинетом, постоял тут, оглядываясь, и только теперь заметил в углу, на полке с книгами, две иконы.

“А что, хозяйка верующие? — не то чтобы удивился или озадачился, но отметил для себя Толик нечто необычное для городской квартиры. — Не хватает только лампадки”.

На одной из икон изображены были в полный рост восемь человек, у каждого золотой нимб вокруг головы, а лица — словно живые, у некоторых даже румянец на щеках, в глазах — чистая синева, а одежды яркие, отчётливо видна каждая складка — как на цветной фотографии!

Он снял эту икону с полки, стал рассматривать.

Впереди стоял красивый старец, именно красивый, — румяное лицо в обрамлении белых волнистых волос, аккуратно подстриженная борода, лоб высокий, чистый, без морщин. Если б не благородная седина — крепкий мужчина, совсем не старик. Он держал в руках толстую книгу в богатом, должно быть, серебряном окладе, а облачён был в свободно ниспадающие одежды пурпурного и зелёного цвета, на груди — золотой крест, по сторонам головы сверху вниз начертано славянской вязью “Св. Николай... Чудотворец”.

За левым плечом его поместился другой старец с лицом аскетическим, с длинной бородой.

“Постами себя истомил, бедолага. Ишь, какой худой!” — посочувствовал святому Толик.

Старец этот был, однако, грозен, в правой руке держал крест, словно обороняясь от смотревшего на него живого человека.

Над головой этого старца написано: “Св. Пр. Черн. кн. Николай”. То есть это Святой Преподобный Черниговский князь Николай. В левой руке он тоже держал книгу, раскрытую.

“Советует мне книжки читать”, — решил Толик.

Рядом с черниговским князем, ставшим суровым монахом, чуть выступая вперёд, поместился ещё один старец с лицом тоже исхудавшим, седобородый, обозначенный как “Святой Преподобный Сергей Радонежский”. В левой руке он держал длинный свиток, на котором Толик смог прочесть только два слова — “Господь” и “Вседержитель”.

Между прочим, благословляли эти милостивцы его, квартирного вора, двуперстием, а не троеперстием.

“Староверы”, — решил Толик.

Под их взорами он почувствовал себя неловко: они явно принимали его за достойного человека, а разве он таков? Они явно ошиблись. Ведь сразу же стал примеряться:

“А сколько запрашивать за эту икону, если продать? Как-никак жи-вопись...”

Рядом со старцами поместились женщины. Впрочем, нет, одно лицо воспринималось как женское, но это оказался юноша — Святой Пантелеймон; он почему-то держал в руках кисточку и раскрытый ящичек — должно быть, с красками.

“Наверное, художник, иконописец...”

А над женскими головами было обозначено: “Святая Царица Александра”, “Святая Преподобная Мария Египетская”, “Святая Мученица Любовь” и “Святая Мученица Калерия”.

Юный лик царицы Александры более других очаровал Толика; она была с диадемой в волосах, золотые гирлянды спускались по сторонам её лица.

Полобовавшись, он бережно поставил икону на прежнее место. Вторая его не заинтересовала.

Его ждала очередная радость, которая воодушевила его гораздо сильнее: в посудном шкафу открылась сияющая ниша, а в ней — необычные, нарядные бутылки; они отражались во внутреннем зеркале, оттого их казалось много. Толик доставал их поочерёдно, одну за другой, садился на диван и читал написанное на этикетках.

Пузатенькая, на манер круглого графинчика с высоким горлышком; на ней написано по-инострannому, не читаешь, а по-русски обозначено: “Коньяк Курвуазье ВС”. Кто такой этот Курвуазье или что это такое — по-ди разберись.

— Жаль, маловата, — посетовал Толик, любуясь “графинчиком”. — Всего триста пятьдесят граммов — на два стакана не хватит. Можно управиться за один присест.

Четырёхгранная бутылка с шотландским виски, названным “купажным”, — слово благородное, прямо-таки аристократическое. Но что оно обозначает?

Джин в плоской фляжке карманного размера, на ней с одной стороны — силуэт моста и замка, с другой — некто в красном кафтане и в шляпе, с острой пикой в руке...

Ещё одну бутылку приласкал он в ладонях, на её этикетке — пиратского вида человек, названный капитаном Морганом, поставил ногу на боченок... уж точно не на пустой, а, надо полагать, с ромом! Правая рука — на эфесе сабли, а ещё две сабли валялись у него в ногах — небось, тех, кого он ограбил и сбросил в море. Вдали маячил корабль под парусами. Лихие времена!

Высокая бутылка с названием “Красный Кардинал”, к сожалению, была пуста; на этикетке — человек в мантии и в красной камиллавочке на макушке любовался вином в бокале, держа его в руке. Солнечный свет высвечивал благородный напиток, играя в нём.

— А вот и ты, родимая!

Толик извлёк фигурную бутылку с прозрачной жидкостью и с рельефным обозначением по стеклу “Императорская коллекция”. Тут сомнений не было: водка.

— Уж точно не поддельная, раз в такой посудине!

Бутылка была красиво запечатана, на колпачке — охранительный двуглавый орёл.

— Эту потом возьму с собой, — решил Толик. — А нет ли чего попроще?

Нашлась и попроще: в углу скромно стояла высокая деревянная матрёшка, внутри у неё оказалась “Столичная”: наверное, дружеский подарок хозяину квартиры.

— Вот это как раз то, что надо! — провозгласил Толик и отправился на кухню, держа её за горлышко.

Оглянувшись на иконы, приостановился, виновато пояснил:

— Я немного... с устатку.

Рюмки не нашёл, налил в чайную чашку, выпил. А закусывал маринованными огурчиками из стеклянной пол-литровой банки. Теперь ему стало хорошо, от усталости не осталось и следа. Он развеселился, потанцевал в кухне, жуя огурчик, вышел в ту комнату, где был телефон, набрал номер наугад — никто ему не ответил. Набрал другой, потом третий... Наконец, отозвалась женщина.

— Простите, у вас горячая вода есть? — осведомился Толик.

— Есть, — благожелательно отвечала она.

— Мойте ножки и ложитесь спать, — посоветовал он ей и положил трубку.

Набрал ещё номерок — ответил мужчина грозным басом.

— Проверочка телефона, — вежливо сообщил ему Толик. — Постучите, пожалуйста, трубочкой по голове.

— По твоей? — мрачно спросил этот мужик.

— По своей, по своей.

Позвонил в “скорую помощь”:

— Бабу надо!

— Какую? — недоумённо спросили у него.

— Любую! Срочно!

Однако поспешно положил трубку: могут вычислить через телефонную станцию. Вернулся в кухню, налил ещё водки, выпил залпом, закусил, опять потанцевал и так, танцуя, вышел в детскую комнату, остановился перед стеной, залепленной картинками поверх обоев.

Чего тут только не уместилось! На лугу девки в цветастых сарафанах водили хоровод... монах звонил в колокола... гусары в пороховом дыму скакали по Бородинскому полю... молодые пары кружились в бальном танце... Лев Толстой за семейным столом речь держал — кадр из фильма... княгиня Волконская с младенцем соседствовала с поэтом Сергеем Есениным... девочка кормила с берега какого-то водоёма домашних уток и белых лебедей, на неё с интересом смотрела собака, а неподалёку паслось стадо коров, и пастух тоже смотрел в сторону девочки с лебедями...

Всё на стене шевелилось, птички пели, люди смеялись тут и там, ветерок рябил воду в речке...

Сон необоримо овладел Толиком Востриковым. Он разобрал постель и расположился на супружеском ложе Князевых... по-княжески. Однако уснуть не мог: слишком мягко — не вокзальное сиденье — и пахнет какими-то духами, а одеяло невесомое, небось, пуховое...

Он всгнал, перешёл на диван, улёгся и тотчас уснул.

А проснулся глубокой ночью и не сразу смог понять, где он и что с ним. По потолку беззвучно двигалось из стороны в сторону пятно света — от уличного фонаря, который раскачивал ветер.

“Так я же в чужой квартире... с удобствами! Мне ж счастливый случай выпал!”

Лёжа на диване под лёгким одеялом, Толик всем существом своим ощущал, как ему уютно здесь, как славно. Квартира словно бы признала его хозяином, приняла в своё охранительное лоно. Да, она так же хлила и лелеяла его, как и прежних хозяев, — вот что удивительно!

С хорошим чувством в душе Толик опять уснул, но не глубоко — нелепые сны чередой сменяли друг друга; то были лёгкие и красочные, можно сказать, весёлые сны: он звонил в колокола... лебедей кормил с руки... встретил стадо коров, при котором пастухом был монах с крестом вместо кнута... зачем-то воду черпал из колодца... а в колодце почему-то пели птички... Глупые, но очень радостные сны.

Утром он прежде всего отправился в ванну — принять душ, как это делают нормальные, благополучные люди. Потом приготовил яичницу-глазунью, заварил хорошего чаю... Позавтракав и испытывая чувство благодарности к этому жилью, приютившему его так великодушно, так славно, он вымыл посуду, говоря себе:

— Соблюдаем чистоту и порядок! Я тоже кое-что стою!

А почему вдруг возникло это суждение о собственной значимости, неведомо.

Ему хотелось двигаться, руки-ноги просили дела! К тому же он был воодушевлён, то есть и душа, и тело его жаждали созидательного действия!

“Что я могу тут сделать? Какую пользу принести?”.

Он отыскал пылесос... но вместо того, чтоб заняться уборкой, вспомнил про иконы, снял с полки старую.

Она была составлена из двух досок, скрепленных с обратной стороны поперечными планками. Изначально эти доски, конечно же, плотно прилегали одна к другой, но со временем усохли, вертикальная трещина разорвала изображение на две неравные части. Кое-где краска пооблупилась, обнажая ясно сияющую желтизну.

— Золото, — предположил Толик. — Настоящее! Тут обмана быть не может.

По углам иконы разместились святые евангелисты: Матфей, Лука, Иоанн и Марк, а в самой середине — квадратик покрупнее прочих с изображением Вознесения Христова. Не менее двух десятков людей объединены здесь главным событием: земной человек — Сын Божий — на их глазах вознесился к Богу... Это срединное событие как бы притягивало к себе другие иконки, поменьше, размером со спичечный коробок: “Тайная Вечеря”, “Несение Креста”, “Распятие Господа нашего Иисуса Христа”, “Снятие со Креста”, “Положение во гроб” — таких квадратиков было двенадцать. Все вместе они составляли большой квадрат, вокруг которого расположились ещё шестнадцать с изображением Благовещения, Рождества, Крещения, Троицы... Толик пересчитал все иконки — их оказалось двадцать девять, да ещё четыре угловых, с евангелистами.

“А мне двадцать девять лет, — осенило Толика. — И хозяева уехали, небось, как раз на такое же количество дней. Совпадение! И уж не зря... Так велено им... так велено и мне”.

На маленьких иконочках краска кое-где тоже облупилась, и видно стало, что некоторые силуэты изображенных тут людей из библейских времён просто прочерчены или отштампованы, а уж по ним расписаны чистыми красками.

— Ценная вещь, — вслух соображал Толик. — Если в долларах, то не меньше тысячи. А может, больше?

Он размышлял сам с собою: “Если продать, то кому? И где? Идти на рынок? Или на вокзал: не нужна ли, мол, кому древняя икона... Нет, это делается как-то не так... Надо везти в Москву, в антикварный магазин... я видел такие на Старом Арбате... Но там спросят: откуда взял? Кто таков? Документы!”.

Паспорт у него был, но стоило ли его показывать кому-то? Не надо светиться с паспортом лишний раз, и вообще теперь ему следует быть осмотрительным, осторожным.

“В Москве барыги всех сортов пасутся... Отведут в закоулок...”.

Думая так, Толик поймал на себе взоры тех восьми святых, которых рассматривал накануне. В них было выражение такой отрешенности от мирской суеты и жалости к нему, занятому суетными, грешными мыслями, что он опять смутился. А смутясь, почтительно вернул старую икону на прежнее место и сел на диван.

“Мне вышло двадцать девять праздников, счастливых дней. Вчера было *благовещение*, а сегодня я *родился*... Так продолжим праздничные дни! — решил он и вздохнул: — А в конце срока меня поймают и распнут... если, конечно, я вовремя не улизну отсюда”.

При таком течении мыслей — ишь, с кем и с чем себя сопоставил! — он виновато посмотрел на иконы: мол, простите меня, дурака, не велите казнить. Он не то чтобы испугался, но опасение было: не прогневать бы этих взыскательных особ. Они уже обрели над ним власть.

Чтоб задобрить их, принялся пылесосить ковёр. Долго, старательно трудился, а закончив с этим делом, опять вернулся к иконам, постоял перед ни-

ми: очень они его занимали, особенно старая, растрескавшаяся, на которой тут и там проглядывало золото. К тому же хотелось хоть немного разобраться в этих “праздниках”, в чём их содержание и смысл — “Воздвижение”, “Крещение”, “Тайная Вечера”...

Он и прежде видел на полке толстую Библию, а рядом стояла книжка поменьше форматом, и на корешке её было чётко обозначено: “Новый Завет”.

“А что означает слово “завет”? — кажется, впервые в жизни озадачился Толик таким вопросом. — Говорят: заветная мечта, заветная цель... То есть самая главная, самая дорогая, задушевная. А что это для меня, любителя халявы? Забраться в чужую квартиру и попользоваться чужим добром?”.

Тут он как бы споткнулся в своём исследовании и стал оправдываться, сам не понимая, перед кем:

“Но я же никогда о том не думал и планов таких не строил! Случайно получилось! Тут нет моей вины! Явная подстава...”.

Раскрыл он малую книжку и прочёл: “Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие”. Тут из книжки с тишайшим шелестом выпали три денежные купюры, каждая по тысяче рублей.

— Эва как! — сказал он вслух.

Небось, хозяева отложили эти деньги на какое-то богоугодное дело — молебен отслужить в память о ком-то или на построение храма. А он забрёт себе — хорошо ли это? Не прогневаются ли на него эти святые? Накажут ещё, пожалуй, каким-нибудь несчастьем...

— А разве помочь мне, бездомному, неимущему, не богоугодное дело? — спросил Толик у кого-то.

Ответа не последовало, и деньги он убрал к себе в карман.

В детской комнате он остановился перед стеной, залепленной картинками, и теперь уже надолго задержался перед нею. Подвинул стул и уселся напротив, продолжая её разглядывать. Тут было на что посмотреть.

Под потолком небо с облаками и озеро... на дальнем его берегу возвышался белый величественный собор... уж не новгородская ли София? В Великом Новгороде Толик был, потому помнил её. И Золотые ворота во Владимире видел — вот они, поместились под берёзовой рощей. Храмы большие и маленькие воздвигнуты были в разных местах стены — Троице-Сергиева лавра... московский Новодевичий монастырь... церковь в селе Городня-на-Волге... А храмов Покрова-на-Нерли было даже два — один вознёсся к потолку, другой опустился к полу, открывая даль и там.

Под озером с вознесённым к небу-потолку собором росли две раскидистые, кудрявые сосны — как супружеская пара в тесном единении. Чуть в стороне — стадо коров, за ним столпились деревья, показавшиеся Толику знакомыми.

“Очень похоже на наше деревенское кладбище... Но пастух не наш, незнакомый”.

Прямо перед ним замерли четыре барашка, белые, словно только что отмытые в ванне; два из них уставились на него, а другие щипали травку. Вид у барашков был глупый, отчего Толик невольно улыбнулся.

Отдельно от них паслось десятка полтора породистых овец в богатых шубах, а среди них то ли стояла, то ли сидела круглолицая девочка — это была дочка хозяев квартиры. Её фотографию вклеили так аккуратно, словно девочка и впрямь находилась среди живых овец.

Чего только не уместилось на этой пёстрой стене! И гроздья яблок, и парень с гармошкой, и картина Саврасова “Грачи прилетели”, и гнездышко с птенчиками, и двое деревенских стариков, убирающих в огороде картошку, и лица красивых улыбающихся девушек, и крещение младенца в купели, и рысистая лошадка с лёгкими санками, и деревенька в сутробах, и “Последний день Помпеи” Брюллова, и рисунки Нади Рушевой из пушкинского цикла... Всё это разбежалось по стене без какого-либо общего замысла или сюжета, не угадывалось никакой логики в подборе и размещении картинок, но каждая стояла того, чтоб полюбоваться ею, а вместе они производили радостное, бодрое впечатление.

На глаза Толику попался альбом с фотографиями: семейство Князевых, три его поколения. Самый старший — военный, подполковник, рядом с ним жена, статная красивая женщина, и мальчик — это, конечно же, их сынок, то есть будущий Валентин Аркадьевич. Вот он уже школьник — видно, что примерный ученик... Вот он в армии — десантник! Ничего, крепкий парень... Вот пухлощёкая девушка в свадебном наряде — это жена храброго десантника, уже демобилизованного. И дочка их — сначала в младенчестве, потом постарше, вот учится ходить... Вот семья Князевых у туристической палатки на берегу реки играет в волейбол... Вот они за праздничным столом со множеством гостей — все такие весёлые, смеются...

Толик пролистал альбом, хмурясь: он позавидовал хозяину, а потому больше его не открывал.

Телефон несколько раз беспокоил его: вдруг оживал и начинал трезвонить, иногда очень настойчиво, и Толик замирал. Он ожидал, что после телефонного последует однажды и звонок в дверь, но этого не случилось.

“Ха! А если явится кто-то, вроде меня? — однажды подумалось ему. — Ототрёт дверь и войдёт... а тут я...”

Он живо представил себе, как поздно ночью слышится подозрительный шорох за дверью; кто-то вставляет ключ в замочную скважину, а он, Толик, подкрадывается и смотрит в дверной глазок: на лестничной площадке темно, чья-то фигура... Вот дверь открывается, “хозяин” включает яркий свет в прихожей, конкурент — топ-топ-топ — убегает по лестнице вниз.

А если не убегает? Будет криминальная разборка: “А ты кто такой?” — “А ты кто такой?”. Потом решали бы, как разделить добычу из этой квартиры... Так, что ли?

Но конкурент не появился. Тихо, мирно было и днём, и ночью.

Постепенно выяснилось, что во всех углах квартира эта наполнена всяческим добром: в шкафу женская шуба норковая, куртка мужская меховая, пиджак кожаный, а наверху аккуратно упаковано несколько шапок меховых... по иным местам расставлены свитера мужские и кофты женские разных фасонов... В нише тумбочки под телевизором — аппарат под названием рекордер, чтобы фильмы просматривать. В углу под книжными полками — музыкальный центр и набор дисков к нему: в основном, классическая музыка и старинные русские романсы. Шкатулка с бижутерией на столике перед зеркалом-трюмо.

— Ишь, сколько всякого барахла! — вслух дивился Толик. — Таскать — не перетаскать.

В кухню зайдёшь — мясорубка, кофемолка, соковыжималка... Более всего Толику понравилась недавно купленная и ещё не бывшая в употреблении кастрюля с крышкой из толстого стекла, с ручками — она просто очаровала его своей формой и сиянием. Толик полюбовался ею и ещё раз повторил:

— Таскать — не перетаскать...

Но куда таскать? И что именно взять с собой, а что оставить? Где спрятать?

— А я бы всё взял! — сказал себе Толик, оглядываясь. — По бедности моей мне всё пригодится.

Но опять-таки где “пригодится”, если у него нет жилья? Даже на хранение негде оставить.

“Прихватить бы вместе с этой квартиркой... изъять её вертолётном из этого дома и... куда-нибудь... в лес, на берег речки”, — размышлял он.

Была у него и такая мысль, показавшаяся сначала разумной: вывесить объявление по городу о том, что продаётся, мол, срочно весь домашний обиход по дешёвой цене... Набегут покупатели, вот и распродать бы всё да и улизнуть налегке в толстой пачкой денег. Но едва только вспоминал, что придётся “улизнуть” отсюда, сразу портилось настроение.

“А с собой всего не возьмёшь”.

Его прямо-таки восхищало то, что в чём ни появишься нужда — всё под рукой, всё наготове. Вот ящичек металлический, в нём по секциям разложе-



ны и гвоздики, и винтики, и шурупчики, и отвёртки, и плоскогубцы — коли надо что-то подремонтировать в квартире, всё под рукой, любой инструмент... перегорела лампочка в люстре — в запасе есть такая же; поранил палец — вот он, пузырёк с йодом, и бинт...

Можно было не выходить на улицу и день, и два, и целую неделю жить-поживать — валяться на диване, смотреть телевизор, что-нибудь читать. Но не хватало главного — хлеба. Без хлеба — что за жизнь, а тем более — что за праздник!

И он решился... Добыл из шкафа костюм, недавно выглаженную рубашку, долго мучился, повязывая галстук, но справился, наконец.

“Я только с виду дурак, а вообще-то я умный, — не без горделивости подумал он, поворачиваясь перед зеркалом и так, и этак. — Мне просто не везло в жизни, как другим. Им-то везёт ни за что, ни про что — в этом всё дело... Взлетают, как самолётики с подготовленного аэродрома... Папы-мамы у них, дачи за городом... А у меня ничего. Вот только теперь немного подфартило”.

Некоторое время постоял перед дверью, прислушиваясь. Посмотрел в дверной глазок — на лестничной площадке никого. Быстро отпер дверь и тихо выскользнул из квартиры. Вышел на улицу и шагал, независимо поглядывая по сторонам, совсем не опасаясь, что кто-то его остановит, спросит: а почему ты в чужом костюме? Разве он похож на вора? Хорошо одетый молодой человек, в новеньких туфлях, в свежей рубашке и при галстуке... Встречные девушки поглядывали на него с интересом.

А возвращался из магазина, закупив того и сего, со страхом: вдруг сломался дверной замок по какой-то причине, и не сможет отпереть его! Не слишком ли рисковал, покидая тёплое, уютное гнёздышко! Можно было обойтись и без хлеба — не велик барин! Макароны есть, и даже мука — пеки блины и живи-поживай. Но вот захотелось пройтись нарядным. Прошёлся, получил удовольствие... Что ж, на городской улице он выглядел вполне достойным гражданином, но возле дома что-то заставило его пригнуть голову. Шёл, воровато оглядываясь по сторонам.

Надо было так угодить в лифт, чтоб никто не вошёл вместе с ним в кабинку. Потом быстро — к двери, отпереть и неслышно прошмыгнуть. И это ему удалось! Он постоял в прихожей, унимая волнение, потом переоделся в домашнее, аккуратно повесил на плечики костюм и постепенно успокоился. Оглянулся на полку, где стояли иконы — ему показалось, что лики святых смотрят на него вполне благосклонно.

“Я ведь ничего не испортил тут, ничего не украл! — утешал он себя, словно оправдываясь перед святыми. — Соблюдал чистоту и порядок, даже цветочки на подоконнике поливал и рыбок в аквариуме кормил...”

И ещё одна мысль утешала:

“Разве не могло быть такое: хозяйева оставили в собственной квартире своего друга на время, пока сами путешествуют на юг? Да, я не друг им, но ведь и не злодей какой-нибудь! Другой на моём месте всё испакостил бы, всё сломал... растащил и попрятал по углам...”

Утешаясь таким образом, он уже уверенной рукой достал с полки Библию и расположился на диване — читать. Открыл в самой середине — и угодил в “Премудрости Соломона”:

*“Подлинно суетны по природе люди, у которых не было ведения о Боге...”*

“Это про меня”, — вздохнул Толик и глубоко задумался.

Он задумывался и в следующие дни. Однажды размышления его были прерваны какими-то странными звуками, которые доносились из кухни: что-то стукнуло и послышался вроде бы плеск воды. Он пошёл туда и ахнул: под посудомоечной раковиной один из гибких, оплетённых блестящей проволокой шлангов оторвался, и кипяток хлестал на пол — по всей кухне растекалась лужа. Ступая по горячей воде, обжигаясь, приплясывая, Толик сумел дотянуться до крана и перекрыть его.

“Сейчас нижние соседи прибегут, будут стучать в дверь... вызовут бригаду спасателей...”.

Никогда он так поспешно, так проворно не работал. Покидал в лужу кухонные полотенца, выхватил из-под ванны таз, лихорадочно собирал в него горячую воду. Наконец почти насухо вытер пол и сел, тяжело дыша, на стул, некоторое время сидел, прислушиваясь к соседям. Судя по звукам, долетавшим через вентиляционную отдушину, переполох внизу не начался. Толик облегчённо перевёл дух, покрутил головой:

“Случись такое ночью или когда я ушёл в магазин, — залило бы кипятком всю квартиру, и нижних соседей до самого первого этажа... и всё, кончились бы мои праздники. Погоди-ка, а если бы я не забрался в эту квартиру, что было бы? Потоп! Беда не только для хозяев, уехавших на юг, а и для всех, живущих ниже, до самого первого этажа”.

Он ещё поразмышлял и сделал главный вывод:

“Так получается, что я не преступление совершил, забравшись сюда, а спас хозяев от большой беды. Премия мне полагается. Бутылка пиратского рому! Или французского коньяка ...Курвуазье”.

Он осмотрел оторвавшийся шланг — так и есть: верхняя гайка, что под самой раковиной, не выдержала напора горячей воды, сорвана резьба.

“Этот десантник привинтил кое-как... У него высшее образование, но нет среднего соображения”.

Стараясь не попадаться на глаза соседям, Толик сходил в хозяйственный магазин, купил новый шланг, привинтил его накрепко. Но пережитый страх давал о себе знать. Когда ложился спать, когда уже засыпал, вдруг слышалось ему: опять хлещет вода. Вскakiвал, бежал на кухню — нет, почудилось, всё в порядке.

День шёл за днём. Толик почитывал понемногу Евангелие да Библию, но это было слишком серьёзное чтение для его ума, на каждой фразе он оттаивался: как её понимать?

Почему Сын Божий явился именно в Палестине, а не в Греции или в Италии? Почему не в Индии или в Китае? А мог бы и у нас, на Руси...

Почему именно эта девушка по имени Мария в городе Вифлееме, а не в каком-то ином, была избрана Богом Матерью Его Сыну?

Кто такие волхвы, пришедшие с востока, и почему им такая вера, что царь Ирод, слушая их, встревожился настолько, что и решил подстраховаться: приказал умертвить всех младенцев в Вифлееме? Мало ли что наговорят старички!

— Это дебил какой-то, а не царь, — решил Толик. — Садист. Наверно, от его имени — Ирод — произошло слово “урод”.

А при чтении Библии вопросов было ещё больше... Толик тяжело вздыхал.

На той же полке стояла книга, которая привлекала Толика разве что своим внешним видом. К имени автора прилагалось духовное звание — архимандрит Тихон. На обложке в потоке света, льющемся с небес, была изображена фигура человека в монашеском облачении, а вокруг — дивный лес, должно быть, райский. Поначалу Толик решил, что это “Жития святых” или что-то вроде того.

Он и раз, и два брал эту книгу в руки, но возвращал на полку, не читая. А однажды раскрыл, полистал — его удивили портреты старцев и виды монастырей почти на каждой странице, а более всего — лица молодых монахов. Они были его ровесниками, лет им было около тридцати, и такие хорошие лица, такие просветлённые, осмысленные, вовсе не унылые, а даже весёлые. Толик долго разглядывал их, странным образом проникаясь доверием к ним.

В предисловии автор чистосердечно признавался, что прежде считал: в монахи идут *“либо фанатики, либо безнадежно несостоявшиеся в жизни люди... и ещё жертвы неразделённой любви”*.

— Так оно и есть, — согласился Толик.

Но на следующей странице автор книги, кстати сказать, тоже молодой человек, написал:

“...каждому из нас открылся прекрасный, не сравнимый ни с чем мир. И этот мир оказался безмерно притягательнее, нежели тот, в котором мы к тому времени прожили свои недолгие и тоже по-своему очень счастливые годы”.

А далее — о “прекрасном мире”, который “бесконечно светел, полон любви и радостных открытий, надежды и счастья, испытаний, побед и обретения смысла поражений, а самое главное — о могущественных явлениях силы и помощи Божией...”.

Это совершенно озадачило Толика и в очередной раз повергло в глубокое раздумье.

Иногда он заходил в детскую комнату, садился на стул перед стеной, залепленной картинками, и просиживал долго. Тут тоже был лучезарный, многокрасочный мир, такой для него понятный: вот луговое разнотравье... вот лоно речного залива... вот смеющиеся, счастливые люди... Ему было хорошо с ними.

Не выходя из квартиры, он перемещался из одного мира в другой и уже почувствовал, как что-то изменилось в душе его. Он уже не строил планов, как в конце череды праздничных дней унесёт отсюда иконы, ноутбук и кое-что из вещей: хотя бы свитер домашней вязки — роскошный свитер!.. а ещё меховую шапку да кожаный пиджак — о таком Толик прежде мог только мечтать... Но уж совсем невысказанно было представить, как он станет продавать что-то из унесённого отсюда, сколько денег выручит...

Он так вжился в эту квартиру, что она стала казаться ему своей. И даже странно было думать, что вот вернётся из поездки к тёплому морю благополучное семейство и вступит в свои права. А что будет с ним, с Толиком Востриковым? Его изгонят, как изгнал Господь из рая согрешившего Адама — из мира духовного, светлого и радостного, в мир плотский, земной, исполненный грехов и всяческой скверны.

А уже двадцатый день миновал... и двадцать первый... Всё это были не просто дни, а именно его, Толика Вострикова, праздники, от которых он никак не мог отказаться и прервать их череду. Однако же всё чаще его охватывало беспокойство.

— Ладно, завтра уйду, — говорил он себе. — Вот выплось хорошенько и уйду.

Но он не уходил. Ему жилось тут так хорошо, что не было сил покинуть неожиданно-негаданно обретённый дом.

“Я сюда угодил как, как мышь в крупу”, — говорил он сам себе.

Он со дня на день оттягивал прощание с обжитой им квартирой и строил разные планы, один другого благороднее. Один из планов — перед уходом написать письмо, примерно такое:

“Уважаемые хозяева, Валентин Аркадьевич... я прожил у вас в квартире почти месяц — это было самое счастливое время в моей жизни, потому очень вам благодарен... Признаю, что задолжал вот такую-то сумму и обязательно верну долг!.. А если пожелаете найти меня через милицию-полицию, то вот моё имя... Готов понести и уголовное наказание...”.

Он оставит это чистосердечное признание на самом видном месте. Князевы прочитают и поступят, как сочтут нужным, — это их право.

“Да, — говорил себе Толик, — так и сделаю. Я всё-таки не вор, а честный человек”.

Ему хотелось даже сходить в фотоателье, сделать свой цветной портрет и поместить его на той стене, где был такой счастливый мир картинок...

Но он не успел ни написать письмо, ни сходить в фотоателье. Именно в тот день, когда намеревался это сделать, после чего покинуть гостеприимную квартиру, вдруг стукнули в дверь, послышались голоса, хрустнул замок... и вошли хозяева. Толик услышал из прихожей мужской и женский голоса, хозяйская рука откинула занавеску, разделявшую прихожую и жилую комнату, и вошёл... этот самый Валентин Аркадьевич. Он упёрся взглядом в сидящего на диване Толика и остолбенел.

Несколько секунд они смотрели друг на друга.

— Ты кто такой? — спросил хозяин.

Толик в растерянности ничего не смог ответить.

— Ты зачем тут? — спрашивал приехавший хозяин.

Из-за его спины выглянула жена, и глаза её округлились. А Толик не мог произнести ни слова.

— Я квартирный вор, — наконец, молвил он и заторопился сказать главное. — Но я у вас ничего не украл! Только съел кое-что: тушёнку... кашу варил... макароны по-флотски...

— Так, — сказала хозяйка твёрдым голосом. — Придержи его, Валентин, я позвоню.

— Да погоди ты, — хотел остановить её муж.

Но она уже набрала номер телефона:

— Это полиция? Мы поймали вора... у себя в квартире. Срочно приезжайте. Запишите адрес...

Муж опять хотел остановить её.

— Нет-нет, — в свою очередь придержал его Толик. — Она правильно делает. Меня надо сдать в милицию... то есть в полицию. Я это заслужил.

— Сейчас приедете, да? — между тем говорила хозяйка. — Приезжайте скорей, а то он убежит.

— Нет-нет, я не убегу, — заверил Толик. — Я понимаю, за всё надо платить в этой жизни.

— Философ, — хмыкнул хозяин.

— За проникновение в чужую квартиру — статья в Уголовном кодексе. Я знаю, знаю.

— Да и я это знаю, — сказал Валентин Аркадьевич.

— Но я ничего у вас не взял, только еду... из холодильника... Да! И ещё три тысячи... в Евангелии лежали... тоже взял и за месяц потратил... на хлеб. Без хлеба жить трудно... Понимаете?

— Он жил тут долго! — ужаснулась хозяйка.

А её муж старательно напрягал морщины на лбу, соображая, как всё это надо понимать и что предпринять.

— Я прожил тут у вас самый счастливый месяц в своей жизни! — признался Толик и по-детски улыбнулся. — У вас очень удобная квартира. Я смотрел телевизор, читал книги... вот архимандрита Тихона... “Евгения Онегина” и “Войну и мир” — это я со школы помню, но тут прочитал словно новыми глазами. А Евангелие и Библию я прежде и в руках не держал.

Пока он говорил так, хозяйка осматривалась вокруг, заглянула в шкапу, тихо сказала мужу:

— Всё на месте... даже золотые серьги мои...

— Я бутылку рому из вашего бара выпил, — признался Толик. — Я раньше рома никогда не пробовал. Ничего, понравился... хороший ром. У вас тут всё замечательно!

И повторил:

— Мне выпал самый счастливый месяц в жизни. Я так и в полиции скажу.

У него был вовсе не виноватый вид. Напротив, Толик даже улыбался простодушно.

— Дурак и идиот, — сказал, вздохнув, Валентин Аркадьевич.

— Я тут — как в доме отдыха!.. У вас хорошая квартирка. Уютная очень.

В дверь позвонили.

— Сиди, — приказал хозяин гостю. — Это ребята из полиции. С наручниками для тебя.

Он вышел в прихожую и, слышно было, говорил:

— Извините, мы разобрались. Думали, вор... а это дальний родственник наш... Никогда его не видели, а тут свалился, как снег на голову... Спасибо, что приехали так быстро, но... Нет-нет, мы сами. Всего доброго!

Он вернулся, открыл шкафчик-бар, спросил у Толика.

— Что будем пить, сэр? Виски, коньяк, джин?

Толик в растерянности молчал.

— Ну, что же... пройдем на кухню, выпьем по маленькой... за знакомство.

Вышли, сели за стол. Хозяйка с недовольным видом порезала им колбасы.

— Посиди с нами, — сказал ей муж, откупоривая бутылку с заморским вином.

— Ещё чего! — отозвалась она и ушла.

— Жена у меня строгая, — сказал хозяин гостю.

— У меня строже, — сообщил Толик. — Была... Теперь нету.

— Надеюсь, не умерла?

— Нет. Просто не сошлись характерами. Пришлось удалиться...

Слышно было, как дочка их прибежала с улицы, разговаривала с матерью в прихожей. Мать её выпроводила и встала в дверях кухни, глядя насмешливо на сидевших за столом мужиков. К этому времени Толик уже рассказал Валентину Аркадьевичу о себе всё: и как оказался в их городе, и как проник в квартиру.

— Насколько я понял, это человек с потерпевшего крушение семейного корабля, — сообщил Валентин Аркадьевич жене.

Та ничего не ответила, стояла и смотрела на них молча. Кажется, она хотела лишь одного: чтоб гость поскорее ушёл. А муж её вслух рассуждал:

— Судя по тому, что не выпил всё из моих запасов, он не алкаш. Ничего не украл — значит, не вор. Квартиру содержал в чистоте — это тоже ему плюс.

— У меня тут ЧП случилось, — вспомнил Толик.

— Какое?

— Шланг вот тут, под раковиной прорвало, кипяток хлестал. Я в передней комнате сидел... вовремя спохватился... тут, в кухне, большая лужа была.

Хозяева переглянулись.

— И что? — насторожился хозяин.

— Я кран завинтил. Шланг осмотрел — на нём гайку сорвало. Сходил в хозяйственный магазин, купил новый шланг, заменил. Теперь всё в порядке, можете не беспокоиться.

— Соседи нижние не жаловались?

— Нет, не приходили.

— Твоя подруга — помнишь? — залила три этажа, — Валентин Аркадьевич выразительно посмотрел на жену. — Это удовольствие обошлось ей...

— До сих пор выплачивает, — тихо сказала ему жена.

Хозяин с гостем выпили по рюмке.

— Ну, и что ты теперь дальше намерен делать? — спросил хозяин.

— Не знаю, — отвечал гость.

— Будет искать ещё одну пустую квартиру, — подсказала хозяйка. — Такую же, как наша....

— Да ладно тебе! — одёрнул её муж.

Он внимательно посмотрел на Толика, спросил:

— В армии служил?

— В железнодорожных войсках.

— Значит, топор и гаечный ключ в руках держать умеешь.

Достал из кармана телефон, набрал номер:

— Алексей! Это я, Валентин... Привет, привет... Давно не виделись. Заехал бы, а?... Работы много... А чем занимаешься? Ещё один терем-теремок для ещё одного олигарха... Слушай, у меня тут знакомый... работу ищет... Красивенный, здоровенный, знаком с сантехникой... Возьми его в свою бригаду, а? Зарплату выдаёшь вовремя или как? А сколько? Пятнадцать... Слушай, он подъедет к тебе сегодня. Ручаюсь, парень неплохой... Вот и ладно... А к нам когда наведаешься? Недельки через две? Хорошо, будем ждать.

Спрятал телефон, обратился к жене:

— Принеси мне листок бумаги.

Та принесла.

— Вот я записываю адрес... Это отсюда три станции на электричке... Там будет деревня на реке... Записываю... Друга моего зовут Алексей Викторович. У него не одна бригада, а несколько, он строитель. Поработаешь, осмотришься, войдёшь в курс... А там, глядишь, и разбогатеешь!

— Спасибо, — прочувствованно сказал Толик, всё ещё не веря, что его отпускают, что всё принимает такой благополучный для него оборот. — Я потом вам верну всё, что тут... взял.

— Ну, что ты! Забудь. Кто из нас кому должен, ещё разобраться надо. С этим и жена его согласилась.

— Мы тебя сейчас экипируем и — в добрый путь.

— Да не надо... экипировать-то, — засмутился Толик.

— По одежке встречают, — напомнили ему.

И они его одели-обули.

— Мы с тобой почти одной комплекции, — приговаривал хозяин.

Квартирного вора проводили до двери, хозяин пожал квартирному вору руку, попрощались почти сердечно...

Но если честно, то у этой истории был другой конец. Только мне не хочется о том писать.

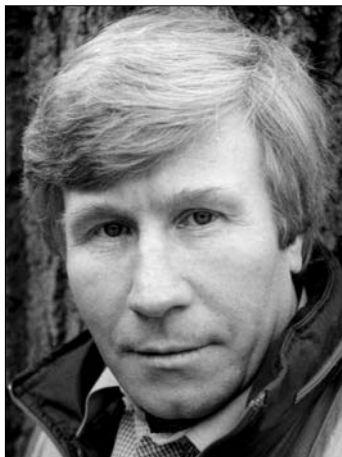
---

---

*Поздравляем нашего автора, самобытного прозаика Юрия Красавина с 75-летием! Здоровья Вам, Юрий Васильевич, новых светлых книг и добрых читателей.*

*Редакция*

ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ



## ПАМЯТЬ ПРОЩАЛЬНОГО СЧАСТЬЯ...

\* \* \*

Луга, овраги, лес да поле...  
Как благодарен я судьбе  
За то, что жил у тёти Поли  
В её бревенчатой избе.  
И было мне сквозь стены слышно,  
Как свищет яростно пурга,  
Как шелестят по нашей крыше  
Сухие, жёсткие снега.  
Синела наледь на окошках.  
Клубился дым, летя в трубу.  
В сенях зазябнувшая кошка  
Просилась жалостно в избу.  
Я открывал... Она вбегала.  
За ней врвалась темнота.  
Снежинка звёздная мерцала  
На самом кончике хвоста.  
За окнами темнели ёлки,  
Белел сугробный буерак.  
И завывали глухо волки  
И в Трушкин прятались овраг.

---

*МОРОЗОВ Геннадий Сергеевич родился в 1941 году в г. Касимове Рязанской области. Окончил Касимовский индустриальный техникум и Литературный институт в Москве. Работал в геологических экспедициях в Карелии и Якутии. Был редактором в издательстве "Лениздат". Автор более десятка книжек поэзии и прозы. Член Союза писателей России. Живёт в г. Касимове Рязанской области.*

Я к тёплой печке прижимался,  
Мой детский страх сходил на нет,  
Как только гасик зажигался,  
В избе рассеивая свет.  
И думалось мне вечерами —  
Нет, не про волчью маету:  
Как может крохотное пламя  
Теснить такую темноту?!

\* \* \*

Какая глушь! Какая тишь!  
Боишься шелохнуться...  
Оцепенев, во тьму глядишь  
И слышишь — шепчется камыш  
С волною... Стебли гнутся.  
Туманец бродит по стерне  
Осокового лога.  
Дрожа, льнёт облако к луне,  
Льнёт смолка липкая к сосне,  
Влажнеет сухость стога.  
При звёздном светится огне  
Большая шапка стога.  
Краснеют прутья лозняка,  
Желтеют оползни песка,  
А лунный свет дробится...  
Изнанка влажного листка  
Рябит и серебрится.  
Смерть не приемлет жизнь ростка,  
Хоть к этому стремится.  
А дух мой, коим я влеком,  
Под сферою небесной,  
Как в детском, дивном сне цветном —  
Он то порхает мотыльком,  
То бабочкой над бездной.

\* \* \*

Река затихает... Всё мельче волна.  
Не слышится рыбьего всплеска...  
И душу мягчит не полей тишина —  
Берёзовый блеск перелеска.  
И в той, золотой, листопадной тиши,  
Под нависью хвойного бора,  
Природа, сердечную боль ублажи  
Прохладой родного простора.  
Ведь здесь, среди наших продутых полей,  
Ложков, перелесков и пашен —  
Живётся не то чтобы мне веселей,  
Но горестный день мне не страшен.  
А всё потому, что в ночной тишине,  
Во дни затяжного ненастья —  
Не сумрачный дух пребывает во мне,  
А память прощального счастья.  
Да вот же оно, за туманным окном,  
Завешенным тучкой залётной...  
Как ветрено, зыбко, незримо оно!  
Как призрачно! И — мимолётно.



## СТРОКА РУБЦОВА

Когда читаю я Рубцова,  
То вижу, как родное слово  
В его стихах поёт и плачет...  
Сквозь сосен шум в них свадьба скачет,  
Позвякивают бубенцы!  
И свет летит во все концы.

Во все концы Руси безбрежной,  
Святой, мятежной, грешной, нежной,  
Такой бедняцкой в наши дни!  
Не поленись — и загляни  
В строку поэта... Родникова  
Строка угрюмого Рубцова,

Но вместе с тем и весела,  
Воспевшая печаль села.  
И пусть она совсем не зычна,  
Зато пластична и лирична...  
И что отраднo — иронична!  
А коль у жизни на краю,

То суть её всегда трагична —  
Я в ней Россию узнаю.

\* \* \*

Обычный ход зимы нарушен,  
Деревья белые чернеют...  
Я утром нынче обнаружил —  
Повсюду оттепелью веет.  
Она прибавила нам света.  
И вот зима идёт на убыль,  
Хоть до сих пор метельной метой  
Нас метит и целует в губы.  
Ещё лихи её замашки!  
И по утрам крепки морозцы.  
Не выбежишь в одной рубашке,  
Чтоб зачерпнуть воды в колодце.  
Я видел лик её жестокий  
В часы разбойного набега,  
Когда швыряла мне под ноги  
Шуршащие ошмётки снега.  
Морозные искрились блёстки...  
И мне подумалось: о, Боже!  
Какой у ней характер жёсткий!  
И он с моим совсем несхожий.  
Но ощущаю к нему тягу,  
И хоть она — всё ненавистней,  
Но без неё не сделать шагу,  
Поскольку я натурой мягок  
В ожесточённой этой жизни.

\* \* \*

Денёк подрос почти что на вершок,  
А зимушка снежком всё побелила.  
И удлинился даже мой стишок,  
В себя впитавший синие чернила.

Тускнеет день... И скоро на столбе  
Зажжётся свет, сверкнёт в моём окошке.  
И станут шастать вдоль по городьбе  
Гулящие восторженные кошки.  
На ветках иней и на проводах  
Засеребрится... Нет ясней погодки!  
И зачернеют на прибрежных льдах  
Рыбачские оттаявшие лодки.  
И отразит, мерцая, полныня  
Теченье звёзд, их жизни свет небесный...  
Застынет всё! Оцепенею я!  
Тоска, как гирька, упадёт отвесно.  
И упадая — канет в пустоту,  
Бесшумно покидая моё тело...  
Но вспыхнет Слово, точно уголь, во рту.  
И мелкую мирскую суету  
Возвысит до смертельного предела.

\* \* \*

*Памяти Юрия Кузнецова*

Я помню Юру Кузнецова  
Задумчивым и молодым...  
Его живительное слово  
Мерцало облаком над ним.  
Мелькали рюмки, стопки, вилки,  
А он читал стихи баском.  
Опорожнённые бутылки  
Теснясь, толпились под столом.  
Его влекла не водка... Лира!  
Он с нами был — и далеко...  
Мысль постигала бренность мира  
И воспаряла высоко.  
Самих себя мы забывали...  
И зов поэзии вкусив,  
Его метафоры — взмывали!  
Клубясь, слоился древний миф.  
Струились образы... как реки.  
Являли облик мудреца  
Его припухнувшие веки  
И нервность бледного лица.  
И в цедээловском бедламе  
Табачный дым свивался в жгут...  
И кузнецовскими словами  
Объят был воздух тех минут.  
Они призывно не зывали  
Ни к покаянью, ни к мольбе.  
И тайно нас не искушали,  
Но были сами по себе.  
В них вспыхивала светосила,  
Побег из мрачной пустоты  
Туда, куда душа просила,  
Узрев смертельные черты  
Иного мира, запределья,  
Где подсознание знать даёт  
О том, что кончен век безверья,  
Что жаждет веровать народ.  
Он знал, он знал, творец суровый,  
Что счастье — ветер, слава — дым...  
И поэтическое слово  
Мерцало облаком над ним.

ИВАН ТЕРТЫЧНЫЙ



ТОПОР — К БОЮ!

РАССКАЗ

Уже отсюда, с порога, ему стало ясно, что они действительно пришли в обиталище художника: тут он и работал (мольберт, столик с красками, затаившимися в тубиках, измусоленные кисти, картины, там и сям приткнувшиеся лицом к стене), тут он, судя по всему, частенько и ночевал (вилки, ложки, стопка тарелок на просторной глади старинного стола, низенькая толпа пустых бутылок, небрежно застеленный пледом диван, увенчанный зелёной комковатой подушкой). Хозяин не запертой на замок мастерской был тут как тут. Высокий, крепкий, худощавый, он смахивал на цыгана: выющиеся чёрные кудри, обрамляющие смугловатое лицо, мерцающие карие глаза...

— Григорий, — коротко представился Филиппу художник и мгновенным радужным жестом пригласил входить и располагаться.

Филипп присел на стул и огляделся. Стены — от пола до потолка — обиты крепкой струганой доской; на двух — тех, что не видны с порога, небрежно развешаны картины разного формата — живопись; в дальнем полутёмном углу стояли ещё — одна другой в затылок — десятка полтора работ, все в самодельных рамках. Позолоченных багетов тут, видимо, не водилось... А, нет-нет!.. Вон стоят несколько хорошо обрамленных полотен — или для коллективной выставки, или для продажи...

---

*ТЕРТЫЧНЫЙ Иван Алексеевич родился в 1953 году в Курской области. Служил в армии, работал на стройках. Окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор книг "И было утро", "Рядом", "Подорожная", "Когда-нибудь...", "Лунный снег", "Живая даль" и других. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

Попал сюда Филипп, можно сказать, случайно. В Центральном Доме художника к нему подошёл Аркадий Пахомов (у него он гостил однажды лет пять-шесть назад со старшим братом).

— Ты — Филипп? — запросто спросил он. — Брат Саньки?

— Филипп...

В загорелом, одетом в синюю клетчатую рубаху мужчине он не сразу узнал Аркадия. Его смутили борода и усы, чуть тронутые сединой; его он видел раньше тщательно выбритым.

— Как Санька, брат твой?

— Весь в работе!

— Понятно... Как всегда. А ты чем занимаешься?

— Учусь в Академии живописи, на первом курсе.

— О!.. Давай-ка, дорогой, мы пойдём сейчас в гости к моему другу, Гришке. Он серьёзный мужик. Здесь — ты смотрел же? — большей частью, выставка — бесхребетина, выпендрёж — вот он я, сын холуя! Нет руки, нет сильного, зоркого характера — нет картины. Согласен?

— И в чём цель вашего визита, позвольте узнать? — сунув руки в карманы, спросил хозяин мастерской.

— Да вот человека к тебе привёл, — садясь рядом с Филиппом, сказал Аркадий. — Молодой художник. В Академии, понимаешь, учишься.

— Это весомый повод, — согласился Гриша. И улыбнулся.

— А второй повод — освежить наши усталые мозги, Гриша.

— Два повода, и оба очень серьёзные. Прошу к столу, братья! А я мигом сполосну бокалы.

Над металлической раковиной тяжело забрякали-зазвякали гранёные стаканы, Аркадий бережно достал из пакета и водрузил на стол три пузатеньких бутылки “Светлой головы” и привычно заглянул в холодильник...

— Ну что, брат Длинная Рука, облагородила ли твои чуткие жилы огненная вода? — Аркадий сурово насунил брови и выставил на стол кулаки.

Гриша грозно глянул на Аркадия и тоже предъявил его взору крепкие кулаки.

— А не вспомнить ли нам старинную забаву, брат Белый Сокол?

Григорий скорным шагом направился к дивану и извлёк из-под него четыре лёгких плотничьих топора-тесака.

И зачем?.. Не понял Филипп. Чурбак на спор будут раскалывать? А зачем? Печки нет...

Григорий сунул два топорика другу и отошёл к дальней стене. Аркадий встал у противоположной.

— Филипп! — отрывисто сказал хозяин. — Посмотри-ка на моё мазилово. Отойди в сторонку...

— Топор — к бою!

— К бою!

Топорик Аркадия, кувыркаясь, пронёсся в воздухе и вонзился в стену, в то место, где только что маячила голова Гриши. Когда же он успел вернуться! Десяток метров!.. А тёмный метеор уже несся к другой стене!.. Глухой стук!.. Лезвие глубоко засело в доске рядом с плечом Аркадия...

Филиппа оторопь взяла. “Посмотри мазилово”! Тут... Господи, лишь бы уцелели! Кровь... Тюрьма...

Соперники, дважды поменявшись местами и отметив “норму”, видимо, приустиали и направились к раковине мыть руки. Шутили, брызгались, негромко разговаривали.

Григорий рассказывал другу о последних новостях.

— Лидка, первая моя, собрала в воскресенье у себя и вторую и нынешнюю мою, и провозгласила: мол, девки, Гришенька наш плоховато одет, надо его на днях вести в хороший магазин и приодеть по моде... А то как он в галерее и на выставке покажется? Что люди скажут? Художник он или кто?

— И что же решили?

— Решили вести в магазин. Сейчас думают: в какой...

— А ты что? Пойдёшь?

А как не пойдёшь? Не чужие же они мне... Зачем обижать? Тем более, кое-что у меня купили, деньги есть.

— Ну что, братя? За наш удалый поединок — по единой. А следующий поднимем за молодого художника. За его внутренний огонь.

— ...а вот ты спрашиваешь, как же мы друг друга не зарубили? Отвечаю: глаз! Ну, и реакция, конечно, и интуиция, разумеется...

Филипп отметил про себя: вторую бутылку допили, а все, как ни странно, в разуме.

...— Разумеется. Но глаз, не считая, конечно, душу, — главное. Скажешь, что рука? Рука суть продолжение глаза. Не более и не менее. Возьмём, для примера, Кустодиева... Ты посмотри, как у него всё работает, горит, движется. Там, помнишь, женщины пьют чай... Что тут такого? И композиция обычная... А как он их любит! Они для него — воплощение любви, материнства... лицо родины! Конечно, это душа его поёт, а он, её слыша, глазом зырит, выбирает цвет, кладёт его вот так, вот тут, именно тут!.. А Юон? Его пейзажи поют! Я вот здесь, на Ордынке, выхожу зимой... особенно в марте... прямо веет юоновским светом!.. Тебе сколько лет? Двадцать пять? Тебе надо сильно влюбиться, чтоб писать картину, внутри горя! Чтобы в печке тяга была ого-го! Я прав, Аркадий?

— Нет! Ему нужно влюбиться не сильно, а очень сильно!

— А вот Пахомову, как поэту, требуется не только снайперский глаз, но и абсолютный слух. Без него внутреннюю музыку не расслышишь. Будет не поэзия, а стихи... Тебе, кстати, знакомо имя Шикина? Ну ещё бы! Обласкан властями и прочее. Но, взгляды его — копии какие-то! Техники — море, а особенки, своего — ноль. Вот он и вылизывает картинку, вылизывает... А в итоге? Отличный подмастерье! А ты должен: топор — к бою! И послать этот топор сильной и точной рукой в цель! Расти сам себя, отметай лёгкие пути, учись въедливо... А!.. — Григорий засмеялся и приобнял Филиппа. — Тебя профессора ещё многому хорошему научат. Да, может, и я что-нибудь когда-нибудь подскажу. Только приходи без Аркадия, а то он и тебя в русско-индейскую игру втянет. А тебе нельзя... Ты ещё не любил сильно.

## СЕРОЕ ЯБЛОКО

### РАССКАЗ

#### 1

Аслан, взлетев большой чёрной кошкой на второй ярус, негромко спросил:

— Спишь, Митька?

Дима, натянув одеяло до подбородка, буркнул:

— Сплю.

И повернулся на правый бок.

Какое там “сплю”! До самого утра ворочается с бока на бок, тихонько вздыхает. А под утро приходит к нему сон — один и тот же, странный.

Раньше, полгода назад, когда шло следствие, потом суд, он, приходя в камеру, засыпал почти мгновенно; едва голова касалась подушки, глаза сами собой закрывались, и он проваливался в тёмную и глухую яму забытья.

До утра. Должно быть, потрясения от увиденного и услышанного, от всего творящегося с ним, перелом в его судьбе выматывали до бессилия, до опустошения — и вот тогда открывалась спасительная тёмная и глухая яма.

Что и говорить, дивился он, воспитанный и благополучный парень, человеческой подлости.

За столом, откинувшись на спинку стула, сидит капитан, следовательно. Улыбка диковатая: два ряда узких и длинных белых зубов и обнажённые донельзя дёсны.

— Ну что, Дима, будем признаваться?

— Ну, а в чём?

— Мы же с тобой беседовали и вчера, и позавчера... Участвовал с двумя своими дружками в разбое, а? С газовым пистолетом был?

— Да как же я мог там быть — я вам уже говорил! — если в тот день к тётке ездил в Подмоскowie?

— Не знаю, не знаю, где ты был, но свидетель, хозяйка квартиры, указала на тебя, узнала.

— Не был я там! Не был!

— Ну-ну, ну-ну...

Та же неестественная улыбка щелкунчика. И глаза чистые, как у ребёнка.

— Был, был... Признаешься. Вот наденут на тебя противогаз, перекроют кислород, пощупают слегка твои рёбра... Признаешься, Дима.

Перекрывали... Считали, пересчитывали рёбра... До потери сознания.

А свидетель Берникова, действительно, сразу, уверенно указала на опознании на него. Она даже, кажется, не смотрела на лица стоявших рядом с Димой парней, да и на его лицо тоже. Его это удивило и озадачило: скользнула взглядом по ногам и без сомнения указала пальцем на него:

— Он! Этот!

И только в камере прояснилась вся эта странность. Бывалый человек, расспросив Диму, заулыбался:

— Ты же один в шеренге без шнурков на ботинках был, так?

— Та-а-к...

— Ну вот и разгадка. Ей, дурёхе, сказали: разбойник будет без шнурков. Гадюка!..

А непонятный сон, один и тот же сон, снился ему уже целую неделю. Вернее, это был не сон даже, полусон какой-то, что ли.

...В углу его комнаты валяются какие-то белые смятые бумажки. Он нагибается, чтобы их поднять и отнести в мусорное ведро. Он нагибается, протягивает руку — и тут сами собой открываются глаза. Рука висит в воздухе, как бы готовая приветствовать кого-то. И не дома он вовсе. Вон тусклая ночная лампочка в конце барака, чей-то мощный храп... Господи!

...О, вот оно, непонятное серое яблоко; висит в воздухе без всякой ветки. Надо взять его, стереть с него мягкой тряпочкой пыль, чтоб заалели, заблестели тугие сочные бока, и положить его потом на самое обозримое место, скажем, на стол или на телевизор.

Дима протягивает к нему руку, растопыривает пальцы; сейчас, сейчас... Сами собой открываются глаза. Рука висит в воздухе...

Непостижимое дело: сны, полусны, полуяви... Вон, дня два назад, бухнулся на пол с верхнего яруса Асланчик.

— Понимаешь, Митька, — рассказывал Аслан утром, — сплю себе, сплю — и вдруг сон: брат стоит в окопе, я лежу на бруствере, греюсь на солнышке. А тут началась пальба, стреляют по нам из автоматов. Чувствую удар в бок, ранило, значит. Спасаться надо. Пытаюсь свалиться в окоп, а никак не получается. Я напрягся один раз, другой раз... И вроде получилось, сползаю. И тут — бах! Глаза открываю, а я лежу лицом вниз на полу. Ну, думаю, расшибся, хрен встану. Думал, кричать тебе буду. А потом пошевелился, тихонько встал. Ничего вроде. Пыль стряхнул с себя и полез спать... Понимаешь, у нас войной всё пропитано: и дети пропитаны, и взрослые, и дома, и деревья, и горы... Ну ничего, Митька, поживём ещё, повеселимся. Так?

— Так, — грустно согласился Дима.  
...Серое яблоко вновь висит перед глазами. И рука снова тянется к нему...

## 2

— Это знак тебе, памятка, — говорит Аслан, приглаживая седой висок. Седой у него почему-то только левый. — Ты о ком сегодня, вчера больше всего думал? О маме? О папе?

— Нет, о жене, об Инге, — смущенно признаётся Дима.

— А женат давно?

— Три месяца прожили вместе, а потом, сам знаешь...

— Это она! Она тебе знак любви шлёт! Понял? — Аслан вскочил со скамьи.

— У тебя на воле есть друзья?

— Есть. Друг.

— Я сейчас у ребят мобильник попрошу. Будешь звонить.

— Инге?

— Нет, другу. Ты должен жену поздравить тоже таинственно. Помнишь, какое сегодня число, какой день? Завтра Новый год, понял?

## 3

Дверь открыла Лия Кирилловна, высокая, статная, чуть полноватая женщина. Посмотрела в упор большими серыми глазами. Медленно улыбнулась.

— А Инга?..

— Нет, нет! — замахала руками Лия Кирилловна. — Её нет, её нет и когда придёт, не знаю, ушла с подругами куда-то веселиться. Всё-всё! До свидания!

Дверь захлопнулась. Щёлкнул замок.

Высокий темноволосый парень в чёрной куртке спустился на площадку между этажами и примостился у низенького окна.

Бережно уложив пухлый букет тёмно-красных роз у стекла, закурил тонкую сигару и о чём-то задумался.

Внизу время от времени хлопала дверь, слышались чьи-то голоса, потом голоса пропадали, растворялись на этажах или уплывали в лифте куда-то вверх...

Но вот по лестнице застучали чьи-то быстрые каблучки, и на площадке третьего этажа появилась невысокая девушка. Светлые длинные волосы, серые глаза, коротенькая белая шубка...

— Вы — Инга? — неторопливо приподнявшись, спросил парень в чёрной куртке.

— А вы кто? — обернулась девушка.

— Если вы Инга, то вам — через меня — поздравление с праздником.

Прошу принять цветы.

— От кого?

— С берегов Дона.

— Димка!..

## 4

...Серое яблоко висело в той же полупрозрачной, уже привычной для него пустоте. Дима протянул к нему руку, и оно само легло на ладонь, и было оно не прохладное, какими обычно бывают яблоки, а тёплое, почти невесомое. И вот оно засияло, заиграло, заискрилось, будто внутри поселилась маленькая радуга.

Аслан поднял голову с подушки. Димка во сне тихонько смеялся, улыбался, шевелил губами. У него было лицо счастливого человека.

# АНАПА — БЕЛАЯ ШЛЯПА

## РАССКАЗ

### 1

Получая свой багаж в аэропорту Анапы, я, наверное, кстати вспомнил высокого русого парня, стоявшего сколько-то лет назад в узком и длинном коридоре нашего купейного вагона и тихонько отбивавшего некий музыкальный такт костяшками пальцев на круглом приоконном поручне; при этом парень что-то напевал, плавно поводя туда-сюда крупной головой; шум постукивающих на рельсовых стыках тяжёлых колёс начисто глушил негромкую песню, и только тогда, когда парень возвышал голос (видимо, это был припев), звучало — по крайней мере для меня — вполне определённое:

*Анапа — белая шляпа...  
Анапа — белый теплоход...*

И я, конечно же, сразу сообразил, что частично расслышанное мною сочинение есть не что иное, как вариация давно бытовавшей в раскованной части общества песенки “Поеду я в город Анапу, куплю себе модную шляпу...” Видно, парень оказался творцом не робкого десятка, а может быть, и не он, а его друг-приятель или безвестный землячок. К слову, слышал я эту песенку и в несколько иной, омрачённой версии:

*Надену я чёрную шляпу,  
Поеду я в город Анапу  
И буду лежать на песке  
В своей непонятной тоске...*

Но, честно говоря, в те счастливые минуты мне было не до истинности услышанного текста (слов песни): за вагонными окнами роскошно таял летний вечер, и километр за километром близился славный город Курск, моя остановка; а поезду “Москва—Анапа” предстояло мчаться и мчаться сквозь звёздную ночь, унося своим мощным порывом русого парня на юг, к заветному морю...

### 2

Плотно устланный телами городской пляж разом отбил охоту купаться в тёплом море, и я незаметно для себя очутился в тенистой прохладе летнего кафе — за столиком, с большим бокалом красного вина в руке.

Вино, сухое вино... Вкусное сухое вино...

Однако седому горбоносому шашлычнику не понравилось кислое выражение лица нового посетителя, о чём он негромко ему и объявил. Посетитель коротко объяснил старику суть вопроса: угнетающая теснота у моря; вода, ограниченная там и сям бетонными пирсами, и густа, и липуча, и зелена, как кисель из ипоньского крыжовника; в гостинице, толкуют люди, регулярно отключают свет и воду... Вот тебе: Анапа, Анапа...

Не беда, сказал повидавший таких, как я, старый грек и, округлив порывы губы, задумался. Через два-три мгновения встрепенувшись и быстро-быстро поворачивая над углями шампуры с подрумяненными кусочками мяса, выдал подсказку: тебе, дорогуша, надо перебраться в Витязево, посёлок такой рядом есть, а там и пляж неоглядный, и вода в море вольно гуляет, и электричество всегда есть...

Так, благодаря доброму и своевременному совету старого грека, я очутился в уютном приморском посёлке. А Анапа?.. Вон она, в дымке, Анапа...



За много-много лет тело забыло тугие ласки волн, их властный накат, внезапные шумные капризы... Причин для необщения с водной стихией всегда было в достатке: то, сё, то, это... Нельзя сказать, что вовсе, годами, не видел моря; видел — и не раз; или из иллюминатора самолёта, или из окна поезда, а то и вблизи, рядом, когда шёл, скажем, неурочной порой — поздней осенью или зимой — берегом Каспийского, Балтийского, Белого, Чёрного или какого там ещё шумно припадающего прибоем к окраине России моря... А тут — начало августа, ласковый ветер, тёплое сияние неба... Сказка!.. Сказка!.. В этой вот сказке, на горячем песчаном просторе, и проходило моё праздное время. А чтобы его как-то разнообразить и обогатить, я утолял своё давнее любопытство к иным землям, иному укладу жизни. Меня неизменно влекло к изучению окрестностей того места, где я вдруг оказывался, к уяснению его истории, выискиванию особенки в окружающем.

Орудиями познания для меня (в таких необязательных занятиях) служат обычно пешие прогулки, географические карты местного, так сказать, масштаба и, само собой разумеется, книги, рассказывающие о былом края.

Что касается долгих прогулок, то именно благодаря им я довольно свободно ориентируюсь в городе или посёлке, даже если побывал там впервые лет двадцать назад. Карты же, позволяя взглянуть “сверху”, дают возможность понять, что и как в данном окрестном мире соотносится, не говоря уже о том наслаждении, которое даёт топонимика, то есть названия речек, островков, урочищ, городков, сёл и деревенок...

Так вот, читал я эти самые карты, или, понятнее выражаясь, с толком в них вглядывался, как правило, перед сном, под кровом частной гостиницы, где обосновался, отдалившись малость от Анапы. Путешествовал же по укутанному зелёному садов посёлку утром, слушая приглушённое гототание гусиных стад на пустырях да нестройные крики проспавших своё важнецкое дело петухов. Ну, а к морю отправлялся попозже, когда солнце уже достигало средних ветвей темневшего на соседней улице пирамидального тополя.

— Что, и сегодня читать будешь? — слышу вопрос Александра, моего соседа под тентом, рабочего из Брянска. Этот вопрос стал, можно сказать, второй фразой его ежедневного приветствия.

— Буду, — кротко отвечаю я. — Интересно...

Несмотря на упорную постановку вопроса, сосед, худощавый невысокий блондин, приветлив, улыбочив. Ну, подумаешь, один спросил, другой ответил... Мы же как-никак мужчины. А вот жена его, полная милая брюнетка, такого вопроса себе позволить не может; она — учительница.

Через день-другой (чувствую) дочитаю тщательный труд местного краеведа и примусь за изучение флоры и фауны Якутии, обычаев саха (так называют себя якуты), а успею ли добраться до их мифологии... Деваться же мне некуда: через полтора месяца я, коли буду жив и здоров, ступлю на трап самолёта, который полетит над холодными пустынями Севера в не виданный пока что город Якутск, на берега великой реки с нежным названием (именем) Лена.

— Ну опять ты, Саша... — тихонько выдыхает жена соседа и нетерпеливым жестом зовёт его купаться.

И что же я узнал об Анапе, её окрестностях и, в частности, о Витязеве? А узнал я, если по сути, вот что.

После ратных побед русских войск в конце восемнадцатого — начале девятнадцатого веков владычество Турции в северном Причерноморье закончилось, и оно вошло в состав России. Как мать, протянула она спасительную руку братьям-единоверцам из бывшей Трапезундской империи, последнего оплота православия на Анатолийском полуострове. Греков, терпящих бедствия и утеснения со стороны османских властей, пригласили на постоянное житьё на северных благодатных берегах Чёрного моря. Первые греческие се-

мы, пройдя регистрацию в г. Темрюке и присягнув на верность русскому императору, получали российское подданство и на каждого человека мужского пола семь десятин земли в качестве первого подспорья. Но и здесь, на новом месте, переселенцев не ждали тишь да гладь; пришлось и грекам с оружием в руках наравне с казаками отражать набеги горцев. Видно, пока не окропишь землю своим потом да кровушкой, не станет она доподлинно твоей, родной.

Витязево получило официальный статус населённого пункта только в 1837 году и нынешнее название его — в память майора Витязя, который проявил беспримерное мужество в бою с горцами.

В середине девятнадцатого века шло постоянное заселение Анапской земли русскими людьми. Вот и появились станицы Зелёная (позднее она стала называться Николаевской, а потом Анапской), Благовещенская, Суворовская, Александровская...

А вот ещё один любопытный факт.

В середине уже упомянутого века в Витязево был построен винный подвал Давыдовых (тех самых, что были кудрявой ветвью знаменитого генерала Давыдова, героя Отечественной войны 1812 года, доброго знакомого Пушкина).

— Что, интересно, говоришь? — спрашивает сосед Саша, вытирая полотенцем мокрую голову.

## 5

Пока я долго и мечтательно глядел на гряды барханов, в которую упирается северная сторона нескончаемого пляжа, пока я глядел туда и о чём-то думал, вечер незаметно окрасился закатом и вокруг стало смеркаться.

Я спохватился и, собрав в сумку свои немногие вещички, отправился краем моря восвояси. Идти босиком по влажному песку, глядеть на укутанную синеватой мглой Анапу, дышать трепещущим вольным воздухом — удовольствие ли это из числа тех, что живут в памяти долго и осязаемо?

— Ребята! Кто не видел чудо морского заката — смотрите! — Звонкий девичий голос остановил бредущих впереди меня, выпрямил копошащихся у своих лежаков, поставил на ноги подплывающих к берегу; все обернулись лицом на запад; раскалённый шарик зримо скользил вниз (будто кто-то тянул его за ниточку), к потемневшей водной равнине... За два-три десятка секунд дневное светило быстро одолело довольно приличный отрезок своего пути и скрылось в пучине, оставив узкую полоску лимонного цвета. Пока я вместе со всеми наблюдал “чудо морского заката”, впереди, справа, позади тихонько мигали и щёлкали фотоаппараты; похоже, общее созерцание живой яркой картины объединило в эту минуту и старых, и малых. Ни резких голосов, ни шума, ни гама.

Странное дело, подумал я, сворачивая на дощатый тротуар, ведущий от моря к посёлку, а ведь сегодняшний закат разнится с закатами в срединной Руси; и не господство больших и малых холмов, накрытых зелёными и жёлтыми нивами, и не плавные изгибы речных долин, и не кудрявые гривы выглядывающих из лоцин перелесков, — вовсе не это составляет отличие.

Другое, совсем другое...

Помню какой-то летний вечер, когда дед сидел в одиночестве на лавке у ворот и смотрел в закатную сторонку. Смотрел долго, внимательно, словно боясь что-то упустить. Я же вглядывался в чеканный профиль деда, любовался седым ёжиком волос, короткими усами и бородкой, и мне казалось, что это и не дед мой вовсе, а какой-то былинный мудрец.

Помню ещё один летний вечер, когда мать и отец сидели рядышком на новой лавке у новых ворот и смотрели молча на заход солнца. Смотрели долго, внимательно, словно там невесть что было. Губы матери беззвучно шевелились... Губы отца были крепко сжаты. И внезапная жалость обожгла моё молодое сердце. Я понял, почувствовал их тихие, похожие одна на другую думы: да, жизнь потихоньку, почти неощутимо сходит на нет, и не бывать больше детству и молодости, и нет впереди старших, и всё ближе, всё неумолимее последний край...

Разве навевает нечто такое скорое скольжение светила по краю небосвода к морской зыби?

Помню, как жестокая обида на беспощадный ход времени, на невозможность снять его оковы и бремя с самых милых и драгоценных людей на миг ослепила меня и погнала к глазам горячие слёзы... Но я был молод, крепок, плакать мне ещё не полагалось.

Долгий-долгий заход солнца над широкой громадой холма и долгая-долгая заря...

## 6

“Зелёный парус” был приятен своей простотой: деревянные столы и скамьи, накрытый зелёной холстиной временный зал с такими же зелёными боковинами. Распоряжался в данном заведении мужчина в полосатой рубашке с короткими рукавами, то ли хозяин кафе, то ли метрдотель, похожий на одного милovidного прибалтийского актёра. Молоденькие официантки, руководимые его взглядом, моментально появлялись именно в ту минуту и именно там, где требовалось их присутствие. Кого-то из посетителей он обслуживал сам — аккуратно, внимательно. В число таковых попал нечаянно и я.

— Чего-то вам не хватает? — участливо спросил “прибалт”, ставя на стол тарелку с креветками.

— Живой музыки... — простодушно ответил я.

— Хорошее желание! — кивнул он и тотчас удалился.

Причёсывая (по памяти) написанную поутру страничку текста, я ушёл в себя и потому невольно вздрогнул от внезапного резкого звука и повёл перед собой глазами, ища его источник.

Да вот он!.. У стойки бара, в пяти шагах, я увидел отливающий серебром саксофон, а потом уже — и самого музыканта, мальчишку лет двенадцати-тринадцати. Подбадривая себя, он качнул головой и наклонился к инструменту...

Протяжный всхлип, миновав меня, поплыл по летнему залу.

Вообще-то я не поклонник джаза (а наметилась именно джазовая композиция), но и не хулигатель, и не равнодушный его слушатель; мне нравится разная музыка (та, что нравится уху), а уж кто там — Луи Армстронг или Игорь Бутман...

А музыка уже властно влекла в свои высоты и свои просторы, и я, жаждавший холодной влаги, забыл о своём пиве, о “Зелёном парусе”, о самом себе; сознание ушло куда-то в сторону, в тень; я расслабился, растрогался; ощущения странно раздвоились: слух наполнила тоскующая мелодия, зрение же уловило за чёрной полосой вечернего неба, рассекающей зелёный потолок зала, знакомую картинку: бревенчатый дом на глубокой опушке ночного соснового бора и сияющая над ним тихая луна... Да я же совсем недавно приехал отсюда, “с милого севера”! И вот на тебе! Нашло и здесь, напомнило о себе дальше подлунье и, видимо, подспудно готовит меня к отъезду.

Я закрыл глаза — и увидел яркий полдень.

...Налетающий из степи ветер не даёт разгуляться волнам, и это радует купальщиков и купальщиц, особенно же — детишек. Нарукавники-дутьши, жёлтые, красные, синие круги придают ребятишкам уверенности в своих силах, но, увы, похоже, не всем. Иные боятся доверить себя воде, огромная, ходящая ходуном ширь их ужасает, и они, цепляясь за шеи и руки взрослых, вопят, просятся на прочную, надёжную сушу.

...Вдалеке от шума волн, у подножия барханов, действуют день-деньской два рослых заведения, известные в народе под названием “тарзанки”; одно щекочет нервы взрослым, другое — детям. Дети могут развлекать себя сами: оттолкнувшись ногами от упругой сетки батута, они, подхваченные длинными яркими резинками, улетают вверх... Вверх-вниз... Взрослым же помогают взрослые.

Загорелый сутулый мужичок в красной линиялой панамке и такого же цвета шортах под учащённое ритмичное буханье динамиков увлекает пристёгнутого к сиденьцу какого-то азартного парня от центра к переднему

краю площадки, где прищёлкивает его карабином к торчащему из песка металлическому стержню. Со стороны кажется, что сутулый посадил любителя острых ощущений на кол. Напарник сутулого, загорелый черноволосый кудряш в чёрных очках, пройдясь туда-сюда по вязкому песку, даёт команду, и отпущенное на волю тело мгновенно улетает в высь...

— Ай, молодец! Есть, есть в Перми смелые люди! — комментирует кудряш этот ограниченный упругими жёлтыми тросами полёт смельчака. Слова его, смешанные с неживой хрипотцой микрофона, вновь зазывно звучат над жарким простором пляжа:

— Кто ещё смел? Подходите к нам, покажите всем свой характер, дайте друзьям пример!

Бу-бу... бу-бу-бу... Ритмичные удары (гулкая часть какого-то сочинения), усиленные чёрными стоячими колонками, разносятся над песчаной равниной, над беспокойной морской водой.

Бу-бу... бу-бу-бу... Считай, с утра и, считай, до вечера.

А там, за дальним изгибом берега, посверкивает какими-то стеклянными гранями славная Анапа. “Анапа — белая шляпа...”

...Возникшая из ниоткуда тишина заставляет поднять веки. Мальчишки с серебристым саксофоном у стойки бара уже нет, будто в один миг волной смыло. Сладостно-тягучие звуки его импровизации растворились в тёмном воздухе наступающей южной ночи, и я остался наедине с ополовиненной кружкой пива, распотрошённой закуской и случайными воспоминаниями.

Я подзываю “прибалта” и протягиваю купюру:

— Это юному музыканту!

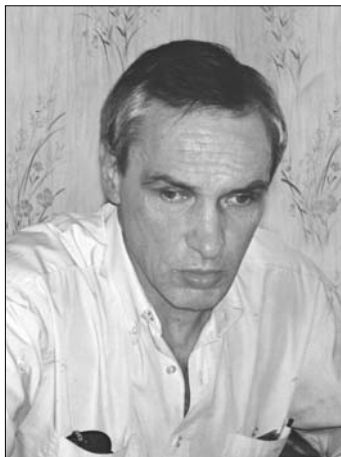
— Зачем?.. Мальчику дороги внимание и понимание. Так что извините...

## 7

Я всё-таки купил шляпу. Белую, конечно, поскольку у меня не было ни малейшего повода для того, чтобы именно в чёрной отрешённо лежать “... в своей непонятной тоске”. Однако пощеголять в изящной обнове не пришлось — в запале добросердечной беседы я подарил её знакомому из Брянска, о чём, признаться, не жалею. Она ему к лицу. Да и вообще...

Что касается белого теплохода, то скажу откровенно: видел однажды на горизонте, но трепета не испытал. То ли давнишняя песенка и не подразумевала в своих героях таких, как я, то ли я до сих пор так и не понял её истинного смысла.

ЛЕВ КОТЮКОВ



## ЭХО ВЕЧНОГО СВЕТА...

### ПО НЕБУ ПОЛУНОЧИ...

Устала душа от бессонных ночей —  
В скрещенье жестоких эфирных лучей.

По небу полуночи... — тихо шепчу,  
Как будто забыть свою душу хочу.

Забыть, чтоб душа не страдала моя  
От плотского морока небытия.

Душа моя, где ты?! Ужель тебя нет?!  
“По небу полуночи...” — слышу в ответ.

И слышу: “Звезда со звездой говорит...”  
И слышу: “Господь твою душу простит...”

### ПАМЯТИ УШЕДШИХ

О, Боже, все давно мертвы!  
Поломана в ограде двorca...  
И острый холодок травы  
Уже не успокоит сердце.

---

*КОТЮКОВ Лев Константинович родился в 1947 году в г. Орле. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор более тридцати книг стихотворений и прозы, лауреат многих литературных премий. Живёт в Подмоскowie.*

О, если б раньше срока знать  
Душе в скитаньях сиротливых,  
Что смерти, в общем, наплевать  
На несчастливых и счастливых.

О, если б сразу знать ответ,  
А не томиться тёмной страстью,  
Что смерти после смерти нет,  
Зато, возможно, будет счастье...

В объятьях золотой травы  
В погост почти вросла ограда...  
О, Боже, все давно мертвы —  
И знают всё, что знать не надо!

## ВОСХОДЯЩЕЕ

*Только верующий в непостижимое  
остатётся в истинной жизни*

Восходит дивное светило  
Из мрака, дыма и огня.  
За то, что ты не разлюбила,  
Моя любовь, прости меня.

Бессмертью не нужны страданья, —  
Там не спасёт себя никто...  
В глухой надежде ожиданья  
Всё обращается в ничто.

Но знаю: свидимся сегодня  
В поющем золотом саду...  
И в бездне милости Господней  
Мы не исчезнем, как в аду.

Восходит дивное светило,  
Горит рассветная вода...  
Прости, что ты не разлюбила —  
И не разлюбишь никогда!

## В ЗЕРКАЛЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

В квартире старой сумрак неземной, —  
И вроде до квартиры нету дела,  
Но по привычке взгляд уткнётся мой  
В проём стены, где зеркало висело.

И вздрогну я, не отразившись там,  
Где зеркало сияло дивным светом,  
Как будто сгинул начисто к чертям —  
И нет меня давно на свете этом.

Но, слава Богу, я живой ещё,  
И зеркала в моём жилье не бьются...  
И друг ещё хватает за плечо,  
Чтоб я успел на выстрел оглянуться.

И пусть вовеки не прийти назад —  
Из вечного незримого предела,  
Я отведу оцепеневший взгляд  
От той стены, где зеркало висело.

И враз очнусь над бездной тёмных лет —  
Вне старых стен — среди неземного сада,  
Где всё — во мне, где только жизнь и свет,  
Где я — во всём, где зеркала не надо...

## ВЕЧНОЕ ЭХО

Где ты, эхо любви, эхо милого голоса?!  
Глухо слышится что-то не то...  
Но игла световая, тоньше детского волоса,  
Тьму времён обращает в ничто.

Ничего, что не очень светло нынче пишется,  
И туман на рассветной меже.  
И слова замирают, но явственно слышится  
Эхо вечного света — душе...

## ПРИШЕСТВИЕ

*Истинная свобода — это правда Божья.  
Всё остальное от лукавого, в том числе —  
свобода, равенство и братство*

Огонь-Земля гробы исторгнет,  
И время русское умрёт...  
И тупо, с гибельным восторгом,  
Умрёт в самом себе народ.

И мертвецы в дыму развалин —  
Навек забудут Божий страх...  
Но явится воскресший Сталин  
В чугунных русских сапогах.

Во имя истинной свободы,  
В последнем времени земном,  
Как блудный сын — отец народов  
Навек вернётся в Божий дом.

И проклиная дым свободы,  
Гурьбой, со всех земных дорог,  
Рвануться слизывать уроды  
Росу с нечищенных сапог.

Пусть не прозреть во мгле сегодня,  
Но Сталин там — в незримой мгле,  
Как Божий бич, как гнев Господень  
Во имя жизни на Земле.

ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ



## ЛАВА

РАССКАЗ

1

Лет в четырнадцать Илья Фомин уже начал строить планы на будущую жизнь. Он ещё не знал, какая она получится, но был твёрдо убеждён, что так жить, как живут его родители, он никогда не будет. “Не буду жить как они... — с упрямой настойчивостью твердил он сам себе. — Не буду...”.

На такие размышления наводила родительская коммунальная квартира. В ту пору у семьи Фоминых была даже не квартира, а всего лишь комната, или, как называл её полупуштя юный Илюша — “жилплощадь со всеми неудобствами”. Небольшой и потому тесный четырёхугольник... всю мебель составляли две кровати, комод, шкаф и обеденный стол. Стол этот был универсальным, на все случаи жизни. За ним обедали, за ним мать по вечерам строчила простыни на старенькой машинке “Зингер”, за ним Илья делал уроки, а отец, сидя напротив, паял радиодетали. Настоящей квартиры ждать было неоткуда, и потому подрастающий Фомин — угловатый, с непослушным ёжиком светлых волос — нетерпеливо считал годы, остававшиеся до призыва в армию. Хотелось побыстрее вырваться не столько из-под родительской опеки, сколько из тошного коммунального быта.

Илья вообще отличался скептицизмом. В школе с цветных плакатов глава государства на фоне кукурузного поля щедро обещал школьникам, что лет через двадцать все будут жить при коммунизме. Но этому Илья не очень-то

---

*МЕЛЬНИКОВ Виктор Семёнович родился в 1948 году в казахском селе Казанка. Жил и трудился в Сибири, Башкирии, Таджикистане, Узбекистане, Латвии. Работал плотником, шахтёром, геологом, осмотрщиком вагонов, корреспондентом. Автор девяти книг прозы. Член Союза писателей России. Главный редактор литературно-художественного издания “Коломенский альманах”.*



и верил. А уж когда Хрущёва сместили, то и совсем надежда на коммунизм пропала. Новый генеральный секретарь скорого прихода коммунизма уже не сулил. Так что Илье оставалось надеяться только на себя — правого комсомольца.

А планы были такие: вот когда он станет взрослым, начнёт зарабатывать, в первую очередь накопит денег на большую квартиру. А то, может, и на собственный просторный дом со всеми удобствами. И его дети уж точно будут жить по-человечески. Каждому — по комнате. Он сам себе построит коммунизм. Для начала можно остаться в армии на сверхсрочную, раскладывал биографию Ильи, а затем, если понравится, и в военное училище поступить, стать офицером. А уж там будет всё: если не дом, то хорошая квартира, приличная зарплата и, разумеется, жена — его распрекрасная рыжеволосая Лариска. В общем, дело оставалось только за возрастом. И Ильи с нетерпением мысленно подгонял свои дни, недели и годы.

И, наконец, настал тот самый день — с долгожданным перроном в золоте осенних листьев. Кругом — друзья, родственники. Мелькают девичьи лица, звенят стаканы, летят в кусты одна за другой порожние бутылки; то смеются, то плачут пьяные гармошки. А душа его поёт, ликует: прощай, прошлое, прощай, родительский кров! Потом, блестя медью труб, грянул духовой оркестр. Рядом стояла его зеленоглазая симпатия, зарёванная Лариска, и не сводила взгляда с улыбочивого, такого любимого лица.

— Ну, чего ты ревёшь? Прекрати! — чуть небрежно, чуть свысока успокаивал её Ильи. — Не на войну же ухожу!

— Так два года ведь, — всхлипывала девчужка и утирала ладошкой слёзы.

Почему-то именно в тот момент Ильи окончательно ощутил себя и свободным, и взрослым. Хотя истинные уроки мужества были, конечно, впереди. Но в ту минуту, на том перроне его мальчишество отступило, осталось за невидимой чертой.

Вот последний — неловкий и короткий — поцелуй. Вот объятие родителей. Пожатия рук дружков — и Ильи уже на подножке поезда, который навсегда увезёт его из детства. И ощущение чего-то нового, неизвестного нарастало с каждым часом, с каждой новой станцией. Когда же поезд остановился в Ярославле, где ему предстояло служить, Ильи ахнул. Такого чуда он никогда не видал. Город весь светился золотыми маковками церквей. Купола искрились и переливались на солнце, будто по всему городу зажглись свечи.

...В тяжёлых солдатских буднях пролетели два года. Ильи возмужал, повзрослел. И думы его теперь переменялись. Понял он, что все люди — братья, но... не родные. Не прельстила Ильи армейская жизнь с её дедовщиной, жёсткой муштрой и казармами. Но и домой путь был заказан. Лариска, та заплаканная и несчастная, к первому же Новому году прислала Ильи открытку, в которой вместо обычных слов о любви почему-то очень благодарила его за сохранение её девичьей чести. На том всё и закончилось.

Мать потом писала, что девушка уехала в столицу на поиски счастья — артисткой решила стать. Ильи не стал её разыскивать, выяснять отношения. Конечно, было больно потерять возлюбленную, но ещё унижительнее, казалось ему, бегать за предавшей его девчонкой. И Ильи вместо отчего дома подался на заработки в Таджикистан. Жёлтому югу нужны были крепкие русские парни, да и не оставляла Ильи мечта заработать денег на настоящую квартиру или на хороший, новый дом...

## 2

Небольшой шахтёрский городок встретил его светлыми глинобитными домиками, увитыми виноградом, сладким запахом янтарно-прозрачной алычи и журчанием воды в жёлтых арыках. Над Шурабом жарило дынно-тыквенное солнце, в воздухе висела угольная пыль... Больше всего Ильи поразила истонный ишачий крик, стоявший над городом с раннего утра и до позднего вечера. “Иа, иа, иа...” — хрипел по улице живой клаксон тихходного животного.

Впервые в жизни Илья Фомин спустился под землю, в шахту. Земля только снаружи оказалась твёрдой, а внутри неё текла своя жизнь: бурная, изменчивая. Здесь он узнал, что такое лава\*, штольня, штрек, забой, вагонетка и крепёж. И ещё понял, что трудятся там настоящие мужики.

Ему нравилось вгрызаться в угольный пласт, откалывать от отбойником, а то и кайлом крупные, поблёскивающие в свете налобного фонаря куски чёрного золота и швырять их, ещё горячими, на ленту конвейера. За одну смену он перекидывал столько угля, что дома родителям хватило бы на целую зиму.

...В тот день свою норму они отгрузили быстро. Даже бригадир Роцин их похвалил. Лицо у него чернущее, как у всех, но развесёлое, и каска небекрень. А улыбочка белозубая так и сияет на чумазой физиономии.

— Молодцы, ребяташки! На каждого по десять тонн на-гора ушло! — радуется по-ребячьи. словно этот уголь ему в свой двор отсыпали.

— Ты зубы-то не заговаривай! Крепёжный лес гони! — орёт ему в ответ Илья. слышно плохо. Лента транспортёра работает вхолостую и отчаянно гремит свободной цепью о днище рештака.

— Ладно, солдат! Всё будет, как в аптеке. Твой лес уже спустили, — мягко улыбается бригадир.

— Что долго? — не унимается Илья, как будто ему больше всех надо. Другие сидят на корточках, курят, пряча сигареты в кулаке.

Роцин улыбается. Ему нравится напористость Фомина. И вообще, нравится этот “солдатик”. Кричит горделиво:

— Так глубина, браток, всё-таки триста восемьдесят! считай, скоро до центра земли дотянем! — И уже спокойней: — Передохни чуток...

Но договорить бригадир не успел. В тот же момент внизу загрохотало, с гигантской силой дёрнулся тяжёлый транспортёр... Роцина швырнуло в сторону. Фомин тоже не удержался на ногах. В лаве поднялось чёрное облако. Пляшущие лучи фонарей на касках потускнели. А клубы угольной пыли всё густели, поглощая звуки. Транспортёр ещё раз со скрежетом дёрнуло. Цепь забила рывками, и вдруг железо вздыбилось и стало корёжиться.

“Плывун пошёл!” — сердце Ильи оборвалось. Он увидел оседающую кровлю. Тяжёлый пласт глины валялся с жутким грохотом, поднимая всё поглощающую пыль. Это было похоже на сход снежной лавины в горах. Только чёрной, будто негатив. В считанные секунды лава превращалась в шахтёрское кладбище. Всё кругом ухало и пережёвывалось невидимыми великаными зубами. Пыль забивала глаза, и казалось, даже глотка была наполнена ею — сухой и колючей.

— Наверх!.. Все наверх! — откуда-то из глубины забоя сипло, уробно кричал бригадир. Но и без этой команды люди бросали инструмент и, матерясь, бежали к “горизонту”, к центральной шахте, к лифтам. Лава оседала, преследуя их по пятам.

Илья тоже рванулся вперёд, но вдруг из кромешной тьмы за спиной услышал глухой кашель, а затем и крик:

— Помоги-ите-е-е!..

Илья узнал голос бригадира. На мгновенье замер. Потом кинулся на зов. Плотная пыль не позволяла ничего разглядеть. Свет фонаря будто упирался в стену. Фомин рванулся на ощупь, и через несколько метров его ноги уткнулись во что-то мягкое.

Илья сорвал фонарь с каски и осветил под ноги. Бригадир лежал под исковерканным транспортёром. Левая нога была придавлена тяжёлым металлом. Сквозь разорванную брючину торчала окровавленная кость.

— Ни хрена себе! — выругался Илья и, вцепившись руками в рештак, потянул на себя так, что хребет застонал и кровавые круги поплыли перед глазами.

Металлическая лента не поддавалась. Она намертво придавила Роцина, словно пригвоздила к земле.

---

\* Лава — подземная горная выработка с забоем большой протяжённости, в котором производится добыча полезных ископаемых.

— Тяни! Тяни! — сквозь зубы стонал бригадир. — Давай ещё, браток...

Илья тянул, напрягая жилы крепких рук. Но железный капкан не выпускал добычу.

— Что же делать? — пробормотал Илья, разглядывая жуткие металлические тиски.

— Руби ногу!.. Ногу руби!..

— Может, лопатой... подкопать? — Илья судорожно искал другой выход.

— Какая лопата?! Сейчас обоих завалит! — в истерике закричал бригадир. — Руби, я сказал! Чего медлишь? — Глаза его, сверкавшие на чёрном лице, были безумными. — Жить хочу! Понимаешь?

И Илья не вынес, взвыл в отчаянье:

— Не смогу! Я... Не могу...

Тут громыхнуло уже совсем рядом. Илья даже пригнулся, сжался.

— Руби! — умоляюще попросил бригадир. — Ты же солдат. Закрой глаза и руби... Ты не бойся, я сам выползу... Только отсеки мне её, чтобы не держала... — Он откинулся и закрыл глаза.

— Нет! Я лучше кого-нибудь позову, — упавшим голосом произнёс Илья. Он прекрасно понимал, что живых в забое, наверно, уже нет никого. — Ты потерпи, я обязательно кого-нибудь приведу! Потерпи! — Фомин повернулся и побежал наверх.

...Потом в своих снах он много раз будет бежать от этого страшного места, от этого кошмара. Бежать и бежать, спотыкаясь о комья породы, как о свою память...

...Оранжевая каска его давно слетела. Илья двигался машинально, подчиняясь инстинкту. Погасший фонарь бесцельно болтался на шнуре. Илья то и дело натывался на крепёжные стойки. Брёвна падали и сыпали на его крепкое тело обломки горбыля и породы. Но он не чувствовал боли. Он шёл вперёд. Когда силы совсем иссякли, Илья, задыхаясь, упал на колени и всё равно полз, отбиваясь от смерти, в кровь сбивая ноги и руки.

Из последних сил он дополз до резиновой вентиляционной трубы и жадно глотнул ледяного воздуха. Дохнуло жизнью. Но это не прибавило сил. Уже не в состоянии двигаться, он вытянулся, взял в руки фонарь и, включив его, положил перед собой. А где-то позади, в глубине, всё ухала, всё обваливалась, пожирая пространство, взбесившаяся лава.

Фомин чувствовал, что сознание ухлывает, и в последний момент увидел, как впереди замаячили огоньки; услышал голоса. К нему приближались. Спасатели бежали друг за другом. В облаке пыли лучи их фонарей металась, нащупывая что-то осязаемое. Илья хотел подняться на руках и закричать. Но из глотки вырвался лишь хриплый стон. Тогда он покачал фонарём. В руке ещё оставалась сила. Спасатели подхватили его и понесли к лифтовой шахте. И вдруг до Ильи из обвалившегося забоя донёсся слабый крик, даже не крик, а стон — последний предсмертный зов:

— А-а-а-а-а...

Но Илья ничего не сказал спасателям про бригадира.

...Через месяц, выписавшись из больницы, Фомин наотрез отказался выйти на работу. Несколько недель, поминая погибших, он пропывал с друзьями накопленные на квартиру деньги. И всё больше молчал. Потом навестил местное кладбище, поклонился могиле бригадира Рощина. И навсегда покинул этот солончаковый край. Нет, не приглубила его чужбина. Горьким оказался запах цветущего инжира. Пора, пора было возвращаться в Россию, к её берёзам и снегам.

### 3

Много минуло зим и вёсен. Вместе с родителями Илья продолжал жить всё в том же двухэтажном коммунальном доме. Так что судьба его, как он ни жил, по большому счёту, ничем не отличалась от родительской. Слово по второму кругу пошла.

Правда, теперь семье Фоминых в квартире принадлежало две комнаты. После возвращения из Таджикистана Илья женился, и к отцовской комнате

со временем удалось присоединить ещё одну. На этом успехи его закончились. Дом, правда, давно планировали под снос, каждой семье обещали отдельную квартиру, но всё ограничивалось обещаниями и мечтами, которые ушли в ту далёкую и прекрасную плакатную страну, где колосились кукурузные поля и сиял недостроенный коммунизм...

У них с Тамарой родился сын Николка. И как-то вдруг, незаметно из маленького ребятёнка вымахал здоровенный детина с растущими потребностями. После армии он вернулся в родительскую конуру и заявил, что хочет жениться. Ну, что ж тут такого? Жениться так жениться! Дело хорошее. Сыграли свадьбу, и вот в их тесный круг вошла румяная и бойкая сноха.

Со всею остротой возник “половой вопрос” — кому в какой комнате спать. По всему выходило, что либо Илье с Тамарой надо прекращать тесное супружеское общение, либо надо устанавливать график любовных утех в отдельной комнате. Родители Ильи, конечно, были не в счёт — их кровать уже давно отскрипела. В своей комнате они тихонько смотрели старенький телевизор и жить молодым не мешали. Вдобавок выяснилось, что к трём поколениям Фоминых скоро прибавится четвёртое.

И вот раздался звонок нового человечка, заявив, что и ему тоже принадлежит часть этой тесной жилплощади.

Четыре поколения семьи в двух комнатах. Редкое по нынешним временам явление. Хотя, с другой стороны, успокаивал себя Илья, может, это даже не так и плохо — все под одной крышей. И забота, и помощь, и общение — всё тут, рядом. Только площадь бы побольше...

Первой не выдержала Тамара. Однажды, когда все стали расстилать свои кровати, готовясь ко сну, она кивком головы пригласила Илью выйти на кухню. Уселась за стол, накрытый потёртой клеёнкой.

— Вот что, Илюша... — тихо сказала жена. — Нет у меня больше сил терпеть эту тесноту. Надо нам с тобой расставаться, — выговорила она через силу.

Лицо у Ильи мгновенно изменилось.

— Ты серьёзно? — спросил он, немало озадаченный.

Тамара посмотрела на него грустно и вздохнула.

— Куда уж серьёзнее, — ответила она и запнулась.

— Другого нашла? — спросил он вдруг.

— У тебя всё одно на уме, — сказала жена в сердцах. — К маме ухажу. Она всё знает.

— Это она тебя надоумила? — Илья грохнул по столу кулаком.

— Да не шуми ты, — урезонила она его. — Я сама приняла такое решение. Жить в этом клоповнике уже никаких сил нету.

Илья глядел на жену, такую домашнюю, привычную, с оплывшей фигурой в уютном халате, со знакомой причёской подкрашенных хною волос — и не узнавал её. Откуда эта горечь? Откуда эта усталость?

— Ты, Илюша, погляди вокруг, — продолжала говорить жена. — Как-то люди ведь устраиваются. Кто торгует, кто в Турцию за шмотками ездит. А ты... Всё в своих грядках копаешься, как ребёночек в песке. А садовый участок жилья не заменит. Знаешь, как не хочется мне в собственной постели по графику спать. Так что завтра я ухожу, а ты — как знаешь. Коли я тебе нужна, всегда можешь меня найти, но только если будет куда пригласить. Домой, понимаешь? Домой, а не в коммуналку и не на “дачу” с удобствами во дворе. Вот всё, что я хотела тебе сказать.

— Ты всё хорошо продумала? — дрогнувшим голосом спросил Илья.

— Всё, — твёрдо сказала Тамара.

До утра Фомин просидел на кухне. Сна не было ни в одном глазу. Было душно. Будто пласт пльвуна обрушился и завалил его. Тамара была права: он напрасно прожил жизнь. И ему даже нечего оставить в наследство своим детям.

Жена действительно ушла из дому на следующий день. Илья не запил, как обычно это делают мужчины, которых оставляют жёны, а смиренно принял неожиданно свалившуюся на него холостяцкую жизнь. “Это не самый худший случай, — философски рассуждал он. — Если дом сгорит — тогда беда. А с этим жить можно...”

Почти всё лето Фомин жил на садовом участке. Сам, без помощи сына, выстроил приличный щитовой домик на кирпичном фундаменте, потом пристроил к нему большую веранду с одной стороны, затем ещё одну — с другой, после этого — вместительную кирпичную кухню с настоящей газовой плитой, работающей от автономного баллона. Летом здесь можно было жить даже в дождливую погоду. Перевёз из дома старенький диван, а чтоб совсем было уютно — выложил напротив маленькую печку-камин, причём переднюю стенку украсил нарядными разноцветными валунчиками.

Особой его гордостью была собранная из арматуры беседка, густо обсаженная виноградом. Летом она превращалась в настоящую зелёную комнату с живыми лиственными стенами. Над огромным столом с вбетонированными в землю металлическими ножками (чтоб не унесли, чего доброго, местные бомжи) Илья вешал фонарь с разноцветными стёклами и по вечерам предавался отдохновению и пил чай с дымком — из самовара.

Дачный участок оставался, наверное, единственной отрадой в жизни Фомина. В остальном радоваться было особенно нечему. Земельные заботы отвлекали от тоски.

Садовый участок приносил Фомину кое-какой доход. На рынок за овощами уж никогда не ходил! Даже наоборот — туда на продажу носил. С корзиной стоять не любил, а сдавал всё оптом торговцам.

В то утро он тоже собрал всего понемногу с грядок и поехал в город первым автобусом.

Через проволочную сетку-рабицу легко просматривалось пространство небольшого местного рынка. Прямо с тротуара, из-за ограды, можно было видеть краснощёких торговков в ярких цветастых платках, смуглых черноглазых джигитов, предлагающих местную зелень и экзотические фрукты. У самого входа, не заходя за ограду рынка, он продал свои овощи бойкой перекупщице и уже собирался было уходить, но в самый последний момент ему неожиданно захотелось оглянуться. И он оглянулся. И увидел женщину. Их было много на рынке, но его взгляд остановился только на ней. Женщина стояла у самой ограды и ловко привязывала к ручной тележке плотный мешок сахарного песка. Издали она показалась ему складной и даже красивой. Фомин, забыв обо всём, стоял и глядел на неё. А женщина между тем уже управилась с поклажей, распрямилась и, слегка наклонив тележку, покатила её к выходу. Будто за плугом пошла. И столько в этом движении было величавой красоты, что даже грубоватые торговки обернулись в её сторону. Но у ворот тележка вдруг накренилась, непослушно вырвалась из рук красавицы и вместе с мешком опрокинулась на землю. Илья заметил, как выскочило из-под рамы колесо и, петляя, покатилося под прилавок. Судьба давала Илье маленький шанс. И Фомин, не раздумывая, поспешил на выручку. Быстро протиснулся, нагнулся к прилавку, обернулся с поднятым колесом к владельце злополучной тележки. И обомлел.

— Лариса?!

— Ильф?!

— Лариска-артистка!..

Школьные прозвища выпрыгнули из памяти сами собой. Да, перед ним стояла его одноклассница, его первая любовь. Годы не прошли даром, легли паутинками морщин на дорогое лицо. Но внешне она почти не изменилась, всё та же яркая внешность. Сияли взбитые в копну рыжие волосы, сияли изумрудные глаза.

— Боже мой! Неужели это ты? — она всплеснула руками, забыв про свою поклажу. — Ну, это надо же: лет двадцать не виделись и встречаемся на рынке в драматический момент аварии! А ты всё такой же, только ёжик немного поседел. Не посмотришь, что у меня там за ДТП?

Илья повертел тележку.

— Мда... — кисло сказал он. — Перегруз получился. Гольми руками тут ничего не сделаешь. Инструмент нужен.

— Что же мне теперь делать с этой лихоманкой? — как в детстве, надула губы Лариса.

— Придётся вызывать спасательную службу, — пошутил Фомин.  
— Ладно, Ильф, ты мне зубы-то не заговаривай. Ты лучше посоветуй, как мне с этим мешком управиться.

— Не смеши народ. Управится она... Ты где живёшь теперь?

— Там, где и раньше, — за станцией, — Лариса махнула рукой вдалёк. — Небось, давно дорогу забыл?

Илья с улыбкой взглянул на неё. Всё те же цвета майской травы глаза с еле заметной лукавинкой. Ах, Лариска! Всё-таки встретились! Вдруг вспомнил, как провожал её, совсем девчужку, по вечерам домой с репетиций народного театра. Как подолгу стояли в темноте у калитки, как целовались в дождь и капли текли по лбу и щекам... Всё это вдруг нахлынуло и вспомнилось так живо, будто было только вчера. Он нагнулся и стал отвязывать мешок.

— Ну вот, — он выпрямился. — Сейчас разделим труд. Я мешок понесу, а ты эту свою инвалидку-коляску. Идёт?

— Неудобно как-то... У тебя время-то есть?

— Ты лучше спроси, есть ли у меня силы. А время... Этого добра навалом.

Он вскинул мешок на плечо и легко, по-молодому, чуть согнувшись под тяжёлой ношей, зашагал к трамвайной остановке. А Лариса с благодарной улыбкой заспешила следом, волоча пострадавшую “лихоманку”.

## 5

Они долго ехали в стареньком громыхающем трамвае. В полуоткрытое окно сквозил летний ветерок. На поворотах вагон знакомо скрежетал и покачивался. А мимо плыл город, но они не смотрели за окно, а вдохновенно болтали, вспоминая прежние времена.

Чтобы попасть в посёлок, где жила Лариса, надо было перейти станционные пути по недавно выстроенному виадуку. Подниматься по переходному мосту было тяжело: ноги налились свинцом, сердце стучало о рёбра. Но Илья не остановился ни на одном пролёте: хотелось пофорсить, похвастаться своей силой.

Сразу же за мостом потянулись тихие, неширокие поселковые улочки с разноцветными верандами и палисадниками. Меж бревенчатых, поседевших от времени домов, словно островки, виднелись солнечные зелёные лужайки, поросшие бурьяном и широкими лопухами. Вдоль заборов высокими штабелями были уложены деревянные шпалы — атрибуты железнодорожной профессии хозяев. По-летнему пахло польнью и креозотом.

Солнце не скупилось. От спустившейся на посёлок жары благоухали сады, замерев в тяжёлой дымке.

— Давай присядем, что-то я умиралась, — Лариса опустилась на лавку у чужого забора и вытянула ноги. — Мы как-то за воспоминаниями о нынешних временах забыли. Как ты живёшь, где работаешь?

— Да на вертолётном, где же ещё! — отозвался Илья. — Один только завод и пытит, остальные разворовали, распродали.

Илья садиться не стал. Стоял рядом, поставив мешок на краешек скамейки.

— Эх, какое было производство! Наши машины Европа покупала. Ну, а потом, как везде, “реформы” начались. Выпускали всякую ерунду типа кухонных комбайнов, сказать стыдно... Вот только в последнее время заказы пошли, снова вертолёты выпускать стали, но прежние мощности не восстановлены. Да и восстановятся ли вообще? Бог знает...

За забором, почуяв людей, залаяла собака.

— А помнишь своё прозвище? Оправдала? — Илья нарочно вернулся к прежнему лёгкому разговору. — Я до сих пор, когда кино смотрю, всё в титрах твою фамилию высматриваю.

— Не стала я, Ильф, артисткой, — с грустью отозвалась Лариса.

— Что так? — вырвалось у Ильи. — Не приласкала Москва? Ведь ты самой красивой была в классе...

Она улыбнулась:

— А сейчас что — увяла?  
— Да нет, — смутился Илья, — и сейчас хороша. Ты не изменилась. Всё румяней и белее...

— Нет, Ильфушка... Мечта моя не сбылась. И вообще — время моё давно ушло. Давнишня я, как говорила моя бабка, — уныло отозвалась Лариса.

— Да ладно тебе! Я когда сегодня тебя увидел, сразу подумал: вот это женщина!

Лариса улыбнулась, но промолчала.

— Ты-то как устроилась? — неожиданно заинтересовался Илья.

— Хорошо устроилась, — горько усмехнулась она. — Работаю на станции. Приёмосдатчицей.

— Ты?

— А что, не похоже?

— Не похоже. Я всегда думал, что у тебя особенная судьба будет. Ты извини, может, зря я спросил...

— Да ничего страшного, — успокоила его Лариса. — Мало ли кем мы в детстве мечтали быть... Это ты вспомнил, а я давно и думать забыла.

Илья всё-таки не удержался и спросил:

— А как в личном плане? Всё нормально?

— Ой, я тебя умоляю! — воскликнула она. — Как может быть нормально, коли сама волоку мешок? Одна живу, с сынулей.

— Ну, мешок, положим, я волоку, — уточнил Илья, улыбнувшись.

— Бедненький ты мой! — весело отозвалась Лариса. — Я так рада, что мы с тобой встретились. И не потому, что ты меня выручил, а просто рада встрече. Прямо на седьмом небе от счастья.

— Лучше на седьмом небе, чем на седьмом месяце, — пошутил Илья.

— А ты всё такой же шутник, — улыбнулась она ему. Лариса боялась, что он задаст главный вопрос. Но Илья молчал о былом. Чего прошлое ворошить? Уже почти вся жизнь за спиной.

— Ну, а ты как живёшь? — спросила она. — Дом построил?

— Да какой дом! — Илья придерживал поклажу рукой. — Обитаю всё в той же коммуналке. Всё, конечно, опостылело. Но куда деться? — Помолчал. — Видать, такая моя судьба. Вот я когда был мальцом, часто думал: интересно, каким всё будет в 2000 году? Доживу ли я до него? И вот дожил. И ты представляешь, мне кажется, ничего в стране не изменилось. Да, запускаем космические корабли с туристами, а люди как жили в лачугах, так и живут. Ты в своём древнем домишке, я — в коммуналке... Одним словом, Россия...

Собака за забором успокоилась.

— Семья, дети, всё нормально?

— Ты хотела сказать — жена, дети?

Лариса покраснела.

— Ну, в общем, да...

— Один я живу... Ну, в смысле, без жены. Сына вырастил, у него уже своя семья. А сам я холостяк, — хохотнул Илья, но смех у него получился надтреснутый.

Настало неловкое молчание. Ларисе стало жалко Илью, и, чтобы отвлечь его от грустных мыслей, она сказала:

— А я не забыла ваш муравейник. Помнишь тот день, когда ты первый раз пригласил меня к себе?

Илья наморщил лоб.

— Ну, тогда нам на лестничной площадке преградила дорогу ваша дворняжка, — напонила Лариса. — Ты меня ещё тогда успокаивал: “Не бойся её, это наша коммунальная собачка. Она добрая”. И правда, хорошая была псина. Мы потом с ней здорово подружились.

— Ещё бы не подружиться, если ты её куриными косточками подкармливала, — улыбнулся Илья.

— Как давно это было, — печально вздохнула Лариса и поднялась. — Ну что, последний бросок? А то ужарится мой сахар на солнце.

— И куда вам столько песку? — вздохнул Илья, поднимая мешок.

— Всё на варенье уходит, — деловито ответила Лариса. — Сад большой.

Одних яблонь сколько! Из яблок и пастилу, и сок, и варенье готовлю. Ну, ты же знаешь — в каждом домушке свои погребушки.

— Хозяйственная... — проворчал Илья.

Шутливо переругиваясь, пошли дальше. Было слышно, как на станции громыхали составы, меланхолично вздыхал маневровый тепловоз.

— Ну, вот и прибыли! — остановилась Лариса и распахнула перед Фоминым скрипучую калитку.

— Как у тебя насчёт собаки? Не схавает меня вместе с мешком?

— Да не бойся. Проходи.

Дому было сильно за сто лет. Обычный русский пятистенок в четыре окна по фасаду, почерневший от времени. На окнах — наличники с незатейливой резьбой, на карнизе по центру — проржавевшая табличка давно забытого страхового общества, пара ветхих кирпичных труб над четырёхскатной кровлей, слуховое окно от древности покосилось, и в раме его не хватало стёкол.

Тропинка к дому была вымощена крупными плитами “рваного” известняка, положенными на землю ещё, должно быть, первыми владельцами дома. В высокой траве паслись куры. Фомин у самого крыльца скинул мешок на траву. Куры всполошились и разбежались.

Втащили в полутёмные сени мешок и сломанную тележку.

— Ну, проходи в дом, коли в сени вошёл, — Лариса открыла потемневшую от времени дверь с медной ручкой.

— Здравствуйте... — В прихожей их встретил удивлённый молодой человек со спортивной сумкой через плечо.

— Это Стасюлька, сынуля мой. А это Илья... Сергеевич, мой одноклассник и старинный друг.

И Лариса в двух словах рассказала историю на рынке.

— Ма, ну, чего ты такая упрямая? — с некоторым раздражением сказал Стас. — Я же тебе обещал, что привезу. Тем более в двух шагах от нас стоит палатка. В ней твоего сахара, как песка морского! И чего тащиться на рынок?

— Да хотела побыстрее, да и оптом дешевле, — вздохнула мать.

— “Оптом”! — хмыкнул Стас. — Тоже мне “опт”! Ладно, проходите, что ли.

Вошли в комнату, сели у круглого стола на венские стулья. Стас внёс литровую банку с тёмным квасом и стакан.

— Угощайтесь!

— Спасибо. А можно, я всю банку выпью? — И Илья тут же в три глотка вынул весь квас. — Хороший, — крикнул он. — Изюмцем отдаёт.

— Домашний. Мамин рецепт, — улыбнулась Лариса. — И сюда, кстати, тоже сахар нужен.

— Ма! Ну чего, разве я мало зарабатываю? — возмутился Стас. — Что ты на всякой ерунде экономишь?

— Он у меня компьютерный гений, — с любовью посмотрела на сына Лариса. — Работает в Москве и комнату там снимает. А на выходные сюда приезжает. Со мной повидаться и на занятия с репетитором по немецкому.

— По немецкому? — удивился Илья. — Сейчас вроде все, кому не лень, английский изучают.

— У России с Германией самый крупный товарооборот, — сказал Стас, отметив про себя, что мать села не с ним рядом, а с гостем. — Фирма заинтересована в специалистах со знанием языка. Вот я его и учу, чтоб быть максимально полезным. И потом, вообще, немецкий — мой школьный, и немецкую культуру я люблю. А англиш никауда не денется — азы знаю, и этого пока достаточно. Так что в столице — перспектива.

— А если в армию возьмут? — спросил Фомин.

Мать с сыном переглянулись. Увидев на её лице улыбку, Стас сказал:

— А я от неё откупился. Вернее, деньги я заработал, а мама отдавала. Так что я — человек свободный.

— Как же можно без армии? — возразил Илья. — Она из пацана мужика делает.

— Легко! — быстро отозвался Стас.



— Ильф, если бы это была армия, — глаза Ларисы опечалились, увили. — Слезы одни материнские. Ты погляди на наше кладбище — одни могилки солдатские. Сколько их, бедолаг, в цинковых гробах возвращаются! И слово-то какое придумали — “груз-200”! Словно мусор какой-то... Во все времена и во всех странах отдают почести павшим за неделимость Отечества и даже ставят памятники. А у нас над ними глумятся...

— Это, конечно, так, — слабо согласился Фомин. — Но если так рассуждать, кто же станет Родину защищать? — мрачно поинтересовался он и взглянул на обоих, как на сообщников.

— Да бросьте, Илья Сергеевич! — отмахнулся Стас. — Родину наши прадеды защищали. Тогда было что защищать. Кричали: “За Родину, за Сталина!” — и шли на смерть. Тогда была великая страна, великая идея, был, наконец, вождь. Пусть он тиран и всё такое, но у него была харизма. За такого не жалко было и собой пожертвовать. А за кого сейчас в бой подниматься? За Чубайса? Ну, уж извините! Да и вообще, армия сейчас — обычная тюряга, и в ней не служат, а “срок мотают”. Как говорится, “служить бы рад”, но перед каким-нибудь уркой унижаться, задницу ему лизать, — нет уж, увольте!

Возникла неловкая пауза. Илья не знал, что возразить. В принципе, юноша был прав, но полностью согласиться с ним Фомин не мог. Он был твёрдо убеждён, что государство — это как твой дом, и его непременно должны защищать мужчины. Испокон веков было так. И другого он не приемлет. Но продолжать спор Илья не стал.

— Ну, ладно, приятно было познакомиться, — Стас встал. — Я же к репетитору опоздаю. До вечера, ма.

Лариса проводила сына, вернулась.

— Деловой он у тебя... — хмуро произнёс Фомин. — Мой сын не такой...

— Да уж, — согласилась Лариса. — Как сейчас говорят — “продвинутый”. Да и как не “продвинуться”? Воспитывать ему самому себя пришлось и семейные заботы самому на себе тащить. Прагматик. Но ты не думай: он порядочный человек. Страну свою любит, историю знает и при случае и за себя, и за других постоит.

Хозяйка встала, открыла буфет, вытащила штоф и два лафитника. Села рядом с Ильёй и разлила по рюмкам. Пряный аромат травяной настойки повеял над столом.

— Давай за встречу... — тихо сказала Лариса.

Илья выпил, огонёк весело побегал по жилам, а во рту остался аромат мяты и ещё каких-то душистых трав.

— А помнишь, как ты меня провожала в армию? Даже ревела... — вдруг напомнил он.

— Как не помнить... — вздохнула Лариса.

— А как ты думаешь: сложилась бы тогда наша жизнь? — серьёзно спросил он её.

— Не знаю, Ильф. — Лариса придвинулась к нему близко-близко. Фомин успел заметить, как дрогнули её губы. — И никто этого не может знать...

Илья увидел, что она плачет. Сердце у него дёрнулось, он прижал её к себе и стал перебирать в пальцах волнистые, мягкие волосы. А Лариса плакала, словно передавая ему всё невысказанное своё горе. Илья гладил её по голове и вдруг почувствовал тот самый запах духов, волнующий, памятный ещё с детства. И в глазах у него зашихло от слёз. Он принялся целовать её лицо.

— А слезинки у тебя сладкие, как ягоды... — шепнул он ей прямо в губы. — Не плачь... Представь, что нам снова по двадцать, ты дождалась меня из армии и впереди у нас с тобой целая жизнь.

— Ильфушка! Роденький мой! — она прижалась к нему.

Дневной свет, очень яркий, падал на их счастливые лица. Он обнял её за плечи, и они застыли, словно боясь нарушить это прикосновение. Потом Илья поднял её на руки, всю ослабевшую, и понёс в спальню, осторожно ступая по полосатым дотканым половикам. С ног её упали туфли, и она засмеялась. Тихо-тихо. Взволованно зашептала:

— Держи меня крепко. И никогда больше не выпускай. Видать, ещё сохранился свет нашей любви...

Он слушал её сладкую болтовню и нёс её, совсем не ощущая тяжести, не ощущая и своих немолодых лет. Казалось, действительно они снова молоды и впереди вся жизнь. Ему не хотелось выпускать её из рук, и он стал кружить, кружить её по беденькой, заставленной недорогой мебелью комнате. Он только сейчас понял, что все эти годы ждал и любил именно её, Ларису.

## 6

В маленькой спальне был полумрак; солнечный свет скрывали плотные шторы, но взгляд угадывал очертания старых вещей: стола перед окном, этажерки, больших старинных фотографий на стене... Таинственный космос родительской спальни вращался вокруг них, зачаровывая, уводя от реальности.

Илье вдруг почудилось, что они снова, как в юности, стоят у калитки, не в силах разнять сплетённых рук. И вдруг вспомнились сотни ласковых имён, которые он когда-то придумывал для Ларисы, и он шептал их, и целовал, целовал её. И огромная волна чувства подхватила и опрокинула их. Они плыли в этой неоглядной волне любовного жара, которая то возносила их в небо, то отпускала, и они летели вниз с замиранием сердца и перехваченным дыханием.

— Как хорошо мне, как сладко, — призналась Лариса. — Чувствуешь, как во мне кровь разыгралась?

— Чувствую, чувствую, — улыбнулся Илья, уже давно оценив, что за минувшие годы Лариса сполна освоила высокую науку любви. Перед ним была умелая, зрелая женщина. Чувственная и прекрасная. От той юной девчушки — угловатой и робкой — не осталось и следа.

Терпкая горечь пронзила Илью, горечь была на сердце, горечь была на губах — щемящая горечь поздней любви и безнадежно потерянного времени...

Ещё раз вздохнула горячая волна — и откатилась, оставив их обессиленными и звеняще-опустошёнными. Илья обнял Ларису и вздохнул — глубоко, со стоном.

— Что с тобой? — испугалась Лариса.

— Ты моя последняя любовь... — грустно отозвался Фомин.

— Врёшь, Ильф! — она ткнула его кулаком в грудь. — Я — твоя первая любовь!

Фомин помолчал.

— Конечно же, первая, — согласился он. — Только вот жаль, что встретились мы с тобой, когда жизнь, почитай, прошла...

— Слушай, скажи честно: тебе не стыдно узнать меня — такую?

— Какую?

— Подраненную... Избитую жизнью.

— Это я во всём виноват, — глухо произнес Илья. — Надо было жениться на тебе до армии. Родила бы сына, и всё бы у нас сложилось счастливо.

— Ну, что ты, Ильфушка... родненький... — Быстро перебила она его. — Никакой твоей вины нет. Это наша судьба такая. Главное — сейчас — друг друга не потерять... — И, увидев на его плече красную полосу, спросила: — А это что?

Скосив глаза, Илья взглянул на плечо.

— Видать, от мешка, натёр, — догадался он.

— Бедненький мой! Навьючила тебя, как верблюда. У меня была мысль такси взять... Но потом испугалась: а вдруг он останется? — Она прикоснулась кончиками пальцев к его плечу и погладила нежно-нежно.

А когда он курил, стряхивая пепел в ладонь, Лариса не отводила от него взгляда.

— Хорошо у тебя, — похвалил Илья, разглядывая чистенькую, уютную комнату. Встал и стряхнул пепел в горшок с цветами. — Спокойно. Стас у тебя хороший парень. Только очень поздно ты его родила.

— Не получалось раньше, — вздохнула Лариса. — Видимо, в лагере застудилась. Ты себе не представляешь, как я хотела ребёночка! Где только не лечилась! Видать, Бог услышал мои молитвы.

На мгновение стало тихо. Стучали на стене ходики.

— Обожди, чего ты мелешь? Какой лагерь? — спросил с удивлением Илья.

— А ты что? Разве не знаешь? — Лариса испуганно взглянула на него.

— Да откуда же?

— Вот дура! — вырвалось у неё. — Я думала, ты в курсе...

Илья смотрел на неё с нескрываемым интересом.

— Ты что, сидела в тюрьме? — искренне удивился он.

— Да... — вполголоса сказала она и села на постели.

— За что?

— Мужа убила, — произнесла Лариса и посмотрела ему прямо в глаза.

— Как же так случилось? — ледяным тоном спросил Илья.

— Бил он меня сильно, — словно оправдываясь, ответила она. — Всё попрекал московской пропиской. Вот во время одной ссоры я и проломила ему башку разделочным топориком. А потом пошла сдаваться. Ну, что ж, суд был, восемь лет мне дали. Я отсидела-то не всё, выпустили меня досрочно, хотя какое это теперь имеет значение? Жизнь кончена, сломана...

— Вот так судьба! — поразился Илья.

— Обычная у меня судьба, Ильфушка, самая обычная для провинциальной дуры. Приехала “столицу покорять”. Покорила... Связалась, смешно сказать, — с ветеринаром из “Мосфильма”. Наобещал мне с три короба, ну, я и купилась. Какие там “титры”! Так, пару раз снялась в массовке, тем всё и кончилось.

— Ну, а дальше что?

— А что дальше! Отсидела срок и вернулась в родительский дом. Но уже в пустой. Пока была в тюрьме, родители умерли. Потом через несколько лет познакомилась с одним... Поженились. От него-то и родила сына. Но и с ним жизнь не заладилась. Этот тоже попрекал, но уже тюрьмой. Какие только гадости про меня не сочинял! Выгнала его из дома от греха подальше... Была как-то мысль: сходить в школу на встречу выпускников. Чтоб тебя увидеть. А потом стыдно стало своей никчёмной жизни. Понимаешь?

Она подняла к нему свои прекрасные, полные слёз глаза. И сердце Ильи зашлось от жалости и от прежнего, живого, зовущего чувства.

— Это сколько же ты пережила! — Илья подошёл и сел рядом.

— Конечно, не сладко досталось, — кивнула головой Лариса. — Но во всём сама виновата. — Она сощурила глаза и словно перенеслась в те годы. — Другое мне жить не даёт. Ведь и отца, и мать без меня схоронили. Я волком тогда металась по зоне... Даже хотела руки на себя наложить, когда меня на похороны не отпустили. Это только в кино могут на день-другой из тюрьмы выпустить, а там — всё не так... Это я их убила, — она сделала ударение на “я”. — Сколько они из-за меня горя, сколько позора приняли! Какое сердце выдержит? Ведь как они меня отговаривали от Москвы! Не вбей я себе в голову эту артистическую блажь, дождись я тебя — всё было бы по-другому.

— Но видишь, мы снова вместе. От тюрьмы да от Ильи не зарекайся... Лариса хохотнула и, обхватив его за шею, крепко прижалась к нему.

— А почему ты меня не искал? — она мельком взглянула на стенные часы.

— Как бы я тебя нашёл? — высвободившись из её объятий, удивился Илья. — Во-первых, обиделся. Во-вторых, ты уехала, могла, если замуж вышла, фамилию поменять, — с горечью усмехнулся. — А потом, искать тебя по тюрьмам мне бы никогда и в голову не пришло...

— Я тебя испугала? Да?

— Да нет, что ты, — успокоил он её. — Просто в моей жизни тоже есть страница, которая вспоминается как кошмарный сон...

Ему внезапно почудился гул падающей породы. И так явственно, так страшно, что он вздрогнул всем телом.

— Ты что?

Илья повернулся к ней.

— Скажи, ты могла бы отрубить человеку ногу?

— Ты спятил?!

— Вот и я не смог...

И он рассказал ей тот шахтёрский случай, который, как тяжёлый осколок у сердца, навсегда остался в его памяти.

Лариса обняла его и встряхнула.

— Фомин, выбрось это из головы! Слышишь? Выбрось, я говорю! Ты ни в чём не виноват. Как это — отрубить ногу? Это бригадир мог крикнуть, потому что у него от боли и ужаса голова не соображала. Но ты-то должен понимать, что говоришь... Чем рубить? Лопатой? Каким-нибудь кайлом? У тебя был топор под рукой?

— Нет...

— Тогда чего ты душу себе рвёшь?

Она покачала головой и продолжала уже тише:

— Да если бы даже нашёлся топор, какой в этом прок? От первых же ударов твой бригадир потерял бы сознание от болевого шока и начал бы истекать кровью. Да и не успел бы ты ничего отрубить, вас обоих в этой лаве завалило бы.

Илья поднял голову.

— А что же мне с душой делать? Ведь помнит она и попрекает.

— Смирись. Мы вот с тобой сидим вместе. А могли бы и не сидеть. Ты вот думаешь, что жизнь у бригадира отнял, а на самом деле тебе Бог вторую жизнь подарил.

— А как я ею распорядился?..

— Ну, бестолково, что тут скажешь, — Лариса рассмеялась, улыбнулся и Илья. — Я тоже не исключение. Но ведь мы за это заплатили, разве не так? Иначе — зачем мы сегодня встретились? Нет, здесь есть какой-то смысл. И оправдание...

— А сегодня самая короткая ночь в году — праздник летнего солнцестояния, — сказал Илья, словно предлагая забыть о печальном. — Иван Купало — обливай кого попало!

— И не только обливать, — лукаво улыбнулась Лариса. — Мама рассказывала, что это единственный день, когда в старину разрешались свободные отношения между мужчинами и женщинами.

— Может, и у нас сегодня что-нибудь завяжется? Представляешь, через девять месяцев народится наш ребёночек! — Илья загорелся по-юношески. — У нас будут самые красивые дети!

— Ты с ума сошёл! — испугалась Лариса. — Вспомни, сколько нам лет! Хотя... я бы родила. Должна же быть какая-то высшая справедливость! Нет, ну, надо же, встретились...

Илья тронул её волосы.

— А можно, я у тебя сегодня останусь?

Лариса рассмеялась.

— Да кто тебя отпустит?! — и она повалила его на подушку.

— А как же Стас?

— Стас вечером в Москву уезжает. И потом, он к таким вещам относится спортивно. Нынешняя молодежь — без сантиментов. Да и не за горами уже время, когда он сам заведёт семью. Будут на лето ко мне с женой приезжать, на дачу, в мою развалюху.

— Ну почему же развалюху? Крепкий ещё дом. Пару венцов поменять, фундамент поправить... Всего делов-то.

Лариса скептически посмотрела на него.

— И кто же мне всё это сделает?

— А не догадываешься?

Но вдруг неожиданно в сенях послышались чьи-то шаги. Лариса мигом выскользнула из постели и, накинув халат, успокоила его:

— Ты лежи. Это Стасюлечка мой пришёл. Я его покормлю, соберу в Москву — и мигом назад.

Но лежать Илья не стал. Прошёлся по дому, осматривая хозяйским взглядом. За время этого обхода привычно скрипящие двери перестали скрипеть, как бы сама собой починилась электророзетка, стала как влитая отваливающаяся дверца шкафа, обрёл вторую жизнь безмолвствующий пылесос.

Лариса огляделась вокруг несколько растерянно и произнесла лукаво:

— Всё-таки мужик в доме — штука полезная...

А потом был вечер — сладкий и тихий. За окном жужжали, проносясь мимо, вечерние жуки, и в полумраке комнаты было светло от первых спелых звёзд, которые повисли за открытой форточкой. Лариса лежала рядом с Ильёй, положив голову ему на грудь, и ей казалось, что она забрела во сне в чужую, но добрую сказку. Ей не верилось, что она всё-таки дождалась своего счастья.

## 7

...Два дня Илья и Лариса были вместе. И лишь в понедельник, рано утром, Фомин засобирался.

— Надо мне, — словно оправдываясь, сказал он. — Грядки мои на даче посохли, наверно. А оттуда напрямиком на работу.

Лариса понимающе кивнула.

— Мы ещё увидимся? — осмелилась спросить она и затаила дыхание.

— Вечером вернусь, — твёрдо сказал Илья.

— Я теперь очень буду бояться старости. Так хочется побольше глотнуть своего счастья. Ты меня не бросишь? — испуганно спросила она.

— Глупенькая, да ведь и я тоже хочу попить своего счастья. И конечно, из твоего родничка, — успокоил он её.

Лариса вышла проводить Илью на крыльцо. Стояла босая, накинув на сорочку синюю узорчатую шаль. Утро было раннее — тёплое, ясное. Всё вокруг щедро зеленело. На траве блестела, переливалась не просохшая с ночи роса.

У калитки Фомин обернулся и крикнул:

— Я тебе сегодня вечером принесу новую тележку. Сам сделаю.

— Тихе, сумасшедший... Всю улицу перебудишь, — смущённо произнесла она и вся засветилась от радости.

## 8

Фомин шагал по безлюдной, ещё спящей улице. Сквозь густую листву разлапистых тополей слышалось, как диспетчер со станции с кем-то ругался по громкоговорящей связи. Сердце Ильи билось легко и ритмично, дышалось широко, полной грудью. Кругом не было ни души. Лишь он один на один со своим счастьем. Всё-таки встретил, встретил он свою Лариску! Пусть много времени упущено. Зато теперь он до самой старости будет с ней вместе. Это уж точно. Истинное счастье человека — в любви. Всё остальное — так, прилагательное...

Не дойдя до виадука, Фомин вдруг остановился. Увидел в станционном заборе знакомую дыру, через которую, сокращая путь, они в юности лазили с Ларисой. Увидел и поразился. Столько лет прошло, а забор всё тот же, и тот же пролом. Может, уже и сын Ларисы лазил через него с любимой девушкой... Илья свернул к знакомой тропе и, еле протиснувшись сквозь бетонное отверстие, пошёл напрямиком через широкую рельсовую геометрию. А далеко впереди, как радуга, висел над землёй переходной мост.

По-деловому шумел железнодорожный парк. Прямо перед Ильёй, дробно ударив автосцепками, тронулся с места длиннющий состав, запряжённый сильным локомотивом. Караван вагонов отправлялся в далёкий путь. Было хорошо слышно, как у какого-то вагона перестукивался с рельсом ползун.

С бледного утреннего неба уже исчезли и Медведицы, и Телец. На востоке раздвигалась малиновая заря. Ощупывая пальчиками лучей небесную твердь, медленно вставало рыжее солнце. Лёгкие розовые спицы-лучи, словно первые путевые обходчики, резво побежали по промасленным шпалам, по серебряной глади рельсов. Где-то далеко впереди пронзительный длинный свисток маневрового тепловоза известил о наступлении нового дня.

...Мимо Ильи мелькали вагоны. Он дождался, когда простучат колёса последнего, и торопливо пересёк освободившееся полотно. Вся станция была заставлена гружёными составами.

Дальше пришлось пролезать под пустыми цистернами и низкими платформами. Под крытым вагоном он зацепился, и ему обожгло спину. Он уже

пожалел, что решил совершить этот “марш-бросок”, но возвращаться назад теперь не было никакого смысла.

Когда осталось пересечь последний путь, Илья победно встал обеими ногами на рельс. В этом было что-то мальчишеское. Вдруг в механизме стрелочного перевода что-то угрожающе щёлкнуло. Илья, не удержав равновесия, соскользнул с рельса, но не упал. В этот же момент часть рельса стремительно отъехала в сторону, зажав ему левую ногу. Он ощутил жгучую боль, будто кто-то пытался перерубить ему ногу. Он дёрнул её, но, схваченная намертво двумя рельсами, нога ему больше не подчинялась.

Одновременно с болью он почувствовал страх, жуткий страх. Вокруг не было ни души. Будто все вымерли. Ни рабочих в жёлтых жилетках, ни проезжающих локомотивов. Только цепь вагонов кругом. Илья ещё несколько раз дёрнул ногу, отчётливо понимая, что без чьей-то помощи ему отсюда никогда не выбраться.

Впереди светились красным и зелёным светом низкие, словно карлики, железнодорожные светофоры. Словно чьи-то глаза смотрели на его подступающую смерть. Вдруг Илья увидел между шпалами кусок угля-антрацита, выпавшего из вагона. Он красиво, словно слюда, искрился на солнце. Мгновенно сверкнуло — лава, угольный штрек, обвал и... бригадир Рошин. Уже давно сгнили его кости в земле, а не отпускают Илью те полные ужаса глаза на чёрном лице.

Вцепившись в рельс, он попытался его раскатать, чтобы отвоевать хоть сантиметр своей жизни. Кровь обильно сочилась по ноге, заливая ботинок. От боли он едва не терял сознание. Испробовав всё, что было в его небогатом арсенале, Илья начал кричать. Он кричал долго, неистово, пока не охрип. Потом сник, заскулил по-щенячьи и заплакал. Надежды не было никакой...

Вспомнил о своём доме. Они ещё, наверное, спят, а тут заканчивается его жизнь, его судьба. “Мама!” — не закричал, а скорее завывал Илья, вспомнив, что в последний раз он так кричал тогда, в лаве. И вдруг сквозь боль отчётливо почувствовал, как задрожал рельс. Стальная нить ожила, чуть дрогнула, как живая. Фомин ещё раз нагнулся и вцепился в рельс. Но и на этот раз он его не осилил. Илья боялся смотреть вдаль, в сторону горловины станции, откуда должен был появиться состав. Ему чудилось, что тепловоз уже рядом. Он даже явственно почувствовал на себе его жуткое и горячее дизельное дыхание. Вот он сейчас налетит на него, раздавит, разнесёт вдребезги... В последнюю минуту мелькнула спасительная мысль: а может, лечь набок, подставив под колёса лишь ногу? Так поступают волки, попав в капкан: отгрызают ногу и отползают глубоко в лес, волоча за собой окровавленный обрубок... Так хотел поступить и Рошин. Любой ценой сохранить себе жизнь. Нет! Лучше всё одним разом! Кому он такой будет нужен? В голове помутилось.

“Вот и всё! — лихорадочно думал Илья. — Жизнь, молодость — для чего?! Смысла, смысла не было! И счастья не было. И теперь — только с Ларисой встретился, и вот... Смерть? За что?”

— За что, Господи?! — крикнул он в синее небо. — Если так — тогда стоило ли родиться?

И вдруг, словно из бездны, он услышал неясный шум. Вяло повернувшись, Илья увидел бегущего к нему человека. Тот что-то кричал в чёрное небо рации... В следующую секунду под металлическим колпаком стрелочного перевода звякнул звонок, опять что-то знакомо щёлкнуло, ударило... Остроносый рельс дрогнул и послушно, подчиняясь чьей-то воле, отодвинулся в своё прежнее положение. Илья рванул ступню из капкана, ступил ею на насыпь и тут же упал, вскрикнув от боли.

Визжа тормозами, сбрасывая скорость тепловоз, удерживая за спиной тяжеловесный состав. С него на ходу прыгнул один из машинистов и бежал к Илье. Благим матом орал оживший громкоговоритель, дёрнул автосцепками соседний состав... А Илья лежал ничком на насыпи, раскинув руки, уткнувшись лицом в колючий щебень. И лишь наручные часы да собственное сердце, как прежде, отстукивали время его жизни. Илья понимал: он спасён, он — жив. И главное — он будет жить! Ещё не вечер. А самое раннее утро.

# ПОЭЗИЯ

К 60-летию поэта

**НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ**



## ЭТО ЗНАК ПОДАЁТСЯ О ВСТРЕЧЕ...

\* \* \*

Если мать припозднилась, бывало, —  
Поднимал я отчаянный вой,  
И сестра меня спать отсылала:  
— Вот проснёшься — а мама с тобой.

Просыпался я — так и случалось,  
Прядка маминых мягких волос  
Над щекой моей сонной качалась,  
Над потёками высохших слёз.

...Потоптал я дороги земные,  
Поплескался в озерах-морях,  
Вспоминаю и дни золотые,  
И года, обращённые в прах.

В чередѣ благодати и скотства  
Развлекала меня суета,  
А теперь — ощущение сиротства.  
Даже странно. В такие лета!

---

*ДМИТРИЕВ Николай Фёдорович родился в 1953 году в с. Архангельское Рузского района Московской области. Окончил Орехово-Зуевский педагогический институт. Работал учителем русского языка и литературы. Автор около десятка стихотворных сборников, в том числе “О самом себе”, “Тьма живая”, “Оклик”. Член Союза писателей России. Умер в 2005 году.*

Это знак подаётся о встрече,  
Это мать. Ну, конечно, она.  
И мне стало готовиться легче  
К колыбели последнего сна.

Это мне утешением будет  
На обрыве дороги земной.  
Смертный сон истомит и остудит,  
Но проснусь я — а мама со мной.

\* \* \*

Услыхали птицы ловчие:  
Птица певчая поёт,  
И, до кровушки охочие,  
К ней направили полёт.

Окружили куст сиреневый,  
Да — заслушались её,  
И поёт она без времени  
Про заветное своё.

И подумать ей не хочется  
Про цепочку хищных глаз,  
И что если песня кончится —  
То наступит смертный час.

Разрастайся, куст сиреневый,  
Ветви тесно заплети,  
Чтобы к песне той серебряной  
Смерти не было пути.

Разминитесь, твари Божии,  
Все прекрасные на вид,  
Но такие непохожие,  
Что душа моя болит.

\* \* \*

Я люблю, чтобы строчка негромко звучала,  
Пусть колеблется мягче привычный размер,  
Мерно, словно речная волна у причала  
Или, раньше сказали бы, музыка сфер.

Но не думайте: мол, монотонности чаёт  
Он для вялой, для рано отжившей души.  
Так распухшую руку бродяга качает  
Без надежды на помощь в болотной глуши.

\* \* \*

Над моей дорогой вороньё летает,  
Тёмное отрепье, старая тоска.  
На моей дороге ветер заплетает  
Золотые косы, косы из песка.



Не пускает ветер, на дороге вязко.  
Волокось, как пьяный, хоть и налегке.  
Если вьются косы — значит, златовласка  
Села — отдыхает где-то на пеньке.

То свистит с норд-оста, то гудит с норд-веста  
Ветер и всё тянет нудное своё:  
Не твоя забота, не твоя невеста,  
И надрывно ветру вторит вороньё.

Ни по ком на свете дева не вздыхает.  
Просто в васильковом ласковом венке  
Шла да притомилась, села — отдыхает.  
Никого не хает на своём пеньке.

Бедный ветер стонет, на лады играет,  
Волком завывает, иволгой поёт.  
Прядки заплетает, прядки разбирает.  
Вперехлёт уложит, космами взовьёт.

Над моей дорогой вороньё летает.  
Тёмное отрепье, хватит, не кричи.

Я давно смирился с тем, что силы тают,  
Мне б домой добраться — до моей печи,  
До угла родного, дорогого стана  
С тёмным чугуночком, светлым образком.

А совсем устану — и ведь тоже стану  
Старую дорогой — ветром и песком.

\* \* \*

Мир мой, былою даже  
Ты не вздрогни во мгле,  
Обнаружив однажды:  
Нет меня на земле.

Ни в кротовых копушках,  
Ни в сорочьем гнезде,  
Ни на синих опушках,  
Ни на дальней звезде.

Слава Богу, что снова  
Путь — кремь да слюда.  
Ой, не надо земного  
В этом мире следа!

След, что прочно впечатан, —  
Или грязь, или кровь,  
Но незримо, в печали  
В мир струится любовь.

Обретается зренье,  
Прорезается свет:  
Только это струенье —  
Самый чаемый след.

АЛЕКСАНДР ВДОВИН

*доктор исторических наук, профессор*

## МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И БУДУЩЕЕ РУССКОГО НАРОДА

Бытие народов испокон веков определялось интересами их свободного, независимого развития в обособленных государственных образованиях. Однако войны, постоянно возникавшие между разными государствами на Земле, ставили под сомнение и оправданность принципа национального самоопределения, и само существование государств, постоянно конфликтующих друг с другом. Наиболее громко такие сомнения зазвучали в годы Первой и Второй мировых войн.

Уже Первая мировая оживила идею возможности и необходимости создания единого бесконфликтного мира. К этому подталкивали чудовищные жертвы, небывалые в новейшей истории. Только погибших было около 20 миллионов!

К сожалению, противники войны выбрали мишенью для обличений не агрессивные элиты государства, а сами государства. Их институты, обычаи и даже их историю. В 1930-е годы знаменитый писатель и общественный деятель Герберт Уэллс выступал по всему миру с докладом “Яд, именуемый историей”, в котором утверждал, что опасность для мировой цивилизации заключена в самом существовании наций и их искусственном культивировании в каждой отдельной стране патриотами, а главным образом – историками. Именно они своим профессиональным интересом к прошлому якобы чрезмерно подчеркивают общественные и экономические особенности народов, навязывают молодежи мысли о национальных различиях. А поступать во имя всеобщего благоденствия надо, по убеждению писателя, прямо наоборот. Если мы хотим, чтобы мир был единым, то “мы не должны исходить из понятий нации, государства”. Культурному учителю вообще не пристало говорить “наша национальность, наш народ, наша раса”, ибо “вся эта банальная чепуха глупа и лжива”. Все факты реальной действительности вопреки историческому прошлому свидетельствуют в пользу единого мирового государства – космополиса, естественного, а в современных условиях – просто необходимого всемирного братства людей. Его созданию и должно было способствовать преподавание истории. В качестве первого шага в нужном направлении предлагалось устроить сожжение старых учебников истории и отлучить от преподавания педагогов, для которых “исходное понятие – нация... излюбленное словечко – интернациональный, а не космополитический” [1].

Вторая мировая война с её колоссальными человеческими жертвами вдохнула в эту концепцию новую энергию. В США возникло и развернулось широкое “движение мировых федералистов”, вдохновлявшееся идеей мирового государства. В сентябре 1945 года к движению примкнул знаменитый фи-

зик А. Эйнштейн, заявивший, что единственный способ спасения цивилизации и человечества – создание правительства, решения которого должны иметь обязательную силу для государств – членов сообщества наций [2].

Готовность к объединению народов в региональном и мировом масштабах высказывалась в разных странах. В годы войны У. Черчилль предлагал объединить Англию и Францию. После войны он активно пропагандировал создание Соединенных Штатов Европы [3]. Английский министр иностранных дел Э. Бевин в ноябре 1945 года говорил “о создании мировой ассамблеи, избранной прямо народами мира в целом”, о законе, обязательном для всех государств: “Это должен быть мировой закон с мировым судом, с международной полицией” [4].

В 1946 году в сентябрьском номере американского “Бюллетеня ученых-атомщиков” – *The Bulletin of the Atomic Scientists* – большой приверженец идеи мирового федерализма Б. Рассел подчеркивал, что ядерное оружие разрабатывать необходимо “с одной-единственной целью – добиться установления власти мирового правительства”. Он писал, что “кошмар мира, разделённого на два враждующих лагеря”, может кончиться только с организацией “мирового правительства”, и полагал, что оно будет создано под эгидой Америки и “только путём применения силы”. Борьба за “единую всемирную федерацию” представлялась философу “наилучшим желанным выходом в условиях людского безумия” [5].

Современный американский экономист и политолог Л. Ларуш полагает, что начавшаяся после Второй мировой войны “холодная война” имела своей целью именно реализацию плана Рассела [6]. В СМИ западных стран можно было найти утверждения, что “мировое правительство” стало неизбежным” и его стоит добиваться, даже если для этого придётся вести “третью мировую войну”; в объединённой Европе “страны полностью откажутся от своего национального суверенитета” и воспримут “сверхсуверенитет международной общности” [7].

В июне 1946 года советский журнал “Новое время” познакомил общественность со сборником статей крупнейших американских ученых-атомщиков, где обосновывалась идея превращения ООН в мировое государство, призванное спасти мир от атомной войны и осуществлять контроль над атомной энергией [8]. В августе 1947 года в городе Монтрё состоялся Конгресс Союза Европейских Федералистов (были представлены 16 стран, а также около 40 групп активистов). Принятая на конгрессе “Декларация Монтрё” гласит: “Мы, мировые федералисты, подтверждаем, что человечество может избрать себя навсегда от войны при условии создания мондиалистской конфедерации... Основание мирового федерального правительства является самой насущной проблемой современности... Только федерализм способен гарантировать выживание человека” [9].

Год спустя британский экономист и социальный реформатор лорд У. Беверидж по этому поводу заявил: “Какова альтернатива созданию во имя мира Мирового Правительства? Альтернатива этому – война. А война – это разрушение разумной человеческой жизни... Мы обязаны совершить фундаментальные изменения в правительстве мира, так чтобы по возможности иметь Мировое Правительство уже к 1955 году” [10].

После войны к идее создания мирового правительства неоднократно возвращался А. Эйнштейн. В сентябре 1947 года в открытом письме делегациям государств – членов ООН он предлагал реорганизовать Генеральную ассамблею ООН, превратив её в непрерывно работающий мировой парламент, обладающий более широкими полномочиями, чем Совет Безопасности, который якобы парализован в своих действиях из-за права вето [11].

В ноябре 1947 года на это предложение отреагировали крупнейшие советские учёные. Академики С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, Н. Н. Семёнов, А. А. Фрумкин в открытом письме высказали своё несогласие с А. Эйнштейном. Наш народ, писали они, отстаивал независимость в великих битвах Отечественной войны, а теперь ему предлагают добровольно поступиться ею во имя некоего “всемирного правительства”, “прикрывающего громко звучащей вывеской мировое господство монополий”. Они дипломатично отмечали, что их коллега обратился к “политическому прожектёрству”, которое играет на руку врагам мира, вместо того чтобы прилагать усилия для налаживания экономического и политического сотрудничества между государствами различной со-

циальной и экономической структуры [12]. В ответном письме Эйнштейн назвал опасения мирового господства монополий мифологией, а неприятие идеи “сверхгосударства” тенденцией к “бегству в изоляционизм”, особенно опасный для Советского Союза, “где правительство имеет власть не только над вооруженными силами, но и над всеми каналами образования, информации, а также над экономическим существованием каждого гражданина” [13]. Иначе говоря, он утверждал, что только разумное мировое правительство может стать преградой для неразумных действий советской власти. С такими выводами в СССР, естественно, согласиться не могли.

В сентябре 1948 года “Литературная газета” рассказала о “движении мировых федералистов в США”, возглавляемых представителем крупного бизнеса К. Мейером. Под давлением этой организации, насчитывающей 34 тысячи членов, законодательные собрания 17 штатов США приняли резолюции, предлагающие конгрессу внести решение о пересмотре устава ООН, а на случай неприятия предложения Советским Союзом – действовать без него. Был разработан проект “Конституции мира”, известной под названием “Чикагский план”. Над его созданием особый комитет “федералистов” трудился два года. Основная идея этого плана сводилась к тому, что “эпоха наций приходит к концу, начинается эра человечества”. Будущего “всемирного президента” необходимо наделить огромными полномочиями: он должен возглавить все вооруженные силы в мире, стать главным судьей – председателем “всемирного суда” [14].

На Западе продолжали рассчитывать на то, что Советский Союз примет предложение о создании “мировой федерации” и западное понимание культуры, поскольку, как они считали, коммунистическое учение выросло “из западной философии” [15]. В 1948 году группа американских учёных, называющих себя “гражданами мира” и представителями “единой мировой науки”, вновь обратилась к учёным всех стран с предложением поддержать создание “Соединенных Штатов Мира” [16]. По представлениям многих приверженцев этой космополитической идеи, образцом мирового государства являлись именно США, и дело оставалось лишь за тем, чтобы “все независимые народы и страны были сведены к положению штатов Техас или Юта” [17].

Советский философ Ф. В. Константинов призывы американцев ко всем людям Земли о необходимости расширить свои понятия “от провинциальных и национальных до космополитизма” разъяснял ещё доходчивее: “Идеологи американского империализма стремятся к установлению такого “мирового порядка”, при котором самостоятельные, суверенные национальные государства были бы превращены в разновидности американских штатов, а народы мира низведены до рабского положения американских негров” [18]. В целях облегчения этой задачи “апологеты империалистической экспансии объявляют национальную независимость, государственный суверенитет и самый патриотизм “пережитком”, “анахронизмом”, “устаревшей идеей” и т. п. Космополиты требуют “ликвидации границ”, “всемирного объединения народов” (конечно, под гегемонией США!), создания “всемирного правительства” (конечно же, под руководством США!)” [19].

Реакция И. В. Сталина на подобные предложения нашла выражение в надписи на странице проекта новой Программы партии: “Теория “космополитизма” и образования Соединенных Штатов Европы с единым правительством. “Мировое правительство” [20]. Эта надпись, сделанная летом 1947 года, неразрывно связывает теории космополитизма и сверхгосударства, объясняет, по существу, главную причину открытия в СССР кампании по борьбе с космополитами. “Идея всемирного правительства, – говорил секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов на совещании представителей компартий в Польше в сентябре 1947 года, – используется не только как средство давления в целях идейного разоружения народов... но и как лозунг, специально противопоставляемый Советскому Союзу, который... отстаивает принцип действительного равноправия и ограждения суверенных прав всех народов, больших и малых” [21]. На протяжении 1945–1953 годов советские СМИ неоднократно обращались к теме всемирного правительства, разоблачая “реакционную сущность” самой этой идеи [22].

Реагируя на выступление американского президента Г. Трумэна перед канзасскими избирателями, в котором он утверждал, что “для народов будет так же легко жить в добром согласии во всемирной республике, как для вас – жить в добром согласии в республике Соединенных Штатов”, советский пра-

вед, член-корреспондент АН СССР Е. А. Коровин писал: Первая и основная задача советской патриотической науки права — “отстаивать всеми доступными ей средствами национальную независимость, национальную государственность, национальную культуру и право, давая сокрушительный отпор любой попытке посягательства на них или хотя бы на их умаление” [23]. Последовательность советских учёных и политиков в отстаивании суверенитета СССР, в разоблачении космополитизма приводила американских претендентов на мировое господство “в ярость” [24], но не меняла их убеждённости в своей правоте и их намерений. “Хотим мы этого или нет, но у нас будет общее мировое правительство, — говорил в феврале 1950 года американскому Сенату банкир Д. Варбург. Заметим в скобках, что именно его семья стояла у истоков Федеральной резервной системы США. — Вопрос только в том, будет ли оно создано насильно или добровольно” [25].

Кампания по борьбе с космополитизмом в СССР была направлена не только против претензий США на мировое господство под новыми лозунгами. Она противостояла возникавшим на Западе новым проектам, нацеленным на разрушение советского патриотизма и замену его “общечеловеческими ценностями”. Ценности эти оказывались вполне совместимыми с традиционным патриотизмом американцев и отношением к Америке “космополитов” в других странах, призывавших, по примеру французского литератора Ж. Бернаноса, признать Америку “своей дорогой родиной” [26]. К началу 1949 года в пропаганде космополитизма объединялись представители самых разных сил Западного мира — “от Папы Римского до правых социалистов” [27]. В СССР в этом усматривали создание единого фронта западных государств против Советского Союза и стран новой демократии и даже подготовку новой войны.

Отношение в СССР к лицам, подобным французу Бернаносу, лучше всего выразилось в слове “падовцы”, производном от “ПАД” — “пропаганда американской демократии”. Так называлась прослойка политических заключённых из числа репатриантов, возвращённых в СССР из зон действия англо-американских войск. Одно одобрительное слово в адрес англичан или американцев могло стоить им многих лет пребывания в ГУЛАГе [28]. Осознание опасности распространения идей космополитизма и создания мирового правительства для будущего советского государства вылилось в СССР в известную кампанию по борьбе с низкопоклонством и космополитизмом в 1946–1953 годов.

После смерти И. В. Сталина она была свёрнута, началась борьба за реабилитацию пострадавших в ходе этой кампании “космополитов” и осуждение их гонителей, среди которых М. Ромм (известный кинорежиссёр, пятикратный лауреат Сталинской премии) в 1962 году особо выделял здравствовавших тогда М. Бубеннова, Н. Грибачева, В. Кочетова, А. Первенцева, А. Софронова, А. Сурова [29]. Идеи космополитизма начали оживать в диссидентском движении вместе с пропагандой так называемых общечеловеческих ценностей как необходимого условия для мирного сосуществования культур, с пропагандой американской демократии как образца демократии во всём мире.

В телеграмме “отца советской водородной бомбы” А. Д. Сахарова президенту США Дж. Картеру в 1976 году была выражена уверенность, что “исполненная мужества и решимости... первая страна Запада — США — с честью понесёт бремя, возложенное на её граждан и руководителей историей” [30]. К концу советского периода отечественной истории было распространено мнение, что “настоящие русские интеллигенты в 20-е называли себя интернационалистами, а в 40-е их называли космополитами” (востоковед и писатель А. М. Пятигорский, январь 1989) [31], “свобода ведь это, в конце концов, свобода и от национального сознания, за национальным следует космополитическое, оно уже у многих людей Запада” (писатель, публицист А. И. Стрельный, август 1990) [32].

В проекте “Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии” (декабрь 1989, статья 4) А. Д. Сахаров предлагал закрепить положение о том, что создаваемый Союз “в долгосрочной перспективе” стремится “к встречному плюралистическому сближению (конвергенции) социалистической и капиталистической систем как к единственному кардинальному решению глобальных и внутренних проблем. Политическим выражением такого сближения должно стать создание в будущем Мирового правительства” [33]. Суждения “отца водородной бомбы” произвели большое впечатление и в нашей стране, и в мире. М. С. Горбачёв со временем сделал их основой курса внутренней и внеш-

ней политики государства, считая возможным начать конвергенцию в одностороннем порядке.

Публицист Поэль Карп в отказе от космополитизма, якобы с незапамятных времен присущего русской культуре в большей степени, чем любой другой европейской культуре, видел причину межнациональных неурядиц и... русофобии (?) в послевоенном СССР и постсоветской России. По Карпу, “крещение Руси означало разрыв с узкоплеменным сознанием и переход к космополитическому”. Космополитизму в России будто бы “способствовала и жажда правящего класса усвоить зарубежную культуру, и многонациональность Российского государства”. Революция 1917 года, начавшаяся как мировая, оказывается, “возрождала космополитический дух”, подорванный на предыдущем историческом этапе проповедью “единой и неделимой России”. Перемена к худшему обнаружила себя в кампании по борьбе с космополитизмом, которая означала, по словам П. Карпа, не только гонения на евреев; “она не в меньшей мере была направлена на искоренение всё ещё живого тогда космополитического сознания русского народа”. Оказывается, что и Сталин, провозгласив русский народ первым среди равных, внушал ему “мысль о его превосходстве над другими”. В результате, по утверждению П. Карпа, русские, жившие за пределами РСФСР и называвшие себя интернационалистами, “отступили от давней русской космополитической традиции” и не желали “оказывать минимальное уважение народу, среди которого поселились. Этим их интернационализм и отличался от космополитизма, предполагающего всеобщность и взаимность влияний”. Вместе с тем начавшаяся при Сталине перемена, как “установил” П. Карп, ещё не вполне возобладала, и, стало быть, допускает “обратный поворот” к космополитизму [34].

Последовательным противником самоопределения русского народа и создания русской государственности был Ю. В. Андропов. В 1981 году он выступил инициатором кампании против русских патриотических сил. 28 марта он направил в Политбюро записку, в которой осуждалось возникновение в СССР движения “русистов”. Русизм он объявлял “демагогией о необходимости борьбы за сохранение русской культуры, памятников старины, за “спасение русской нации”, которой “прикрывают свою подрывную деятельность откровенные враги советского строя”. Под лозунгами защиты русских национальных традиций русисты, писал глава КГБ, “по существу занимаются активной антисоветской деятельностью”. Андропов ставил вопрос о скорейшей ликвидации этого движения, угрожавшего, по его мнению, коммунистическим устоям больше, чем так называемые диссиденты.

Неприятие Ю. В. Андроповым “русизма” и любой иной формы национализма подвигло его к попытке отказа от национально-государственного устройства СССР. По свидетельству помощника генсека А. И. Вольского, у Андропова имелась “идефикс – ликвидировать построение СССР по национальному принципу”. Незадолго до своей смерти в 2006 году Вольский поведал об одном поручении: “Как-то генсек меня вызвал: “Давайте кончать с национальным делением страны. Представьте соображения об организации в Советском Союзе штатов на основе численности населения, производственной целесообразности, и чтобы образующая нация была погашена. Нарисуйте новую карту СССР”. Пятнадцать вариантов сделал! И ни один Андропову не понравился. Какой ни принесу – недоволен: “Отчего эту область сюда, эту – туда? Отчего предприятия так распределили?” А самое трудное было – заводы поделить. С содроганием вспоминаю то задание. В конце концов, я позвонил Велихову: “Женя, выручай! Подключись”. Обратился к нему как к умному человеку и другу. Дальше мы уже вдвоем чертили. Корпели день и ночь. Компьютеров-то не было. Из подручных средств – только телефоны да справки. Нарисовали три варианта. Сорок один штат у нас получился. Закончили, красиво оформили, и тут Юрий Владимирович слёг. Не случись этого, успей он одобрить “проект”, с полной уверенностью скажу: секретари ЦК, ставшие впоследствии главами независимых государств, бурно аплодировали бы мудрому решению партии. И страна не вляпалась бы в то, во что спустя несколько лет по уши вляпалась” [35].

Ни рожденный в борьбе с диссидентами проект превращения СССР в подобие Соединенных Штатов по федеративному устройству, ни проект фантастической реорганизации СССР в Союз Советских Республик Европы и Азии (проект конституции А. Д. Сахарова) не осуществились. Однако в условиях

распада СССР рождались новые оригинальные и убийственные по простоте решения по отказу от “империи-СССР” и приобщению бывших советских республик к “цивилизованному мировому сообществу”.

После августовских событий 1991 года профессор-либерал В. Корепанов выступил со “смелой идеей” “колонизировать нашу страну на определённое время развитыми странами”. Для Запада, полагал он, “мы представляем интерес как рынок, богатый сырьём и человеческими ресурсами... Естественно, надо обратиться к Западу с просьбой прикрепить отдельные республики и регионы к развитым странам. Допустим, Россию к США и Японии, Украину – к Англии, Белоруссию – к Франции. Понадобится создать смешанную администрацию по управлению колониями” [36].

Политический обозреватель газеты “Куранты” поэт А. Иванов наглядно представлял механизм превращения России в процветающую колонию. Пусть, писал он в январе 1992 года, бизнесмены из передовых зарубежных стран “беспошлинно ввозят к нам всё – от колготок до автомобилей. И продают за рубли”. Им же надо дать право за рубли “покупать всё, что угодно – земли, дома, фабрики, заводы, месторождения полезных ископаемых... Колония? Да! Но мы, являя собой пугало для всего мира в течение 74 лет, честно шли к этому унижительному, но закономерному финалу. Параллельно пусть развивается отечественный бизнес. Ему есть чему поучиться у “варягов”. Да и что плохого в статусе колонии... После второй мировой войны полуфеодалная, разгромленная, нищая Япония стала фактически колонией США. Через сорок лет – всего-то! – великая, могущественная Америка не знает, как спастись от экономического наступления бывшей колонии... Начинать не стыдно с чего угодно. Далее все зависит от народа. Если он действительно велик, пусть докажет своё величие в цивилизованной, хотя и беспощадной конкурентной борьбе. А главная задача государства при этом – твёрдо стоять на страже священного права частной собственности. Ибо это – единственный фундамент экономики” [37].

Основательница либеральной партии “Демократический союз” (1988) В. Новодворская будущее России связывает только со “снижением тотальной мощи государства, с дальнейшей дезинтеграцией территории”, с образованием на месте России множества небольших государств, в которых “национал-патриотам” станет негде “разгуляться” и которые будут легче поворачиваться “к солнцу мондиализма” [38].

Академик РАН Ю. С. Пивоваров в мае 2002 года полагал приемлемой потерю Россией Сибири и Дальнего Востока: “Пусть придут канадцы, норвежцы – и вместе с русскими попытаются управлять данными территориями”. Не страшит его и мировое правительство. Он считает, что идея Канта о нём “сегодня на самом деле реализуется. И если кто-то является противником упомянутой структуры, то я лично ничего против неё не имею... Мне важно, чтобы люди жили по-человечески, и если мировое правительство будет этому способствовать, то – пожалуйста” [39].

Е. Г. Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, рассуждая о трудностях выхода России из экономического кризиса 1998 года и благотворительной роли МВФ в его преодолении, полагает, что надо соглашаться на усиление роли международных финансовых институтов и на передачу той или иной степени национального суверенитета на наднациональный уровень. “Я такую парадоксальную мысль выскажу, – пустился он в откровенность. – Один из уважаемых мною людей – лорд Бертран Рассел – ещё в 1946 году... предлагал идею мирового правительства; он говорил, что со своими грядущими проблемами каждая страна в отдельности или даже блоки стран не смогут справиться. И вот сегодня, по крайней мере, для меня это очень убедительно, я возвращаюсь к этим старым его идеям, и мне кажется, что нам придётся над этим задуматься” [40].

Задумавшись над этим после кризиса 2008 года, он высказался с ещё большей убеждённости: “Моё мнение заключается в том, что глобализация – это естественный и необратимый процесс, вследствие чего мы идем к мировому правительству, которое будет когда-нибудь управлять экономикой в планетарном масштабе. Сегодняшний кризис связан ещё и с тем, что глобальный финансовый рынок никем не контролировался” [41].

Известный экономист и бывший мэр Москвы Г. Х. Попов, в статье, приуроченной к апрельской (2009) встрече глав двадцати главных стран мира,

призвал как можно скорее извлечь урок из кризиса 2008 года и принять радикальные меры в масштабах всей планеты. Среди них: создание Мирового парламента с двумя палатами (одна избирается напрямую – голосованием всей планеты, другую избирают от индивидуальных и коллективных членов ООН); образование Мирового правительства (его формирует ООН по согласованию с Мировым парламентом, при нём необходимы и Мировые вооруженные силы, и Мировая полиция); изъятие из национальной компетенции и передача под международный контроль ядерного оружия, ядерной энергетики и всей ракетно-космической техники планеты; передача под глобальный контроль человечества всех богатств недр нашей планеты [42].

На форуме сайта пресс-центра предпринимателя М. Б. Ходорковского в 2004 году всерьёз обсуждался “план спасения России”, заключавшийся в её присоединении к США, “благо и общая граница на Аляске есть”. При этом “остатки населения РФ переселяются в тёплые области, сворачивается собственная оборонка... и всё это вместе называется СШАЕА (Соединенные штаты Америки, Европы и Азии)”. Бывший помощник Андропова А. И. Вольский утверждал: “Именно такой вариант будет принят, когда Ходорковский выйдет из тюрьмы, и мы вместе с ним займёмся его реализацией. В этом и есть историческая миссия Ходорковского”. В публикации, поведавшей миру о такой идее, упоминалось, что известен был и аналогичный “план МИДа” [43].

Американский журналист Тони Карталуччи, проследившая роль М. Б. Ходорковского в постсоветской российской политике, пишет о попытках американцев создать в России с помощью миллиардера-олигарха свой собственный “порядок из хаоса”. В 2001 году Ходорковский организовал Фонд “Открытая Россия”, совет директоров которого возглавил небезызвестный Генри Киссинджер, а в число членов совета директоров вошёл такой представитель западной корпоративной элиты, как лорд Джекоб Ротшильд. “Планировавшийся сценарий сегодня известен: это была попытка консолидировать в “надёжных руках” богатства России, чтобы передать их, а также власть в России и судьбу её народа Уолл-стрит и глобальной лондонской “корпоратократии” [44].

В 2010 году эти все эти идеи “модернизации России” “обновил” известный сценарист О. Осетинский, объявив, что в самой России провести её некому: все грамотные люди из страны разбежались, остались лишь малограмотные, апатичные (бесстрастные, вялые, ленивые) да пьяницы. Выход – в заключении союза США и России (получится ССР), а по существу – в обращении к США с призывом “придите и владейте нами!” Предлагается направить в Россию из США для начала два миллиона добровольцев (в идеале – одного на каждый десяток русских), дать этой армии “квалифицированных непьющих оккупантов” полномочия, как при осуществлении плана Маршалла в Германии, и кардинально перестроить Россию: построить новые заводы, фабрики, производства, новую систему управления, новую полицию, новую политическую систему. Автор полагает, что другого реального способа стать цивилизованной страной у России нет, “культурная русская идентичность” при этом не пострадает: “Молодые американцы переженятся на русских, и скоро станут настоящими новыми русскими тружениками и предпринимателями, а не спекулянтами, бандитами и пьяницами” [45].

Навязчивые попытки втягивания России в космополитические структуры требуют от патриотов выработки не только чёткой позиции по этому вопросу, но и глубокого понимания стремительно развивающихся глобализационных процессов. “Процесс интеграции стран Запада, – указывал выдающийся русский мыслитель А. А. Зиновьев, – происходит одновременно с процессом, получившим название глобализации. Считается, что в результате глобализации образуется глобальное общество. Последнее понимается как объединение всего человечества в единое целое, подобное привычным обществам (их часто называют национальными государствами), с единым мировым правительством и прочими учреждениями современных стран, только большего (планетарного!) размера. И образуется оно якобы на благо всего человечества, как бы само собой, в силу мирового прогресса в науке, технике, культуре, экономике и т. д. Такое понимание есть не просто теоретический идиотизм. Это – преднамеренная идеологическая ложь, идеологическая апологетика мировой западницкой (прежде всего – американской) агрессии.

На самом деле современное человечество явным образом разделяется на западный мир и прочее человечество. Отношения между этими частями чело-



вечества являются совсем не братскими. Ни о каком равенстве тут и речи быть не может... В ходе “холодной войны” это сверхобщество выработало стратегию покорения человечества. Основу её образует то, что я называю западнизацией покоряемых стран и народов. Сущность западнизации состоит в навязывании *незападным* народам и странам социального строя, экономики, политической системы, идеологии, культуры и образа жизни, подобных таковым (или имитирующих таковые) в западных странах. Идеологически и в пропаганде это изображается как гуманная, бескорыстная и освободительная миссия Запада, который при этом изображается средоточием всех мыслимых добродетелей. Мы свободны, богаты и счастливы, – так или иначе внушает западная идеология и пропаганда западницируемым народам, – и мы хотим помочь вам стать такими же свободными, богатыми и счастливыми, как мы. Но для этого вы должны сделать у себя, в своих странах, то, что мы вам советуем. Это – на словах. А на деле западнизация (в рассматриваемом здесь смысле!) имеет реальной целью довести намеченные жертвы до такого состояния, чтобы они потеряли способность к самостоятельному существованию и развитию, включить их в сферу влияния и эксплуатации западных стран, присоединить к западному миру не в роли равноправных и равномогущих партнёров, а в роли зоны колонизации” [46].

Аналогичным образом определяет и не принимает насильно насаждаемый глобализм выдающийся историк-русист И. Я. Фроянов. “Глобализация, – пишет он, – есть формирование нового мирового порядка, характеризуемого слиянием, как правило, принудительно и насильственно, национальных экономик в одну единую экономическую систему, уничтожением национальных государственных правительств, а значит, и государственных границ. В конечном счёте, глобализация означает формирование вселенской, как выражаются глобалисты, цивилизации, носителем которой является глобальное сверхобщество, управляемое мировым правительством” [47].

Согласно публикации в *New York Times* (середина декабря 2010), ныне миром управляют всего 9 человек – руководителей 9 мировых банков: *Goldman Sachs*, *UBS*, *Bank of America*, *Deutsche Bank* и др., а главные акционеры Федерального Резервного банка Нью-Йорка – Ротшильды и Рокфеллеры – образуют своего рода “малое Политбюро”, принимающее судьбоносные решения в области мировой политики, экономики, финансов [48]. По другим оценкам, “кучка глобальных ростовщиков, примерно 30–50 тысяч человек, завела мир в тупик. И эта же кучка устами своих сторонников предлагает выход: создать мировое правительство, которое будет полностью контролировать сокращённое на 90% человечество: все ресурсы, всю информацию и т. д.” [49].

О том, как будет выглядеть новый мировой порядок, повествует специалист в этой области профессор К. Кох: **“Система будет создана на основе единой валюты, единого, финансируемого из одного центра правительства, единой системы налогообложения, единого языка, единой политической системы, единого мирового судебного органа, единой государственной религии и во главе с единым руководителем (единственным индивидуальным лидером). Каждый человек будет иметь зарегистрированный номер, без которого ему не будет разрешено ни покупать, ни продавать. И будет одна универсальная мировая церковь. Любой, кто откажется участвовать в этой универсальной системе, не будет иметь права на существование”** [50].

О серьёзности таких намерений свидетельствует, в частности, возведённый в США в 1980 году циклопический монумент, именуемый Американским Стоунхенджем. Монумент сооружён по заказу некоего Роберта С. Кристиана, несомненно, представляющего нынешний “золотой миллиард”. Согласно надписям на монументе – своеобразному посланию будущим поколениям землян, – их золотой век может длиться бесконечно, если выжившие после наведения нового мирового порядка будут насчитывать не более 500 млн человек [51].

При этом, что касается России, некоторые представители “золотого миллиарда” полагают, что для обеспечения землян необходимыми ресурсами с её территории было бы достаточно оставить 50 млн человек или менее того. Остальные – лишние едоки, которым надлежит сойти с лика планеты.

Космополитизированная российская интеллигенция никакой опасности в глобализации и Новом мировом порядке не видит. Некоторые её представители с удовольствием и добровольно обслуживают чужие и чуждые нам ин-

тересы. Так, характеризуя хорошо знакомую ему среду “шестидесятников” и других хулителей русского патриотизма, известный российский специалист в области социальной философии и политологии А. С. Ципко пишет: “Наблюдая за нашими российскими космополитами и “гражданами мира” добрых двадцать лет (до перестройки многие из них называли себя “шестидесятниками”), я убедился, что на самом деле они отказывались от всего российского и русского, предавали анафеме российское Православие, российскую старину и российское государственничество не во имя всечеловечности, а во имя какой-то другой, отдельно взятой культуры или страны. Впрочем, так было и раньше. Большевики-интернационалисты, ненавидящие Россию и всё русское, как, к примеру, В. Ленин, были откровенными германофилами. После второй мировой войны среди русских интернационалистов и космополитов редко удаётся встретить германофилов, а американофилов, израиелефилов и даже саудофилов – хоть пруд пруди. Среди наших борцов с российским патриотизмом, среди тех, кто считает, что привязанность к нации и национальным чувствам является уделом бедного человека, почти все – откровенные поклонники политики США и их имперских амбиций... Правда состоит в том, что сами идеологи глобального лидерства США не верят ни в какой космополитизм, не верят тем, кто называет себя “гражданами мира”, ибо хорошо знают, что декларации о космополитизме являются своеобразной клятвой в верности интересам США” [52].

Учёный приверженец космополитизма профессор А. Н. Чумаков, первый вице-президент Российского философского общества, проповедуя близкое ему учение, полагает, что в наше время отдельные страны и народы фактически уже “не имеют возможности выбора – участвовать им или не участвовать в глобализации. Они обречены на такое участие естественным ходом событий”, не могут уклониться от интеграции в мировое сообщество, а “тот, кто не вписывается в экономические, политические и культурные процессы глобализации, кто борется с космополитизмом, ставя превыше всего свою национальную исключительность, тот заведомо обрекает себя на изоляционизм и отсталость. А это, помимо серии отрицательных последствий для самого такого народа, создаёт ещё и угрозу мировой стабильности, так как именно в подобных странах возникают наиболее подходящие условия для межэтнических столкновений, организованной преступности и международного терроризма” [53]. Иначе говоря, учёный считает, что выбора нет, народы и страны обречены на глобализацию и уклониться от этого нельзя, иначе тебя обрекут на отсталость.

В 1994 году Зб. Бжезинский, один из влиятельнейших политологов и государственных деятелей США, написал в своей статье, а затем и в книге: “Россия – побеждённая держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить “это была не Россия, а Советский Союз” – значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей... Россия будет раздробленной и под опекой”. “Новый мировой порядок при гегемонии США создаётся против России, за счёт России и на обломках России” [54]. В октябре 1995 года на совещании Объединенного комитета начальников штабов президент США Б. Клинтон изложил своё видение прошлого и будущего в отношениях США и России: “Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке... Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советами посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием: мы получим сырьевой прирост, а не разрушенное атомом государство... мы позволим России быть державой, но империей будет только одна страна – США” [55].

Е. А. Фёдоров, бывший председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике и предпринимательству, полагает, что к нашим дням Россия уже не является суверенным государством: “Советский Союз проиграл войну, потому что противник изучил нас хорошо и применил операцию продвижения своего агента Горбачёва, который за шесть лет сумел создать механизм ликвидации страны. Мы проиграли в 40-летней войне, которую почему-то называют “холодной”. И сегодня наш государственный аппарат частично подчиняется победителю, то есть Америке. Мы платим им дань, и они нас полностью контролируют” [56].

Полагаю, что российские историки и граждане Российской Федерации должны активно противостоять таким настроениям и предположениям. В этой связи можно выразить сожаление о том, что в условиях революции 1917 года был упущен исторический шанс укрепить государственность по проекту, предлагавшемуся первоначально В. И. Лениным. В своем выступлении в июне 1917 года он ратовал за трансформацию Российской империи в Русскую республику. "...Русская республика, – говорил он, – ни одного народа ни по-новому, ни по-старому угнетать не хочет, ни с одним народом... не хочет жить на началах насилия. Мы хотим единой и нераздельной республики с твёрдой властью, но твёрдая власть даётся добровольным согласием народов" [57]. Отдавая должное благородству таких намерений, нужно признать, что время для установления соответствующей власти в России давно уже пришло. Для этого требуется многое: сдвиги в национальной политике в сторону акцентов на государствообразующем русском народе, Православии, соединении советской и российской истории, державности. Требуется очищение исторического наследия от русофобства, выработка мер по преодолению негативных последствий разделённости русского народа, узаконение пропорционального представительства всех народов в органах власти, избавление от асимметричного федерализма.

Политика не должна вступать в противоречие с аксиомой: только сохранение государствообразующей роли русского народа, укрепление его сплочённости и патриотизма, надёжная защита интересов его национального развития позволят установить в России мир, в котором, как мечтал А. С. Пушкин, будут гармонично развиваться и взаимообогащаться в едином цивилизационном пространстве *и внук славян, и финн, и тунгус, и калмык* [58], и все другие народы, издревле населяющие Россию.

## Примечания

- [1] Уэллс Г. Собрание сочинений в 15 тт., М., 1964. Т. 15. С. 406–424. В постсоветской России созвучные идеи развивались в трудах В. А. Тишкова "Забывать о нации (постнационалистическое понимание национализма)" (Вопросы философии. 1998. № 9), "Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии" (М., 2003).
- [2] См.: Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна. М., 1989. С. 451.
- [3] Против буржуазной идеологии космополитизма // Вопросы философии. 1948. № 2. С. 15; Василевская В. Фашистский бред Черчилля // Литературная газета. 1948. 20 октября. С. 4.
- [4] Цит. по: Дворкин И. И. По заказу американского и английского империализма // Вопросы философии. 1949. № 1. С. 305.
- [5] Цит. по: Александров Г. Ф. Космополитизм – идеология империалистической буржуазии // Вопросы философии. 1948. № 3. С. 182.
- [6] Линдон Ларуш: Блеск и нищета Новой Римской империи. Интервью с известным американским мыслителем и "диссидентом". Июль 2001. URL: [http://www.patriotica.ru/actual/larush\\_blesk.html](http://www.patriotica.ru/actual/larush_blesk.html)
- [7] Против буржуазной идеологии космополитизма // Вопросы философии. 1948. № 2. С. 15. См. также: Коровин Е. Абсолютный суверенитет или абсолютная неправда // Новое время. 1947. № 41. С. 14–16.
- [8] Рубинштейн М. Контуры атомного века в представлениях американских учёных // Новое время. 1946. № 12. С. 25–31.
- [9] Калашников В. Л. Славянская цивилизация. М., 2001. С. 151.
- [10] Цит. по: Моро Г. И. Дезинтеграционные процессы в Балканском регионе в контексте обеспечения безопасности России: дис. канд. полит. наук. М., 2001. URL: <http://mitina.viperson.ru/wind.php?ID=288172&soch=1>
- [11] См.: Вавилов С. И., Иоффе А. Ф., Семёнов Н. Н., Фрумкин А. А. О некоторых заблуждениях профессора Альберта Эйнштейна // Новое время. 1947. 26 ноября. № 48. С. 16.

- [12] Там же. С. 15, 17.
- [13] Цит. по: О беззаботности в политике и упорстве в заблуждениях: По поводу ответа проф. Эйнштейна // Новое время. 1948. 10 марта (№ 11). С. 14.
- [14] Юрьев М. Глашатаи “атомной империи” // Литературная газета. 1948. 11 сентября.
- [15] Цит. по: Александров Г. Ф. Космополитизм – идеология империалистической буржуазии // Вопросы философии. 1948. № 3. С. 184.
- [16] Митин М. Против антимарксистских космополитических “теорий” в философии // Литературная газета. 1949. 9 марта. С. 3.
- [17] Павлов Ю. Космополитизм – идеологическое оружие американской реакции // Правда. 1949. 7 апреля. С. 3.
- [18] Константинов Ф. Великое оружие борьбы за коммунизм // Литературная газета. 1949. 27 апреля. С. 3.
- [19] Вышинский П. Е. Космополитизм и отечество // Вопросы философии. 1948. № 2. С. 63.
- [20] Цит. по: Попов В. П. Сталин и советская экономика в послевоенные годы // Отечественная история. 2001. № 3. С. 65. См. также: Попов В. П. Сталинское экономическое “чудо” после войны (1946–1953) // Россия в XX веке: Реформы и революции. В 2 т., М., 2002. Т. 2. С. 272.
- [21] Информационное совещание представителей некоторых компартий в Польше в конце сентября 1947 года. М., 1948. С. 34–35.
- [22] См.: Рубинштейн М. За кулисами американской науки // Новое время. 1947. № 1; Левин Д. Б. Современный международно-правовой нигилизм // Советское государство и право. 1948. № 6; и др.
- [23] Коровин Е. А. За советскую патриотическую науку права // Советское государство и право. 1949. № 7. С. 7, 8.
- [24] Леонтьев А. О космополитизме и интернационализме // Новое время. 1949. 6 апреля. № 15. С. 10.
- [25] Цит. по: Чиков В. М. Контуры будущего и место в нём России. Куда идёт процесс глобализации. Рец. на кн.: Дроздов Ю. И., Илларионов С. И. Россия и глобализация. М., 2010. URL: [http://nvo.ng.ru/notes/2011-01-28/15\\_future.html](http://nvo.ng.ru/notes/2011-01-28/15_future.html)
- [26] Песис Б. Космополитический фашист // Литературная газета. 1948. 30 июня. С. 4. См. также: Фрадкин И. Немецкие космополиты на американской службе // Литературная газета. 1948. 7 июля. С. 4.
- [27] Дворкин И. И. По заказу американского и английского империализма // Вопросы философии. 1949. № 1. С. 303. См. также: Вышинский П. Е. Космополитизм и отечество // Вопросы философии. 1948. № 2. С. 63.
- [28] Земсков В. Н. Проблема советских перемещённых лиц (1946–1956) // Россия в XX веке: Война 1941–1945 годов: современные подходы. М., 2005. С. 529.
- [29] См.: Ромм М. И. Как в кино: Устные рассказы. Н. Новгород, 2003. С. 214–226; Костырченко Г. В. Тайная политика Хрущёва. Власть, интеллигенция, еврейский вопрос. М., 2012. С. 31–41 и др.
- [30] Сахаров А. Тревога и надежда. Нью-Йорк: Хроника, 1978. Цит. по: Кара-Мурза С. Г. Евреи, диссиденты и еврокоммунизм. М., 2001. URL: [http://www.kara-murza.ru/books/evrei/evrei\\_content.htm](http://www.kara-murza.ru/books/evrei/evrei_content.htm)
- [31] Цит. по: Назаров М. В. О радиоголосах, эмиграции и России. Июнь 1990 года. URL: <http://www.rusidea.org/?a=6020>
- [32] Стреляный А. Песни западных славян. Мысли о русском национальном сознании // Литературная газета. 1990. 8 августа. № 32. С. 3.
- [33] Сахаров А. Д. Проект. Конституция Союза Советских Республик Европы и Азии. URL: [www.yabloko.ru/Themes/History/sakharov\\_const.html](http://www.yabloko.ru/Themes/History/sakharov_const.html)
- [34] См.: Карп П. Взаимность // Книжное обозрение. 1989. 14 апреля. С. 4, 5.
- [35] Вольский А. О Брежнев, Андропове, Черненко и Горбачёве. Беседовали и записали текст М. Завада, Ю. Куликов // Коммерсантъ. 2006. 12 сентября.

- [36] Цит. по: Болтовский И. Грозит ли России развал? // Наш современник. 2007. № 9. С. 148.
- [37] Иванов А. Больше демократии, меньше социализма! // Куранты. 1992. 9 января. С. 4.
- [38] Новодворская В. Еврейское неверие моё // Огонёк. 1993. № 13. С. 19; Она же. О, Запад есть Запад! // Московская правда. 1993. 13 февраля. С. 5.
- [39] Наука о политике и Правда о “Русской Системе”. Беседа с директором ИНИОН РАН Ю. С. Пивоваровым. Май 2002 года. URL: <http://www.politstudies.ru/universum/esse/9pvv.htm>.
- [40] Ясин Е. Идея о мировом правительстве не лишена смысла. Интервью “Вестям.Ру” 09.01.2002. URL: <http://2001.vesti.ru/2002/01/09/1010595438.html>
- [41] Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин: “Мы идем к мировому правительству” // Новые известия. 2009. 17 февраля. URL: <http://www.newizv.ru/economics/2009-02-17/105715-nauchnyj-rukovoditel-vysshej-shkoly-ekonomiki-evgenij-jasin.html>
- [42] См.: Попов Г. Х. Кризис и глобальные проблемы (к апрельской встрече глав двадцати стран мира) // Московский комсомолец. 2009. 25 марта.
- [43] Вольский и Ходорковский планировали сделать Россию ещё одним штатом Америки. 15.06.2007 URL: <http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=103959>
- [44] Цит. по: Пустовойтова Е. Американская прописка российской революционной химеры. 08.03.2012. URL: <http://www.fondsk.ru/news/2012/03/08/amerikanskaja-propiska-rossijskoj-revoljucionnoj-himery.html>
- [45] Осетинский О. Русский Пятница ищет Робинзона. 2010. 12 мая. URL: <http://olegosetinsky.bloglit.ru/2010/05/12/russkij-pyatnica-ishhet-robinzona/>
- [46] Зиновьев А. А. Идеология партии будущего. М., 2003. С. 196–201.
- [47] Историк-русист И. Я. Фроянов: Глобализация и судьбы России. По страницам газеты “Советская Россия”. 23.06.2011. URL: <http://kprf.ru/rusk/94133.html>
- [48] Къеза Дж. “Этим миром правят девять человек”. 23.02.2011. URL: <http://www.rosbalt.ru/ukraina/2011/02/21/821655.html>; URL: <http://new-world.blox.ua/2011/12/Afera-21.html>
- [49] Фурсов А. Выступление на втором заседании Изборского клуба 27 сентября 2012 г. // Завтра. 2012. Октябрь. № 40 (985). С. 2.
- [50] Цит. по: Грачёва Т. В. Память русской души. Рязань, 2011. С. 49.
- [51] См.: “Десять заповедей антихриста”, или Скрижали Джорджии. 03.01.2010. URL: <http://www.f7x.ru/forum/5/888>
- [52] Ципко А. С. Ценности и борьба сознательного патриотизма. М., 2009. С. 36–37.
- [53] Чумаков А. Н. Глобализация и космополитизм в контексте современности. XXII Всемирный Философский Конгресс. Симпозиум “Глобализация и космополитизм” (Сеул, 2008). URL: <http://www.globalistika.ru/congress2008/Doklady/22810.htm>
- [54] Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. М., 2010. С. 127. Его статья под названием “Россия будет раздробленной и под опекой” публиковалась сразу в нескольких странах Запада в 1994 году. URL: <http://pomnimvse.com/11ar.html>
- [55] Из выступления Президента США Б. Клинтона в Вашингтоне на секретном совещании начальников штабов 24 октября 1995 года. URL: [http://ccsr.narod.ru/work/nkvd/klinton\\_241095.html](http://ccsr.narod.ru/work/nkvd/klinton_241095.html)
- [56] Евгений Фёдоров: Бизнес России на крючке США. 01.06.2012. URL: <http://www.bigness.ru/articles/2012-06-01/fedorov/134875/>
- [57] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 32. С. 269.
- [58] Пушкин А. С. Я памятник себе воздвиг нерукотворный... (1833) // Собр. соч.: в 10 тт. М., 1959. Т. 2. С. 460.

БОРИС КЛЮЧНИКОВ

*доктор экономических наук*

## ИНТЕРНАЦИОНАЛ НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТОВ

Евросоюз в наши дни подобен гигантской медузе, гонимой волнами невиданного системного кризиса и беспрецедентной иммиграции. Бесформенное полумиллиардное месиво наций, этносов и религий. Многие европейцы убеждены в реальности скоротечной исламизации своих стран. Они считают, что это угроза иного уровня, чем дефолты, экономические кризисы, далекие локальные войны. Великие нации сталкиваются с реальной перспективой уйти с исторической арены, раствориться в *пришельцах*, в других, часто антипатичных им этносах, сменить язык, растерять остатки веры, все генетические коды, лишиться своих внуков и истории, и будущего. Об этих тревогах свидетельствуют опросы населения, проводимые во многих европейских странах. Один из них содержал список 18 проблем, которые больше всего тревожат европейцев. Первое место заняла проблема иммиграции – более 1/3 опрошенных; второе место – последствия исламского экстремизма – 25%; третье место – преступность – 17%; затем следовали кризис – 16%; рост цен – 14%; безработица – 13%; мультикультурализм – 12%; и враждебная правящая элита – 11%.

Естественно, европейцы все чаще ставят вопрос: кто подвел их к краю пропасти, к бездне небытия? Почему национальное государство не защищает нацию? Почему забота о сохранности нации объявляется противоправной, ксенофобией, узколобым национализмом, расизмом? Почему в странах Востока национализм считают патриотизмом и поддерживают? В Турции, например, даже в конституции записано “республика... , верная национализму Ата-тюрка”. Зачем нам Евросоюз, если он становится ликвидатором наций?

Вот об этом в Европе идет оживленная дискуссия. Властям она очень не нравится, но им уже не удастся, как бывало в прошлом, устанавливать для идей и споров дозволенные рамки. Ни тем более её запретить, как это происходит порой в России: весной 2011 года директор Миграционной службы Ромодановский уволил, как сообщалось в прессе, высокопоставленного чиновника Константина Полторанина за две фразы: “На кону выживание белой расы” и “Смешение кровей в правильном режиме”. В Европе обо всем этом спорят без ограничений даже для государственных служащих.

Особенно распространено в Европе мнение, что бюрократия Евросоюза последовательно выступает ликвидатором наций и потому пора её саму ликвидировать. Знают европейцы теперь и то, кто начал вакханалию с завозом дешевой рабочей силы из мусульманских стран: крупный капитал, готовый на любое преступление ради прибыли не только в 300%, но даже и в 20%.

Виновны и правители, те самые либералы-монетаристы-атлантисты, которые променяли национальное первородство на золотого тельца глобализации. Кто сделал деньги богом, а прибыль – целью жизни? Ответ тоже ясен: Уолл-стрит и лондонское Сити.

*Антагонисты традиционной Европы известны. Поставим задачу выяснить: кто же её союзники?* Ясно, что не США. И не Китай. Из трех геополитических центров мира эти два – США и Китай – заведомо надо исключить. США и пристёгнутая к США Англия всегда будут явно и тайно срывать любой европейский проект. Уже работают различные центры и службы, чтобы убить его в зародыше. Уже мобилизуются зависимые от США восточноевропейские элиты, особенно в таких ключевых славянских странах, как Украина и Польша. На некоторую поддержку в будущем можно рассчитывать во Франции, Германии и Италии – в этом каролинговом ядре Европы.

Правящие элиты этих стран после развала Советского Союза стали тяготиться зависимостью от США. Разгром Югославии, возникновение мусульманских государств Боснии, Косово и Албании явно идёт вразрез с их интересами. Был эпизод, когда, казалось, начало оформляться стратегическое партнёрство Германии и Франции с Россией. Лидеры этих государств совместно выступили против второй войны США в Ираке. Причем инициатором был канцлер Германии Шрёдер. В июле 2002 года его поддержал президент Франции Ширак. Они выступили с совместной декларацией, в которой осудили новую интервенцию США в Ирак. Их активно поддержал и новый президент России Путин, объявивший, что Россия наложит вето на любую резолюцию ООН, позволяющую интервенцию и оккупацию Ирака. 10 февраля 2003 года Путин выступил ещё с одним заявлением в поддержку позиции Франции и Германии, твёрдо отказавшихся участвовать в англо-американской агрессии в Ираке. Это была не то что трещина – пробоина в, казалось, незыблемом атлантическом единстве. В то время активизировалась общественная дискуссия о создании “оси Париж – Берлин – Москва”. Но партнёрство этих трёх стран в иракском вопросе оказалось лишь единичным актом. Американской и английской дипломатии удалось привести к власти атлантические проамериканские круги как в Германии, так и во Франции. Ни канцлер Меркель, ни тем более президент Саркози, прозванный “американцем”, никогда не позволяли себе отклоняться от американской линии в политике.

Казалось, *пробоина* в атлантическом единстве прочно забетонирована. Прекратились дискуссии о партнёрстве с Россией, о какой-либо оси, объединяющей три великие европейские нации. Только среди высшего офицерского состава продолжался обмен мнениями о громадных преимуществах континентализма, о геополитических константах Франции и Германии, настоятельно требующих не только сотрудничества, но прочного стратегического партнёрства с Россией. Этот обмен мнениями дорогого стоит, хотя он и ведётся, в основном, среди отставных генералов. Но эти отставные генералы – эксперты в геополитике, где целесообразность вытекает не только из экономических выгод, но и из национальных и цивилизационных интересов. Генералы и прочие геополитики заставляют европейцев задумываться о будущем своих наций на фоне затухающего *плавильного котла* американской долларовой империи. К тому же сама деловая жизнь, конкретные взаимовыгодные проекты всё чаще показывают, что Европе в будущем по пути скорее с Россией, чем с Америкой.

7 ноября 2012 года проходили торжества по случаю открытия второй очереди трубопровода “Северный поток”, по которому российский газ, минуя Польшу, прямо из Выборга идёт в Грайфсвальд. Ясно, что это не просто коммерческий, а далеко нацеленный геополитический проект. Это так контрастирует с подковерной войной, которую американцы ведут против евро за долларовую монополию, с перекладыванием тягот кризиса на Германию и Францию, в целом на Евросоюз. Известный ученый И. Валлерштайн точно оценил, что происходит в связи с открытием “Северного потока”: “Восточная и Центральная Европа, так же как и США, из всего этого делают неутешительные выводы, что все их схемы, нацеленные против создания оси Париж – Берлин – Москва, не жизненны, не реальны. Не срабатывает против этих реалий ни центральный механизм Евросоюза, ни препятствия, чинимые во многих странах Восточной и Центральной Европы, прежде всего, на Украине”\*.

\* The Paris – Berlin – Moscow axis back again, by Immanuel Wallerstein in: Energy Bulletin, 26 Jun 2012

## Разлад между Ротшильдами и Рокфеллерами

Атлантистские элиты находятся у власти практически во всех европейских странах. Но в мире происходят такие грандиозные события, как системный кризис капитализма, рост влияния Китая и перемещение центра мировой экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион. Поколеблен либеральный миф о едином для всех землях пути развития, образцом которого являются США. А главное, для многих стало ясно, что однополярный мир глобалистов во главе с США не состоится, что возобладали процессы региональной интеграции и неизбежного подъема национальных элит. Это тоже неизбежно ведет к расколам в правящих элитах.

Среди сотен конфликтов, происходивших в мире, выделим, пожалуй, три, на поверхностный взгляд вовсе не связанных между собою! Тем не менее, они выявляют контуры разлада в правящих атлантистских элитах, в первую очередь, в самих США. Во-первых, это, казалось бы, бытовой скандал с директором Международного валютного фонда Стросс-Каном; во-вторых, акт Конгресса США о введении прямого аудита Федеральной резервной системы (ФРС), осуществляющей эмиссию доллара; в-третьих, согласованный между правительствами Германии, Франции и Англии отказ от мультикультурализма, усиление контроля за иммиграционными потоками, особенно из мусульманских стран.

В потоках информации ныне часто стали мелькать ссылки на “группировку Ротшильдов” и “группировку Рокфеллеров”\*, обычно без каких-либо объяснений. Между тем, углубленный анализ их взаимоотношений многое дал бы для предвидения и понимания грандиозных изменений, которые вскоре грянут и в мировой политике, и в экономике. Правящие элиты вновь, как и в Средневековье, столкнулись в споре о божестве, только их богом нынче являются деньги. И для Рокфеллеров, и, конечно, для Ротшильдов! Разница только в том, что группировка Рокфеллеров больше связана с Америкой как отечеством, в то время как для Ротшильдов США – это не более чем база, временный удобный плацдарм для осуществления стратегии господства над мировыми финансами. Ротшильды вполне реалисты и исходят из того, что мировая империя доллара распадается, золото теснит доллар, в мире создаются региональные валютные зоны. Наиболее значительными среди них должны стать зоны юаня и евро. США едва ли удастся утвердиться на бурлящем Ближнем Востоке и заставить расположенные там страны по-прежнему принимать в уплату за нефть и газ только доллары. Лишившись нефтяного обеспечения, доллар будет быстро слабеть и с трудом сможет остаться лишь региональной резервной валютой Западного полушария.

Финансовые операторы из группировки Ротшильда, которые теряют контроль за эмиссией доллара, вновь извернулись и начали готовиться к тому, чтобы установить своё господство в сфере обмена валют. То есть вернуться к своей изначальной исторической роли ростовщиков и менял, пусть и всемирных. Ротшильды делают ставку не только на своё старое гнездо – лондонский Сити, – но и расширяют свою инфраструктуру в Гонконге и в целом в Китае. Рокфеллеры нанесли Ротшильдам чувствительные удары, начав проверять их частную лавочку – Федеральную резервную систему США, где они бесконтрольно с 1913 года были эмитентами доллара. Это узаконенное фальшивомонетничество: после кризиса 2008 года они напечатали 16 триллионов долларов. В Германии это все чаще называют “всемирным долларовым обманом” – *Dollar-Weltbetrug*.

Группировка Рокфеллеров опирается на ту часть американской элиты, которая отражает интересы не до конца ещё уничтоженной реальной экономики, и на государственную бюрократию, на американских “силовиков”. Она добилась, наконец, от Конгресса установления хоть какого-то контроля над эмиссией доллара и в целом над ФРС. Это было непросто, так как в Конгрессе до последнего времени преобладало влияние Ротшильдов. Рокфеллерам удалось сорвать планы Ротшильдов преобразовать Международный валютный фонд в центральный банк всех национальных центральных банков, который бы контролировал эмиссию всех национальных валют, в том числе и долла-

\* Определение неточное, но в целом отражает разделение элит. Используется здесь для краткости.



ра. Группировка Рокфеллеров ни в коем случае не желает отдать под международный контроль долларовой печатный станок. Это было бы смертельным ударом по империи доллара и имперским амбициям США. Тем не менее, следует помнить, что между Ротшильдами и Рокфеллерами нет антагонистических противоречий: и те, и другие обслуживают транснациональные банки и корпорации, не знающие границ и отечеств; и те, и другие отстаивают неолиберальный торговый строй и “рыночную демократию”. Только в этой парадигме они могут выживать и властвовать.

Как справедливо пишет известный экономист и политолог М. Хазин, “Ротшильды пытались, создав Всемирный центральный банк, повторить фокус 1913 года, когда им удалось создать Федеральную резервную систему”\*. Понадобился громкий скандал вокруг директора МВФ Стросс-Кана, чтобы сорвать осуществление этого проекта. Группировка Рокфеллера намерена защищать доллар в качестве единственной резервной валюты, отстаивать “империю доллара”, продолжать борьбу за захват мировых ресурсов, в первую очередь, энергоносителей. Ротшильды раньше других уловили, что призрак национализма бродит не только в Европе, но по всему миру, что начинается эпоха национализма и разграничения валютных зон, что поэтому нужно сделать ставку и на Китай – на юань, и на обслуживание валютных зон.

Европейские элиты немедленно воспользовались этой тайной схваткой американских бульдогов и объявили, что ни политика мультикультурализма, ни, тем более, политика американского плавильного котла им не подходит, что они, столкнувшись с массовой мусульманской иммиграцией, намерены отстаивать свою национальную идентичность.

Надо вполне осознать революционные последствия акта отказа европейцев от мультикультурализма. *Мультикультурализм является важнейшей составной частью неолиберального пакета, того пакета догм, на котором зиждется атлантическое единство\**. Деятели из группировки Рокфеллера тоже понимают гибельность мультикультурализма, отчётливо видят, что этнический плавильный котёл в США не срабатывает, что нигде в мире расовая напряжённость не нарастает так стремительно, как в США. Но им уже поздно отказываться от политики мультикультурализма, потому что США прошли точку возврата. Во многих штатах белые уже составляют меньшинство, что видно, прежде всего, в школах. СМИ, особенно местные, переполнены сообщениями об этнических конфликтах в учебных заведениях. Вот, например, в Канзасе двое чёрных подростков облили белого мальчика Алана Куна бензином и подожгли с криком: “Вот что ты, белый парень, заслужил!” Против Алана ополчилась и учительница Карла Киндер. В Калифорнии многие учителя поддерживают чернокожих и латиносов в их ненависти к белым. Тон задают СМИ. Все они монополизированы пятью медиакорпорациями и издавна контролируются деятелями, близкими к Ротшильдами.

Американские националисты, в том числе из популистской “Чайной партии” – *Tea Party*, отслеживают те издания, передачи и журналистов, которые особенно враждебны к белой Америке. Вот смешной, но весьма показательный и, главное, растиражированный случай с семейной фотографией республиканского кандидата М. Ромни на выборах президента. На ней счастливая большая семья М. Ромни: супруга, сыновья, дочери, невестки, зятя, внуки. Хорошие лица, светлые, здоровые, жизнерадостные! Но журналист Томаски изливает свою неприязнь к М. Ромни и его семье: и фото, и даже то, что Ромни всегда в белой рубашке, – это “верные знаки патологической привязанности к белым” – *pathological whiteness*. Журналист Г. Мейерсон из *Washington Post* обобщает: “Республиканская партия является ныне в большей мере, чем когда-либо, партией белых людей”. И заключает: “Партией прошлого Америки”. СМИ негодуют, что Ромни выдвинул на пост вице-президента тоже белого, да еще из “Чайной партии”. Американские патриоты теперь часто вспоминают некую Сюзану Зонтаг, которая еще в 1967 году назвала “белую расу раковой опухолью в истории человечества”. Патриотов и националистов ныне клеймят как экстремистов, новых маккартистов, белых расистов, антисемитов и, самое страшное, *гомофобов*, то есть ненавистников педерастов. А го-

\* Михаил Хазин. “Сумеет ли Путин повторить успех Ленина и Сталина”. KM.ru от 2 августа 2012.

\*\* См. мои статьи в журналах “Наш современник” в 2011–2012 годах.

мосексуалистов в Америке миллионы, и они очень влиятельны, с ними заигрывают, их убажают, не желая считаться с тем, какую огромную общественную опасность они представляют.

Патриоты публикуют списки тех деятелей СМИ, которые “вибрируют от ненависти к белым”. Они наблюдают, как укрепляется сотрудничество таких организаций, как, например, *Всемирный Еврейский конгресс* и *Всемирный совет мусульманских межконфессиональных отношений (WIMIR)*. Эти американские организации выступили инициаторами созыва в Европе первого заседания Координационного комитета европейских мусульманских и еврейских лидеров. Их цель – отстаивать мультикультурализм.

В интернете бушуют яростные споры. Страсти, исполненные контрпродуктивной, безответственной ксенофобии. процитирую письмо одного американца, пока не типичное, не массовое, которое показывает, однако, куда дует ветер – в каком направлении будет, видимо, меняться общественное мнение в США. Вот оно: “Представить только, что в 1940-х годах белым американцам сказали бы, что через 50 лет их страна будет контролироваться еврейскими банками и средствами массовой информации; что нашу страну будут захлёстывать волны отребья из третьего мира, что будет процветать смешение рас, что страна будет вести в интересах Израиля нескончаемые войны... Давайте скажем, наконец, правду: Америка, по сути, проиграла вторую мировую войну, ибо она воевала на стороне тех, кто, придет время, поработит её”\*. Здравомыслящие американцы знают, что М. Ромни, даже если бы он стал президентом, ничего бы не смог изменить, потому что страной управляет “враждебная элита” – hostile elite, – термин, маскирующий нарастающий в стране антисемитизм.

В современной Америке англосаксы, которые считают своих предков *отцами-основателями* Соединенных Штатов (WASP), вынуждены отступать, сдавать свои ещё недавно господствующие позиции. Они со всё большим трудом сохраняют свой порядок, свои традиции, исполняя роль государствообразующего сегмента общества. Но США этнически и экономически неуклонно превращаются в страну третьего мира. И это несмотря на возведение по границе с Мексикой стены против потоков иммигрантов. Об этой стене СМИ предпочитают помалкивать. В мире по-прежнему витает имидж Америки как ведущей державы мира с несравненной военной мощью, с самой передовой наукой. Но мало кто знает, особенно в России, о её неизлечимых болезнях, о её гнилостных язвах. Вот для примера картина из привычной жизни большого американского города, описанная американским писателем Джоном Гришемом в романе “Король правонарушений”\*\*. Адвокат Клей въезжает в “цветное” гетто: “Клей медленно спускался... , закрыв двери машины, крепко вцепившись в руль. Его напряженные глаза стреляли по всем сторонам, уши ожидали неизбежной стрельбы. Ведь белый парень в этом гетто был неотразимо желанной мишенью, желанной в любой час дня... Вокруг на две-три мили не встретишь другого белого лица”.

Для Америки, для этой страны эмигрантов – это давнишняя привычная картина. Для европейцев это пока в новинку. Хотя и у них, как грибы в дождливую пору, в десятках городов появляются такие же гетто, живущие по своим законам – по шариату. В одной только Франции уже зарегистрированы 1400 мусульманских гетто, 11 городов стали мусульманскими. Французский закон – там уже не закон. Полиция там появляется неохотно, в крайних случаях и только усиленными нарядами. Европейцы не хотят потерять, подобно американцам, свою национальную идентичность. Поднимающийся европейский национализм не считает более США примером для подражания и становится всё более враждебным к американцам.

### **Стратегемы Британской империи сознания**

Кто главные идеологи глобализации и противники традиционной Европы? Учёные на Западе, как и наши известные политологи Ю. Болдырев, М. Делягин, указывают на “глобальный управляющий класс”, на руководителей

\* Source: originally posted at VNN Forum.

\*\* John Grishem. The King of Torts, pp. 31–33.

147 транснациональных банков и корпораций, базирующихся, в основном, в США. Однако многие годы в наших исследованиях, оставаясь в тени, не упоминались лондонский Сити и тесно связанная с ним правящая элита Великобритании. Некоторый свет на эту конспирологию проливает статья Дугласа Рейчела\*. Он подчеркивает весьма важный факт: трансатлантическая система основана на каркасе двухсотлетней Британской империи. «Эта империя не исчезла, как принято считать. Это, – пишет Д. Рейчел, – империя мировых финансов, «империя сознания», империя контркультуры рока, наркотиков, секса, цифровых социальных сетей. Империя, целью которой является сокращение населения планеты с 7 миллиардов до 1 миллиарда или даже меньше». Принц Филипп Английский как-то позволил себе высказаться о 6 миллиардах лишних ртов. О них же говорила и экс-премьер Англии, баронесса Маргарет Тэтчер. Для России, по её расчётам, будет достаточно и 15 миллионов жителей. Эти деятели уже давно размышляют, как добрать до кладовых России, как их распечатать, как продавать пресную воду Байкала...

Известный американский ученый и политик Линдон Ларуш – Lindon La Rouch – уже многие годы обращает внимание общественности на то, что геополитические вихри несутся не только из США, но и из Англии, точнее, от англо-голландского финансового спрута ротшильдовской «Inter-Alfa Group», из Института Открытого общества Сороса, от британских разведывательных служб. З. Бжезинского, например, многие политологи иронично именуют агентом английской МИ-5. Д. Рейчел называет в своей статье и тех, кто готовил и готовит стратегемы *Британской империи сознания*, – это университеты Оксфорда и Кембриджа. Не Вашингтон, а британские интеллектуальные центры многие политологи считают разработчиками основных установок глобализации, таких как Вашингтонский консенсус и устав Всемирной торговой организации. Лондонское Сити издавна было главной цитаделью Ротшильдов.

*Разлад между группировками Рокфеллеров и Ротшильдов уже заметно проецируется на европейские правящие круги.* Особенно заметно это в Германии. Практичные немцы давно поняли, что современная валютно-финансовая система носит паразитический характер, ибо в её основе – обман, принуждение, ростовщичество, задолженность, контрибуции всех народов транснациональным банкам, обслуживание мафиозных структур и разведывательных сообществ США и Англии, занятых торговлей наркотиками и оружием, а также создание *виртуальных богатств* в Интернете. Немцы понимают, что эта система основана на диктатуре доллара. Поэтому они пытаются сделать евро второй резервной валютой, идет ожесточенная война доллара против евро.

Американский банк *Goldman Sachs* подготовил разорение Греции. Теперь США заставляют немцев её спасать. Европейцы пытаются смиренно устранять финансовые провалы, не смея даже намекнуть, что они – результаты деятельности их атлантических партнёров. Почему? Да потому, что они знают, что евро привязан к доллару и что Европейский центральный банк подчиняется больше Америке, чем Германии или Франции, как и вообще вся брюссельская бюрократия Евросоюза. И тем не менее, мы наблюдаем, что всё чаще и чаще появляются вот такие оценки валютной войны: «Долго ли Германия будет оставаться полезным идиотом для тех, кто выиграет от распада зоны евро?»\*\*.

Победа над евро была бы поражением для тех, кто формирует ныне валютные зоны в Азии. Президент Путин, выступая на саммите АТЭС в сентябре 2012 года во Владивостоке, положительно отнёсся к созданию валютных зон и, следовательно, к интеграционным процессам в различных регионах мира, в том числе в Евразии и в Большой Европе. Германия развивается в русле этих процессов регионализации, и поэтому происходит её геополитическое возвышение. Слабеют немецкие атлантисты – усиливается националистическое крыло правящей элиты. Всё чаще немцам напоминают, что правящая Христианско-Демократическая партия изначально не была неолиберальной партией. Будучи наследницей веймарской партии Центра, она имеет программу социально ориентированного рыночного хозяйствования. Она способна отказаться не только от мультикультурализма, но и провести антилиберальные реформы. Так вскоре и должно произойти. Её политику будут

---

\* KM.ru от 16 февраля 2012: Дуглас Рейчел. Либеральный интервенционизм Майкла Макфола.

\*\* Fortune. Le blog économique de FDESCOCH Com.

копировать другие европейские страны. Поэтому лондонское Сити ныне пытается оторвать Францию от Германии, что может способствовать дальнейшему сближению Германии и России. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что правящая элита Германии однажды станет нашим соратником в строительстве традиционной Европы. За Германией последуют, прежде всего, Италия и Франция. Но, конечно, нельзя забывать и того, что в расчётах англо-американской дипломатии главным тормозом на этом пути должен стать Евросоюз и его проатлантическая бюрократия. Не стоит верить речам главы Евросоюза Жозе Баррозу на саммите Евросоюз – Россия в Санкт-Петербурге в 2012 года: “Мне кажется, что мы значительно продвигаемся в сторону формирования именно Большой Европы”. Он один из тех, кто дисциплинированно проводит вашингтонский курс “отбрасывания России” – *roll back Russia*, постоянно вынимая из рукава то грузинскую, то эстонскую, то украинскую карты.

### **Кто такие в Европе национал-патриоты и чего они требуют**

Подъёму националистического движения в Европе сопутствует ослабление США и политики глобализма. Официальные проатлантические СМИ настойчиво называют внесистемную европейскую оппозицию “крайне, ультраправыми”, “маргиналами”, словом – отщепенцами от цветущего демократического древа. На самом деле это далеко не так. Это уже не одиночки, не группки. *В вихрях кризиса, на волнах массового протеста против неконтролируемой иммиграции она превращается во влиятельные национал-патриотические народные партии и движения. Упорно и довольно успешно они прокладывают себе путь к власти.* В последние 5–7 лет они добились представительства в парламентах многих стран Евросоюза, да и в европейском парламенте. Они участвуют во многих правительствах, часть из которых нельзя считать “правыми”, тем более – крайне правыми. Их программы часто “левые”, ибо отвечают народным чаяниям. Но в этом бурном потоке популистов, националистов, патриотов и правых уже можно провести разграничительную линию, выделив некоторые из них в качестве партнёров для возможного сотрудничества. Не может быть и речи о сотрудничестве с расистами, ксенофобами, антисемитами, фашистами и нацистами. С такими партиями, например, как Британская национальная партия или итальянская *Casa Pound*, которая откровенно называет себя партией “фашизма третьего тысячелетия”. К счастью, такие партии маловлиятельны. Напротив, такие партии, как Национальный фронт Франции, становятся ведущими силами европейского общества.

Исследователи иногда задаются вопросом: не случится ли с популистами то, что стало с фашизмом 20–30-х годов? Опасность такая есть! Всё зависит от того, что в них возьмёт верх – христианское мировоззрение или расистская идеология.

Первыми заинтересовались националистическими партиями и движениями английские исследовательские центры. В конце 2011 года они опубликовали доклад, в котором проанализировали более десяти тысяч подробных интернет-опросов тех, кто поддерживает националистические партии в 11 странах Евросоюза\*. Кто они, чем недовольны, что их тревожит, чего они требуют? Согласно исследованию, 63% – это молодые люди до 30 лет; 75% – мужчины; образование – среднее и высшее; 14% из них – безработные; 32% состоят в различных партиях; 80% не доверяют властям и правящим партиям\*\*. Из этих цифр очевидно, что стереотип, насаждаемый СМИ о националистах, ложен: они не бездельники, не бродяги – ненавистники порядка и мультикультурализма. Напротив, это, в основном, молодые, активные, хорошо образованные мужчины, ненавидящие “враждебные правящие элиты”. Их объединяет протест против *глобализации по-американски* и её последствий для рабочего класса и его организаций. Он считают, что правительства не ведут

\* Список этих партий и движений включает: Bloc Identitaire (France); BNP (UK); Casa Pound (Italy); The Dansk Folkeparti (Denemark); The English Defense Lique; FN (France); the Dutch Party of Freedom (Netherland); Die Freiheit (Deutschland), FPÖsterreich; Norwegian Progress Party; Lega Nord (Italy); True Finns; Sweden Democrats; Vlaams Belang (Flemish Interests).

\*\* The Rise of Populism in Europe. The new Face of Digital Populism by L. Burtlett, D. J. Birdwell, M. Littler, 2011.

борьбу с коррупцией. В этом смысле они не правые, а, скорее, левые. И все-таки, согласно опросу, главным противником они считают радикальный ислам, экстремизм глобального джихада, который тайно поддерживают транснациональные правящие элиты европейских стран. Авторы исследования пришли к выводу, что главной причиной подъёма европейского национализма является борьба за сохранение национальной самобытности, традиций, а вовсе не расизм и не экономические трудности.

Опросы выявили также, что националистам не нравится в глобализме или в транснациональном капитализме. Прежде всего, это приватизация общественного сектора экономики, отказ от какого-либо регулирования экономики – *deregulation*, экспансия транснациональных корпораций. Они не приемлют разорение природы, потребительство и унификацию личности, уничтожающие национальные культуры.

Особо отмечу, что многие национал-патриоты уже давно выступают против НАТО, против ВТО, против “атлантистского единства” – основы современной проамериканской геополитической конструкции мира. После крушения СССР не Россия, а США становится главным противником Европы. Вашингтон, а не Москва, поддерживает исламизацию Западной Европы. Если вы хотите сохранить нацию, – поясняют они, – вам не по пути с Америкой. Эти настроения проникают в массы. Почва готова для создания “интернационала национал-патриотов”.

Правящие европейские элиты отступают, отказываются от мультикультурализма, дают Вашингтону понять, что им уже не под силу вести во многом антинациональную политику. Даже такие друзья Вашингтона, как канцлер Германии Меркель и бывший президент Франции Саркози, сопротивляются приёму 75-миллионной мусульманской Турции в Евросоюз, считая, что это будет размывать “европейскую идентичность”. Европейцы обеспокоены намерением Вашингтона передать Турции комплекс из 13 военных баз в Косово.

В самой Америке значительная часть республиканцев выступает за возврат США к традиционному изоляционизму, закрытие ненужных 750 военных баз в 80 странах мира. Их кандидат в президенты Рон Пол считает главным врагом Америки финансовую олигархию Уолл-стрит и лондонского Сити, неоконгов, захвативших СМИ, университеты и ФРС.

Системный кризис, новые волны которого ожидаются в ближайшие годы, ведёт к ликвидации долларовой эксплуатации мира и к ликвидации Запада как осевого геополитического феномена. В Западной Европе наметилась, пока зачаточная, тенденция выстраивания взамен Запада новой геополитической конструкции – Севера, без участия США, но зато с участием России. *И наибольшую активность в этом процессе играют националисты.*

### **Марин Ле Пен об олигархическом тоталитаризме**

Самой влиятельной среди организаций европейских националистов является Национальный фронт Франции (НФ). Его основателя Жана Мари Ле Пена правящие круги по привычному шаблону считают неонацистом. Действительно, в прошлом он иногда допускал нетолерантные высказывания. Когда его дочь, избранная президентом НФ, вернулась в январе 2012 году из Австрии, где она встречалась с единомышленниками – австрийскими националистами-католиками, либеральная пресса и её обвинила в симпатиях к Гитлеру и нацизму. И тогда она по телеканалам обратилась к народу и сказала: “Если бы я жила в 40-е годы, то, несомненно, воевала бы против поработителей моей родины. Французы знают, что я отвергаю все формы тоталитаризма, будь то нацисты, коммунисты или глобалисты. Эти последние (глобалисты. – **Б. К.**) поддерживаются именно той системой, против которой я веду борьбу”.

Важно осознать, какой большой смысл вложен в это заявление! Национальный фронт Франции и его председатель без каких-либо колебаний называют главным врагом Франции мировую финансовую олигархию, *определяют её систему управления миром как тоталитаризм*. Видимо, поэтому М. Ле Пен отказалась в мае 2012 года поддержать кандидата в президенты от социалистов Ф. Олланда. Для неё он – руководитель левого фланга мирового олигархата, а Саркози – лидер правого фланга. В европейских СМИ, в том числе в *Euronews*, как-то промелькнуло сообщение, что Саркози и Олланд – родственники, имеющие недалёкого общего предка.

М. Ле Пен отважилась переступить ту красную черту, до которой олигархическая демократия позволяет доводить полемику, критику, гласность, открытость. На выборах президента в апреле 2012 года все силы были брошены против неё и Национального фронта Франции. Визит М. Ле Пен в США тамошние власти проигнорировали. Что было делать с гостьей, которая в Вашингтоне, на 18-й авеню, перед входом в штаб-квартиру Международного валютного фонда заявила, что этот “Фонд должен быть ликвидирован, так как он является адской машиной на службе ультралиберальной идеологии”. Кстати, её мнение совпадает с мнением российских патриотов-государственников.

В обращении к французской нации 21 августа 2012 года Марин Ле Пен вновь предостерегла нацию “от финансового и банковского тоталитаризма”, который в Европе строится “тройкой, состоящей из Евросоюза, Центрального банка Европы и Международного валютного фонда”. Она призвала готовиться к “возможной социальной катастрофе в результате распада зоны евро”. Она считает, что не надо спасать евро, что необходимо восстановить национальные валюты, как и национальный суверенитет всех европейских стран. Только сильные национальные государства способны совместно прекратить финансовые спекуляции, остановить ростовщиков и осуществить реиндустриализацию. Российские государственники тоже настаивают на срочной реиндустриализации. Проблема иммигрантов у М. Ле Пен не увязывается ни с этнической принадлежностью, ни с мусульманством. Она заявляет, что ввоз иностранной рабочей силы её стране не нужен. Он наносит ущерб экономике Франции, где есть миллионы безработных французов. Её цель – укрепление семьи и государства, “возрождение духа Франции”. Есть все основания рассматривать М. Ле Пен как наследницу идей и проектов Шарля де Голля, который грезил о величии Франции. М. Ле Пен уже много раз заявляла, что, добившись власти, она будет считать “Россию привилегированным геополитическим партнёром”<sup>\*</sup> своей страны.

*Национальный фронт Франции может стать надёжным союзником российских государственников, потому что их цели практически совпадают.* В программе Национального фронта Франции среди 11 главных целей (осей) внешней политики страны обозначены следующие: возводить Европу наций; выходить из объединённого командования НАТО; предложить России создать стратегический альянс, который будет основываться на военном и энергетическом партнёрстве, на отказе от войн и интервенций, на соблюдении международного права”. *Предполагается создать “тройственный альянс Парижа, Берлина и Москвы”, а также выступить с предложением создать панъевропейский союз суверенных нейтральных государств*<sup>\*\*</sup>.

Неизвестно, принимает ли в расчёт такие предложения российская дипломатия? Едва ли! А жаль.

---

<sup>\*</sup> В интервью в апреле 2011 года она сказала, что, когда она возглавит Францию, “la France ferait de la Russie un partner privilegie”.

<sup>\*\*</sup> Официальный сайт Национального фронта Франции: Frontnational.com.

ИВАН ДРОНОВ

## РУССКИЕ И КАПИТАЛИЗМ

*Главы из книги*

### **Славянофильство – первая антикапиталистическая идеология в России**

Славянофильство возникло и развилось в целое мировоззрение в то “замечательное десятилетие” (1839–1849), которое стало временем рождения основных русских идеологий: национализма, либерализма, социализма. Возникновение русских идеологий отразило в себе один из важнейших переломов в истории России, не завершённый и поныне, – переход к капитализму, к обществу модерна, к рациональному мировоззрению и индустриальному хозяйству от традиционного жизнеустройства – земледельческого, религиозного, патриархального. Именно споры в дворянско-интеллигентских кружках о судьбах Старого порядка в России, об уничтожении крепостного права, об упразднении сословного строя и самодержавного правления, об образе чаемого будущего страны дали толчок к формированию славянофильского направления в русской общественной мысли. В борьбе и взаимовлиянии с западничеством славянофильство дало мощные побег и ответвления, протянувшиеся сквозь столетия в наши дни, и сегодня оно представляет собой вполне живую идеологическую традицию “самобытничества”, имеющую многочисленных последователей и почитателей, учителей и толкователей, организационные структуры и систему отрицательного соотнесения в лице современного “западничества”, выступающего, как и прежде, в роли ретранслятора западного индивидуализма, либерализма и капитализма.

Славянофильство, несомненно, занимает совершенно особое место в истории русского национального мышления. Когда-то Н. А. Бердяев в своей книге об А. С. Хомякове очень точно определил: “Славянофильство – первая попытка нашего самосознания, первая самостоятельная у нас идеология. Тысячелетие продолжалось русское бытие, но русское самосознание начинается с того лишь времени, когда Иван Киреевский и Алексей Хомяков с дерзновением поставили вопрос о том, что такое Россия, в чем её сущность, её призвание и место в мире”<sup>1</sup>. Славянофилы и сами осознавали, что “оригинальная русская мысль” разрабатывалась в России “только славянофилами”, и оригинальность её заключалась единственно в том, что она выражала в текстах и идеологемах то, что уже было “воплощено в жизни русского народа”<sup>2</sup>, что стало результатом тысячелетнего исторического творчества народа. Потому-то

наследие славянофильства всегда вызывало неубывающий интерес и ожесточённую идейную борьбу не только при их жизни, но и спустя 100, и 150 лет после смерти главных его представителей. Проникнуть в тайну славянофильской мысли означало бы понять само русское самосознание, а присвоить их наследие для того или иного идеологического течения равносильно тому, чтобы получить сертификат национальной подлинности.

Прежде чем приступить к разбору славянофильского учения в его отношении к капитализму, определимся с тем, кого мы имеем в виду, говоря о славянофилах. Нередко значение терминов “славянофил” и “славянофильство” неоправданно расширяют, прилагая их к лицам и явлениям, имеющим весьма мало общего с первообразом. “Славянофилами” называют и тех, кто придерживается мнения о национальной самобытности или исключительности России в каком бы то ни было смысле (в смысле этнокультурного своеобразия, особого государственно-политического или хозяйственно-бытового строя), и тех, кто является сторонником идеи “славянского единства”, или “братства”, то есть исторической близости и связности судеб славянских (особенно православно-славянских) народов. В этом последнем смысле даже товарищ Сталин аттестовал себя “славянофилом-ленинцем” и “славянофилом-большевиком”<sup>3</sup>. В данной работе мы придерживаемся максимально строгого и узкого понимания “славянофильства” и “славянофилов” как кружка представителей московской дворянской интеллигенции 1840–1850-х годов, которые создали это учение и сформулировали его важнейшие религиозно-философские, социологические и политические основания. Общепризнанными родоначальниками славянофильства являются Алексей Степанович Хомяков (1804–1860) и Иван Васильевич Киреевский (1806–1856), впервые в 1839 году заявившие о России как самостоятельном культурно-историческом феномене, скрывающем в себе потенциал иного и более высокого типа развития, нежели западноевропейская цивилизация. Из тех, кто в 1840-е годы примкнул к кружку Хомякова–Киреевского, наибольший вклад в дальнейшую разработку славянофильского учения и превращение его первоначальных интуиций в тщательно продуманные и обоснованные теории внесли Юрий Федорович Самарин (1817–1876) и Константин Сергеевич Аксаков (1817–1860). Очень важную роль в кристаллизации и систематизации комплекса славянофильских идей, а также в их печатной пропаганде сыграл Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886), взявший на себя бремя хранителя чистоты учения после смерти отцов-основателей славянофильства. Именно сочинения этих пяти главных идеологов славянофильства мы привлекаем для квалификации учения в целом. Другие члены же славянофильского кружка либо не обладали достаточными дарованиями, чтобы самостоятельно развивать идеи основоположников, и их высказывания не существенны, либо лишь частично разделяли положения славянофильской доктрины, и поэтому их воззрения не всегда могут служить адекватным выражением сути славянофильства<sup>4</sup>.

Уже издавна сформировались три влиятельных направления в истолковании славянофильства как общественно-политической идеологии. Одно из них, появившееся одновременно с самим славянофильством и окрепшее в полемике с западничеством, склонно видеть в славянофилах откровенно консервативное течение, враждебное современному им буржуазному Западу – источнику общечеловеческого развития и прогресса. В массовом сознании это направление преобладает, но в предельно утрированном виде, представляющем славянофилов и их последователей как малокультурных приверженцев водки, блинов, балалайки и косоворотки. Другое истолкование, высказанное ещё в конце XIX века, но утвердившееся позднее и особенно тщательно обоснованное в исследованиях некоторых современных историков, признаёт в славянофильстве российскую разновидность либерально-буржуазной идеологии, отягощённую в силу разных исторических обстоятельств некоторой национальной спецификой. Наконец, сторонники третьей концепции, отмечая наличие в славянофильстве противоречивых идеологических интенций, реакционных и прогрессивных, делают акцент на высказываниях славянофилов, роднящих их с некоторыми направлениями утопического социализма – и современного им европейского, и позднейшего российского (народнического).

В русле каждой из этих трёх историографических традиций написано неоглядное количество литературы, но мы кратко остановимся лишь на тех концептуальных исследованиях, в которых не только ставится проблема либе-



ральности или консервативности славянофильства вообще, но и выясняется именно отношение славянофилов к буржуазной цивилизации Запада и капиталистической модернизации России.

Рассмотрим сначала ту историографическую традицию, в которой славянофильство интерпретируется как учение, близко соприкасающееся с некоторыми социалистическими доктринами XIX века. Основания для этой точки зрения можно во множестве почерпнуть уже в наблюдениях и отзывах современников. Так, например, западник К. Д. Кавелин вспоминал, как “Белинский выражал славянофильскую мысль, что Россия лучше сумеет разрешить социальный вопрос и покончить с капиталами и собственностью, чем Европа”<sup>5</sup>. А. И. Герцен полагал, что “социализм, который так глубоко разделяет Европу на два враждебных лагеря”, признан “славянофилами так же, как нами”. “Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку”, – утверждал он<sup>6</sup>. Н. Г. Чернышевский находил в славянофильстве “странную” смесь из сочинений П. Ж. Прудона и “жития Симеона Столпника”<sup>7</sup>. По признанию ещё одного западника, П. В. Анненкова, “русский социализм был впервые поставлен на вид славянофилами”<sup>8</sup>.

Известный историк народничества В. Богучарский в начале XX века отстаивал точку зрения, согласно которой славянофильство является одним из важнейших источников народнического “русского социализма”, который позаимствовал у славянофилов их идеи самобытности исторического пути России и особой роли крестьянской общины в русском социальном строе<sup>9</sup>. Народники, по мнению Богучарского, заострили антикапиталистический смысл этих идей для обоснования возможности России избежать капитализма, к которому привело развитие западноевропейской цивилизации. Преемственность идей славянофильства и народничества отмечали в конце XIX века С. Н. Южаков и П. Б. Струве, за что подверглись резкой критике В. И. Лениным<sup>10</sup>. Для Ильича и славянофилов, и народники являлись олицетворением традиционной помещицкой и крестьянской Руси, которая в любой своей ипостаси выступала реакционным препятствием на пути освободительной миссии интернационального пролетариата и подлежала дискредитации и ликвидации.

В советской историографии идейная близость между славянофилами и некоторыми течениями домарксистского социализма получила обоснование в работах С. С. Дмитриева. По его мнению, целый ряд черт, присущих славянофильству, “позволяет говорить о некоторых сторонах его как о своеобразной национально-русской разновидности христианского утопического социализма”<sup>11</sup>.

Отчасти с этим соглашался и советский историк общественной мысли В. А. Малинин, посвятивший славянофильству специальный раздел в своей книге об истории русского утопического социализма. “Основные постулаты славянофильской идеологии, – писал он, – идеализация допетровской “святой” Руси... превознесение русского дворянско-православного и общинного образа жизни за счёт западного буржуазно-рационалистического, отрицание самой возможности “мерзкого” западного пути в русских условиях – напоминают некоторые постулаты народничества”<sup>12</sup>. Однако “социализм” славянофилов был, по мнению Малинина, “патриархально-консервативным”, “романтическим”, “христианским социализмом”<sup>13</sup>. Впрочем, антибуржуазность славянофильства Малинин ни в коей мере не подвергал сомнению.

Обратимся теперь к той историографической традиции, которая отстаивает взгляд на славянофильство как на крайне консервативное учение, которое лишь несущественными нюансами отличается от официальной идеологии феодального государства и одинаково противостоит как либеральным, так и социалистическим направлениям общественной мысли дореформенной России. Приверженцы этой концепции не отрицают: славянофилов “видели, что капитализм есть зло и источник величайших несчастий для человечества”; они много справедливого высказывали о “духовном оскудении человека буржуазного мира, о трагическом подчинении личности власти чистогана, о катастрофической инфляции нравственных ценностей”<sup>14</sup>. Но славянофильство “возникло как дворянская реакция на развитие капитализма и освободительного движения в России и Западной Европе”, и “передовым общественным идеалам славянофилов противопоставляли реакционную утопию о мессианской роли России, о патриархально-монархической и христианской общине, осуществляющей гармоническое сотрудничество царя, церкви, дворянства и народа”<sup>15</sup>.

Поэтому мнимым является сходство взглядов славянофилов и Герцена, которые, отталкиваясь в своих идейных поисках от русской крестьянской общины, далеко затем расходились в разные стороны: Герцен — к народническому утопическому социализму, а славянофилы — к “патриархальной утопии, родственной феодальному социализму”. Тем не менее “обе утопии связывали некапиталистический путь развития России” с “возможностью не допустить создания в ней безземельного пролетариата, существующего в странах Западной Европы”. Равным образом “для обеих утопий характерно отрицательное отношение к политическим формам буржуазного общества” на базе общинной соборности русского крестьянства, но “это обстоятельство не меняет общего консервативного характера славянофильского традиционализма”, так как “у славянофилов община играла роль патриархального заслона против развития в стране капиталистических отношений и социалистического движения”<sup>16</sup>.

Наиболее основательно и всесторонне аргументирована концепция славянофильства как консервативно-традиционалистской идеологии в работе польского историка Анджея Валицкого “В кругу консервативной утопии” (1964). Валицкий признает “антикапиталистическую природу мировоззрения, нашедшего своё выражение в славянофильской утопии”, и относит её к числу аналогичных западных “феодально-социалистических” учений<sup>17</sup>. Однако, несмотря на несомненный тематический “параллелизм” в размышлениях славянофилов и западников (в том числе и социалистов), Валицкий расценивает их как “системы отрицательного соотнесения”, которые, подвергая критике капиталистические отношения, делали это с противоположных позиций. Совпадения здесь поверхностны, а вот различия между рационалистическим дискурсом социалистов-западников и патриархально-романтическим мировоззрением славянофилов носят фундаментальный характер<sup>18</sup>.

Таким образом, историки, признающие в славянофильстве одну из разновидностей хотя бы и “феодального”, “христианского”, но социализма, и сближающие их с русским народничеством, а с другой стороны, те интерпретаторы славянофильства, которые видят в нём проявление общеевропейской “патриархально-романтической” реакции на просвещенческую философию и “принципы 1789 года”, сходятся в одном — славянофильство несомненно является антикапиталистической, антибуржуазной, антилиберальной идеологией. Можно принять мнение некоторых исследователей, считавших, что классическое славянофильство его основоположников — И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, К. С. Аксакова — заключало в себе возможности самых разнообразных интерпретаций, а отдельные элементы славянофильского учения могли встраиваться в различные идеологические течения. Отражённые в славянофильстве интересы патриархального общинного крестьянства оплодотворили русский (народнический) социализм и учение позднего Л. Н. Толстого<sup>19</sup>. С другой стороны, “идеологи официальной народности, как, впрочем, и других консервативных партий, находили у славянофилов обоснование царистского панславизма, русского и славянского национализма и шовинизма”<sup>20</sup>.

Не подлежит сомнению, что следы влияния славянофильского учения можно обнаружить как в некоторых левых течениях в русской общественной мысли второй половины XIX — начала XX вв. (народничество, толстовство), так и в консервативно-монархических (Ф. М. Достоевский, Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, В. П. Мещерский). Однако какая бы идеологическая конструкция ни возводилась на славянофильском фундаменте, в ней вольно или невольно проявлялась глубоко заложенная в славянофильстве антикапиталистическая интенция. Более того, эта интенция даёт о себе знать даже намного сильнее и определённое в пореформенную эпоху и по мере развития капиталистических отношений, по мере обострения социальных противоречий, порождаемых капитализмом, проявляется всё отчётливее как в левых, так и в правых ответвлениях славянофильства.

С этими утверждениями решительно расходится третья историографическая традиция, которая трактует славянофильство как одно из направлений отечественного либерализма, понимаемого как сугубо буржуазная идеология. Эта точка зрения наиболее основательно и детально была разработана в 1970–1980-е гг. в исследованиях советских историков общественной мысли Е. А. Дудзинской и Н. И. Цимбаева. В преддверии буржуазной реставрации в СССР ими обосновывалась концепция буржуазного характера славянофильских идей<sup>21</sup>, и тем самым фактически закрывался вопрос о какой-либо само-

стоятельной русской мировоззренческой и идейно-политической традиции, о каком-либо альтернативном — на базе этой национальной традиции — проекте развития, помимо западного проекта модерна — в буржуазно-либеральном или марксистском варианте. В самом деле — если уж такие паладины самобытности, как славянофилы, оказались тайными агентами влияния буржуазного Запада, то что остаётся делать России, как не выбросить белый флаг духовной капитуляции?

Но не будем спешить с белым флагом, рассмотрим, насколько основательные аргументы выдвигали Цимбаев и Дудзинская для обоснования буржуазной сущности славянофильства. И тут сразу обнаруживается определённая странность. Почему-то доводы исследователей преимущественно опираются на высказывания и тексты так называемых “младших” славянофилов (И. С. Аксакова, А. И. Кошелева, В. А. Черкасского, Ф. В. Чижова), большей частью имевших довольно косвенное отношение к славянофильскому учению и заслуживающих скорее наименования его эпигонов. Между тем, отцы-основатели славянофильства (И. В. Киреевский и А. С. Хомяков) и самый яркий из его идеологов, “передовой боец славянофильства” (К. С. Аксаков) занимают непропорционально малое место в концепции “буржуазно-либерального” славянофильства. Понятно, что взгляды “старших” славянофилов никак не укладываются в эту концепцию, причем настолько, что некоторых из них приходится попросту игнорировать. Так, Н. И. Цимбаев, хотя и обращается в своей книге “Славянофильство” к сочинениям И. В. Киреевского, но лишь для того, чтобы прийти к выводу: Иван Васильевич никаким либералом, сторонником буржуазно-капиталистического прогресса не был. “Идеал “общества христианского, православного” у Киреевского, — признает Цимбаев, — носил, бесспорно, консервативный характер”. Но в таком случае возникает вопрос о принадлежности идей Киреевского, признанного и его соратниками, и многими поколениями историков “отцом славянофильства”, к этому самому славянофильству, представляемому в качестве либерально-буржуазной идеологии. Прямо исключать главного родоначальника славянофильства из его рядов Цимбаев не решается, но прозрачно намекает на “уклон” Киреевского от “генеральной линии”. “Взгляды И. Киреевского, — пишет он, — несомненно и сильно отличались (не только в крестьянском вопросе) от взглядов других славянофилов”, а “к концу жизни И. Киреевский в этом вопросе остался в одиночестве”. Для подтверждения концепции либерализма славянофилов подвергается сомнению даже адекватность мыслителя: “Взгляд И. Киреевского безнадежно утопичен. Утопичен идеал “общества христианского, православного”, совершенно несостоятельны надежды на его скорое воплощение в жизнь. Кроме И. Киреевского, никто из славянофилов их не разделял”<sup>22</sup>.

Эти утверждения совершенно безосновательны. Каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с учением славянофилов, не может не согласиться с тем, что идеал “общества христианского, православного” был, безусловно, общепризнанным и основополагающим в славянофильстве, а не только личным мнением И. В. Киреевского. Это легко подтвердить цитатами. Так, по убеждению А. С. Хомякова, разделяемому, без сомнения, всеми славянофилами, “внутренняя задача Русской земли есть проявление общества христианского, православного, скреплённого в своей вершине законом живого единства и стоящего на твёрдых основах общины и семьи”<sup>23</sup>. К. С. Аксаков так и вовсе считал православно-соборный идеал уже отчасти воплощённым в истории русского народа: “История русского народа есть единственная история народа христианского не только по исповеданию, но по жизни своей, по крайней мере, по стремлению своей жизни”<sup>24</sup>. Все славянофилы горячо верили в то, что их идеалу подлинно христианского общежития принадлежит будущее, потому что за ним Правда, и Жизнь, и Божий Промысел, а противоположный западный идеал, каковы бы ни были его видимые успехи, обречен на гибель, ибо гнил и мертв самый корень его. “Папство Григория идет туда же, куда Карлова империя, в исторический архив, — писал Хомяков в 1848 году. — Туда же за ними Протестантство и Католицизм. Поле чисто. Православие на мировом череду. Славянские племена на мировом череду. . . Наша Русская земля может и должна стать впереди других народов”<sup>25</sup>.

Но, как указывал К. С. Аксаков, “если мы хотим, чтоб Бог был за нас, то надобно, чтобы мы были за Бога”, поэтому главное для русских — никогда не

забывать, что “закон наш – Божий закон, вера Христова, её святые указания, её вечная, всемирная, а не европейская правда; всё это выражается словом: *Святая Русь* – вот чем должна быть вполне Россия, прельщённая на время соблазном Западной Европы”<sup>26</sup>.

Рассуждая в таком духе о Святой Руси как путеводном идеале для русского народа, славянофилы, очевидно, не имели в виду под этим идеалом ни частную собственность – “священную и неприкосновенную”, ни свободный рынок с банками и биржами, ни рост товарного оборота и накопление капитала, но нечто совсем другое и даже противоположное. Русский народ, предсказывал И. С. Аксаков, предложит человечеству “такое решение всемирно-исторической социальной задачи, какого не достигла Англия, при всей своей свободе. Я говорю о наделе землёю в собственность, об общинном землевладении”<sup>27</sup>.

Ещё одним доводом в пользу буржуазности славянофильства будто бы служит тот факт, что некоторые славянофилы производили модернизацию хозяйства в своих имениях с целью повышения их доходности (А. С. Хомяков, А. И. Кошелев), а после реформы 1861 г. принимали участие в различных коммерческих предприятиях – банковских, железнодорожных и пр., что свидетельствует якобы об их приверженности буржуазным ценностям.

Что ж, подобные доводы не новы. Ещё первый биограф семьи Аксаковых В. Д. Смирнов усматривал парадокс в том, что заветные общинные идеалы славянофилов подмывала “сила денег, сила капитала и капиталистический дух наживы, индивидуализма, имущественного неравенства”, а между тем И. С. Аксаков “как директор богатого московского банка, был одним из первых и самых видных пионеров капитализма в России!”<sup>28</sup>. Однако И. С. Аксаков принимал приглашения от московского купечества занять места в правлениях тех или иных коммерческих учреждений не по склонности или убеждению, а единственно для того, чтобы расплатиться с огромными долгами, оставшимися после издания газеты “День” (1861–1865): “День, – жаловался И. С. Аксаков в 1865 г., – в нынешнем году дал мне 5000 рублей серебром убытка, или долгу, а всего за 4 года тысяч более 10”<sup>29</sup>. Вот таким “коммерсантом” был славянофил Иван Сергеевич Аксаков. Припомним, что Роберт Оуэн и Фридрих Энгельс были весьма состоятельными фабрикантами, что не мешало им быть убеждёнными противниками капиталистического строя.

Старозаветное и богобоязненное русское провинциальное купечество поначалу импонировало И. С. Аксакову, когда он в 1840–1850-е годы в качестве сенатского чиновника объезжал с казёнными ревизиями российскую имперскую глубину. Он даже вступал в споры по этому поводу со своим старшим братом, К. С. Аксаковым, и отцом, С. Т. Аксаковым, которые уже тогда были убеждены, что в силу барышнических своих занятий “купец никогда не может быть представителем русской жизни”, и поэтому “никто русских купцов не называет настоящими русскими людьми”<sup>30</sup>. Жизнь доказала правоту последних: в пореформенные десятилетия прежние благообразные бородачи в старорусских кафтанах начали стремительно трансформироваться в циничных “Колупаевых и Разуваевых”, утрачивая былой национальный колорит. В этот период уже трудно найти в сочинениях И. С. Аксакова какие-то благоприятные отзывы о буржуазии и капиталистах, о буржуазной идеологии и духе капитализма, а вот противоположные оценки вырывались из-под его пера сплошь и рядом. В частности, своё отношение к буржуазии и её исторической роли сравнительно с ролью докапиталистической дворянской элиты И. С. Аксаков недвусмысленно выразил незадолго до смерти, что можно считать окончательным итогом его жизненных наблюдений и размышлений на эту тему. “Мы, – писал Аксаков, – уже имели случай высказать наше мнение о заслуге оказанной русским средним дворянством именно в том смысле, что оно, исполнив в русской жизни то самое дело (имеется в виду освобождение крестьян от крепостной зависимости. – И. Д.), которое на Западе выпало на долю так называемого среднего сословия, вместе с тем предохранило русское общество от растлевающего духа западной буржуазии. Со словом “буржуазия” связывается понятие о таком общественном классе, которого источник силы, причина и цель бытия, мирозерцание, предания, главный духовный двигатель и все идеалы заключались или заключаются в барыше и наживе, что и наложило на этот класс особую бытовую печать своекорыстия и эгоизма. Наше многочисленное дворянство, поставленное в более или менее благо-

приятные, — хотя, в большинстве, довольно скромные, — условия материальной обеспеченности, сознательно или инстинктивно-верное предания государственного служения (то есть служения идее общего, целого, следовательно, в существе своём не эгоистической), занимая, сверх того, положение передового сословия, естественно рознило наше просвещение с теми своекорыстными побуждениями, с которыми оно, более или менее, связывалось в западноевропейском tiers-état...<sup>31</sup>.

Итак, буржуазия и как общественный класс, и как человеческий тип вызывала у большинства славянофилов чувство нескрываемой брезгливости.

Чем ещё можно подкрепить тезис о буржуазной сущности славянофильства? Н. И. Цимбаев подкрепляет его ссылками на присущие славянофилам требования свободы слова и отмены крепостного права, их сочувствие сословно-представительным учреждениям в виде Земского Собора. Эти требования, наиболее ярко сформулированные в “Записке о внутреннем состоянии России” К. С. Аксакова (1855), считает Цимбаев, есть, по существу, либеральная, “объективно-буржуазная” программа реформ<sup>32</sup>.

Однако в этой аргументации есть слабые места. Прежде всего, смысл, который вкладывали многие представители славянофильства в эти по виду “либеральные” идеи, далеко не совпадал с западными буржуазными прототипами, что сами славянофилы не устали подчёркивать. Они действительно были горячими сторонниками свободы слова и печати, не в последнюю очередь потому, что натерпелись цензурных преследований в николаевское царствование, когда даже сочинения отцов церкви и самые Евангелия заподозрились ретивыми цензорами в пропаганде коммунизма<sup>33</sup>. “Свободное слово” воспевал в одноимённых стихах К. С. Аксаков (1853), называя его “даром Бога святым”. Но свободное слово свято, в его понимании, только когда исходит от духа чистого и живого, от разума верующего, настроенного на горнее, а плотский разум (“лжедух”), поработанный дольнему, материальной пользе и корыстному интересу, порождает одни лишь “лжеподобья” духовного мира, — такие же по имени, но низменные по содержанию. И тогда “слов святых живая сила” превращается в “страшный яд”, “правда” — в “ложь”<sup>34</sup>, а священная свобода слова оборачивается “диким разгулом торжествующей печати”, как в буржуазной Европе<sup>35</sup>.

В своей “Записке о внутреннем состоянии России” К. С. Аксаков специально оговаривал, что и Земский Собор, и свобода слова могут быть осуществлены только после того, как современное российское космополитическое общество, соблазнённое западным рациональным “лжедухом”, искренне обратится к допетровским православно-русским идеалам, ибо только тогда эти институты (свобода слова, Земский Собор) будут играть ту зиждательную и животворную роль, которую отводили им славянофилы. “Полная свобода слова”, утверждал К. С. Аксаков, возможна лишь “со временем”, тогда, “когда будет понятно, что свобода слова неразрывно соединена с неограниченной монархией, есть её верная опора, ручательство за порядок и тишину”. Но до тех пор, недвусмысленно писал Аксаков, “цензура должна остаться”<sup>36</sup>. Такого же мнения придерживался и И. В. Киреевский: “Позволяйте всё, — сказать нельзя и не должно. Есть книги безусловно вредные, именно те, которые возбуждают и воспаляют бурные страсти... Страсть, возбуждённая книгою, — вино фальшивое и вредное для здоровья. Если не запретить его продажу, то люди могут отравиться”<sup>37</sup>.

Относительно Земского Собора К. С. Аксаков писал, что он “в настоящую минуту бесполезен и созывать его теперь не нужно”, да и тогда, когда “Земские Соборы станут возможны”, они “не должны быть обязанностью правительства и не должны быть периодичны. Правительство созывает соборы и требует мнения, когда вздумает”<sup>38</sup>. Очевидно, что этот орган не мыслился Аксаковым как нечто подобное западным буржуазным конституционным учреждениям.

Ю. Ф. Самарин уже после реформы 1861 г. восставал против любой идеи земского общероссийского представительного органа, идя наперекор мнению некоторых своих соратников (А. И. Кошелева): “Я решительно и всеми силами протестую против даже намёка на необходимость или хотя бы даже возможность центрального, то есть не местного, а общерусского или государственного земского представительства”<sup>39</sup>. Самарин был убеждён, что в пореформенных условиях быстрого развития капиталистических отношений в русском

обществе центральное представительство, хотя бы и под именем “Земского Собора”, станет не инструментом воплощения славянофильской мечты о единении православного царя и православного народа, а обыкновенной копией западного буржуазного парламентаризма: “Народной конституции у нас пока ещё быть не может, а конституция не народная, то есть господство меньшинства, действующего без доверенности от имени большинства, есть ложь и обман. Довольно с нас лжепрогресса, лжепросвещения, лжекультуры; не дай нам Бог дожить до лжесвободы и лжеконституции. Последняя ложь была бы горше первых... Всякую попытку изменить форму правления у нас в настоящую минуту мы бы назвали преступлением против народа”<sup>40</sup>. В допетровские времена в “Земских Думах, или Соборах”, как писал А. С. Хомяков, “основой мнения были не личные, шаткие и произвольные понятия, естественно склонные к разногласию, но древний обычай, который один для всех русских, и прямой закон божественный, который один для всех православных”<sup>41</sup>. Увы, Россия середины XIX века далеко ушла от былого единодушия, и в современных для него условиях Хомяков мог самоопределяться только как “антиреспубликанец” и “антиконституционалист”<sup>42</sup>.

Против парламентаризма и конституционализма резко выступал уже в 1880-е гг. и И. С. Аксаков, видя в томлении и тоске либеральной интеллигенции об “увенчании здания” завуалированное стремление буржуазных классов “установить господчину чуждой народному духу интеллигенции над народными массами, тиранию условно-либеральных чуждых доктрин над свободой жизни, над народною духовною самобытностью”<sup>43</sup>.

При этом важно подчеркнуть, что для славянофилов, как выразился И. С. Аксаков, “самодержавие не есть религиозная истина или непреложный догмат веры”<sup>44</sup>. Сама по себе неограниченная единоличная власть является лишь политической формой, могущей наполняться различным содержанием и представать и в виде чингисхановой орды, и в виде государства-Левиафана Томаса Гоббса. Такую власть нельзя считать поставленной Богом, но разве что попущенной. “Спаситель и апостолы, — писал Ю. Ф. Самарин, — создали церковь и дали человечеству учение об отношении человека к Богу, но они не создавали государственных форм и не писали конституций. Выработать себе государственную форму, монархическую, ограниченную или неограниченную, аристократическую или республиканскую — это дело самого народа. Каждый народ создаёт себе власть по своим потребностям и убеждениям”<sup>45</sup>.

Но и народ был ценен для славянофилов не сам по себе как этнографическая масса. Для них народ — существо духовное, претворяемое православной верой в целокупное тело Церкви, объединяемое общим делом спасения. Как заметил один из славянофилов (А. И. Кошелев), “без православия наша народность — дрянь”, с православием же она “имеет мировое значение”<sup>46</sup>. Многовековой опыт христианской церкви показал, что для дела спасения самодержавное правление наиболее пригодно, при условии, что сам государь понимает предназначение своей власти и распоряжается ею соответственно. Такой государь заслуживает полного повиновения и любви подданных. Но “любить его без всякого отношения к Святой Церкви как Царя сильного, а не как Царя православного, думать, что его господствование не есть служение Богу и Его святой церкви, но только управление государством для мирских видов, что его правительственные выгоды отдельны от выгод Православия или даже что Церковь Православная есть средство, а не цель для бытия общенародного, что Святая Церковь может быть иногда помехою, а иногда полезным орудием для царской власти, — это любовь холопская”<sup>47</sup>.

Православный же народ в России “любит царя как человека, который несёт на себе бремя попечения и заботы овсех, — которого положение представляет ту исключительность, что в то время, как каждому предоставлено право и свобода заботиться только о своих частных интересах, — царь служит всем”. Только это и легитимирует его неограниченную авторитарную власть, которая, впрочем, накрепко связана в своём произволе рядом неформальных, но фактически ненарушимых конвенций, не имеющих, разумеется, ничего общего с конституционными актами буржуазных государств. “В сущности, — считал И. С. Аксаков, — самодержавие в России даже теперь ограничено, например, по отношению к православной вере”, ведь “вздумамай русский самодержец переменишь веру или навязывать народу латинское вероисповедание, — он будет немедленно низведён с престола общим единодушным восстанием всего

народа”<sup>48</sup>. Другой негласной конвенцией между царем и народом служит отеческий, патриархальный характер царской власти: “Народ смотрит на царя как на самодержавного главу всей пространной русской православной общины, который несёт за него всё бремя забот и попечений о его благосостоянии; народ вполне верит ему и знает, что всякая гарантия только нарушила бы искренность отношений и только связала бы без пользы руки действующим, наконец, что только то ограничение истинно, которое налагается на каждого христианина в отношении к его ближним духом Христова учения”<sup>49</sup>.

Уместно заметить, что здесь политическое учение славянофилов развивает древнерусскую концепцию самодержавной власти, наиболее подробно и основательно выраженную в сочинениях Преподобного Иосифа Волоцкого (1439–1515). И он говорил о православной вере и христианском благочестии как важнейшем источнике легитимности русского самодержавия. “Если же некий царь царствует над людьми, но над ним самим царствуют скверные страсти и грехи: сребролюбие и гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего – неверие и хула, – такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель, – писал Иосиф. – И ты не слушай царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он будет мучить тебя или угрожать смертью”. Главная задача настоящего государя заключается в том, чтобы “охранять от всякого вреда, душевного и телесного, все, что ему подвластно”: “так у солнца своё дело: освещать живущих на земле, а у царя – своё: заботиться о всех своих подданных”<sup>50</sup>.

Уже давно установлено историками, что многие положения иосифлянкой политической доктрины в значительной мере заимствованы из сочинения византийского писателя диакона Агапита “Главы наставительные, или Царский свиток”, предназначенного для поучения византийского императора Юстиниана (VI в.). Произведение Агапита, в древнерусском переводе получившее название “Поучение благого царства”, вообще пользовалось большой популярностью у средневековых русских книжников XVI–XVII вв. Так, например, обширные заимствования из Агапита вложены в уста митрополита Филиппа (1507–1569) автором его Жития в качестве наставлений святителя, адресованных царю Ивану Грозному<sup>51</sup>. “Поучение” Агапита, напоминавшее царю о лежащей на нём огромной ответственности, соразмерной обширности его власти, о его обязанности блюсти ненарушимо веру православную, конкретизировало эти требования в целой программе социальной политики, которая отнюдь не сводилась к простой благотворительности, к “милованию сирых и убогих”. Речь у Агапита шла и о довольно радикальном и систематическом перераспределении общественного богатства, ибо явно несправедливым представлялось ему положение, когда “одни лопаются от пресыщения, а другие погибают от голода; одни держат пределы мира, а у других нет места, куда ногу поставить”. И та, и другая крайность являются неестественным и болезненным состоянием для человека. Государю, “общему благодетелю всех”, надлежит урвать этот социальный недуг, отняв излишнее у пресыщенных, и прибавив обездоленным: “неравенство должно превратить в равенство”. Это будет душевспасительно как для “лопающихся”, так и для загнанных в нищету<sup>52</sup>. Разделяли эту мысль и славянофилы, считавшие что “роскошь частного человека есть всегда похищение и ущерб для общества”<sup>53</sup>.

Есть основания полагать, что император Юстиниан не остался глух к поучениям дьякона Агапита. Во время его правления все сколько-нибудь значительные частные состояния были конфискованы в казну, и на эти средства было развернуто грандиозное строительство по всей необъятной империи. В частности, в Константинополе были возведены великолепный собор Святой Софии и множество других храмов, новые крепостные стены, городское водохранилище и система водоснабжения. Огромное количество неимущих получило хорошо оплачиваемую работу (только в постройке Святой Софии участвовало 10 тысяч человек). Таким образом, излишки “лопающихся от пресыщения” богачей перераспределялись в пользу бедных, но не в виде подачек, а в виде заработной платы за общественно полезный труд<sup>54</sup>. Вполне социалистическая политика на христианской идейной основе. Результатом такой политики стал расцвет экономики, создание мировых шедевров архитектуры, взлёт военного могущества Византийской империи, позволивший отвоевать Рим у варваров...

В своих “Записках о всемирной истории” А. С. Хомяков давал самую лестную оценку императору Юстиниану и его правлению. По словам Хомякова

(в его устах это звучало высочайшей похвалой), Юстиниан был “беспримесный славянин, сын славянских родителей”, по имени Управда (по-гречески — Юстиниан), государственная деятельность которого “запечатлена величием и глубоким чувством христианства и правды”<sup>55</sup>. Гибель Византии и древнерусские книжники, и славянофилы объясняли именно последующим отступлением от “христианства и правды” в государственной и общественной жизни империи ромеев, и столь же единодушно в Руси видели преемницу этой вселенского значения миссии (теория “Москвы — Третьего Рима” инок Филофея как раз об этом). При этом Русь, в отличие от Византии, не отягощённая наследием рационалистической греческой философии (“эллинских борзостей”, по выражению Филофея) и формально-логического римского права, представляла собой намного более обещающую почву для восприятия Благой Вести. А главное — здесь, на Русской земле, “дух христианский проник сельский мир, сосуд, готовый к его принятию, и развил в высокой и до тех пор невиданной степени общезначительное начало и добродетели, сопровождающие его”<sup>56</sup>.

Разберём теперь, была ли “буржуазной” в интерпретации славянофилов идея освобождения крестьян от крепостной зависимости. Силлогизм в работах Дудзинской и Цимбаева выстраивается такой: “сама идея отмены крепостного права буржуазна”<sup>57</sup>, а раз славянофилы в большинстве своём были сторонниками этой идеи, то, следовательно, правомерно считать их приверженцами капиталистического пути развития России.

Сразу можно возразить, что сама по себе личная свобода земледельца, за которую, конечно же, ратовали славянофилы, не обязательно представляет собой буржуазный институт. До конца XVI в. крестьяне на Руси были лично свободными, и никакого “капитализма” это не порождало. А ведь именно в тех стародавних временах славянофилы искали свой общественный идеал. Личная свобода крестьян сделалась предпосылкой капиталистического строя только в специфических условиях Англии периода “огораживаний” и подразумевала, прежде всего, “освобождение” крестьян от земли и обращение в их пролетариат, не имеющий ничего, кроме рабочей силы для продажи на рынке. Только на такой социально-экономической почве и возник капитализм.

Как же относились славянофилы к подобному “освобождению”? Резко отрицательно. Даже благоволивший к Англии за бережное сохранение многих консервативных устоев в своей государственной и общественной жизни, — всего того, что делало её “старой доброй Англией”, — Хомяков тем яростнее порицал в ней всё то, что превратило Англию в XIX веке в страну классического “манчестерского” капитализма. Анализируя английскую систему аграрного капитализма, Хомяков отмечал, что она “очень выгодна для сельского хозяйства и усиливает до невероятности массу богатства, напрягая умственные способности селянина посредством конкуренции в найме и бросая сильные капиталы на опытное усовершенствование земледельческой практики. Вот её достоинство; но зато самая конкуренция, безземелие большинства и антагонизм капитала и труда доводят в ней по необходимости язву пролетарства до бесчеловечной и непременно разрушительной крайности. В ней страшные страдания и революция впереди”<sup>58</sup>. Разумеется, ничего подобного Хомяков не желал для России.

Славянофилы отчетливо видели рост социальных антагонизмов и классовой борьбы на буржуазном Западе. “Всеобщее стремление во всей Европе свидетельствует об одном: о борьбе капитала и труда”, — писал Хомяков в марте 1848 г. Однако, в отличие от К. Маркса и Ф. Энгельса, которые буквально в эти же самые дни издали свой знаменитый “Манифест коммунистической партии”, Хомяков призывал не к разжиганию беспощадной гражданской войны между буржуазией и пролетариатом, а к “необходимости помирить этих двух соперников или слить их выгоды”<sup>59</sup>. России было бы тем сподручнее разрешить этот роковой вопрос XIX столетия, что, как уверял Ю. Ф. Самарин, “все эти вопросы, эта тяжба, которая исстари ведётся между представителями капитала и представителями труда, до нас не касается”<sup>60</sup>. Ведь в России нет противоречия между трудом и капиталом, потому что капитал (земля) не отделён от производителя (крестьянина), а соединён с ним в рамках института поземельной общины. “На Западе, где развилась так исключительно идея личной собственности, не было середины между дроблением земли до бесконечности и пролетариатством. Желанное примирение не заключается ли в общине?” — задавался вопросом Ю. Ф. Самарин<sup>61</sup>. Современный же евро-



пейский коммунизм с его отрицанием частной собственности, с его учением о промышленных и земледельческих ассоциациях, по мнению Самарина, на ощупь приближается к этому воплощённому уже в России идеалу.

В этих рассуждениях славянофилов можно было бы увидеть наивное бахвальство доморожденных прожектеров, но некоторые крупные идеологи Европы, современники славянофилов, признавали их правоту и в поземельной славянской общине с её коллективной собственностью и правом индивидуального пользования находили оптимальную модель разрешения социального вопроса и на Западе. Немец барон А. фон Гакстгаузен, специально приехавший в Россию для изучения общинного строя, общавшийся со многими славянофилами, написал объемистый труд (1847), в котором русская община вместе с помещичьей усадьбой, связанной с ней узами патриархальной общности, признавалась важнейшей социальной и экономической структурой, способной противостоять как капитализму, так и распространявшимся в Европе социалистическим учениям<sup>62</sup>. “Община, – утверждал Гакстгаузен, – доставляет России ту неизмеримую выгоду, что в этой стране до сих пор нет пролетариата и он не может образоваться, пока существует такое общинное устройство”. Таким образом, в России становится невозможным социальный переворот, к которому стремятся социалисты-утописты на Западе: “Во всех государствах Западной Европы существуют предвестники социальной революции против богатства и собственности. Её лозунг – уничтожение наследства и провозглашение прав каждого на равный участок земли. В России такая революция невозможна, так как мечты европейских революционеров имеют уже своё реальное осуществление в народной жизни”. Существовавшее в России крепостное право, гарантировавшее незыблемость этого порядка вещей, Гакстгаузен сочувственно называл “вывороченным наизнанку сен-симонизмом”. Крепостничество, при всех своих тяготах, всё-таки служило и “крепостью” для крестьянина от знакомства с такими милыми вещами, как чиновник, коронный суд, рынок труда, и т. п. Благодаря крепостному праву, община только и могла выступать как “хорошо организованная свободная республика, которая покупала свою независимость определённой платой господину”. Есть основания предполагать, что именно К. С. Аксаков в наибольшей степени повлиял на усвоение Гакстгаузенем таких взглядов на русскую общину<sup>63</sup>.

Антикапиталистические идеи славянофилов подхватывали и левые европейские идеологи. “Распространить славянскую форму владения было бы большим шагом вперёд в цивилизации, – утверждал, например, П. Ж. Прудон. – Эта форма более пригодна для применения в жизни, чем абсолютное “dominium” римлян, которое воскресло в нашем праве собственности. Никакой разумный экономист не может желать большего. При господстве славянского права владения рабочий получает должное вознаграждение, и плоды его трудов вполне обеспечены. Этот принцип славянской цивилизации есть самый славный факт в истории этой расы”<sup>64</sup>.

Позднее и К. Маркс, уже применительно к общинному социализму народников, генетически восходящему к славянофильству, высказался в том смысле, что если Россия пойдёт по пути Западной Европы и допустит разрушение крестьянской общины, то “она упустит наилучший случай, который история когда-либо предоставляла какому-либо народу и испытает все роковые злоключения капиталистического строя”<sup>65</sup>. Под этим утверждением Маркса охотно бы подписались многие из славянофилов.

Учитывая всё это, славянофилы категорически отвергали вариант аграрной революции посредством обезземеливания крестьян по примеру Англии. Именно под влиянием славянофильской пропаганды и прямого участия славянофилов в подготовке крестьянской реформы 1861 г. удалось пробить вариант освобождения не только с наделением крестьянства землёй, но и законодательным закреплением собственности на землю за крестьянским миром, что исключало рыночный оборот земли и пролетаризацию основной массы крестьян (без земельных наделов были освобождены только дворовые). Жизненно необходимым считали славянофилы и сохранение руководящей и покровительственной роли помещиков в отношении крестьянской общины. Наблюдая за подготовкой отмены крепостного права, Хомяков с удовлетворением отмечал, что правительством “общины признаны как необходимость, а дворянство удержано”. Это решение непременно повлечёт за собою необходимость сохранения самых основ сожития двух главных русских сословий. “Их придёт-

ся связать временною формою попечительства... и нравственная связь возникнет, — писал Хомяков Самарину. — Я её считаю необходимою теперь для придачи силы общины, которая в попечителе получит единство и смелость против своих собственных негодяев<sup>66</sup>. Помещики, как надеялся Хомяков, постепенно “срастутся” с общиной, став её органической частью. К. С. Аксаков, приветствуя “уничтожение богопротивного крепостного права”, тем не менее, отмечал, что “помещичья власть в некоторой части имений барщинских и в имениях чисто оброчных вообще служила для крестьян как бы стеклянным колпаком, избавляющим их от государственной регламентации, от наружного административного благоустройства. Под защитою этих стеклянных колпаков жила жизнь нашего народа во всей самобытности своих начал, при отсутствии той чуждой нашему духу определённости, которая равняется ограниченности и уродует живое, изнутри образующее себя начало<sup>67</sup>”.

И. В. Киреевский ещё задолго до реформы 1861 г. выражал глубокое сомнение в благотворности для самих крестьян немедленного освобождения от “стеклянного колпака” помещичьей опеки. “В теперешнее время”, считал он, “такая всеобъемлющая перемена произведёт только смуты, общее расстройство, быстрое развитие безнравственности и поставит отечество наше в такое положение, от которого сохрани его Бог!”. Освобождение, произведённое “по-английски”, всего лишь поставит крестьянина в “зависимость от продажного чиновника вместо зависимости от помещика”. Но это будет для мужика намного худшим злом, так как “выгоды помещика больше или меньше связаны с благосостоянием его крестьян”, и “помещики самые дурные имеют больше совести, чем чиновники”, а уж у хорошего помещика они живут “как у Христа за пазухой<sup>68</sup>”. “Освобождённые крестьяне”, был уверен Киреевский, “будут не только разорены, но вместе и возвращены в самое короткое время с помощью кабаков, приказных и пр. и пр.”<sup>69</sup>.

Напомним, что и А. С. Пушкин не считал положение русского крепостного крестьянина таким уж беспросветным, а рассказы об “ужасах” крепостного права, наподобие известной книги А. Н. Радищева, казались ему тенденциозным преувеличением: “Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи?... В России нет человека, который бы не имел своего *собственного жилища*. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности... Прочтите жалобы английских фабричных работников, — предлагал Пушкин, — волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство, с одной стороны, с другой — какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идёт о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идёт о сукнах г-на Смита или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что всё это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих пределах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника, но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишаящей их последнего средства к пропитанию... У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен...<sup>70</sup>”.

Из сказанного не следует, однако, что Пушкин, Киреевский или кто-либо другой из славянофилов был врагом крестьянской свободы в принципе. Возражение вызывала лишь такая “свобода”, которая выдёргивала личность крестьянина из традиционных органических взаимосвязей с землёю, с общиной и с барином-помещиком, оставляя его один на один с подавляющей мощью бюрократического государства и густой сетью формально-юридических норм и процедур, к добру и злу предельно равнодушных, в которых мужик неизбежно запутается, как муха в паутине. Механизмы свободного рынка быстро dokonчат дело, поглотив и переварив крестьянскую личность в переменный капитал, принадлежащий тому, кто его пожелает купить.

Славянофилы мечтали о другой свободе для русского крестьянина, много сил потратили они на поиск формулы нерыночной, некапиталистической свободы (“русской свободы”, по выражению К. С. Аксакова), которая обещивала бы максимальный простор для самоопределения человека, сохраняя при этом все возможные амортизаторы и страховки, делающие его неза-

висимым от рыночной конъюнктуры, от котировок на лондонской или нью-йоркской бирже. Споры нет, и мирские институты, и помещичьи “стеклянные колпаки” налагали существенные ограничения на свободу крестьянина. Но так ли уж свободен и сытый представитель буржуазного класса, который никогда наверняка не знает, будет ли он завтра привычно сидеть в уютном офисе, счастливо следя на мониторе за ростом курса своих акций, или он будет висеть под мостом в петле, затянутой собственной рукой, распугивая чаек и клошаров?..

Как считают современные западные философы Ульрих Бек и Зигмунд Бауман, придерживающиеся вполне либеральных взглядов и пытающиеся изо всех сил спасти буржуазный модерн, но не закрывающие глаза и на его вопиющие противоречия, в корне трагической ситуации человека западного “свободного” мира лежит необходимость “биографического снятия системных противоречий”<sup>71</sup>. Речь идёт об уже давно констатированной предельной атомизации капиталистического общества: “Главная фигура развитого модерна — если додумать мысль до конца — это *одинокий* мужчина или *одинокая* женщина”<sup>72</sup>. Начав с демонтажа общин, цехов и корпораций, капиталистический рынок довершил дело разрушением семьи, которая представляет ныне одни развалины былого единства. Но чем более одинок и изолирован становится индивид, тем более беззащитен оказывается он перед лицом глобальных проблем и миросистемных противоречий, которые он вынужден решать своими индивидуальными, “биографическими” средствами. Что очевидным образом невозможно. Человек оказывается бессильной игрушкой не поддающихся никакому контролю и воздействию с его стороны стихийных рыночных сил, имеющих уже не региональный и даже не государственный, а всемирный характер. Всё это только в качестве утончённой издёвки может называться “свободой”.

Славянофилы предложили русское, общинное решение этого фундаментального противоречия свободы, неразрешимого индивидуалистическим путём. Ключевое место в славянофильской формуле “русской свободы” занимало обоснование “*исторического права крестьян на владение землёю, носящее название крестьянской, или мирской*”. С точки зрения Ю. Ф. Самарина, до закрепощения “кто жил на земле, кто пахал её, тот ею и владел бесспорно”. Крестьяне “в то время землёю пользовались, как пользуется искони веков всё человечество воздухом, светом и другими благами, по существу своему не подлежащими ничьему усвоению”. Только впоследствии, по воле государства, “эта земля сделалась вотчинною собственностью помещиков”<sup>73</sup>, но и они никогда не владели землёю как своею абсолютной частной собственностью. Даже в период расцвета крепостничества и дворянского полновластия в XVIII — начале XIX вв., помещики не имели права ни согнать своих крестьян с земли, ни продать её, кому вздумается (но только таким же представителям благородного сословия).

В России вообще, по убеждению А. С. Хомякова, “право собственности истинной и безусловной не существует: оно пребывает в самом государстве (великой общине), какая бы ни была его форма”, а “всякая частная собственность есть только более или менее пользование, только в разных степенях”<sup>74</sup>. То же самое утверждал и К. С. Аксаков: “Замечательно очень, что крестьянин, не имея собственности, часто продаёт свой участок. Он говорит: *земля моего владения*. Здесь продаёт он не собственность, а только право своего владения, своё место, своё положение в общине и отношение к земле; он передаёт за деньги своё право, как можно передать подряд и проч. Частной собственности нет”<sup>75</sup>.

Частная собственность в России никогда не существовала и, по мнению И. В. Киреевского, а поземельные отношения в треугольнике “крестьянин — помещик — государство” строились на совсем иных основаниях: “Одно из самых существенных отличий правомерного устройства России и Запада составляют коренные понятия о праве поземельной собственности. Римские гражданские законы, можно сказать, суть все не что иное, как развитие безусловности этого права... Можно сказать: всё здание западной общественности стоит на развитии этого личного права собственности, так что и самая личность в юридической основе своей есть только выражение этого права собственности. В устройстве русской общественности личность есть первое основание, а право собственности только её случайное отношение. Общине

земля принадлежит потому, что община состоит из семей, состоящих из лиц, могущих землю возделывать. С увеличением числа лиц увеличивается и количество земли, принадлежащее семье, с уменьшением — уменьшается. Право общины над землёю ограничивается правом помещика или вотчинника; право помещика обуславливается его отношением к государству. Отношения помещика к государству зависят не от поместья его, но его поместье зависит от его личных отношений... Одним словом, безусловность поземельной собственности могла являться в России только как исключение. Общество слагалось не из частных собственности, к которым приписывались лица, но из лиц, которым приписывалась собственность”<sup>76</sup>.

Как умели, славянофилы старались выразить в социологических, юридических и культурологических категориях исконное и коренное представление русского народа о земле, которое заключалось в том, что “в основе личного или частного права собственности на землю лежит право общественное, которым первое всегда обуславливается, что общежитие слагается не из разрозненных и самостоятельных *Я* и *моё*, а строится на том начале, что *всё* принадлежит *всем*, *моё* как часть целого, *мне* как члену союза, семьи, рода, общины или государства”<sup>77</sup>. Подобные рассуждения вызывали у современников, в том числе у жандармов, подозрения славянофилов в коммунистической пропаганде, вынуждая их постоянно оправдываться. И. С. Аксаков в марте 1849 г. даже был арестован и подвергнут допросу в III Отделении. Среди заданных Аксакову вопросов был и такой: “Не питаете ли Вы мыслей коммунистических и вообще противных образу нашего правления?”<sup>78</sup>. А. С. Хомяков в своих “Политических письмах 1848 года” описывает и вовсе трагикомический случай, когда петербургским высшим обществом под впечатлением европейской революции 1848 г. в проповеди коммунистических идей был заподозрен архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов). Хомяков приводит исполненный достоинства ответ владыки, который могли бы повторить и славянофилы: “Кому-то на вопрос: “говорят, Преосвященный, Вы проповедываете коммунизм?”, — он отвечал: “Я никогда не проповедовал: берите, — но всегда проповедовал: давайте”<sup>79</sup>.

Чтобы лучше понять и по справедливости оценить позицию славянофилов в ключевом для России вопросе о земле, о крепостном праве и общине, необходимо взглянуть на ситуацию середины XIX века в общеевропейском контексте. В ходе великой “капиталистической революции” XVIII–XIX вв. в Европе, которую Карл Поланьи метко назвал “революцией богатых против бедных”<sup>80</sup>, атаке подверглись природа человека и окружающая среда. Напомним, что для бесперебойного функционирования рыночная экономика требует свободной, ничем не стеснённой купли-продажи не только готовых товаров, но и всех факторов, или средств, производства. Важнейшими же средствами производства являются рабочая сила человека, земля, дающая разнообразное сырьё, и деньги. “Однако, — замечает Поланьи, — совершенно очевидно, что труд, земля и деньги — это отнюдь не товары... Труд — это лишь другое название для определённой человеческой деятельности, теснейшим образом связанной с самим процессом жизни, которая, в свою очередь, “производится” не для продажи, а имеет совершенно иной смысл; деятельность эту невозможно отделить от остальных проявлений жизни, сдать на хранение или пустить в оборот; земля — это другое название для природы, которая создаётся вовсе не человеком, и, наконец, реальные деньги — это просто символ покупательной стоимости, которая, как правило, вовсе не производится для продажи”. Поэтому “характеристика труда, земли и денег как товаров есть полнейшая фикция”, что, однако, не помешало этой “фикции” и “утопии”, фанатично насаждаемой в жизнь от имени рациональной науки, стать источником неисчислимых трагедий человеческих обществ во всех частях земного шара за последние три столетия.

Объясняя механизм возникновения этих трагедий, Поланьи писал: “Мнимый товар под названием “рабочая сила” невозможно передвигать с места на место, использовать, как кому заблагорассудится, или даже просто оставить без употребления, не затронув тем самым конкретную человеческую личность... Распоряжаясь “рабочей силой” человека, рыночная система в то же самое время распоряжается неотделимым от этого ярлыка существом, которое обладает телом, душой и нравственным сознанием. Лишённые предохраняющего заслона в виде системы культурных институтов, люди будут погибать

вследствие своей социальной незащищённости; они станут жертвами порока, разврата, преступности и голода, порождённых резкими и мучительными социальными сдвигами. Природа распадётся на составляющие её стихии; реки, поля и леса подвергнутся страшному загрязнению; страна уже не сможет обеспечивать себя продовольствием и сырьем. Наконец, рыночный механизм управления покупательной способностью приведёт к тому, что предприятия будут периодически закрываться, поскольку излишек и недостаток денежных средств окажутся таким же бедствием для бизнеса, как засуха и наводнение — для первобытного общества. То, что рынки труда, земли и денег представляют собой неотъемлемые элементы рыночной экономики, сомнению не подлежит. Однако никакое общество, даже в течение самого короткого времени, не смогло бы выдержать последствия подобной системы откровенных фикций, если бы его человеческая и природная основа, а также его экономический строй не были ограждены от разрушительного действия этой “сатанинской мельницы”...”<sup>81</sup>.

Если “сатанинская мельница” не смолота в прах всё человечество, то причину этого Поланьи видел в упорном сопротивлении рыночной “свободе” подавляющего большинства населения подвергшихся либеральному эксперименту стран Европы и остального мира. Это всенародное сопротивление, принимавшее самые различные формы — активные и пассивные, бунта и саботажа, заокеанской эмиграции и агитации за изменения законодательства, — в течение долгого времени олицетворяли как наиболее действенная сила вовсе не плебейские революционеры с красными знаменами, а, казалось бы, такие реликты прошлого, как духовенство и поземельная аристократия. “Огромное влияние, которым пользовались крупные землевладельцы в Западной Европе, а также сохранение в XIX в. феодальных порядков в Центральной и Восточной Европе легко объясняются жизненно важной защитной ролью этих сил в замедлении процесса мобилизации земли”, — считал Поланьи. Включение в рыночный оборот пахотной земли, превращение природных ресурсов и рабочей силы человека в товар, распространение на них принципа свободно отчуждаемой частной собственности *iusutendietabutendi* (“право употребления и злоупотребления”) несло смертельную угрозу всему обществу. В условиях, когда социалистические идеологи предавались мечтам о хрустальных дворцах далёкого будущего, единственным печальником и защитником деревенского большинства от обезземеливания, пауперизма и “выварки в фабричном котле” мог стать только дворянин-помещик. Он им и стал в большинстве европейских стран. Вот как пишет об этой метаморфозе Поланьи: “Колоссальные промышленные достижения рыночной экономики были куплены ценой громадного ущерба, нанесённого субстанции человеческого общества. В этих условиях феодальным классам представилась отличная возможность вернуть себе часть утраченного престижа, превратившись в певцов земли и заступников тех, кто на ней трудится. В литературном романтизме Природа заключила союз с Прошлым; в аграрном движении XIX в. феодализм попытался, и не без успеха, воскресить собственное прошлое, выступив в роли стража и блюстителя земли — естественной среды человека. Не будь угроза вполне реальна, данная стратегия не имела бы успеха”.

Именно “противодействие мобилизации земли являлось социальной подоплекой той борьбы между либерализмом и реакцией, которая составила главное содержание политической истории континентальной Европы в XIX в.”. В противостоянии агрессивному вторжению в общественный организм либерально-рыночной “утопии” поместное дворянство было не одиноко, “военные и высшее духовенство выступали в этой борьбе союзниками землевладельческого класса... Все эти классы готовы были поддержать любую реакционную попытку выхода из тупика, в который грозила завести общество рыночная экономика и её естественное следствие, конституционная система, — ведь ни традиция, ни идеология не связывали их с принципами гражданской свободы и парламентского правления”<sup>82</sup>. Именно такой антикапиталистический, протекционистский для аграрной, крестьянской России характер имела создаваемая помещиками-славянофилами идеология.

Обратимся теперь снова к славянофильской теории государства и общества и выясним, имели ли они какое-нибудь сходство с либеральным, буржуазно-рациональным политическим учением, рассматривающим общество как конгломерат самодеятельных индивидов, а государство как результат “обще-

ственного договора”, этими индивидами заключаемого и имеющего целью обеспечение свободного, равного, безопасного и эквивалентного между ними обмена. Буржуазное учение о государстве возникло в Западной Европе на базе философии Просвещения и политэкономии Адама Смита. Последний, словно бы споря со славянофилами, утверждал, что “когда между различными членами общества даже нет ни взаимной любви, ни расположения”, то “общество всё-таки может существовать, как оно существует среди купцов, сознающих пользу его и без взаимной любви”, и тогда общественное единство вполне “может поддерживаться при содействии корыстного обмена взаимными услугами”<sup>83</sup>.

Не подлежит никакому сомнению, что отношение славянофилов к этому корневому принципу буржуазной социологии было сугубо отрицательным и своё учение они выстраивали как его антитезу. “Идея о праве не может разумно соединиться с идеею общества, основанного единственно на личной пользе, ограждённой договором, — писал А. С. Хомяков. — Личная польза, как бы она себя ни ограждала, имеет только значение силы, употреблённой с расчётом на барыш. Она никогда не может взойти до понятия о праве, и употребление слова право в таком обществе есть не что иное, как злоупотребление и перенесение на торговую компанию понятия, принадлежащего только нравственному обществу”<sup>84</sup>.

Вообще сопоставление и противопоставление Запада и России, Европы и России всегда выступало не только одной из главных тем в размышлениях славянофилов, но и служило для них основанием самого метода мышления, способа раскрытия существенных качеств и внутреннего смысла того или иного предмета, в частности, капитализма. При этом “Запад” у славянофилов означал не столько географическое, сколько духовное явление; это — некий тип жизнепонимания и жизнеустройства, который может передаваться от народа к народу, заимствоваться или навязываться. И это навязывание с петровских времён западной идеологии и образа жизни славянофилы подвергали уничтожающей критике. Антизападничество славянофилов само по себе ставит под очень большое сомнение гипотезу о буржуазном характере их взглядов. Можно всецело согласиться с мнением Е. Ю. Тихоновой, которая в своей работе “В. Г. Белинский в споре со славянофилами” справедливо отмечает относительно последних, что “Европа порицалась ими не за чуждость русскому “менталитету” (в этом случае они должны были ещё более яростно нападать на нехристианский Восток), а именно за избрание буржуазного пути”<sup>85</sup>.

Полнейшее воплощение буржуазного духа Запада славянофилы весьма прозорливо для своего времени увидели в Северо-Американских Соединённых Штатах. “Казалось, — писал И. В. Киреевский, — какая блестящая судьба предстояла Соединённым Штатам Америки, построенным на таком разумном основании!.. И что же вышло? Развились одни внешние формы общества и, лишённые внутреннего источника жизни, под наружную механику задавили человека”. Почти лабораторный эксперимент по созданию рационального общества в Америке без груза стародавних традиций, без давления закоснелых обычаев прошлого произвёл, с точки зрения Киреевского, самые убогие и жалкие последствия: “Совершенное бесчувствие ко всему художественному; явное презрение всякого мышления, не ведущего к материальным выгодам... дух сообщничества из личных выгод, при некраснеющей неверности соединившихся лиц, при явном неуважении всех нравственных начал, так что в основании всех этих умственных движений, очевидно, лежит самая мелкая жизнь, отрезанная от всего, что поднимает сердце над личною корыстию, утонувшая в деятельности эгоизма и признающая своею высшею целью материальный комфорт”. Обществу грозит опасность “задохнуться в этой прозе фабричных отношений, в этом механизме корыстного беспокойства”<sup>86</sup>.

Впрочем, “Северо-Американские штаты”, как считал К. С. Аксаков, “являют только крайнее ожесточение Европейского недуга, для которого в Америке уже нет смиряющей его родной почвы, ни чувства народности, ни исторического предания. Условное устройство взаимных политических отношений заменило здесь вполне чувство любви. Северо-Американские штаты — это великодушное общество-машина”. Здесь нашли своё воплощение все рационалистические утопии просветителей XVIII столетия, Адама Смита, Локка, Мальтуса: “Северная Америка вся насквозь проникнута эгоистическим, холодным

началом и вся представляет обширную общественную сделку людей между собою, лишённую всякой любви, сделку спокойную, крепкую, ибо основанную на себялюбивом расчёте”. Однако, “как бы широко ни была составлена общественная сделка, как бы в пределах своих ни признавала она всякую личность, всё же она эгоистична, как сделка относительно всего, вне её находящегося; она признает существование других народов и человеческих обществ только из страха и из выгоды. Вражда лежит тайно в основе. Ожесточённый бой возможен каждую минуту. Одно, по-видимому, могло бы отвратить эту опасность. Если бы всё человечество на всём земном шаре отказалось от всех народных и других нравственных общественных условий, от высших связей веры, обратилось в разрозненные единицы, в эгоистические личности, и составило одну всеобщую сделку, основанную на эгоистическом расчёте каждого, — тогда это было бы всеобщая смерть жизни на земле. Механическое начало условности восторжествовало бы беспрепятственно, и всё человеческое общество обратилось бы тогда в машину...”<sup>87</sup>. Таковым и представлялось славянофилам западное буржуазное общество — хорошо прибранной и комфортабельной мертвецкой.

Эти взгляды И. В. Киреевского К. С. Аксакова вполне разделяли и И. С. Аксаков и А. С. Хомяков. В Соединённых Штатах И. С. Аксаков признавал небывалое в истории человеческой цивилизации развитие материального могущества, оплаченное невиданной же атрофией нравственной жизни, почти до животного эгоизма доходящей. В корне же этого печального парадокса лежит то, что Североамериканские Штаты — это не более чем “агломерат людей”, который “не имеет для союза никакого другого цемента, кроме материального расчёта”<sup>88</sup>, или, по замечанию Хомякова, признает себя за “торговое скопление лиц”, и не более того<sup>89</sup>. Никаких других форм связи между людьми, кроме рыночных, в таких обществах не существует. Во Франции Хомякову тоже бросилось в глаза “какое-то стремление к коммерческим оборотам, или, лучше сказать, к деньгам (следствие конституции)”<sup>90</sup>. Буквально в тех же выражениях, что и славянофилы, написал об американской демократии А. С. Пушкин, когда увидел эту “демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве”, а “всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)”, столь свойственным демократическому буржуазному обществу<sup>91</sup>.

Но и в России также имелся свой внутренний “Запад” — образованное на европейский манер высшее общество. “Под русским народом, — считал Хомяков, — надобно разуметь простой народ, но не так называемое просвещённое общество, ибо оно образовалось по западному направлению”. Вследствие чего русское озападнившееся общество “мертво, не имеет жизни, и соединение его равно соединению зёрен песка”<sup>92</sup>. Именно здесь возобладали люди, “которые видят в обществе компанию акционеров, в жизни народной — торговое предприятие, а в жизни человека — процесс пищеварения”<sup>93</sup>, превратив верхний образованный слой в иностранцев в собственной стране.

Славянофилы отрицательно относились не только к либеральным обществам, основанным на контрактах, но и к любой социальной организации, регулируемой формально-рациональным правом, которое не принимает в расчёт своеобразия каждой личности, невосприимчиво к голосу совести и любви, то есть в прямом смысле слова бессердечно. Это бессердечие присуще в равной мере и тому рационально-бюрократическому порядку, который утвердился в России со времен Петра I и имел в России, по мнению славянофилов, такое же инородное происхождение, как и конституционализм. “В понятиях русского народа, — утверждал Киреевский, — даже самое слово “закон” и до сих пор ещё значительно скорее возбудит в нём мысль о Законе, Богом данном, Законе Церкви, чем о законе, писанном в указах”<sup>94</sup>. Следовательно, для русского законность власти повернется соответствием её деяний Закону Божьему, а не формулам римского права, гарантиям конституционных хартий или предписаниям бюрократических циркуляров. Глубочайшее убеждение русского народа, по словам К. С. Аксакова, заключается в том, что “истинная свобода только там, иде же Дух Господень”, а любое формально-юридическое установление свободу убивает, так как носит внешне принудительный, по существу полицейский, характер. “Полиция есть душа гражданства”, — согласно одному из элементов Петра I.

Это было совершенно неприемлемо для славянофилов. Между властью и народом должно установиться “свободное согласие”, основанное на “полной доверенности”. “Но нет никакого обеспечения, скажут нам, – рассуждал К. С. Аксаков, – или народ, или власть могут изменить друг другу. Гарантия нужна! – Гарантия не нужна! Гарантия есть зло. Где нужна она, там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет доброго, чем стоять с помощью зла. Вся сила в идеале. Да и что значат условия и договоры, как скоро нет силы внутренней? Никакой договор не удержит людей, как скоро нет внутреннего на это желания. Вся сила в нравственном убеждении. Это сокровище есть в России, потому что она всегда в него верила и не прибегала к договорам”<sup>95</sup>. Разъясняя мысль брата, И. С. Аксаков в 1862 г. писал, что идеал русского народа “не государственное совершенство, а создание христианского общества”. “Начало государства есть начало принуждения неволи; начало закона (по Апостолу) – грех”, а “начало христианства есть освобождение от закона, внутренняя свобода”. “Запад ищет спасения в законе”, а “русский идеал выше, хотя, без сомнения, в тысячу раз труднее, и непрактичен”. Но оттого-то “на Западе “душа убывает”, заменяясь усовершенствованием государственных форм, полицейским благоустройством; совесть заменяется законом, внутреннее побуждения – регламентом”<sup>96</sup>.

В 1884 г. И. С. Аксаков по-прежнему придерживался этих славянофильских взглядов: “Верховная власть в России вручена не парламенту, не иному коллективному учреждению, не бездушному механизму, а живому лицу, – человеку. И чем неограниченнее эта власть, тем менее может она мыслиться иначе как наделённую человеческою душою и сердцем. В этом все наши, так называемые в других странах гарантии. Не на контракте, не на договоре живут в России отношения народа к царю, а на страхе Божием, на вере в святую человеческой совести и души”<sup>97</sup>. Действительно, многопартийный парламент, состоящий из выборных депутатов, ни совести, ни души, не имеет. А предмет, ни души, ни совести не имеющий, есть труп, в лучшем случае, бездушная механическая машина. Живым, цельным общественным организмом может быть только соборная церковная община, соединяемая из множества лиц в единую личность общию верою во Христа-Спасителя и во Святую Единую Троицу.

“Направление философии зависит, в первом начале своём, от того понятия, которое мы имеем о Пресвятой Троице”, – утверждал И. В. Киреевский<sup>98</sup>. Средневековые православные русские книжники во всём Божьем творении усматривали отражение Животворящей Троицы: и в космическом порядке Вселенной, и в устроении существ и вещей материального мира, в законах общественной и государственной жизни, и в строе внутреннего духовного мира человека. По словам русского писателя XVI в. Ермолая-Еразма: “Начало любви есть союз Божий – соединение Пресвятыя Троица Отца и Сына и Святого Духа, понеже убо от Бога Отца к безначальному едиnorodному Сыну его и Пресвятому Духу истекание соединения содержащее любовь”. Такая любовь носит космический характер, связывая и единя всех со всеми, пронизывая отношения не только человека к человеку, но и человека ко всей живой и неживой природе. Движимый этой вселенской любовью, Ермолай-Еразм призывал христиан не умерщвлять животных ради пищи, но воздерживаться от мясного, в чём “не токмо бо к человеком любовь” проявится, но и к “скотом, и зверем, и птицам, и рыбам, всякому живот имущу” Божьему творению<sup>99</sup>.

Иной подход к познанию мира и человека выработался к концу христианского Средневековья на Западе. Современник Ермолая-Еразма знаменитый физик и астроном Галилео Галилей утверждал, что “книга природы написана на языке математики”<sup>100</sup>, и, следовательно, подчиняется законам формальной логики, когда  $1 + 1 + 1 = 3$ , а  $3 > 1$ . Но для того, чтобы анализировать сложные единства в этих рационалистических категориях, их прежде необходимо разъять на простейшие неделимые элементы, а затем складывать из этих элементарных единиц любую конструкцию. Так храм можно разобрать на кирпичи, а затем сложить из них хлев, потому что он полезней и разумней. Именно это аналитическое, разлагающее могущество рационального метода представлялось его адептам знанием-силой, дающим Разуму право и власть обладать и помыкать природой. Таким методом сначала живую Космос, насыщенный Божественными энергиями, в котором каждое творение – от камней и цветов до ангелов и звёзд – своим существованием поёт гимн Всевышне-



му, был разобран на атомы и преобразовался в ньютоновской космологии в механический агрегат, представ “в виде какой-то крупы, более или менее туго набивающей бесконечную пустоту пространства”<sup>101</sup>. Затем западноевропейское общество, пройдя через рациональный анализ капиталистического рынка, превратилось в кучу песка, состоящую из индивидов-крупинки. Наконец, сама человеческая личность подверглась расчленению на несколько самостоятельных функций: “Западный человек, — писал И. В. Киреевский, — раздробляет свою жизнь на отдельные стремления и, хотя связывает их рас­судком в один общий план, однако же, в каждую минуту жизни, является как иной человек. В одном углу его сердца живет чувство религиозное, которое он употребляет при упражнениях благочестия; в другом — отдельно, — силы разума и усилия житейских занятий; в третьем — стремления к чувственным утехам; в четвертом — нравственно-семейное чувство; в пятом — стремление к личной выгоде; в шестом — стремление к наслаждению изящно искус­ственным; и каждое из частных стремлений подразделяется ещё на разные виды, сопровождаемые особыми состояниями души, которые все являются раз­розненно одно от другого и связываются только отвле­ченным рассудочным воспоминанием”<sup>102</sup>. И космос, и общество, и личность утрачивают свой центр и стержень, рассыпается иерархия и порядок целостностей, переворачиваются верх и низ, перемешиваются добро и зло. Расколота личность шизофреника, казавшаяся ненормальной и больной ещё людям XIX и даже середины XX века, постепенно становится преобладающей и демонстрирующей наибольшую адаптивность в современном обществе, которое уже гораздо точнее описывается в качестве шизома­ссы, какою она представлена в известной книге Ж. Делёза и Ф. Гваттари “Капитализм и шизофрения”. Именно в этом смысле славянофилы говорили, что Запад “разлагается”, “гниёт”, и т. п.

Предчувствуя подобную эволюцию западного рационализма, славянофилы противопоставили его принципу анализа и разложения свой принцип “единства во множестве”, как Хомяков определил сущность христианской Церкви, или “принцип Троицы”, согласно которому  $1 + 1 + 1 = 1$ . Путь от шизофрении к духовному здоровью лежит через воспитание культуры “верующего мышления”, которое “заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум, и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объём ума сливается в одно живое единство, и таким образом восстанавливается существенная личность человека в её первозданной неделимости”<sup>103</sup>. По такому же универсальному закону “единства во множестве”, “союза любви” в Троице должны подчиняться отношения людей в сообществе, прообраз таких отношений славянофилы видели в православной Церкви, а их мирскую проекцию — в русской крестьянской общине.

Именно в этом-то пункте и расходились общинные идеалы славянофилов и коллективистские идеологии XIX столетия, в том числе, русское народничество. И. С. Аксаков писал, что “народники очень к нам близки” своей приверженностью крестьянской общине, “но и разделяются от славянофилов целую бездною”, так как “славянофильство не мыслится вне религиозной почвы, вне христианского идеала”, ведь “крестьянин значит не что другое, как христианин”<sup>104</sup>. Для славянофилов община — это, прежде всего, духовно-нравственное братство во Христе, а для народников — равноправный союз на почве сугубо материальных и экономических интересов. Такая ассоциация, как заметил К. С. Аксаков, такая “сделка эгоизмов совершенно возможна и между бездушными разбойниками, не терпящими друг друга или равнодушными друг к другу”<sup>105</sup>.

По общему убеждению славянофилов, “общинное начало тождественно с учением Христовым”<sup>106</sup>. И они никогда не стеснялись прямо говорить о “коммунистическом начале церковного общества”, как оно было выражено “в Иерусалиме в первые дни Апостольской проповеди”<sup>107</sup>. Общность имущества и трудов, братское единодушие и равенство в апостольских общинах, конечно, не в совершенной чистоте и полноте, но находили своё воплощение на Руси и в обиходе православных общежительных монастырей, и в практике крестьянской поземельной общины. Этот драгоценный исторический опыт русских, и ещё не утраченный ими навык такого общежития, и ещё живая у них вера в истину и справедливость апостольских заветов вселяли в славянофилов надежду на некапиталистическое будущее России.

Итак, славянофилы принципиально отрицали право частной собственности (прежде всего, на землю) и рассматривали государство не как последствие “общественного договора” (“суммы контрактов”), а как “великую общину”, имея в виду, конечно не только крестьянскую поземельную, но и христианскую церковную общину. Государство, основанное на религиозной христианской правде, а не на римском языческом праве, было идеалом и И. В. Киреевского, и А. С. Хомякова, и К. С. Аксакова. Тем самым славянофилы решительно отвергали важнейшие принципы либерализма, и если не играть словами, а признать либеральную идеологию тем, чем она явилась в истории человечества, — отражением самосознания и классовых интересов буржуазии, — то для того, чтобы видеть в славянофилах либеральных деятелей и буржуазных идеологов, нет серьёзных оснований.

Этот вывод подтверждает и весьма подозрительное отношение славянофилов к развитию индустрии и машинной техники, которое везде выступает необходимым элементом капиталистической организации производства. “Сколько семейств пошло ходить по миру вследствие иной новоизобретённой машины!” — восклицал Ю. Ф. Самарин<sup>108</sup>. Серьёзные опасения своими социальными последствиями вызывало внедрение паровых машин и распространение фабрично-заводской промышленности и у И. В. Киреевского<sup>109</sup>. Неподдельный ужас внушали ему “железные дороги и электрические телеграфы и пексаны (артиллерийские орудия большой разрушительной силы. — **И. Д.**) и все открытия, которые подчиняют мир власти бездушного расчёта”<sup>110</sup>. Горячий промышленный бум на Западе, увлечение машинами и механизмами представлялся Киреевскому прямым результатом духовного оскудения общества под влиянием рационалистических и материалистических доктрин: “Промышленность управляет миром без веры и поэзии. Она в наше время соединяет и разделяет людей; она определяет отечество, она обозначает сословия, она лежит в основании государственных устройств, она движет народами, она объявляет войну, заключает мир, изменяет нравы, даёт направление наукам, характер — образованности; ей поклоняются, ей строят храмы, она действительное божество, в которое верят нелицемерно и которому повинуются”<sup>111</sup>.

Славянофилы намного выше ценили кустарную и ремесленную промышленность, издавна известные на Руси. “Вообще я небольшой охотник до фабричной промышленности, — писал Хомяков, — но меня радует промышленность старая, которой начало теряется в веках, которая основана на истинной потребности и улучшена давнею привычкою. Ещё больше радует та промышленность, которая не вводит в большом размере безнравственность фабричного быта, а мирится с святынею семейного быта и с стройной тишиною быта общинного в его органической простоте: ибо тут, и только тут, сила и корень силы”<sup>112</sup>. Главное, чтобы промышленная деятельность не входила в противоречие с устоями русской общинной жизни, а на этой почве со временем, как надеялся Хомяков, вырастет нечто вроде “совершенно промышленной общины, так сказать фаланстера”. Первые ростки будущего строя некапиталистической промышленности, по мнению Хомякова, уже существовали в России — “например, есть мельницы, эксплуатируемые на паях, есть общие деревенские ремесла и, что ещё ближе, есть деревни, которые у купцов снимают работу и раздают её у себя по домам”<sup>113</sup>.

Конкретный пример такой промышленной “деревни-фаланстера” встретил в Ярославской губернии во время своих служебных командировок И. С. Аксаков и подробно описал её социально-хозяйственный уклад. “Летом крестьяне занимаются хлебопашеством, а осенью и зимою — столярным и плотничным ремеслом, от которого и получают главную прибыль” (речь шла в основном об изготовлении деревянной тары для купцов-оптовиков). Будучи на оброке у своих владельцев-помещиков, несколько деревень “заключили между собою союз и завели у себя совершенно особый порядок”, “для того, чтобы обеспечить за каждым право на труд и на законную от него прибыль, достаточную для уплаты оброка и для предохранения от нищеты, равно и для устранения вредного для бедных соперничества с богатым”. Суть этого порядка заключается в том, что он “представляет образец применения к ремесленному промыслу общинного начала, не в виде обыкновенного артельного положения, а в смысле тяглового устройства, нечто вроде *тяглого надела*, только не землёю, а трудом и прибылью”. Уникальность этого опыта Аксаков усматривал в том, что все вопросы раскладки и нормировки работы, отноше-

ния с заказчиками и установки расценок осуществляются мирским сходом на принципах единогласия и уравнительно-трудового распределения, как это истари делалось в поземельной крестьянской общине. Такой порядок обеспечивал “каждому тяглу, как бедному, так и богатому, равный, определённый, умеренный, прочный доход”, а что касается нерадивых и неисправных членов крестьянского “фаланстера”, то ленивец здесь “наказывается собственной бедностью, вина которой будет лежать уже на нём самом, а не в общественном устройстве, как почти везде на Западе”<sup>114</sup>. В такого рода ремесленно-земледельческой общине И. С. Аксаков видел “способ предотвратить распространение капитализма, то есть жестокости, безнравственности, рационализма и расчёта”<sup>115</sup>.

Вдохновляясь примерами, подобными описанному И. С. Аксаковым, И. В. Киреевский выражал желание, чтобы “все фабрики, не вдруг, но постепенно и неприметно, были выведены из столиц и больших городов в маленькие города и села”. Такую реформу он находил “весьма полезною: 1) потому что от излишнего скопления бессемейных рабочих ощутительно с каждым годом портится нрав низшего класса народа в больших городах, а от испорченной закваски скоро и легко портится народ и новый рабочий, туда приходящий, а из городов порча расходится по всей России; 2) существование огромного фабричного класса народа в городе даёт возможность к непосредственным беспорядкам, подстрекательствам, бунтам и пр.; 3) существование фабрик в селах и деревнях даст развитию промышленности то направление, которое, соединяя земледелие с промыслом, фабричную работу с близостью семьи, одно может сколько-нибудь остановить быстрое распадение нравов, которое вместе с водворением западной образованности очевидно совершается в нашем народе; 4) фабричные изделия, произведённые в столицах, не могут так дешево обходиться и, следовательно, продаваться, как те, которые произведены в селах, где съестные припасы и топливо обходятся дешевле”<sup>116</sup>.

Сторонником диффузного размещения промышленности, сохраняющей непосредственную связь с сельским хозяйством и социальной организацией крестьянства, был и Самарин. Такой строй промышленности, без урбанизации, концентрации производства и пролетаризации работников, гораздо больше соответствует и суровым природно-климатическим условиям России: короткую летнюю страду крестьянин посвящает землепашеству, а зимние месяцы — разнообразным ремесленным промыслам, тут же, в своём селе или деревне<sup>117</sup>. Разделение труда, таким образом, должно быть не пространственным и не сословным, а временным, что препятствовало бы, говоря марксистским языком, “отчуждению” работника, превращению целостной личности в “обрубок” человека — придаток одной какой-либо производственной функции. С другой стороны, это позволило бы сохранить социальную однородность и цельность народного организма, без которой повисали в воздухе все “христианско-коммунистические” конструкции славянофилов. Наконец, этим обеспечивалось доминирование земледельческого труда в крестьянском хозяйстве, литургийный характер которого был отмечен ещё русскими средневековыми писателями.

Вообще сельскохозяйственный по преимуществу характер экономики представлялся славянофилам намного предпочтительнее для осуществления их идеалов, чем индустриальный. “На пашне, — утверждал Хомяков, — жить хорошо без денег трудолюбием и хозяйством; но деньги знают только одно хозяйство — процент и спекуляции. То и другое более развращает, чем хлебопашественные занятия”<sup>118</sup>. “В деревню!”, — призывал русского интеллигентного человека К. С. Аксаков, ибо только там “человеческое и народное чувство оживает в душе перед русской природой и ещё более перед русским человеком среди природы, перед крестьянином, перед деревней”. Бежать из города, воспроизводящего искусственный, заёмный на Западе образ жизни, — единственный способ для представителей образованного класса воскресить в себе заглушенный и замусоренный источник русской народности, искупить “позорную измену русской жизни, русскому народу, русской земле” и почувствовать под модным европейским пальто крестьянский зипун<sup>119</sup>.

В целом перед Россией, по мнению славянофилов, открывалось в наступающей по всему миру промышленной эпохе два магистральных пути: один путь, капиталистический, — означал “создать крупную личную собственность для нескольких единиц” и “скопить в городах бездомное, бессильное население

ние”, как это произошло в Западной Европе; другой, русский, путь – предполагал развивать “село с его сельскою промышленностью, торговлею, ремесленным, фабричным и заводским производством, село пашенное, село торговое, село с неотъемлемым от него общинным обычаем, с общинным самоуправлением”<sup>120</sup>.

Сегодня мы знаем, что этот “русский путь” развития в том виде, как он задумывался славянофилами в середине XIX века, не осуществился. Пока не осуществился. Капитализм справляет свой пир победителя, подобно монголам на Калке, наслаждаясь стонами раздавленных им жертв. Означает ли это, что наследие славянофилов безнадежно устарело и его пора сдать в архив? Едва ли стоит спешить с таким умозаключением. История – дама непостоянная и капризная и любит менять своих фаворитов. И монгольское иго оказалось не вечным. Капитализму как общественно-экономической формации от роду 200, максимум – 300 лет, а он уже трещит по всем швам и готов рухнуть под грузом собственных противоречий. И вот когда это произойдет, а это произойдет неизбежно, то человечество, размышляя на обломках капитализма, как бы устроить свою жизнь, обязательно обратится к творчеству славянофилов, особенно если оно захочет устроить свою жизнь не как-нибудь, а по истине и по справедливости – по-Божьи, по-христиански.

*(Окончание следует)*

#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

- <sup>1</sup> Аксаков И. С. Игнорирование основ русской жизни нашими реформаторами (День. 1865. № 11. 13 марта) // Он же. Отчего так нелегко живётся в России? М., 2002. С. 308.
- <sup>2</sup> И. С. Аксаков – М. Ф. Раевскому, 15/27 января 1860 г. // Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. 3. М., 2004. С. 206.
- <sup>3</sup> См. речь И. В. Сталина на приёме чехословацкой делегации 28 марта 1945 г., записанную в дневнике наркома В. А. Малышева (Источник. 1997. № 5. С. 128).
- <sup>4</sup> Некоторые члены славянофильского кружка, которых точнее было бы назвать случайными и временными попутчиками, настолько далеко отступали от славянофильских идеалов, что подвергались настоящей обструкции со стороны “ревнителей”. Так, К. С. Аксаков назвал князя В. А. Черкасского “врагом народа” именно за то, что тот, участвуя в работе Редакционных комиссий по подготовке проекта освобождения крестьян от крепостной зависимости, допустил в них “западный”, буржуазный принцип большинства при решениях мирской сходки, вместо единогласия. “Вы – враг общины и, следовательно (по моему убеждению), враг народа, – писал К. С. Аксаков Черкасскому. – То-то и дело, что Русский-то Вы далеко не полный, что надышались Вы с детства Французским воздухом, и вообще иностранным. Славянофильство освежило было Вас до некоторой степени от иностранного чада, окунувши Вас в народную крещенскую прорубь по своей суровой методе. А теперь Вы опять на иностранной дороге...” (Письма К. С. Аксакова князю В. А. Черкасскому (1859) // Записки Отдела рукописей. Вып. 50. М., 1995. С. 212).
- <sup>5</sup> Кавелин К. Д. Воспоминания о В. Г. Белинском // Белинский в воспоминаниях современников. М., 1948. С. 91.
- <sup>6</sup> Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Он же. Сочинения в девяти томах. Т. 3. М., 1956. С. 497.
- <sup>7</sup> Н. Г. Чернышевский – А. С. Зеленому, 16 июня 1857 г. // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений. Т. 14. М., 1949. С. 347.
- <sup>8</sup> Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 271.
- <sup>9</sup> Богучарский В. Активное народничество семидесятых годов. М., 1912. С. 7–24.
- <sup>10</sup> Ленин В. И. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве // Полное собрание сочинений. 5-е издание. Т. 1. М., 1971. С. 422.
- <sup>11</sup> Дмитриев С. С. Раннее славянофильство и утопический социализм // Вопросы истории. 1993. № 5. С. 39. Ср.: Дмитриев С. С. Славянофилы и славянофильство // Историк-марксист. 1941. № 1. С. 85–97.
- <sup>12</sup> Малинин В. А. История русского утопического социализма (от зарождения до 60-х годов XIX века). М., 1977. С. 79.

- <sup>13</sup> Такая же оценка славянофильства дана в кн.: Пантин И. К., Плимак Е. Г., Хорос В. Г. Революционная традиция в России: 1783–1883 гг. М., 1986. С. 143–146.
- <sup>14</sup> См.: Машинский С. И. С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество. М., 1973. С. 233.
- <sup>15</sup> Дементьев А. Г. Очерки по истории русской журналистики 1840–1850 гг. М.-Л., 1951. С. 355.
- <sup>16</sup> Смирнова З. В. Социальная философия А. И. Герцена. М., 1973. С. 194–229.
- <sup>17</sup> Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджева Валицкого. Вып. 2. М., 1992. С. 37–38.
- <sup>18</sup> Там же. С. 180–181.
- <sup>19</sup> Попов В. П. Славянофилы и русские писатели (Н. Гоголь, С. Аксаков, Л. Толстой, А. Островский). Токус, 1988. С. 159.
- <sup>20</sup> Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Славянофильство, его национальные истоки и место в истории русской мысли // Вопросы философии. 1966. № 6. С. 128.
- <sup>21</sup> Дудзинская Е. А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983; Она же. Славянофилы в пореформенной России. М., 1994; Цимбаев Н. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М., 1978; Он же. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М., 1986.
- <sup>22</sup> Цимбаев Н. И. Славянофильство. С. 180–182.
- <sup>23</sup> Хомяков А. С. Об общественном воспитании в России (1850) // Он же. О старом и новом. М., 1988. С. 224.
- <sup>24</sup> Аксаков К. С. О русской истории // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1861. С. 19.
- <sup>25</sup> А. С. Хомяков – А. Н. Попову, 17 марта 1848 г. // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. М., 1900. С. 177–178. Под “папством Григория” Хомяков подразумевает притязания папского Рима на безусловное первенство католической церкви и её главы в христианском мире, а также не только духовное, но и политическое верховенство папы над христианскими государями, что нашло своё наиболее яркое воплощение и достигло наибольшего успеха в деятельности папы Григория VII (1073–1085). “Карлова империя” – империя, созданная франкским королем Карлом Великим (742–814, император с 800 г.) как наследница и преемница Западной Римской империи, бывшая для славянофилов символом экспансионистского духа Запада, его миродержавных поползновений.
- <sup>26</sup> Цит. по: Анненкова Е. И. Аксаковы. СПб., 1998. С. 253–254.
- <sup>27</sup> И. С. Аксаков – М. П. Погодину, 1859 г. // Аксаков И. С. Отчего так нелегко живётся в России? С. 905.
- <sup>28</sup> Смирнов В. Д. Аксаковы. Их жизнь и литературная деятельность. СПб., 1895. С. 82.
- <sup>29</sup> Цит. по: Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. С. 122.
- <sup>30</sup> См.: Аксаков И. С. Письма к родным 1849–1856. М., 1994. С. 511–512.
- <sup>31</sup> Аксаков И. С. Призвание дворянства – служить государству и народу в звании землевладельцев и земских людей (“Русь”, 15-го января 1884 г.) // Сочинения И. С. Аксакова. Т. 5. М., 1887. С. 547.
- <sup>32</sup> Цимбаев Н. И. Славянофильство. С. 164.
- <sup>33</sup> См.: Хомяков А. С. Политические письма 1848 года // Вопросы философии. 1991. № 3. С. 115.
- <sup>34</sup> Аксаков К. С. Лже-дух (1855) // Сочинения К. С. Аксакова. Т. 1. Пг., 1915. С. 109–112.
- <sup>35</sup> См.: Ю. Ф. Самарин – А. С. Хомякову, август 1849 г. // Самарин Ю. Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1997. С. 182.
- <sup>36</sup> Записка К. С. Аксакова “о внутреннем состоянии России”, представленная государю императору Александру II в 1855 г. // Ранние славянофилы. М., 1910. С. 94–96.
- <sup>37</sup> И. В. Киреевский – А. И. Кошелеву, 11 ноября 1855 г. // Киреевский И. В. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 1911. С. 288.
- <sup>38</sup> Записка К. С. Аксакова “о внутреннем состоянии России”. С. 94–95.
- <sup>39</sup> См.: Ю. Ф. Самарин – И. С. Аксакову, 1867 или 1868 г. // Самарин Ю. Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. С. 227.

- <sup>40</sup> Самарин Ю. Ф. По поводу толков о конституции (1861) // Он же. Статьи. Воспоминания. Письма. С. 98.
- <sup>41</sup> Хомяков А. С. Тринадцать лет царствования Ивана Васильевича (1845) // Он же. О старом и новом. С. 373.
- <sup>42</sup> А. С. Хомяков — А. Н. Попову, январь 1850 г. // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 201.
- <sup>43</sup> Аксаков И. С. О записке К. С. Аксакова, поданной императору Александру II (Русь. 1881. № 28. 23 мая.) // Он же. Отчего так нелегко живётся в России? С. 468.
- <sup>44</sup> Аксаков И. С. Самодержавие не есть религиозная истина (ок. 1868 г.) // Он же. Отчего так нелегко живётся в России? С. 897.
- <sup>45</sup> Самарин Ю. Ф. По поводу толков о конституции (1861). С. 96.
- <sup>46</sup> А. И. Кошелев — И. С. Аксакову, 15 октября 1858 г. // Колюпанов Н. П. Биография Александра Ивановича Кошелева. Т. 2. М., 1892. С. 251.
- <sup>47</sup> Киреевский И. В. Записка об отношении русского народа к царской власти (1855) // Он же. Разум на пути к истине. М., 2002. С. 52.
- <sup>48</sup> Аксаков И. С. Самодержавие не есть религиозная истина. С. 897–898.
- <sup>49</sup> Аксаков И. С. Письма к родным 1844–1849. М., 1988. С. 500.
- <sup>50</sup> См.: Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. М., 1993. С. 189, 367–368.
- <sup>51</sup> См.: Л о б а к о в а И. А. Житие митрополита Филиппа: Исследование и тексты. СПб., 2006. С. 47–61. В этом издании приведены и тексты древнерусских переводов агапитовского “Поучения благого царства” в двух редакциях (С. 285–296). См. также: Колобков В. А. Митрополит Филипп и становление московского самодержавия: Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004. С. 511–536.
- <sup>52</sup> Вальденберг В. Е. История византийской политической литературы в связи с историей философских течений и законодательства. СПб., 2008. С. 170.
- <sup>53</sup> Хомяков А. С. К сербам. Послание из Москвы (1860) // Он же. О старом и новом. С. 362. Послание, помимо Хомякова, было подписано К. С. и И. С. Аксаковыми, Ю. Ф. Самариным, А. И. Кошелевым, Ф. В. Чижовым, М. П. Погодиным и др.
- <sup>54</sup> Вальденберг В. Е. Указ. соч. С. 173.
- <sup>55</sup> Хомяков А. С. Записки о всемирной истории // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 7. М., 1906. С. 50–53.
- <sup>56</sup> Хомяков А. С. По поводу статьи И. В. Киреевского “О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России” (1852) // Он же. Избранные статьи и письма. М., 2004. С. 147.
- <sup>57</sup> Дудзинская Е. А. Славянофилы в общественной борьбе. С. 93.
- <sup>58</sup> Хомяков А. С. О сельской общине (1848) // Он же. О старом и новом. С. 163.
- <sup>59</sup> Там же. С. 166.
- <sup>60</sup> Ю. Ф. Самарин — Ф. В. Самарину, 12 марта 1848 г. // Самарин Ю. Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. С. 178.
- <sup>61</sup> Ю. Ф. Самарин — А. С. Хомякову, август 1849 г. // Самарин Ю. Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. С. 182.
- <sup>62</sup> Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого. Вып. 1. М., 1991. С. 116–121.
- <sup>63</sup> Малинин В. А. История русского утопического социализма (от зарождения до 60-х годов XIX века). С. 86–90.
- <sup>64</sup> Прудон П. Ж. Что такое собственность, или Исследование о принципе права и власти; Бедность как экономической принцип; Порнократия, или Женщины в настоящее время. М., 1998. С. 329.
- <sup>65</sup> См.: Письмо К. Маркса в редакцию “Отечественных записок”, ноябрь 1877 г. // Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. М., 1951. С. 221.
- <sup>66</sup> А. С. Хомяков — Ю. Ф. Самарину, 3 октября 1858 г. // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 299.
- <sup>67</sup> Письма К. С. Аксакова князю В. А. Черкасскому (1859). С. 207–208.
- <sup>68</sup> И. В. Киреевский — М. В. Киреевской, 17 марта 1847 г. // Киреевский И. В. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 242–243.
- <sup>69</sup> И. В. Киреевский — А. И. Кошелеву, весна 1851 г. // Киреевский И. В. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 255.

- <sup>70</sup> Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург // Он же. Избранное. М., 1980. С. 88–89.
- <sup>71</sup> Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000. С. 201; Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005. С. LII.
- <sup>72</sup> Бек У. Указ. соч. С. 182.
- <sup>73</sup> Самарин Ю. Ф. О праве крестьян на землю (1857) // Он же. Сочинения. Т. 2. М., 1878. С. 147–148, 152.
- <sup>74</sup> А. С. Хомяков – Ю. Ф. Самарину, 1848 г. // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 273.
- <sup>75</sup> Аксаков К. С. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 626–627. Ср.: К. С. Аксаков – А. С. Хомякову, ноябрь 1852 г. // Хомяковский сборник. Т. 1. Томск, 1998. С. 157.
- <sup>76</sup> Киреевский И. В. О характере просвещения и о его отношении к просвещению России (1852) // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1911. С. 209–210.
- <sup>77</sup> Самарин Ю. Ф. Ответ на статьи Д. Ф. Самарина, напечатанные в № 7 и 10 “Дня” (1862) // Он же. Сочинения. Т. 4. М., 1911. С. 394.
- <sup>78</sup> См.: Аксаков И. С. Письма к родным 1844–1849. С. 507.
- <sup>79</sup> Хомяков А. С. Политические письма 1848 года // Вопросы философии. 1991. № 3. С. 120.
- <sup>80</sup> Поланьи Карл. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб., 2002. С. 46.
- <sup>81</sup> Там же. С. 86–88.
- <sup>82</sup> Там же. С. 204–207.
- <sup>83</sup> Смит Адам. Теория нравственных чувств. М., 1997. С. 101.
- <sup>84</sup> Хомяков А. С. Мнение иностранцев о России (1845) // Он же. О старом и новом. С. 92–93. По мнению И. В. Киреевского, наука политэкономии как дисциплина о средствах искусственного наращивания производительных сил ради обогащения русскому человеку вообще не понятна (Киреевский И. В. О характере просвещения и о его отношении к просвещению России (1852) // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 214–215)
- <sup>85</sup> Тихонова Е. Ю. Человек без маски. В. Г. Белинский: Грани творчества. М., 2006. С. 147.
- <sup>86</sup> Киреевский И. В. Обзорение современного состояния литературы (1845) // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 153–154.
- <sup>87</sup> Аксаков К. С. О современном человеке // Он же. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 429, 443–444.
- <sup>88</sup> Аксаков И. С. Об отсутствии духовного содержания в американской народности (День. 1865. № 5. 30 января) // Он же. Отчего так нелегко живётся в России? М., 2002. С. 431–440.
- <sup>89</sup> Хомяков А. С. Об общественном воспитании в России (1850) // Он же. О старом и новом. С. 223.
- <sup>90</sup> А. С. Хомяков – Ф. С. Хомякову, 25 февраля 1826 г. // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 9.
- <sup>91</sup> Пушкин А. С. Джон Теннер // Он же. Избранное. С. 111.
- <sup>92</sup> Тезисы А. С. Хомякова по меморандуму В. Ф. Одоевского (1847) // Хомяковский сборник. Т. 1. С. 49.
- <sup>93</sup> Ю. Ф. Самарин – А. С. Хомякову, август 1849 г. // Самарин Ю. Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. С. 181.
- <sup>94</sup> Киреевский И. В. Записка об отношении русского народа к царской власти (1855). С. 75.
- <sup>95</sup> Аксаков К. С. Об основных началах русской истории (1850) // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 9.
- <sup>96</sup> И. С. Аксаков – А. Д. Блудовой, 15/16 января 1862 г. // Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. 3. С. 388–389.
- <sup>97</sup> Аксаков И. С. По поводу совершеннолетия Государя Наследника Николая Александровича (“Русь”, 15-го мая 1884 г.) // Сочинения И. С. Аксакова. Т. 5. С. 155–156.
- <sup>98</sup> Елагин Н. А. Материалы для биографии И. В. Киреевского // Киреевский И. В. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 74.

- <sup>99</sup> Ермолай-Еразм. Слово о рассуждении любви и правде и о побеждении вражде и лже // Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. С. 319, 327.
- <sup>100</sup> Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. М., 1985. С. 152.
- <sup>101</sup> Хомяков А. С. Второе письмо о философии Ю. Ф. Самарину (1860) // Он же. Избранные статьи и письма. С. 190.
- <sup>102</sup> Киреевский И. В. О характере просвещения и о его отношении к просвещению России (1852). С. 210.
- <sup>103</sup> Киреевский И. В. Отрывки // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 275.
- <sup>104</sup> К биографии И. С. Аксакова // Исторический вестник. 1886. Т. XXV. С. 569–575.
- <sup>105</sup> Аксаков К. С. О современном человеке. С. 440.
- <sup>106</sup> Ответное письмо А. И. Кошелева А. С. Хомякову об общине (1848) // Колупанов Н. Биография Александра Ивановича Кошелева. Т. 2. С. 107 (Приложение).
- <sup>107</sup> А. С. Хомяков – Ю. Ф. Самарину, 1848 г. // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 272.
- <sup>108</sup> Ю. Ф. Самарин – Ф. В. Самарину, 12 марта 1848 г. // Самарин Ю. Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. С. 178.
- <sup>109</sup> Киреевский И. В. Девятнадцатый век (1832) // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 106–107.
- <sup>110</sup> Киреевский И. В. О необходимости и возможности новых начал для философии (1856) // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 238.
- <sup>111</sup> Там же. С. 246.
- <sup>112</sup> Хомяков А. С. Письмо в Петербург о выставке (1843) // Он же. О старом и новом. С. 57.
- <sup>113</sup> Хомяков А. С. О сельской общине (1848) // Он же. О старом и новом. С. 167.
- <sup>114</sup> Аксаков И. С. О ремесленном союзе в Ярославской губернии (Письмо к издателю) // Русская беседа. 1858. Кн. II (X). Отдел V (Смесь). С. 209–215.
- <sup>115</sup> “Русская беседа”: История славянофильского журнала. СПб., 2011. С. 145.
- <sup>116</sup> Киреевский И. В. Каких перемен желал бы я в теперешнее время в России? // Он же. Разум на пути к истине. С. 28–29.
- <sup>117</sup> Самарин Ю. Ф. Замечания на статью г. Соловьева “Шлецер и антиисторическое направление” (1857) // Он же. Избранные сочинения. М., 1996. С. 520.
- <sup>118</sup> А. С. Хомяков – И. В. Киреевскому, 1840 г. // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 48–49 (Приложение).
- <sup>119</sup> Сочинения К. С. Аксакова. Т. 1. С. 279, 292–293, 557.
- <sup>120</sup> Аксаков И. С. Игнорирование основ русской жизни нашими реформаторами (День. 1865. № 11. 13 марта) // Он же. Отчего так нелегко живётся в России? С. 308.



ВЛАДИМИР КРУПИН

## ШАНХАЙСКИЙ “МАНДАРИН”

Мне и самому интересно: как это я объехал весь белый свет и ни разу не был в Китае? А ведь Китай занимает большое место в моей жизни. Начать с того, что моей пронзительной отроческой мечтой было иметь китайскую авторучку. А красочный настенный календарь у соседей, на котором была изображена китаянка такой красоты, что я, приходя к ним, как-то даже стеснялся посмотреть в её сторону... И уж, конечно, незабываемый китайский фильм “Седая девушка”. Девушка, тоже необыкновенной красоты, сражается с оккупантами, попадает в плен, подвергается пыткам, седеет от них, но не сдаётся. А великая песня “Москва – Пекин”? Это был настоящий гимн нашей дружбе. Расправляющий грудь и плечи марш. Помню всегда:

*Москва – Пекин, Москва – Пекин,  
Идут, идут вперёд народы  
За прочный мир, за светлый мир  
Под знаменем свободы.*

И ударяли припев:

*Сталин и Мао слушают нас,  
Слушают нас,  
Слушают нас и т. д.*

Потом был интерес к китайской литературе. Особенно к Лао Шэ – “Записки кошачьего города”, – Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй... были и весьма нескромные “Цветы сливы в золотой вазе”, но там описания развратной жизни мужа искупались страданиями его жены и тем, что она вырастила сына, который уходит в монастырь замаливать грехи отца.

Прожил я вместе со всеми и времена отторжения СССР от Китая. Нас даже, когда я после армии учился в московском вузе, возили на Ленинские (ныне опять Воробьёвы) горы, к китайскому посольству – выражать протест. В связи с чем был протест – не помню, но выражали. Как выражали? Постояли и разошлись. Очень тяжело вслед за этим пережил я трагедию на острове Даманском. Помню и чекиста из внешней разведки, который говорил, что Китай совершенно закрыт для засылки туда агентов, что информация о Китае минимальна. “Завербовать агента из китайцев можно, но бесполезно. Он в любом случае останется китайцем и будет поставлять нам выгодные для них

сведения”. – “А почему нельзя заслать разведчиков?” – “Мы же резко от них отличаемся. А в Китае все китайцы, даже император китаец, как Андерсен написал в сказке о настоящем и искусственном соленье”.

Но после, так сказать, примирения была организована встреча со студентами-китайцами из института имени Патриса Лумумбы. И было-то этих встреч всего две, не больше, но представление о китайцах я тогда получил. Встреча состоялась в их общежитии. После общих слов о любви и дружбе читали стихи. Вдруг они говорят: “Нам надо провести партсоборание. Вы подождите двадцать минут”. И провели. Один выступил, двое его поддержали, ещё один заполнял протокол, который все они и подписали. А потом вновь обратились к нам. Кажется, китайца, к которому я обратился, звали Шань. Я его наивно спросил: “Вы все такие одинаковые, как вас различать?” – “Да ты что, – ответил он. – Мы все очень разные, это вы все на одно лицо”.

Ещё образ Китая как-то слился в моём сознании с песней о северной русской столице. В детстве, вскоре после войны, я лежал в больнице, а рядом со мной – умирал ветеран войны. Его кровать была у окна. Он приподнимался на локтях, глядел на улицу и пел: “Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд”. А я был маленький и понимал слова песни так: “Любимый город в синий дым Китая”. И представлял Китай зелёным, маленьким, в синей дымке. Даже потом рассказ написал “Синий дым Китая”. Друг мой – поэт Анатолий Гребнев – вспомнил этот рассказ и перед моим отлётом в Шанхай прочёл мне по телефону шуточный экспромт: “Зачем же ты Россию покидаешь, душою всё же оставайся здесь. Ведь ты умчишься в синий дым Китая и в этом дыме растворишься весь. В Китае будет общее собрание, и с должности слетит Дэн Сяопин. По воле всенародного признания на это место встанет В. Крупин”.

А может, я оттого так долго не летел в Китай, что берёг его на старость, когда пора настанет свершать последние земные круги?..

Знаменитая Шанхайская книжная выставка. Ежегодная, осенняя. Вот и я, грешный, удостоился чести побывать на ней. Но теперешнее электронное сетевое пространство избавляет меня от необходимости рассказывать о самой выставке, кому надо – и так узнают. Я о Шанхае. Готовясь к поездке, я читал и об этом городе, и вообще о юго-восточной части Китая. Нашел сведения о ней у Марко Поло в его “Книге чудес света”: “Народ здесь – идолопоклонники, занимается земледелием, дровосеки и охотники. В лесах тут, знаете, диких зверей много: и львов, и медведей, волков, ланей, антилоп, оленей, всяких зверей тут довольно. Тамошний народ ловит их много, и дело то прибыльное. Есть у них и пшеница, и рис, и всякого другого хлеба вдоволь, и он дешёв – земля тут плодородная”.

Ещё я вычитал про симпатичного зверька панду, мордочку которого можно видеть на многих рекламах и товарах. Оказывается, тогда, по крайней мере, пандой называли бамбукового медведя, хищника очень серьезного. Интересно о бамбуке. Он помогал пасти скот, с его помощью охраняли пастбища домашнего скота. Как? Рубили стволы ещё зелёного бамбука и бросали в костёр. Бамбук разогревался, корчился и начинал страшно трещать и взрываться; в ужасе разбегались и львы, и тигры, и панды. А своих коров, овец, коз и лошадей китайцы приучали к треску этой пальбы постепенно – каждого телёнка, жеребёнка и ягнёнка.

И, конечно, вспоминалось общеизвестное: про Великую китайскую стену, про изобретение пороха и бумаги, про самую древнюю письменность (здесь писали на дощечках из бамбука – в отличие от глиняных дощечек царства Урарту), вспоминалось виденное на экране подземное неисчислимое терракотовое воинство... Что говорить – Китай есть Китай. Даже и такая теория вспоминалась, вряд ли, впрочем, научная, что белой расе на земле скоро придётся уходить с мировой арены – на смену ей идёт жёлтая раса.

К случаю, я вспомнил рассказ турецкого гида в Анталии о той же Великой китайской стене. Оказывается, её построили... турки. Зачем? Чтобы спасти Ближний и Средний восток и Европу от вторжения китайцев. Смешно. Будто китайцы не найдут других дорог. Их главное завоевание пространства – демографическое. Если в Китае есть контроль над рождаемостью, то в других странах никто не запрещает китайцам иметь большие семьи. А китайские женщины – идеальные жёны и матери. Китайцев вне Китая становится всё боль-

ше и больше. Посмотрите на рынки Иркутска, Красноярска, Благовещенска, да уже и Москвы. Пожалуй, весь мир уже завален китайскими товарами, весь мир питается китайской стряпнёй.

Последнее заметное событие российской политической жизни – вступление во Всемирную торговую организацию. Трезвые голоса доказательно предостерегали нашу власть от такого шага и приводили в пример Китай, который долго не вступал в ВТО, а вступил тогда, когда производство товаров в нём развилось до такой степени, что теперь этими товарами они снабжают и Европу, и Азию, и Америку. А Россию *втащили* туда почти насильно, поскольку нужна она там только как сырьевая база для господ-капиталистов.

Но это уже наша боль. А пока мы в Китае, в самом огромном городе его – в Шанхае.

Сколько ни читай про любую страну, пока в ней не побываешь, её не узнать. Ну, а что узнаешь за неделю? Тоже проблема.

Теперь же я понял, что узнать страну за неделю, конечно, трудно, но полюбить её – очень даже возможно. Так что докладываю: я полюбил Шанхай.

Как? Мне, сельскому мальчишке, полюбить не просто мегаполис, а супергипермонополис, в котором китайцев миллионами считают, как? При снижении самолёта я ужаснулся, когда в иллюминатор смотрел. Какие там торчат башни, прямо-таки в сотни этажей! Ну, хотя бы одна-две напоказ, а то тысячи и тысячи. В каких они облаках живут? И за облаками даже. Да, летящие серые лоскутья облаков касались не только вершин, но и проходили вдоль середины башен. Свет раннего утра переливался по стеклянным и металлическим поверхностям, отражался по многу раз от других сверкающих плоскостей, восхищая и ужасая наблюдателя. Но это не каменные джунгли европейских и американских небоскрёбов – это рвущийся в небо лес искусственного бамбука, если такое сравнение уместно. Перелетели похожую на Нил реку. Честно сказать, показалась она мне мутноватой, а множество судов на ней – как соринки.

Шанхай так огромен, что даже лететь над ним – и то приходится очень долго. Объявили по радио, что температура здесь плюс тридцать четыре. Ну, ничего, теперь уже и Москву такой температурой не удивишь. Выдержим. Сели. Но здесь была не московская жара, а шанхайская жарница. Даже духотища. А солнца не видно. И почти не видел я солнца во все дни пребывания в Шанхае. Так что же тогда, как не солнце, разогревает воздух? Оно здесь не разогревает его, а распаривает. Море близко, широкая река. Водяные горячие пары накрывают город, как белое пуховое одеяло. Просто баня. Влажность такая, что рубашка сразу же становится мокрой. Скорей в машину – в машине кондиционеры. А от них сразу же становится холодно.

Привезли нас в центр, в прекрасный отель, тоже высоченный, называется “Мандарин”. Двери открывают улыбчивые юноши, а в вестибюле встречает приветливая девушка в строгом китайском костюме из плотной красной ткани. Пиджачок под горло и длинная юбка, правда, от колена разрезанная. Китайских мандаринов, то есть больших начальников, в отеле я не заметил. Но то, что тут были большие начальники со всего мира, – это точно. В лифтах, которые совершенно непонятно каким образом за считанные секунды мягко и бесшумно возносили нас на любой этаж, было всего полно: и людей разного цвета кожи в разных одеяниях, и звучала арабская, английская, французская, да, в общем-то, и любая другая речь. Вот немецкой только не слышал. А потому меня мой варварский немецкий тут выручить не мог – ответом были лишь извиняющиеся улыбки и разведение рук. Это случилось, когда я забыл, в каком номере остановился мой товарищ, с которым мы вместе прилетели, и пытался выяснить это у портье. И мои немецкие вопли о том, что я разыскиваю “мистер Олег Бавыкин” мне не помогли.

А помогли приставленные к нам переводчики, аспиранты, бывавшие в Москве, постарше – Сергей, помоложе – Николай. Так они нам представились. Познакомившись, мы посидели, беседуя, в вестибюле. Ещё в Москве я припоминал что-то, что могло вызвать улыбку у, так сказать, принимающей стороны. Например, рассказал историю начала XX века, времён русско-японской и Первой мировой войны.

– Пишет китайский император русскому: “У тебя в войне много мужиков побито и много баб безмужних осталось. А у меня баб не хватает. Я тебе

предлагаю обмен: за каждую бабу выдам двух своих мужиков. И вот русский император объявляет “бабий набор”. Бабы ревмя режут...

– Как режут? – спросили переводчики.

– Ревмя. Ну, громко, безутешно.

Но интересно, что они понимали всё буквально, и в самом деле поверили про “бабий набор”. Пришлось сказать, что это была шутка. Но так как она никого не рассмешила, то я, стараясь реабилитировать себя, рассказал им слова песни, которую помнил неведомо с каких пор:

*— Солнце встаёт за рекой Хуанхе,  
Китайцы на работу идут.  
Горсточку риса в жёлтой руке  
Китайцы на работу несут.*

И второй куплет, он же последний:

*Солнце садится за рекой Хуанхе,  
Китайцы с работы идут.  
Горсточку риса в жёлтой руке  
Китайцы с работы несут.*

Сергей и Коля вежливо улыбались. Такой песни они не слыхали.

– Это перевод?

– Думаю, русское сочинение. Грузины, например, тоже отказываются от авторства песни про свою гору.

– Какую?

– Названия не знаю. Но река там точно названа. Такие слова: “На Кавказе есть гора самая большая, а под ней течёт Кура, мутная такая. Если на гору залезть и с неё бросаться, очень много шансов есть с жизнью расстаться”.

Они опять поулыбались. Я замолчал, решив больше не вставлять тексты песен и анекдотов для оживления беседы. Да и что это за песня, в которой есть явная неточность. Ведь если солнце утром встаёт за рекой Хуанхе, то не может же оно на закате снова быть там же.

Потом мы встретились с профессором Ти У. Его кабинет – это русское книжное царство. Знакомые имена оживили наш разговор. Ти У провёл нас по аудиториям, потом мы с ним и его аспирантами погуляли по улицам, заходили в кафе. Везде было чисто, персонал был вежлив. Профессор спросил меня, интересен ли мне вкус китайского пива. О чём говорить – конечно, интересен. Пиво было хорошее. К нему принесли какие-то непонятные мне и невиданные мною доселе кушанья. Но профессор и аспиранты ели их с удовольствием, стал есть и я. Я ж тоже человек...

И на ком мне было проверить свои мысли о Китае, как не на профессоре, любящем Россию.

– Я так понял, что вместе с окончанием пребывания здесь русских окончилось здесь и православие. Говорил перед поездкой со специалистами, что и конфуцианство здесь не совсем религия, а более нравственное, философское учение, так? Или я ошибаюсь?

– Примерно так.

– Кажется, и буддизм не всеобъемлющ. Но такое мощное государство чем-то должно быть скреплено. Советский Союз насильственно держался марксизмом. Когда марксизм провалился в чёрную дыру истории, Россию спасло Православие, и теперь она только им и держится. А здесь? Даосизм?

– Да, он занимает значительное место.

– Мне кажется, что и это не религия. Это такое единение с природой...

– Всё-таки религия, – мягко поправил профессор. – Дао – это путь, отсюда весь Лао-цзы. Религия уподобляет учение текучей воде, это мягкость и неодолимость. Цель – достичь единства с первоосновой. Правитель-мудрец отвергает роскошь, войну, ведёт народ к простоте, чистоте.

– Где же теперь простота, где же такие мудрецы? У нас таких нет.

– Главное, что держит китайское общество, – это культ семьи, культ рода, продолжение его. Это основа, на том мы и держимся.

Я заметил, что профессор деликатно уклоняется от разговоров на религиозные и политические темы.

Далее был приём, на котором нас угощали рыбой-феникс. Хвост у неё был разломаченный, прямо павлиний, и она оказалась сладкой. Предо мною лежали и палочки. Но, признаюсь, я и в Японии не смог ими есть. Это для меня примерно то же, что писать двумя авторучками одновременно. Пища с них падает обратно в тарелку, и удовольствия – никакого. Блюда были поданы на вращающемся круге в центре стола. Этот круг подвозит тебе всё. Вот он подвёз мне стайку разноцветных чашек.

– Что это?

– Грибы, полезно.

Но и грибы соскочили с моих палочек.

– У кого ловкие пальцы, – заметил один из присутствующих на обеде, – у того хорошо работает мозг.

– То есть, – заинтересовался я, – китайцы оттого такие умные, что едят палочками? И оттого такие стройные? А от риса – сила, с которой они выигрывают все Олимпиады?

Олег угощал наших китайских друзей бородинским хлебом и водкой “Запорожская сечь”. Стали говорить о картине Репина “Запорожцы пишут письмо турецкому султану”. Все её тут знали и высоко ценили. Подали горячие креветки. Оказывается, тут холодные закуски не в счёт, начинается обед с горячего. Креветки означают: “Добро пожаловать”. У меня, православного, шёл как раз Успенский пост, так что креветки были очень кстати. Потом ещё были креветки в самых разных соусах. Подали любимое блюдо Мао Цзедуна: это было мясо, но я не стал грешить и так и не узнал его вкуса. Была и уха с фрикадельками, много там было всего.

После обеда мне подарили палочки, которые, скажу, забегая вперёд, я привёз внукам, чтобы они, питаясь с их помощью, быстрее умнели. И, представьте себе, внуки осилили застольное китайское мастерство. Может, оно пригодится им в будущем. Внук тут же решил учить китайский язык. “Это же очень трудно, – предупредил я, – особенно письменность. Школьник заучивает самое малое две тысячи иероглифов”. – “Ребёнок из Китая, – почему-то сказала внучка, – равен прошлому ребёнку из России”. Тут она, думаю, права. Прошлый ребёнок в России не учил *собачьей грамоты* нынешнего ЕГЭ, которая разглаживает мозговые извилины.

Мне очень нравилась китайская речь, в которой я не уловил звука “р”. Говорили с хозяевами о литературе. Был редактор самого крупного литературного журнала “Урожай”. В нём печатаются все новинки текущего литературного процесса. Молодняк в литературе, как и у нас, склонен к *выдрючиванию*, к поискам оригинальной формы, но в основном литература развивается в русле канонов китайской классики. Есть в этом и влияние русской классики. Литература в России не зависит от государственных систем и всегда оказывается сильнее их. Если бы руководители, – сказал я, провозглашая здравицу перед десертом, – поняли бы это, они бы стали культурными. Ещё я сказал о том, что больше всего переводов иностранной литературы в последнее время выполняют именно в Китае. Было заметно, что нашим хозяевам это приятно.

Вечером, дождавшись спада жары, я бродил по Шанхаю. Боялся далеко отойти от “Мандарина”. Хоть и вечер, а все равно было душно. Но всё же не так, как днём. Ходил и восхищался. Интересно было видеть эти стрелы стеклянных сооружений, эти эстакады по три-четыре, даже пять уровней. Миллионы машин, а пробок нет. Все транспортные проблемы вынесены в воздух. А стоянки убраны под землю. И все необходимые магазины – необходимые в двух смыслах: их и обойти невозможно, и всё нужное в них есть, – огромные магазины, они тоже под землёй. Но какой в них воздух – прямо морской, какая музыка, какие безшумные тележки, которые хочется нагружать и нагружать, какие красавицы за кассами и за прилавками, да и перед прилавками! На моё счастье, эти красавицы явились в мою жизнь с опозданием, а вот товары – в самый раз.

Для начала купил я конфеты “Русалочка” – на тему любимой сказки всех деточек всех стран. На китайской коробке она была трогательно и одновременно настойчиво взята в плен иероглифами. Ещё возмечтал купить туфли любимой жене. Провожая меня, она как-то робко сказала: “Китайцы для себя хорошую обувь делают, а на экспорт – чего похуже”. Она не просила купить ей туфли, но надо быть дубиной, чтобы не понять её мечту. Но скажите мне, дорогие мужчины, есть ли в мире хоть один муж, который бы купил же-

не в её отсутствие подходящие туфли? Нет такого мужа. Место вакантно. И сейчас я мог бы занять его, стать первым счастливецом. И вот – доклады-ваю: я купил туфли. Увидел фирменный магазинчик обуви, зашел, был окружён любовью и вниманием и... купил! Кожаные, мягкие, носок аккуратненький, сверху пёстренькие, чудо! Больше ничего не покупал. Вернулся в свой “Мандарин”, открыл коробку, чтобы ещё полюбоваться туфельками и, к своему ужасу, понял, что они малы. Да, малы. Даже точно малы.

А в Шанхае магазины работают долго, и я тут же решил пойти и обменять туфли. И коробка, и чек – всё есть. Выскочил в тёплую, душную атмосферу улицы, побежал к магазину. Но где он? Было же всего два поворота от гостиницы. Вот так и так. Спешил, озирался. Вот тут же, тут! Туда, сюда, обратно, но всё никак не мог найти магазин. Стал показывать прохожим коробку: где же этот магазин, коробка фирменная. Выбирал прохожих постарше. Нет, никто не знал. Уже хотел вернуться, ибо испугался не найти своего “Мандарина”. Вдруг подошла ко мне очень милая, средних лет, женщина, сразу всё поняла, сделала приглашающий жест, я пошёл за ней. Оказывается, это всё рядом. Она подвела меня к дверям, да, вроде те самые, ввела внутрь и пригласила сесть за стойку. Я автоматически сел, ещё даже подумал: для примерки что ли, туфли-то женские, мне ж их не примерять. Оглянулся, а где обувь? Предо мною вдруг возникли разные сосуды: рюмка с чем-то коричневым, бокал с чем-то прозрачным и кружка с пивом. А справа и слева подошли и, улыбаясь и кивая, присели две девушки, да такие красавицы, такие ласковые, особенно одна, прямо как с плаката, виденного в детстве. Куда я попал? Они жизнерадостно мне улыбались, а мне какво? Женщина, заманившая меня сюда, объясняла на элементарном международном языке разврата, что всё у меня будет хорошо, что тут очень недорого, и это прямо тут же, вот дверь, вот девушки, а которую вы выбрали? Вы наш самый дорогой гость.

Я от них бежал. Но не постыдно. С достоинством. Встал, отринул питьё, показал на свои седины, прощально махнул рукой, прижал коробку с туфлями к груди и пошёл. А они – они захлопали в ладоши, и это мне не было понятно.

В красоте китаяночки я вдруг прозрел красоту той актрисы, которая играла седую девушку в давнем черно-белом кино моего детства. Ну, этой, конечно, сесть было не с чего. Что ж я, даже ничем её не угостил? Ладно, перебьются. Старик с крючка сорвался, поймают какого-нибудь молодого *евромэна*.

На улице меня стерёг коротенький молодой китаец. Стал сопровождать и настойчиво показывал веер фотографий опять же китайских красавиц и обольщал ими. Шёл рядом, не отставал. Бежал со мной через перекрёсток. Прямо прилип. Наконец, я даже топнул на него ногой и пригрозил пальцем.

В номере пошёл под душ.

Жара и с утра не ослабела. Небо хмурилось. Сверху видел, как тысячи и тысячи велосипедов, мопедов, мотоциклов дружно неслись туда и сюда, как замирали они перед светофором, а из боковой улицы перпендикулярно выливались потоки тысяч и тысяч велосипедов, мотоциклов, мопедов. Седоки были больше молодые, но уверенно держались в седлах даже и древние бодрые старушки.

Коробка с туфлями ночевала на тумбочке у кровати. Взял я её в руки и опять стал изучать обувную проблему. Пошёл было в магазин, который сразу нашёл за двумя поворотами. Сходу купил себе тесные летние туфли, большего размера не было, решил, что разносятся. Такие лёгкие, нежного красно-коричневого цвета. А женские туфли, которые покупал жене, не стал менять, есть же у меня и дочь, и невестка, купил жене новые. Долго выбирал, вспоминал её ножки, отпечатки их ступней на песчаных полосах прибоя Черного, Азовского и Средиземного морей. Выбирал. Щупал, ничего не понимая в коже, кожу боковых стенок. Купил.

До первого мероприятия ещё было время. Сел в сквере на скамью и потихоньку, как бы не подглядывая, с интересом смотрел, как много людей в годах коллективно делают... тут я запнулся. Что делают? Зарядку утреннюю? Нет, не зарядку. Тут была не физкультура, а некое магическое движение рук, ног, туловища. Иногда они, хлопая в ладоши на каждый шаг, пятились, иногда, хлопая, шли боком, то вправо, то влево. Разводили и сводили руки, поочередно поднимали и опускали ноги, то сгибая, то разгибая их в воздухе. Группа здоровья? Даосизм? Вдруг ко мне подбежала большая собака, а на неё

так грозно и так громко крикнула хозяйка, что я испугался. Испугался не собаки, а хозяйки.

Вернулся в “Мандарин”. Бережно уложил туфельки в сумку, закутав коробку свитерами, совершенно здесь не нужными, но вот пригодившимися для упаковки подарков. Не жена ли заставляла меня их взять, заботилась. История с покупкой туфель на этом не закончилась, но об этом – в конце рассказа.

Мероприятий каждый день было много. Было и Богослужение в Российском консульстве. Сейчас церкви православной в Шанхае нет. Хотя здание её есть, и она весьма знаменита. Её построили русские, когда на них обрушилась весть о взрыве в Москве храма Христа Спасителя. Невозможно представить себе их горе, когда был взорван памятник незабвенной русской победе над полчищами Наполеона. И только ли Наполеона? Как писал Фёдор Глинка (цитирую по памяти): “И это были вам не сказки, и это было не во сне, как двадцати народов каски валялись на Бородине”. Русские эмигранты в 34–35-м годах собрали средства и построили храм удивительной красоты. Он, слава Богу, уцелел. Конечно, я очень хотел в нём побывать. Но даже зайти в него не получилось, только рядом постоял. Этот русский храм – уже частное, не знаю, правда, китайское ли или какое другое владение. Кресты снесены, у куполов приделаны светильники для подсветки красоты архитектуры и привлечения посетителей, внутри – выставочный зал и кафе. Двери храма, всё-таки назову его так – именно храма, открылись, вышел охранник или уборщик, выкинул в контейнер у крыльца чёрный пакет и вернулся обратно. Я сунулся внутрь. Он оттолкнул меня. Я отшатнулся и жестами стал показывать, что я хочу только посмотреть: “*Russisch, Russian, orthodox, nur zehen*”. То есть понадеялся снова на свой немецкий. Не военный же объект, почему нельзя? Нет, он выставил меня на паперть, и только я успел заметить, что фрески – иконы над алтарём – всё ещё живы.

Вот такое грустное было посещение русской православной святыни в Шанхае. Но я всё же надеюсь и даже уверен, что этот храм ещё примет в своих стенах молящихся Христу православных. Ведь именно здесь служил в 1934–1949 годах причисленный к лику святых архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн. В 1949-м в Китае к власти пришли коммунисты, и русским пришлось уехать. Святитель спасал свою паству на острове Тубабао. Их в лагере было больше пяти тысяч. Остров находился на пути постоянных сезонных тайфунов, и ни разу за два с лишним года пребывания их в лагере тайфуны не коснулись острова, огибая его стороной. Это заметили филиппинцы. Они потом вспоминали, что “русский святой человек каждую ночь обходил лагерь и благословлял его”. Когда лагерь эвакуировали, на остров тут же обрушился страшный тайфун.

Попасть на Богослужение в консульстве тоже оказалось проблемой. Моллились здесь в помещении, где выдают визы. Но без паспорта туда не пропускали, а я документы оставил в номере. Не украдут же их из пятизвёздочного отеля! Да и шёл я церковью, а не на секретное предприятие. Мы звонили сюда накануне, вроде договорились обо всём, а всё равно не пускают. Стоят навтыяжку у дверей brave охранники. При нас была смена караула. Прямо как у мавзолея. Чётко, со стуком приклада карабинов о гранит крыльца. Время шло. Жарило солнце. Аспиранты наши и Олег звонили консулу и священнику. Батюшка не отвечал, и было ясно, почему – началась служба. Дозвонились до дежурного. Он вышел, уговорил охрану пропустить нас. Консул в эти дни был в Москве. Да, нас-то пропустили, а как же прочим людям сюда попасть? Служили отец Алексей и его жена, матушка Любовь. Стояли на службе мы, то есть Олег, я, аспиранты и ещё пожилая пара из Австралии. Дьяконом был китаец, читавший то по-английски, то по-китайски. Отец Алексей служит здесь уже восемь лет. Но поговорить с ним нам не удалось – топились на очередную встречу.

Союз писателей Шанхая занимает великолепный особняк – владение какого-то дореволюционного капиталиста. Во дворе, окруженная струями воды, стоит скульптура обнаженной женщины, может быть, Венеры, может, ещё какой язычницы. Струи воды, увлажняя статую, опадают и вскоре вновь взмывают вверх. Но жара такая, что мрамор между двумя *взмываниями* успевает высохнуть.

Говорили о “культурной яме” меж поколениями, о наступлении “цифры” на “букву” и о том, что сдаваться мы не собираемся. Ещё повоюем. Великая

Россия и великий Китай будут дружны, и мир тогда спасётся. Да, дружба Китая и России спасёт планету.

В своем слове я говорил о том, что *urbi et orbi*, то есть граду и миру навязан стереотип русской литературы XIX века. Почему вдруг Пушкина сменил Лермонтов, а не Тютчев? Почему вдруг великий кощунник Толстой, безотрадный Достоевский и западник Тургенев подняты выше Гончарова? И о том, что великие потрясения России вызвали в ней великую литературу, но уж лучше бы не было ни “Тихого Дона” Шолохова, ни “Щепки” Зазубрина, ни “Окаянных дней” Бунина, ни “Солнца мёртвых” Шмелёва, лишь бы не было событий, вызвавших к жизни эти произведения. Говорил я и о том, что пишущие либеральные демократы смешны в своих притязаниях на какое-то новое слово в русской литературе. Миленькие, это же **русская** литература, а не *русскоязычная*. Белов, Распутин, Астафьев, Солоухин – вот кого читают в Китае. А из классики в почёте Пушкин и удивительно понимаемый Есенин.

Был и разговор о женских образах в русской литературе. Я заметил, что женской части аудитории понравилось рассуждение о том, что Татьяна Ларина своим любящим сердцем чувствовала, что может спасти любимого, и он это почувствовал, но уже было поздно. Но и потом своею верностью брачному венцу она даёт урок всем любящим жёнам.

Ещё я спросил собравшихся, как обычно спрашиваю студентов и школьников на встречах: кто утопил собачку Муму? Герасим? Нет, товарищи, Муму утопил писатель Тургенев. И это воля писателя, более того, своеволие. А Татьяна сама вышла замуж. И неожиданно даже для Александра Сергеевича. Вот и разница меж гением и талантом.

А день между тем всё хмурился, всё нагнеталось удушающее предчувствие грозы.

Перед ужином я не утерпел и решил ещё раз выйти в город. Я люблю просто идти по улицам, идти и смотреть. Свою, Нанкинскую сторону отеля исследовал и уже осмеливался сворачивать в боковые улочки. Новые туфли сильно жали и всё никак не разнашивались, но я всё равно ходил. Заходишь в магазинчики и в ответ на улыбки тоже улыбаешься. Остановишься на перекрёстке и смотришь. Никто не смеет идти на красный свет, если даже ни слева, ни справа нет машин. Я всего-навсего заступил на мостовую одной ногой, и этим тут же вызвал грозное предупреждение постового с повязкой на рукаве. Хотя, когда со всеми вместе я пошёл на зелёный, то постовой именно мне радостно улыбнулся.

Семья семьёй, род родом, но Китай, безусловно, держится дисциплиной, законом и наказаниями. Если ты знаешь, что тебя расстреляют за взятку, ты её не возьмёшь. Если ты знаешь, что тебя оштрафуют за брошенный окурок на ползарплаты, то ты его не бросишь. А лучше вообще бросить курить. Курят здесь гораздо меньше нашего, а курящих женщин я вообще не видел. Может, они прятались, завидев меня?

Ходил, ходил и начал уже прихрамывать. Надо возвращаться.

И вот тут ливануло. Вначале без грома и молнии, внезапно, будто где-то наверху сорвало кран. Я кинулся под скромный козырёчек газетного киоска, и под ним меня быстро выволокло до нитки. Очень я жалел свои новые туфли. Они на глазах порозовели, размокли, и я уже думал – пропали.

Но нет. Когда ливень дал себе и мне краткую передышку, я помчался в “Мандарин”, в номере снял туфли, и они прямо на глазах стали сохнуть и вскоре были краше прежнего, да ещё и сели теперь точно по ноге. Как не полюбить китайских обувщиков!

За окном меж тем мрачно суровилось. Начались вдалеке и стали приближаться удары грома. Было даже тревожно, но я успокаивал себя мыслью, что не могли же китайцы не предусмотреть нашествия гроз, молния в отель не ударит, всё обойдётся. Меня вдруг поразило то, что я стою очень высоко над землёй, а на соседние строения смотрю снизу вверх. Тёмные башни ближайших и отдалённых зданий въезжали в чернеющее небо. Время между вспышкой и грохотом всё сокращалось. Струи воды, даже потоки, как плётки, хлестали по зданиям и опустевшим мостовым. Вначале башни были темнее неба, постепенно они превращались в силуэты, и вскоре небо стало чернее башен. Молнии стали привычными, сверкали между башнями и время от времени высвечивали их. Гром походил на победную канонаду. Или, скорее, на артподготовку. В таких обстоятельствах понимаешь всеисилие Господа. Мы же все:



и китайцы, и русские – беспомощны пред Господом. Вот возьмёт да и *шарахнет*. Заслужили.

Зрелище грозы было и страшноватым, и притягательным. Сквозь сплошной водопад на мостовой белели стрелы – указатели движения, тускло проглядывали рекламные щиты, которых здесь, кстати, совсем немного, всё остальное было залито мраком и летящей водой.

Утром Сергей и Николай сказали, что весь Шанхай затоплен, поплыл. Но к обеду просох. Я ожидал, что гроза и ливень освежат природу, снизят температуру воздуха, как бывает у нас, но здесь и жар, и духота только усилились. Разогретый асфальт испарял влагу, она поднималась в атмосферу и создавала, так сказать, *рисовую* погоду. Тепло и влага в таких пропорциях нужны именно рису. Вот почему китайцам неинтересна наша Сибирь – рис там не растёт. Рынки – да, но не земля. Хотя всё время слышишь то ли предсказания, то ли уверения в том, что китайцы дойдут до Урала.

Ещё мы с Олегом посетили парк Юй Юань – “Сад радости”. Я в этом саду умудрился-таки заблудиться. Он огромный, везде вода, мосты и мостики, павильоны, выставки, скульптуры драконов по стенам. Зазевался – и отстал от Олега. Вероятно, ещё и потому, что захотелось позвонить в Москву и сказать: “Я звоню тебе из Сада радости”. Дорого мне было (во всех смыслах!) услышать здесь родной голос. Доложил, оглянулся – нет Олега. Звоню ему. Это значит, что мой голос летел к нему по Саду радости, по Шанхаю – через Москву. Он успел только крикнуть: “У входа!” А где вход? И таблички не понимаю, и спросить не умею. Толпы людей льются и туда, и сюда. Остановил человека постарше. Он вдруг схватил мою руку: “Русия, Русия, люблю!” Даже слёзы на глазах появились. Оказывается, учился в России. Может быть, в институте имени Патриса Лумумбы? Нет, технарь. Да и русский язык почти забыл, но где вход и выход знал и сумел мне показать. Ещё ему было важно объяснить мне, что всегда он был не согласен с тем, что во время культурной революции русских называли *лесными варварами*. “Нет, нет! Дружба!” – “Ну, а вообще, как в Китае жизнь?” Слёзы у него высохли, и он улыбнулся: “Всё есть и всем плохо”. – “У нас то же. И культурная революция у нас продолжается”.

В парке было на что посмотреть. Вот знаменитые китайские золотые рыбки. Но здесь это не рыбки – рыбищи, прямо какие-то раскормленные, раскрашенные в красное, белое и золотое сомы. Тут их все кормят. Чего им тут не жить – только рот разевай. Деточки старались их даже погладить по спине. Некоторым удавалось. Приплыла и всех насмешила маленькая черепашка. Ловкая, всеми четырьмя лапами она распахивала прожорливых конкурентов и быстро питалась сама. Примерно такую же сцену с сомами и черепахой я видел на Иордане в Палестине.

Русскую речь, уже от русских, я ещё услышал в подземном мегамаркете. Там были две женщины из Казахстана. Из Казахстана их выгнали, в России не приняли. Куда денешься? “У нас высшее образование. Здесь специалистов ценят. Конечно, тоскуем по России. Но хотя бы помогаем родственникам”. История этих женщин – ещё один пример плодов российской перестройки, ещё один венок на могилы Гайдара и Ельцина.

И вот наступил прощальный вечер. О, как грустно. Как уже много знакомых площадей и улиц, как со многими я здесь теперь знаком. Но надо улетать. Китай без меня проживёт, а Россия – никак. То есть и Россия, может быть, проживёт, но я-то без неё как?

Итак, ресторан “Рузвельт”, прекрасная набережная, на которой когда-то были таблички: “Собакам и китайцам вход воспрещён”. И вы думаете, цивилизованные европейцы Шенгенской зоны, что китайцы эту табличку когда-нибудь забудут? Не надейтесь.

Руководители книжной ярмарки, видимо, специально поставили приём на вечер, ибо в наступающих сумерках сказочно осветилась набережная, а прогулочные корабли, в изобилии плывущие по реке, разукрасились всеми цветами радуги. Гирлянды подмигивающих китайских фонариков, трескотня фейерверков, шипение взлетающих ракет и взрывы их над водой, в которой отражается букет салюта, музыка, запахи приправ китайской кухни – эх, что и говорить!

Среди медленно плывущих, выполненных под старину кораблей пропархивали быстроходные современные катера и яхты. Но они-то мелькнули,

и нет их, а эти царственно шествуют, разноцветно сияют и надолго остаются в памяти.

Но что ещё надо сказать: огни огнями, музыка музыкой, а река продолжала работать. Всё время вверх и вниз по течению двигались огромные грузовые суда, баржи, рефрижераторы. Они никому не мешали, шли своим фарватером, только сигнальные огни мигали по бокам, сзади и спереди. Тяжко вздохнул я, вспоминая осиротевшие родные реки: Волгу и Каму, Оку и Вятку.

Вела приём уж совершенно неестественно красивая телеведущая. Вызывала она к микрофону писателей и поэтов отовсюду: из Гонконга, Испании, Сербии, Малайзии... По экрану ползли строчки текстов, читаемых автором, на китайском, конечно. Так как я не понимал ни того, ни другого, мне доставался лишь перевод Николая. Из серьёзного выступления я запомнил одну очень умную фразу: "Массовая культура делает человека равнодушным к другим и устремляет смысл жизни к комфорту".

Олега занимала художница-китаянка, муж которой был норвежец. Её картины показывали на экране. Меня затягивала в беседу о загробной жизни соседка слева, Николай сидел справа. Я вежливо слушал о перевоплощениях, о том, что Будда может быть женщиной, и всё-таки, в свою очередь, сказал о православном понимании жизни временной, земной и вечной, загробной. "Это как если сравнить время горящей спички с временем сияния солнца".

— Это понятно ей? — спросил я Николая после того, как он перевёл мои слова. — С чего это вдруг она засмеялась? Что тут смешного? Земное и вечное.

— Она говорит, что первый мужчина — это как спичка, а последний — как солнце.

— Хороший у неё юмор.

Она ещё что-то сказала. Николай перевёл:

— Женщина, говорит она, — это университет для мужчины.

Чем я мог ей ответить? Сделал знак официанту, он налил нам французского красного вина, и мы выпили под возглас: "Камбе!", что означает "До дна!". Вино было даже лучше, чем то, что мы пили в самой Франции.

Ещё погуляли по набережной. Тут, в отличие от ближайшего к "Мандарину" пространства, никто к мужчинам не приставал, всё было чинно, нарядно, отдохновенно. Памятник первому мэру Шанхая походил на памятники пламенным большевикам, например, Кирову. Тележки с напитками, едой, цветами, открытками, мороженым были разукрашены и казались частью городского пейзажа. Почему-то подумалось: вот улечу, а тут всё так и будет.

— Коля, — сказал я, — прости, тебе трудно было переводить мои торопливые дозволенные речи, и ничем я не мог вас порадовать. При встрече китайские анекдоты рассказал, вам не было смешно. А вообще, как можно китайца рассмешить? А то все тебе улыбаются, а ты не знаешь, весело им или у них такая работа. Женщина в вестибюле такая приветливая, а я, когда вас встречал, сел в сторонке, она оглянулась — никого, лицо стало усталое, и она делала упражнения для спины. Вдруг машина у подъезда, она снова на страже, вся в струнку. Лицо весёлое. Работа. А что она думает о приезжих? Не всем же рада.

— Да, — вздохнул Николай, — работа.

— Я тебе на прощание ещё один анекдот расскажу. Из шестидесятых, уже прошлого века. Сейчас у вас одна из самых сильных армий в мире, а тогда вы только начинали крепнуть. Вот идёт военный совет, обсуждается наступление на врага. Министр обороны сообщает: "Вначале пойдёт наша Первая китайская миллионная армия. Потом пойдёт наша Вторая миллионная китайская армия. А потом двинется наша боевая техника". — "Как? Вся сразу?" — "Нет, вначале один танк, потом другой". Не смешно?

— Тогда меня ещё не было, — ответил Николай.

— Хорошо. Расскажи ты то, над чем можно было бы посмеяться.

— Ну-у-у, — Николай подумал. — Человек идёт вдоль состава и ударяется лбом в вагоны. Говорит: "Ищу мягкий вагон, у меня билет в мягкий". Смешно?

— Очень. Но ведь это уже из каменного века юмор. А есть что-нибудь свежее, именно китайское?

— Я буду вспоминать. А вы будете о нас писать?

— Милый Коля, что я напишу? Очень бы хотел, но ты знаешь, что замысел сильнее воплощения.

– А какой у вас замысел?

– Да всё тот же – культура сильнее политики, дружба сильнее войны.

Перед сном вознёсся на лифте на последний этаж, поглядел вниз, и голова закружилась. Поглядел вверх, звёзд не видно. А так хотел увидеть здесь свою любимую Полярную звезду.

Долго не засыпалось. Лежал, гнал пультом телевизора бесчисленные каналы. Всё обычно: дикторы, дискуссии, спорт, реклама, кухня, песни, танцы, кино и театр, но похабщины и пошлости российского телевидения, к счастью, не было.

Назавтра на прощанье в ресторане отеля уже привычно сокрушал клешни крабов и домики моллюсков специальными щипцами, потом, на десерт, ходил к фонтану льющегося шоколада, просил заварить и зелёного, и чёрного чая, прошёл ещё вдоль стоек, понимая, что за дни пребывания и десятой части кушаний не попробовал.

А потом была грустная прогулка по знакомым уже местам, особенно в старый, сохранившийся кварталчик, где двух- и трёхэтажные галереи смыкались и образовывали закрытый оазис прежней шанхайской жизни и архитектуры. Велосипеды, коляски, бельё на верёвках, девочка, изумлённо глядящая на бордатога дедушку, старики за какой-то игрой. Стены были в надписях, но это были не граффити, не мазня местных неформальных художников, не перформансы. Например, мне Николай перевёл: “Когда герой сидит в тюрьме, то небеса и земля скорбят”.

В аэропорт меня увозил шикарный “бьюик”. Я бы и не понял, но Олег это заметил: “Уважают”. – “Как не уважать, такой рынок сбыта”.

Провожал нас Сергей. Очередица на регистрацию была изрядная. Родной до боли “Аэрофлот”. Но взлетели вовремя. В самолёте, проходя в хвостовую часть, задел ногу огромного араба, и он потом очень сердито смотрел на меня. Но я, наученный китайскими улыбками, быстро его укротил. И не успели мы пролететь над Монголией, как подружились. Обедал, смотрел на экран, видел, как стрелка самолёта передвигалась вблизи знакомых городов. Мысленно ходил по их улицам, передавал душевные приветы и городам, и живущим в них знакомым: Иркутску, Красноярску, Омску, Тобольску, Тюмени, Барнаулу, Оренбургу, Екатеринбург, Вятке, Нижнему Новгороду.

Итак, я в Москве. Вхожу в дом с лицом победителя: “Нихау!”

Жена не верит, что я сам купил ей туфли. “И ни с кем не советовался?” Открывает коробку. Сразу видно – туфли нравятся. Села, примерила левую туфельку. Точно по ноге.

– Ура! – воскликнул я. – Золушка! Нет, уже королева! Должны же твои измученные московским асфальтом ноги обрести давно заслуженную радость удобства пешего перемещения.

Так я витиевато выразался, а тем временем королева взяла в руки другую туфельку и в ужасе, ещё и сама не веря, поняла непоправимое:

– Она же тоже левая! Левая! Ужас! Как так? Ты что, не видел, не посмотрел? – Глаза её наполнились слезами.

– Но я, когда выбрал, при мне положили их в коробку. Потом в фирменный пакет. Как я мог понять?

– А в гостинице? Не посмотрел?

– Да я сразу их завернул в свитер, как драгоценность, и в сумку.

Да, вот такая случилась трагедия, привёз я ей обе туфли на одну ногу. Я очень переживал. Раз в жизни мог отличиться – и опозорился. Потом мы анализировали, как это могло случиться, и поняли, что не могла продавщица специально положить в коробку две левые туфли. Им, бедняжкам, придёт платить за свою ошибку. Я-то уже за их ошибку заплатил слезами жены.

Ладно, думал я, стараясь остальными покупками, особенно чаем, угостить несчастной Золушке, вот напишу про Шанхай, вот напечатаю, они прочтут, им понравится, и они снова меня пригласят. И пойду я в этот магазин, и принесу левую туфельку и обменяю её на правую. И снова вернусь в Москву, обрадую жену, а сам буду снова тосковать по Шанхаю.

ЮРИЙ ИЗЮМОВ

## ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

*Из книги воспоминаний*

### **По чьим трупам шли к власти Андропов и Горбачёв**

Как и все советские люди, мы жили своими заботами и проблемами, выполняли порученную работу и не особенно вникали в происходившее “там, наверху”. Перестановки в ЦК и Совмине нас не затрагивали, даже и не интересовали. Был один член Политбюро, вместо него теперь другой – ну, и Бог с ними. Как говорилось в анекдоте тех времён, “у них своя компания, у нас – своя”.

Лишь по прошествии многих лет стали возникать *проклятые* и *больные* вопросы. Как мог заурядный болтун Горбачёв достичь высшей власти в стране, чтобы её потом предать и отдать врагам на растерзание? Как самая устойчивая в мире экономика, обеспечивавшая всем гражданам СССР незыблемую уверенность в завтрашнем дне, вдруг покати́лась вниз? Как грамотный, политически подкованный народ вручил свою судьбу проходимцам и мошенникам, состоящим в услужении у тех, кого всегда знал как подлых и жестоких противников? Вот уже третий десяток лет эти вопросы не дают спать миллионам и миллионам наших сограждан.

Ни в коем случае не претендуя на истину в последней инстанции, попробую изложить собственное видение событий последних десятилетий, которые начались как раз в год моего перехода в “Литературную газету”.

У главных разведок мира, прежде всего британской, существует проверенная методика соблюдения интересов своего государства. В державе, против которой они работают, выдвигают сотрудничающих с ними деятелей и убирают противоборствующих. Самый известный эпизод в истории нашей страны – покушение на Ленина в 1918 году. Удайся тогда этот теракт англичан, и во главе России стал бы их (и международного сионизма) агент Троцкий. Следующими их жертвами были Дзержинский и Киров.

В 70–80-х годах политических фигур такого масштаба вроде бы и не было. Сбылось пророчество Сталина, сделанное им за два месяца до своей смерти: “Кончилось время гениев, начинается время дураков”. Тем проще стало передвигать фигуры на всемирной шахматной доске.

Главными пешками, которые тонкими ходами неуклонно двигались в ферзи, были Андропов, а в параллель с ним – Горбачёв. Какие могущественные

---

*ИЗЮМОВ Юрий Петрович родился в 1932 году, окончил МГУ. В 1980–1990-е годы — первый заместитель главного редактора “Литературной газеты”. Ныне главный редактор газеты “Гласность”.*

силы рассчитывали и осуществляли эти ходы – у меня нет даже догадок. *Тайна сия велика есть.*

Крёстным отцом Андропова был его наставник ещё со времён работы в Карелии Куусинен, Отто Вильгельмович. Это очень интересная фигура. В молодости он вращался на политическом Олимпе Финляндии, водил дружбу с богатыми и влиятельными масонами. 9 лет был депутатом сейма, 6 лет возглавлял социал-демократическую партию. Потом – “на подпольной работе” (согласно справочникам). С 1921 по 1943 год – один из руководителей Коминтерна. С 1941 года до самой своей кончины в 1964 году – член ЦК ВКП(б), а при Хрущёве – секретарь Центрального Комитета КПСС. В 1939-м случился один неординарный эпизод, связанный с советско-финской войной. Куусинен возглавил тогда созданное на случай нашей победы, в которой никто в СССР не сомневался, правительство народной Финляндии. Как же его поносили на Западе! Везде, кроме Великобритании. А крупный английский политик Криппс, вскоре назначенный послом в СССР, тот даже публично за него заступился... Позднее с тем же пиететом за рубежом относились к Андропову, хотя о борьбе в СССР с диссидентами не писал только ленивый (или самый удалённый от спецслужб) журналист. Более того, на его похороны прибыли виднейшие политики из капстран, включая Рейгана и Тэтчер. Интересно, за что они выказывали ему такое почтение на государственном уровне? Просто так в мире большой политики ничего не бывает...

В ЦК КПСС Куусинен ведал международными вопросами. В 1957 году, когда Хрущёв выдвинул его секретарём ЦК, Андропов с должности посла в Венгрии сразу стал заведующим подведомственным Куусинену отделом по связям с коммунистическими и рабочими партиями соцстран, а через пять лет – секретарём ЦК. Отто Вильгельмович подготовил себе надёжную смену. Британия высоко оценила его заслуги перед спецслужбами. Как пишут в таких случаях, по некоторым данным, секретным указом королевы Великобритании он был награждён высшим британским орденом, получил рыцарское звание, а коллеги его называли самым успешным агентом в их тёмной истории. Последняя жена Куусинена откровенно написала в своих мемуарах: “Его ведь, в сущности, мало интересовал Советский Союз. Строя свои тайные планы, он не думал о благе России”.

Чем руководствовался Брежнев, назначая Андропова председателем КГБ, мы никогда не узнаем. Может быть, рекомендацией послужила его крайне жёсткая позиция при подавлении контрреволюционных выступлений в Венгрии? Но что произошло, то произошло, и с 1967 по 1982 год крестник Куусинена находился на этом посту, а с 1973 года вошёл в состав Политбюро ЦК КПСС. В 1978 году он добился выхода КГБ из подчинения Совету Министров СССР и фактической его бесконтрольности, так как Брежнев, единственный, кому теперь подчинялся Комитет, не в состоянии был обеспечить должный контроль его работы. Юрий Владимирович сумел приобрести сильное влияние на Брежнева, однако у большинства членов Политбюро, начиная с А. Н. Косыгина, симпатий, мягко говоря, он не вызывал. Особенно чётко написал об этом в своих мемуарах В. В. Гришин (“От Хрущёва до Горбачёва”). Его опорой были Громыко и Устинов. Справка для истории: именно эти трое уговорили Брежнева ввести советские войска в Афганистан.

Люди, достигшие вершины политической власти в нашей стране, то есть входившие в состав Политбюро, прошли такой естественный отбор, что долгожительство им было вроде бы обеспечено. Об их здоровье неустанно заботилась кремлёвская медицина. А вот поди ж ты...

Валерий Легостаев, работавший ещё при Андропове и после него помощником Лигачёва, составил список очереди смертей членов Политбюро, открывших сначала Андропову, а затем и Горбачёву дорогу к властному Олимпу.

В 1976 году “уснул и не проснулся” лично преданный Брежневу министр обороны Гречко.

В том же году весьма перспективный Кулаков, в котором многие крупные партийные деятели видели преемника Брежнева, имел неосторожность на отдыхе в гостях у Шеварднадзе заговорить о немощи генсека. Тот немедленно донёс на него Леониду Ильичу. А уж Леонид-то Ильич хорошо знал, что в сентябре 1964 года перед свержением Хрущёва основные заговорщики, в том числе Шелепин, Семичастный и Демичев, проводили свои совещания именно у Кулакова: он тогда возглавлял Ставропольский край, а им как раз пона-

добилось подлечиться на минеральных водах Ставрополя. Вскоре после возвращения в Москву Федор Давыдович ушёл в мир иной. Ему было всего 60 лет. По чазовскому “медицинскому” заключению – от паралича сердца. На самом деле – от пули. Якобы он сам застрелился. На его похоронах отсутствовали Брежнев, Косыгин, Сулов, Гришин. С прочувствованной прощальной речью выступил впервые взошедший на трибуну Мавзолея Горбачёв. Через год он занял освободившееся место секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Его настойчиво рекомендовала вышеупомянутая группа товарищей и примкнувший к ним Сулов. Александр Ильич Агранович прокомментировал это назначение словами: “Мы недавно сделали анализ эффективности вложений в сельское хозяйство; в Ставропольском крае она самая низкая”.

В 1980-м в странной автомобильной катастрофе на сельской дороге погиб член Политбюро, первый секретарь ЦК КП Белоруссии П. М. Машеров, которого считали вероятным преемником Сулова, а после не менее странного происшествия во время прогулки на байдарке умер А. Н. Косыгин.

Рассказывая о рекордном по числу смертей среди руководства страны 1982 году, одним перечислением не обойдёшься. Это тот самый случай, когда весь смысл – в деталях. 19 января вроде бы застрелился первый заместитель Андропова Цвигун, доверенный сотрудник Брежнева, женатый на сестре жены генсека Виктории Петровны. Причем при странных обстоятельствах: на кратком отрезке садовой дорожки от машины до дачи, из которой охрана не выпустила к месту происшествия его жену. Кроме шофёра из гаража КГБ, из пистолета которого был сделан роковой выстрел, никто не видел самого момента “самоубийства”, а тело Цвигуна семье показали только на похоронах. Я спрашивал об этом тёмном деле его сына: он убеждён, что отца убили. Чазов писал: “Я хорошо знал Цвигуна и никогда не мог подумать, что этот сильный, волевой человек, прошедший большую жизненную школу, покончит самоубийством”. В итоге Брежнев лишился очень важной подстраховки.

В июне 1982 года было произведено покушение на В. В. Гришина, о котором нигде никогда не упоминалось. Когда его машина приближалась к Можайскому шоссе, наперез ей выехал автобус “Львов”. У сидевшего на переднем сиденье офицера охраны снесло пол-лица. К счастью, взрыва бензобака, которыми обычно сопровождаются подобные столкновения, не произошло, Виктор Васильевич серьёзно не пострадал, хотя был доставлен в Кунцевскую больницу. При разборе ДТП выяснилось, что автобус этот выехал из гаража КГБ...

Андропов был давно тяжело болен. Он понимал, что для прихода к руководству партией и страной времени у него осталось совсем немного. Но из КГБ в генсеки ему было не попасть ни при каком раскладе. Для этого нужно было хотя бы недолго поработать в аппарате ЦК. Соответствующая его плану должность имелась только одна – второго секретаря, но её занимал М. А. Сулов, отличавшийся аскетическим образом жизни и отменным здоровьем. Как пишет Легостаев, операция по его устранению разрабатывалась при непосредственном участии начальника кремлёвской медицины Чазова.

Членам Политбюро, достигшим 70 лет, полагался зимой дополнительный двухнедельный отпуск. Михаил Андреевич провёл его в “люксе” Центральной клинической больницы (“кремлевки”). Революй Михайлович, сын Сулова, рассказал мне, что там произошло в последний день перед выпиской. Сулова пришла навестить дочь. Он ей сказал, что чувствует себя хорошо и завтра прямо из больницы поедет на работу. В это время лечащий врач принёс какую-то таблетку. Михаил Андреевич, человек сталинской школы, никаких таблеток в больнице никогда не принимал. Однако врач так настаивал, упирая на его намерение ехать на работу, что пришлось согласиться. Почти сразу же после приёма лекарства Сулов сильно покраснел и сказал дочери: “Иди домой, что-то мне худо”. Через несколько часов он умер. Это случилось через день после смерти Цвигуна. А ещё через месяц врача, давшего роковую таблетку, нашли в петле в собственной квартире.

Деталь многозначительная. Начальник охраны Сталина Хрусталёв, пославший от его имени всех офицеров спать в роковую ночь 1 марта и полсутков не вызывавший медиков, тоже умер через месяц после смерти охраняемого им вождя. Фанни Каплан, которой одной приписали покушение на Ленина в 1918 году, не прожила и двух суток после своего рокового выстрела: после формального допроса её застрелили и сожгли в керосиновой бочке на территории Кремля. Закон террористов: свидетелей не оставлять.

Через четыре месяца после смерти Суслова на ближайшем Пленуме ЦК КПСС вторым секретарём избрали Андропова — случай в нашей послевоенной истории уникальный. Не только в главном ЦК, но и во всех республиканских, кроме Армении, пост второго секретаря всегда занимали русские. Для еврея Андропова сделали, однако, исключение.

На место Андропова Брежнев назначил председателя КГБ Украины Федорчука, известного своей жёсткостью. В нём он был абсолютно уверен.

Что бы ни говорили о последних годах правления Брежнева, но он серьёзно готовился к передаче власти. Первый секретарь Приморского крайкома Д. Н. Гагаров рассказывал о разговоре на эту тему во время пребывания генсека в крае. Перебирая возможные кандидатуры, Брежнев называл и Андропова, но тут же отверг его: “Не годится, сжёг себя на работе в КГБ”. В конце концов, Леонид Ильич определился. По словам И. В. Капитонова, ведавшего в ЦК партийными кадрами, за месяц до уже назначенного пленума ЦК генсек позвал его к себе и сказал: “Через месяц в этом кресле будет сидеть Щербицкий. Все назначения делай с учётом этого”. Для себя Брежнев наметил создать должность председателя партии. Знал ли он о том, что, по утверждению Роя Медведева, вокруг него существовала уже скрытая оппозиция в лице Андропова, Устинова и Горбачёва? Фамилии названы несколько неожиданные, но тут уж Медведеву виднее.

Какой же опрометчивый шаг сделал тогда Леонид Ильич! Брежнев, конечно, был в курсе того, что КГБ дённо и ночью прослушивает всех членов Политбюро. Наверняка обо всех заслуживающих внимания разговорах и даже репликах ему Андропов докладывал. Микрофоны были везде, даже в спальнях. Но что так же точно прослушивают и его самого, генсек не предполагал. Как и того, что Пленум состоится гораздо раньше определённого им срока и совсем не с той повесткой, какую утвердило Политбюро.

Брежнева давно мучила бессонница. За многие годы он настолько привык пользоваться снотворными, что уже не мог без них обходиться. Всему его окружению было категорически запрещено потакать этой слабости Леонида Ильича. В крайних случаях он обращался к Юре (так и в глаза, и за глаза он звал Андропова). Андропов был последним, с кем встречался Брежнев перед смертью. Как и Берия со Сталиным. Что сделали эти двое приближённых со своими патронами, мы тоже никогда не узнаем. Известны только результаты: Сталина постиг тяжёлый инсульт, Брежнев уснул и не проснулся. Фармакология, как видим, на месте не стоит. Накануне смерти и тот, и другой чувствовали себя нормально, Брежнев даже съездил в Завидово на охоту, отстоял на Мавзолее весь парад и демонстрацию 7 ноября.

Я подробно расспрашивал начальника охраны генсека Владимира Медведева, внимательно вчитывался в строки чазовской книги. Всплыла только одна несообразность. В ночь *сна без пробуждения* на брежневской даче не было ни одного медицинского работника, хотя до того, куда бы он ни ехал, в кортеже всегда следовала машина реанимации с полным штатом положенного для таких случаев персонала. Медведев и в книге “Человек за спиной”, и устно рассказывал, как он вместе с дежурным сотрудником охраны безуспешно пытался делать Брежневу искусственное дыхание. Больше помочь было некому. Через некоторое время явился Чазов, засвидетельствовал смерть. Почему он не вызвал реанимационную бригаду, когда получил первое сообщение о случившемся? Всё знал заранее?

Смерти Брежнева сопутствовало ещё одно обстоятельство, о котором нигде не было сказано ни слова. Его вдова Виктория Петровна рассказала вдове В. В. Гришина Ирине Михайловне, что первым тогда на дачу, буквально через 10–15 минут после первого звонка Медведева, приехал Андропов. Молча прошёл в спальню, взял из **сейфа** брежневский кейс и так же молча, не зайдя даже к Виктории Петровне, уехал. А потом прибыл вместе со всеми членами Политбюро, будто и не приезжал раньше. Это подтвердил и её зять Ю. М. Чурбанов. Не профилактикой ли утечки информации такого рода объясняется его арест и восьмилетнее заключение по нелепому обвинению? Члены семьи Брежнева не раз пытались дознаться у него, что хранится в таинственном кейсе. Леонид Ильич отшучивался: “Тут у меня компромат на членов Политбюро”.

Как положено, после похорон состоялся Пленум ЦК КПСС, где должны были выбрать нового генерального секретаря. Андропова избрали единогласно.

Давайте зададимся вопросом: зачем смертельно больной Андропов так рвался к власти? Даже если и суждены ему были благие порывы, то свершить-то уже ничего не дано. Какие там свершения, коли половину своего срока, проведенного во власти, ему пришлось провести в больнице, прикованным к аппаратуре искусственного диализа? Кроме облав в кино и ресторанах на злостных прогульщиков, период правления Юрия Владимировича ничем в памяти народа не запечатлелся. Немного для деятеля такого масштаба. Наверняка не для этой операции уровня командира народной дружины были затрачены усилия великих шахматистов.

Так для чего же?

Расставить на нужные места кадры, которым предстояло завершить смену власти в СССР.

Кадр № 1 – Лигачёв. Цитирую мемуары В. В. Гришина: “Никто не принёс партии столько вреда, сколько Лигачёв”. Его руками Андропов, а затем Горбачёв заменили в составе ЦК и партийном аппарате проверенную надёжную гвардию партийных работников бывшими директорами заводов, строителями и учёными, которых, как знают все политики мира, нельзя допускать к власти. В книге “Загадка Горбачёва” Егор Кузьмич приводит оценку Андроповым этой его деятельности, данную за полтора месяца до кончины в Кремлёвской больнице: “Вы для нас оказались находкой”. Подчеркнём эти слова: “для нас”... Приведу ещё одну цитату из той же книги: “Юрий Владимирович планировал обновление социализма, понимая, что социализм нуждается в глубоких и качественных изменениях”. Каких именно, нам наглядно потом показал Горбачёв, который первое время то и дело возглашал: “Больше социализма!” и призывал нас строить “социализм с человеческим лицом”.

Кадр № 2 – Яковлев. Андропов вернул его в Москву из канадской посольской ссылки, куда тот был отправлен за антирусские выступления, дав должность директора второго по важности и по антикоммунистическому внутреннему климату международного института Академии наук. Без всякого на то права и научного багажа, но с дипломом о прохождении годичной стажировки в Колумбийском университете США. Из института Яковлев со скоростью кометы перескакивал с должности на должность: зав. отделом пропаганды ЦК, секретарь ЦК, член Политбюро – типичный *серый кардинал*.

Кадр № 3 – Горбачёв. Именно при Андропове он возвысился от слабейшего по положению секретаря ЦК КПСС до одного из самых влиятельных, который при больном Черненко заправлял всеми кадровыми делами на верхушке советской власти, расставляя всюду своих сторонников. Именно он перетащил из Томска на важнейший в партийном аппарате пост заведующего отделом оргпартиработы Лигачёва. Интересны детали этой операции. Такой должности прежде не существовало вовсе. Вся кадровую работу вёл первый замзав этим отделом Николай Александрович Петровичев, пользовавшийся в партии заслуженным уважением. А его непосредственным руководителем был секретарь ЦК Капитонов, подчинявшийся, в свою очередь, второму секретарю ЦК Черненко. Решение по Лигачёву Андропов с Горбачёвым провели за один день, когда Черненко находился в отпуске, ни с кем из членов Политбюро его не согласовывая. Высший пилотаж!

Одних новый тандем выдвигал, других задвигал. Осторожный Брежнев держал в КГБ при Андропове двух первых замов, своих верных людей – Цвингуна и Цинёва. Безмерно предан ему был и министр внутренних дел Щёлоков. Через месяц после смерти Брежнева Щёлокова уволили. На его место перевели из КГБ Федорчука, выдвигенца Щербицкого. В 1984 году Щёлоков вроде бы застрелился – дома из охотничьего ружья. В 1985 году, уже при Горбачёве, Цинёва отправили в “райскую группу”, созданную для престарелых высших военачальников. Брежневских кадров в КГБ не осталось.

После смерти Андропова генсеком по предложению Устинова был избран Черненко. Решение об этом, кроме него, обсуждали Громыко, Тихонов и сам Черненко. Фамилия Горбачёва даже не упоминалась.

Константин Устинович трезво оценивал свои возможности, очень не хотел почётного назначения. Когда он приехал домой с Пленума ЦК, возложившего на него непосильную ношу, жена спросила:

– Костя, зачем тебе это?

– Так надо, – ответил он.

Коллеги по Политбюро уговорили его на это дело, дабы не пропустить



к власти Горбачёва, которого давно раскусили. Но какого преемника мог подготовить Черненко? Его окружали такие же старцы, как он сам. Человек помоложе и поэнергичней других, ленинградский первый секретарь Романов был в передаче радио “Свобода” полностью дискредитирован в глазах народа. Из уст в уста передавали, что он устроил свадьбу дочери в царском дворце, где перепившиеся гости разбили антикварный сервиз. Романов тогда потребовал опровержения в печати: ведь свадьба происходила в столовой обкома, никаких сервизов из Эрмитажа не было, а сам он на ней даже не присутствовал. Андропов, к которому он обратился, отказал: мол, мало ли что ещё придумают вражеские голоса, на каждый чох не наздравствуешься.

Гришин, возглавлявший почти миллионную партийную организацию столицы, тоже был оболган. О нём, кристально честном, более того, щепетильном человеке, распускали слухи один нелепее другого: что он бросил семью, женился на Татьяне Дорониной и теперь молодожёнам ежедневно доставляют из Елисеевского гастронома всякие бесплатные яства; что он замаскированный еврей и покровительствует всем подпольным дельцам этой национальности. И так далее. Ни в одном из пасквилей – а их было опубликовано около 150 – не говорилось, что проверку и этого гастронома, и всей системы торговли в городе вело московское Управление КГБ по личному поручению В. В. Гришина. Однако принять меры по результатам проверки горкому партии не дали. Их забрали в КГБ СССР и использовали лишь для его очернения.

Жестоко расправились с Устиновым. В конце 1984 года в Чехословакии проводились манёвры войск стран-участниц Варшавского Договора во главе с министрами обороны. По возвращении с манёвров один за другим поумирали с интервалом в несколько дней главы военных ведомств ГДР, Венгрии, Чехословакии и СССР. От чего умер Дмитрий Фёдорович, так никто и не объяснил. Чазов писал, что его смерть “оставила много вопросов в отношении причин и характера заболевания”. Есть чему удивляться! Массовый теракт в отношении высокопоставленных руководителей четырёх государств – и ни расследования, ни наказания террористов...

Черненко умертвили лишь со второй попытки. Летом 1983 года, ещё при жизни Андропова, он был смертельно отравлен на отдыхе в Крыму. Вместо расследования придумали байку о недоброкачественной копчёной ставриде. Но ели-то её все, кто жил на госдаче, а пострадал почему-то один Константин Устинович. Да так, что чудом не отдал Богу душу. Его и без того слабое здоровье было капитально подорвано, он долго не мог восстановить работоспособность. Вскоре после избрания Черненко генсеком Чазов путём сильнейшего давления отправил его для поправки здоровья на высокогорный курорт в Кисловодск. Для больного, страдавшего энфиземой лёгких, это было похуже отравления. Через 10 дней его на носилках погрузили в самолёт и срочно вернули в Москву. Какая уж тут работа...

После второго медицинского покушения Черненко изо всех сил пытался взять в руки бразды правления. Его окружение тоже изо всех сил старалось показать, что он действует. По распоряжению первого помощника генсека Боголюбова в Москве организовали инсценировку участия Константина Устиновича в голосовании на выборах в Верховный Совет. Но дни его были сочтены. Не дали ему никаких шансов, чтоб решить главную задачу, ради которой взойшёл он на столь высокий пост.

Черненко умер 10 марта 1985 года. По поразительному совпадению за несколько дней до этого Щербицкого во главе делегации Верховного Совета СССР направили в США. Узнав о смерти генсека, он потребовал от посла немедленного возвращения на Родину. На что получил ответ: “Ваше возвращение сейчас нежелательно”. На основании каких же указаний решился посол на такую дерзость по отношению к члену Политбюро? Мой сосед по дому, командовавший тогда правительственным авиаотрядом, подтвердил: и он получил приказ задержать вылет Щербицкого на три дня. Выходит, всё было спланировано.

В Москве в это время шла напряжённая *подковёрная игра*. Громыко пообещали пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, если он, в свою очередь, предложит Политбюро избрать генсеком Горбачёва. Судьба будущего лучшего немца висела тогда на волоске: никто из членов Политбюро, собранных для сообщения о смерти Черненко, не назвал его в качестве преемника. Ночью с предложением занять этот пост некоторые из них обратились

к Гришину, но он отказался. А Громыко согласился на предложенную сделку. Наутро, как только Политбюро собралось, он, не ожидая официального открытия заседания, встал и сделал то, чего от него ждали Горбачёв, Лигачёв и стоявшие за их спинами могущественные силы мирового правительства. Проголосовали единогласно. То же произошло и на открывшемся двумя часами позже Пленуме ЦК КПСС. Так был подписан смертный приговор Советскому Союзу и партии, которая подняла страну из пепла, сделала великой державой, победила Гитлера, спасла Россию и человечество от немецкого фашизма.

Всё это я узнал много лет спустя, а тогда, в апреле 85-го, вместе со всеми радовался, что наконец-то на смену немощным старцам пришёл полный сил человек, свободно говорящий с трибуны без бумажки, обещающий всё обновить, улучшить и усовершенствовать. Наступило время больших надежд, больших ожиданий.

Боже, какими мы были наивными и простодушными!

### **Возвращаясь к Ванге**

В начале 80-х годов имя Ванги было уже известно в СССР, но, как тогда любили выражаться, “узкому кругу ограниченных лиц”. К ней не раз ездили, например, Леонид Леонов и Сергей Михалков, однако же о своих встречах они предпочитали не распространяться. Пресса помалкивала, поскольку необъяснимые сверхъестественные способности знаменитой болгарки никак не укладывались в неколебимый советский атеизм и материализм. Мне повезло. Николай Трофимович Сизов как-то пригласил меня к себе в Госкино на просмотр документальной ленты, запечатлевшей почти двухчасовой монолог провидицы. Ванга была тогда цветущей, полной энергии, говорила громко, тоном, не допускающим возражений. Большую часть монолога она посвятила профессору Лозанову, которому болгарское правительство поручило изучение и научное объяснение её феномена. “Я знаю, он ждёт не дожждётся моей смерти, чтобы мозг получить и в нём копать. Но умрёт раньше меня”.

К сожалению, в памяти остался лишь зрительный образ – разговор шёл на македонском диалекте, в котором переводчик был не силен.

Я тогда как-то не задумывался над тем, что Пауло Козльо в “Алхимике” назвал знаками судьбы. А если задуматься – как это я попал на просмотр? Шанс в многомиллионной Москве был более чем ничтожный. Однако ж судьба выбрала меня. Потом она же, не иначе, привела вашего покорного слугу на отдых в Болгарию. Писательский дом отдыха там не шёл ни в какое сравнение с сочинскими санаториями, почему я в тот год отдал ему предпочтение? Дальше – больше. В столовой мы с женой оказались за одним столом с супругами Калчевыми. Само по себе ежедневное общение с классиком болгарской литературы и интересно, и лестно. А тут ещё выяснилось, что жена Камена Калчева Бойка знала Вангелию (таково полное имя Ванги) с детских лет...

Во время войны фашисты схватили жениха Бойки, сражавшегося в Сопротивлении, судили и казнили его. Страстно любившая его девушка получила такой психологический шок, что родные стали опасаться за её рассудок и отправили приходить в себя в глухую деревню на границе с Македонией, куда не доходили треволнения столичной жизни. Однако перемена места не помогла. Тогда родственники посоветовали ей сходить к слепой девочке, жившей неподалёку. Она удивляла односельчан тем, что всегда знала, где искать заблудившийся скот, советовала, чем от какой болезни лечиться. Может, она поможет?

Бойка пошла. Едва услышав её, Вангелия сказала:

– Хочешь, я скажу, что лежит у тебя в чемодане? – И подробно описала всё содержимое в том порядке, в каком были сложены вещи.

После этого Вангелия заговорила о том, что сводило с ума Бойку. Она подробно описала ей, как проходил судебный процесс, что говорили прокурор, адвокат, судья.

– Твой жених вёл себя как герой. Отказался просить помилования.

Как деревенская девочка, успевшая получить лишь начальное образование, никогда не слышавшая радио, смогла всё это передать со всей мудрой судейской лексикой – объяснить невозможно. После окончания войны Бойка читала протоколы суда. Всё сошлось.

Она подружилась с Вангелией. Девочка рассказала, как приобрела свои необычайные способности. Летним днём она вместе с другими детьми была в поле. Внезапно налетел вихрь и поднял её в воздух. Когда она опять очутилась на земле, никаких повреждений на теле не оказалось. Только глаза были выжжены. Что произошло за краткий миг земного времени?

— Меня подхватили чьи-то руки, и я предстала перед Божьей Матерью. Она ласково со мной поговорила и стала бранить своих помощников за то, что по их неосторожности я лишилась зрения. “Зато ты теперь будешь видеть то, чего не видят другие”, — сказала Она.

В канун войны перед мысленным взором Вангелии (назовём этот феномен привычными словами) являлись страшные картины взрывов, пожаров, гибели огромных масс людей. С её началом к ней приходили матери и жёны призванных в армию односельчан с вопросом: жив ли? что с ним? Девочка каждой давала обстоятельный ответ, если человек был жив. Если погиб, говорила, что ничего не видит. У одной из соседок от мужа четыре года не было никаких известий, а Вангелия повторяла и повторяла:

— Твой муж вернётся домой.

И он вернулся.

За время войны известность Вангелии выросла. Чтобы узнать о своих близких, к ней приезжали теперь издалека. Земля, как известно, слухом полнится. Война кончилась, а несчастья человеческие — нет. Люди шли и шли. Однажды приехала супружеская пара, у которой пропала дочь. Они едва успели войти, ничего ещё не сказали, как услышали:

— Ищите свою дочь в реке под упавшим деревом. Она утонула.

— Как ты об этом узнала? — спросила Бойка.

— Я не узнала, а увидела реку, упавшее дерево и в его ветвях — мёртвую девочку.

Ванга говорила, что когда её о чём-то спрашивают, обычно она видит картины, а иногда слышит голос, всегда один и тот же.

Через некоторое время Ванга переехала в городок Петрич, находящийся неподалёку от легендарного дельфийского оракула. К ней шёл непрерывный поток людей. Как часто случается, рост популярности вызвал и рост недоброжелательства, в основном, среди учёных. Не щадя сил, они клеймили её как шарлатанку, которая играет на чувствах необразованных людей. Аргумент был один: *этого не может быть, потому что не может быть никогда*. Как это часто случается, чем больше её клеймили, тем больше становилось обращений к ясновидице. В неофициальном порядке к её помощи прибегала и милиция, если оперативники не могли распутать сложное преступление.

Два таких случая прогремели на всю Болгарию.

На киностудии пропал негатив только что законченного мультфильма. Ванга никогда не видела кино, и когда к ней обратились за помощью, попросила описать, как этот негатив выглядит. Ей описали: длинная целлулоидная лента с дырочками по краям, а на ней — много-много цветных картинок.

— Вы не там ищете, — сказала она пришедшим. И описала, как выглядит помещение, где находится пропажа. Это был архивный склад кинохроники. Каким образом попал туда мультфильм, никто не мог объяснить. Но нашли его именно там.

Второй случай был связан с известным деятелем культуры, получившим образование в СССР. Ванга спросила его:

— Ты знаешь, что у тебя в Москве растёт дочь? — И описала улицу (старый Арбат), дом и квартиру, где она жила.

Отец помчался в Москву, нашёл и дом, и квартиру, и дочку.

Бойке был известен один эпизод, когда ясновидица помогла своему племяннику, парню с на редкость несчастливой судьбой. Позвав его к себе, она велела ему купить лотерейный билет и назвала цифры, которые надо отметить. На билет выпал максимальный выигрыш. Но это было только раз. Все, кто одарён в той или иной степени способностями предвидеть будущее, знают, что использовать их подобным образом они не имеют права, а если нарушат запрет, будут строго наказаны.

Племянника, в конце концов, настигла несчастная судьба. Он работал шофёром-дальнобойщиком. Как-то Ванга позвонила его матери и передала, чтоб на следующий день он никуда не выходил из дому. Парень ослушался: у него был выгодный рейс. Выехал и погиб в автокатастрофе.

Много позже она не смогла уберечь свою сердечную подругу Людмилу Живкову. Знала, когда и при каких обстоятельствах та погибнет, но противостоять судьбе было выше её сил.

Бойка Калчева рассказала мне, зачем к Ванге приезжал Леонид Леонов. Когда он закончил первую часть романа “Пирамида”, у него на две недели отнялись кисти рук. Что бы это значило?

– Когда закончишь вторую, руки отнимутся по локоть. После третьей части – по плечо...

Ванга сказала ещё подруге, что когда роман будет дописан, Леонов умрёт. Леониду Максимовичу говорить не стала, но всё произошло именно так, как она предсказала. А он интуитивно растягивал работу над последней частью на многие годы.

Ясновидцу регулярно посещал Сергей Владимирович Михалков, и благодаря её советам он прожил столь долгую и счастливую жизнь.

Поток желающих побывать у Ванги создал массу проблем для маленького Петрича. По просьбе своей дочери решил эти проблемы сам Тодор Живков. Человек умный и прагматичный, он распорядился создать институт по изучению прогрессивного на весь мир болгарского феномена, оборудовать при нём приёмную для Ванги, назначить ей достойную зарплату, а для приезжих построить гостиницу (к тому времени ждать приёма уже приходилось несколько дней). Служащие института толпу ожидающих преобразовали в чёткую очередь. Приём стал платным: в государственную казну шло по 3 лева с сограждан и по 10 левов с иностранцев.

Приём Ванга начинала с того, что посылала помощника отыскать во дворе людей, которым помощь требовалась немедленно. Называла имена или место, откуда они прибыли.

Случались во время приёмов курьёзные ситуации. Входит человек, а Ванга кричит:

– Вон отсюда, мерзкий развратник (или пьяница, или жулик). Думаешь, я не знаю про твои проделки?!

Зная про эту очередь, я и не мечтал попасть к ясновидице, хотя после рассказанного Бойкой Калчевой, а потом и председателем Союза болгарских писателей Любомиром Левчевым, её биографом Федей Яковым и другими (выяснилось, что в доме отдыха “Писател” каждому было что рассказать о ней) мой интерес к ней рос день ото дня. Я обмолвился как-то об этом Любомиру и услышал в ответ, что в его аппарате работает племянница Ванги Красимира. Организовать встречу вполне в её силах.

Кроме меня, в Болгарии тогда отдыхала чета Граниных. Это очень милые, располагающие к себе люди, мы немало времени проводили вместе. Естественно, я предложил Даниилу Александровичу поехать туда вместе.

В ближайшее воскресенье, когда у тётушки был законный выходной, Красимира повезла двух советских гостей – Гранина и меня – в Петрич. Путь по болгарским масштабам неблизкий, прибыли мы только к концу дня. Ванга жила в просторном сельском доме с ухоженным участком. В большой комнате, где она принимала гостей, бросалось в глаза великое множество сувениров, в основном, кукол в разнообразных национальных костюмах. Пришлось пожалеть, что нам никто не сказал об увлечении хозяйки, а сами мы не догадались спросить.

Ванга сидела на привычном своем месте. На столе – блюдо ярко-красных яблок. У неё было белое, без морщин, лицо, волосы причёсаны на прямой пробор. С первого же взгляда я почувствовал полное спокойствие без всякого внутреннего напряжения, что было бы естественным. Наверное, оттого, что ясновидица показалась мне поразительно похожей на бабушку Маргариту. Я про себя так и стал её называть.

Кроме нас, приехавших, в комнате сидел начальник райотдела КГБ.

Бабушка сразу вступила в беседу с Даниилом Александровичем. Он был в зените славы, книги его широко издавались в Болгарии, где советская литература тогда читалась больше, чем местная, отечественная. Их беседа каким-то образом началась с покойных родственников Гранина. Ванга ответила на все его вопросы: кто там, на том свете, как себя чувствует, кого какие земные дела беспокоят. Попеняла, что редко навещает могилу матери. “А она всё о тебе беспокоится, и сейчас в том углу стоит и слушает”.

Следующая группа вопросов Гранина относилась к Петру Первому. Он го-

товился писать о нём роман и хотел выяснить обойдённые историками детали жизни императора. Спросил, в частности:

– Перед смертью Пётр произнёс: “Оставляю всё...” и, не договорив, скончался. Кого он имел в виду?

Ответ Ванги:

– Пётр был очень одинок.

Услышав от Гранина слово “Ленинград”, сказала:

– Я не знаю такого города.

– Так Петроград переименовали после смерти Ленина.

– Пётр на это не обиделся, они делают одно дело.

Далее пошёл её монолог. Она говорила кратко, категорично, переходя от темы к теме без видимой последовательности.

О России. Будущее России в Сибири. Я вижу там красивые светлые города, большие стройки.

О Ленине. Учение Ленина по своему значению равно учению Христа. Читайте книгу, которую он написал, когда жил в шалаше. Там всё самое главное. Как Христос, он будет хулим и гоним. Но придёт время, и люди оценят Ленина. (Признаться, услышав это, я впал в крайнее удивление, подумал, что бабушка сказала что-то не то. В 83-м году и представить себе было невозможно, что Ленина будут хулить. Только 8 лет спустя я понял, что она в иносказательной форме предупреждала о том, что произойдёт. По-другому не могла: власти запретили касаться политики.)

О Гагарине. Бог взял Гагарина на небо, чтобы слава его не потускнела в обыденной жизни.

О пище. Пищу надо есть белую. Ешьте больше ржи, в ней здоровье.

Мы услышали и несколько очень откровенных высказываний, приводить которые я считаю себя не вправе.

Под конец встречи бабушка обратилась ко мне:

– А ты почему ни о чём не спрашиваешь?

Я сказал, что у меня только одна личная забота – о здоровье отца. Ему сделали онкологическую операцию, самочувствие начало было улучшаться, а потом становилось всё хуже и хуже. Но об этом я не говорил, ограничившись лишь общей фразой. И вот что услышал в ответ:

– Врач, который делал ему операцию, совершил чудо (то же мне сказал и знакомый профессор, который при операции присутствовал). А вообще всё, что твой отец ещё проживёт, он проживёт сверх срока, отпущенного ему Богом.

– Кто тебе Сергей?

– Не знаю...

Неожиданно заданный вопрос сбил меня с толку. Уже в гостинице я вспомнил: это же Сергей Алексеевич Вронский! Великий астролог, закончивший факультет астрологии в Германии, работавший на нашу разведку, предсказавший поражение Германии, за что попал в концлагерь, откуда бежал, перешёл линию фронта... В 70-е годы Вронский начал читать курс астрологии, все нынешние астрологи – его ученики. Мы с ним были близки. Перед отъездом в Болгарию он просил передать привет Ванге. Как я мог забыть!

Наша встреча продолжалась около часа. Красимира сказала, что это большая редкость. Обычно тётя уделяет гостям минут 20. Прощаясь, она обратилась ко мне:

– Каждый год приезжай в Ленинград.

– Пиши книги. Ты должен рассказать людям обо всём, что знаешь.

– Какие книги, – отвечаю. – У меня такая работа, что минуты свободной нет.

– Газета будет всегда. Пиши книги.

Со времени встречи с Вангой прошло почти 30 лет, наверняка что-то изгладилось из памяти. У меня был диктофон, но я не стал просить разрешения включить его. Кто включал до меня, все обнаруживали потом чистую плёнку. Думаю, что самое главное я запомнил. Бабушкин голос, её чеканные фразы забыть невозможно. Тем более что в гостинице я всё услышанное записал на фирменном гостиничном листке и увёз с собой.

Гранин, рассказывая о встрече в Петриче, написал, что не надо пытаться объяснить чудо, которому мы были свидетелями. “Ванга – это вера в человека”. Мудро написал.

Позже я несколько лет, до самой его смерти, тесно сотрудничал с писа-

телем и поэтом, глубоким мыслителем Валентином Митрофановичем Сидоровым, которого связывали с Вангой многолетние отношения. На основе своих записей после встреч с ней он написал книгу “Людмила и Вангелия”, вышедшую в 1992 году. Там есть такое место:

“На предстоящий период времени, тот самый, в который мы с вами сейчас живём, прогноз бабы Ванги весьма неутешителен. По её утверждению, города и сёла будут рушиться от землетрясений и наводнений, природные катаклизмы будут сотрясать землю, плохие люди будут одерживать верх, а воров, доносчиков и блудниц будет не счесть.

Между людьми будут создаваться непрочные сомнительные связи, которые обречены на распад уже в самом начале. Чувства сильно обесценятся, и лишь ложная страсть, а точнее – амбиции и эгоизм станут стимулами человеческих отношений.

Будущее бабе Ванге рисовалось таким.

– Всё растает, как лёд; лишь одно останется нетронутым – слава Владимира (имеется в виду князь, крестивший некогда Русь), слава России.

– Слишком много жертв принесено, – говорила Ванга. – Никто не сможет уже остановить Россию. Всё сметёт со своего пути и не только сохранится, но и станет господарем всего мира.

Разумеется, в слово “господарь” Ванга вкладывала не политический, а духовный смысл. И, разумеется, Ванга обострённо чувствовала неоднозначный и противоречивый характер предстоящего процесса... Она утверждала: “Вернётся старая Россия”.

Правда, под словом “старая” Ванга не подразумевала старые порядки и прежний строй в его нерушимой целостности. О Николае Втором, когда коснулась последнего русского царя, она отзывалась нелестно и жёстко.

– Нехороший человек.

– Почему?

– Уничтожал людей, и из-за него уничтожено великое множество людей.

Понятие “старая Россия” означало для неё возвращение к сокровенному духовному началу. “Сейчас, – говорила она, – вы называетесь Союз, а потом, как при старце Сергии, Русь”.

Вот эта Русь, старая и новая одновременно, потому что ей суждено пройти через горнило нового, огненного крещения, и должна стать – по выражению Ванги – “господарем всего мира”. “Как орёл, воспарит Россия над землёю, – буквальные слова Ванги, – и осенит всю землю своими крыльями”. Её духовное первенство признают все, в том числе и Америка.

Но совершится это далеко не сразу. По словам Ванги, через 60 лет. Насколько я помню, трижды мы возвращались к этой теме и трижды называла она один и то же срок: через 60 лет (30 лет со времени этого разговора уже прошло. – **Прим. автора**).

Но этому, по словам Ванги, будет предшествовать сближение трёх стран. В одной точке, говорила она, сойдутся Китай, Индия и Москва”.

Контрреволюция 90-х прекратила наши контакты с Болгарией. Однако Ванга стала появляться на телеэкране. Перед выборами 1996 года Ельцин направил к ней своего приближённого Медведева, чтоб узнать, чем они для него кончатся. Бабушка его успокоила. А Медведев сделал о ней целую телепередачу.

Потом сюжеты, связанные с Вангой, появлялись на телевидении неоднократно. Самым памятным стало интервью, взятое у неё за две недели до кончины. Бабушка была неузнаваема. Что делают с человеком годы и невзгоды! Последний вопрос, заданный телерепортёрами: что ждёт Россию? Ответ: Россия опять станет коммунистической, только коммунизм будет не такой, как при Сталине, а другой. Эти слова прозвучали с экрана только раз, видимо, по недосмотру телецензоров. Потом интервью не раз повторяли, но крамольную фразу стёрли. Мне просто повезло её услышать. Или опять рука судьбы?

---

*В декабре минувшего года исполнилось 80 лет видному журналисту и общественному деятелю Ю. П. Изюмову. Сердечно поздравляем Юрия Петровича со славным юбилеем. Здоровья, творческих свершений, долголетия!*

*Редакция*

ДМИТРИЙ МИЗГУЛИН

## НОЧНИК

**Как назвать разрозненные, от случая к случаю записанные обрывки мыслей и событий? Думал сначала – осколки. Мышление наше стало осколочным. Разбить, если, к примеру, вазу или зеркало, – каждый осколок сверкает в лучах света, переливается, как бриллиант, но целым предмет уже не соберёшь, и место осколкам в мусорном ведре. Подумал, а может, проще: дневник? Хотя какой это дневник! Дневниковые записи требуют системности, – как и повесть или роман. Системности не только временной, но и логической. А в этих заметках системности нет никакой. Правда, одно их объединяет – время написания. После трудового дня, поздним вечером. А то и ночью. Поэтому у многих писателей – дневник. А у меня – ночник.**

\* \* \*

Страстной Четверг – по христианской, православной традиции в церкви, на службе – чтение Евангелия. Был в командировке в Москве. После работы зашёл в церковь. Вечером в гостинице включил телевизор. 42 канала – на любой вкус – круглосуточно. И никаких Евангелий. И ни слова об Иисусе Христе.

\* \* \*

Всё здóрово. Кризис прошёл дно. Или пик кризиса, как хотите, а всё одно – нормально. Только вот почему-то 35% россиян хотели бы, чтобы у их детей было другое гражданство (РБК. 08.06.2009). И то сказать, спикер Миронов 1 июня – в День защиты детей – озвучил цифры: 2,5 млн бездомных детей, 2 млн детей постоянно подвергаются избиению, 70% семей не могут устроить своего ребенка в детский сад. “Это повод задуматься о том, так ли много за 8 лет нефтяного изобилия добились государство и общество”. Вопрос: кому задуматься. Бездомным детям или родителям? Правительству России или самому господину Миронову?

\* \* \*

Знакомые предложили покупать натуральное молоко, сметану и творог из фермерского хозяйства. Завозят прямо домой – вот хорошо, да и недорого. Детям натуральное полезно. Только вот беда – не едят. Нос воротят. Плохо

пахнет и невкусно. Вот ведь как: привыкли к йогуртам разным да химии карамельной. Так и в жизни: послушают Чайковского с Моцартом или почитают Чехова с Пушкиным и скажут – не то. *Плохо пахнет и невкусно*. И ну, опять – в телевизор. Вот он – испорченный вкус, только наоборот.

\* \* \*

Запретили ввоз молока и молочных продуктов из Белоруссии. Якобы что-то в них не соответствует регламенту: на этикетках что-то не так, как мы просили, написали. Кто-то из наших политиков сказал: “Белоруссия уничтожает нашу молочную отрасль”. Имея в виду то, что их продукция дешевле. Вот ведь как: именно белорусский крестьянин нам враг. А во всём остальном – всё правильно и хорошо делаем.

\* \* \*

Мусульмане станут скоро большей частью населения России – процентов 30–40. И это уже завтра, если не нынче, при нашей жизни. Но трагедия не в этом. Трагедия в том, что сегодня не хотят видеть этого факта, не думают о том, как связать группы населения, выработать общую идеологическую, культурную, административно-политическую платформу будущей России, уже конкретно двухконфессиональной. Плывём по течению – авось само рассосётся.

\* \* \*

Наша система создана для всеобщего блага, для блага всех людей. Проблемы конкретного человека она решить не в состоянии. А надо бы всё наоборот. Система должна решать проблемы (социальные) конкретного человека – тогда и будет всеобщее счастье.

\* \* \*

Что такое толерантность? Я, к примеру, иду в филармонию и слушаю П. И. Чайковского или читаю Ф. М. Достоевского, а мой визави из Гвинеи-Бисау, или Кабо-Верде, или из Таджикистана этого не слушает и не читает. А слушает он, к примеру, барабан. И мне говорят: не читай Достоевского, не слушай Чайковского. Обидишь собрата по разуму. А надо бы наоборот: собрата за парту – и, глядишь, внуки его слушали бы хорошую музыку и читали бы умные книжки. А нас переводят на *уровень низшей доступности*.

\* \* \*

Раньше на трассе продавали картошку, огурцы, лучок, молочко... А нынче – всё грибы (лисички), клюкву да бруснику. Опускаемся ещё на одну ступеньку – от огородничества к собирательству.

\* \* \*

Любил чужих женщин,  
Радовался чужим детям.  
Считал чужие деньги.  
Видел чужие сны.  
Так жизнь и пролетела.

\* \* \*

В газете “Коммерсантъ” есть рубрика поздравлений с днём рождения. Выдающихся людей поздравляют не менее выдающиеся люди – выдающиеся по определению новорождённых. Президента Д. А. Медведева поздравил руководитель группы *Deep Purple* – сухогато, правда. *Знаково*, однако, – не писатель, не космонавт, не спортсмен, не учёный, а стареющий рок-певец, о котором, поди, и на его-то родине уже мало кто помнит.



\* \* \*

В новогоднюю ночь 2005 года в Питере во дворе своего дома зарезали олимпийского чемпиона Сеульской олимпиады Дмитрия Нелюбина. Зарезали Алим Амагаев и его брат Эдик. Эдику дали 3 года. Алим — 18 лет. Никто не говорит и не пишет об убийстве на национальной почве. Но если жителя Таджикистана случайно толкнули в метро — тут уж поднимут вой о русском национализме.

\* \* \*

Кстати, приговор объявили 25.09.2009 — через четыре (!) года после убийства. Ну, ладно, чемпиона убили — убийц ищут. А остальных, менее известных? Иванова, Петрова, Сидорова режь — не хочу. А тут же сообщение — “националистическое”: подростков, избивших “до полусмерти” приезжих из “центрально-азиатских зон”, засудили от 8 до 10 лет. Причем они — подростки, несовершеннолетние. Я не оправдываю преступников, но вот государственный обвинитель г. Корпова попросила добавить им сроки, учитывая “общественную опасность преступлений, связанных с национальной рознью”. А вот государственный обвинитель по делу Нелюбина приговором остался доволен.

\* \* \*

В ноябре 2008 года некто Хабард (немец), работник посольства Германии, ехал пьяный по Москве со скоростью 110 км/час да и сбил насмерть двух русских студентов. Уехал потом на родину, и его осудили — аж на 1 год условно. Присудили штраф — 5 тыс. евро (в пользу немецкого бюджета). Запретили водить машину — на один (!) месяц. Вот в этом — их отношение к нам. Как во время войны: за одного немца — пару деревень стереть с лица земли. А что власть?

\* \* \*

Ещё придумали: малоподвижный народ русский. Вон, мол, американцы туда-сюда ездят по городам и весям, где найдут работу — там и живут. А у нас — низкая активность. А кто же, извините, осваивал целину, строил БАМ, создавал нефтегазовый комплекс в Западной Сибири? Я родился и вырос в заполярном Мурманске — в городе с населением более 250 тысяч; местных там не было вообще — после войны едва ли осталось несколько тысяч человек. А нынешний Ханты-Мансийский округ? В конце 50-х годов население там было едва ли больше 100 тыс., а ныне — более полутора миллионов человек. Остальные — приезжие. А город Ханты-Мансийск удвоил своё население за последние десять лет. Вот тебе и не склонные к перемещениям русские (да и не только русские). Так что перемещения народов — дело не только историческое или национальное, но и социальное тоже. Будут созданы (или сложатся) условия для жизни — люди поедут. А шило на мыло никто мять не будет.

\* \* \*

Договорились до того, что коррупция — наше чисто русское национальное явление. Ну, нигде больше в мире нет и не было такого никогда, чтобы взятки брали, — только у нас. Но то, что происходит у нас сейчас, ни в какое сравнение не идёт ни с советскими, ни с царскими временами. Такого размаха и разгула мздоимства — на профессиональной основе, — действительно, не было. Брали, конечно, да и то, в основном, в сказках Салтыкова-Щедрина. Но чтобы служба превратилась в бизнес, чтобы за услуги, положенные гражданину по закону, представители власти брали повсеместно по тарифу, — такого не было никогда.

\* \* \*

У нас, у русских, нет самокритичности — только самобичевание.

\* \* \*

Пьём водку с чешскими друзьями. Вспоминаем 1918 год, когда чешский корпус несколько лет фактически правил Уралом и Сибирью. Пошутили: война войной, а сколько нынче здесь потомков от тех чехов... Посмеялись все. Война войной, а любовь и молодость... Потом вспомнили, как наши войска стояли в Чехии, — и то сказать: побольше, чем они у нас, лет на сорок... Пошутили, что много, мол, и русских там, должно быть... Однако чехи напряглись и шутку не поддержали, сказали, что такого у них не было. Можно подумывать, что у их баб всё устроено по-другому...

\* \* \*

Жил-был дед в небольшом посёлке. Уехал он туда из города, когда жена померла. Вернулся на родину, в родительский дом. Посадил сад, разбил огород, выкинул телевизор, выписал, чуть ли не единственный в районе, газеты и журналы литературные. Любимым времяпрепровождением было у него посещение поселковой бани. Баня-то так себе — едва стоит, с советских времён ещё без ремонта. Но в бане главное что? Компания. Попарится дед, выпьет пивка, мировые проблемы да поселковые новости обсудит. Да ведь и ходил он туда не с пустыми руками: с полкилометра от дома бил родничок целебной, как считалось, водички. Наберёт дед канистру — и в баню. Хвалил воду целебную народ. Был у деда сын — в городе жил. Успешный бизнесмен. Приезжал проводить отца раз в год. И всё деду удивлялся: зачем ты в эту баню таскаешься, там одна антисанитария, да и пару толком нет. А вода из родника — наверняка с тяжелыми металлами, лучше буду привозить тебе минералку питьевую в больших баках, и прибор для них специальный куплю... Всё отмахивался дед от таких предложений. А тут отправил его сынок как-то в санаторий на месяц. Приехал дед — а у него на участке новенькая баня стоит, на бревнах смола ещё не высохла. Сын встречает старика — думает, тот обрадуется подарку. А тут ещё и прибор с водой минеральной на кухне стоит.

— Вода-то твоя, батя, из родника и не целебная вовсе, а наоборот, извести много... Будешь теперь в своей бане париться, да минералочку попивать, почки чистить... — радуется сынок. Посмотрел на него отец. Вздохнул тяжко и сказал:

— Дурак ты, Петя. Ничего ты в этой жизни не понял...

\* \* \*

В 2009 году самым значительным международным событием россияне почитали смерть Майкла Джексона. То ли опрос проводился неправильно, то ли действительно процесс формирования нового мышления россиян завершен.

\* \* \*

Всё равно, несмотря на вдумчивые лица и толковые выступления отдельных представителей “высшего звена” “слуг народа”, остаётся устойчивое впечатление, что последнюю книгу ребятам прочитали в институте, и то — по-быстрому, готовясь к экзамену. Но это было давно. А сейчас не читают. Некогда. Ну, может быть, газету какую-нибудь или журнал с картинками, политически-деловой. А зачем читать? Включай телевизор и, на тебе, — все новости. Пропадает смысл чтения с целью познания новостей, текущих событий. Хочешь поподробней — выступит волосато-бородатый или очкасто-лысый аналитик (социолог, политолог) и толково, а главное, доходчиво объяснит суть текущего момента. А он весь, этот момент, заключается в том, что уже несколько лет доказывается одно и то же: что чёрное — это белое, и наоборот.

Двести тысяч русских, избитых и униженных, выгнали с земли, где они проживали более 200 лет, и ни слова. Что там, в Европе, — даже у нас, в российской прессе. Да ладно, они хоть живы остались, а скольких убили, изуверчили, изнасиловали, мучили перед смертью, только что кожу не сдирали? Кто за них ответит? Да ведь и не пишет, и не говорит об этом никто. И в Европе,

и в России — как в рот воды набрали. А, впрочем, нынче хорошо одно — можно, не зная языков, знать европейское (западное) мнение. Оно всё — в наших телепередачах и газетах. Слово в слово. Словно те, кто говорят и пишут, и живут-то не у нас, а там, на Западе.

“А при чём тут чтение книг?” — спросите вы. А при том, что историю знать бы надобно.

Никогда мы не были своими в Европе, никогда и не будем.

Никто никогда нас туда не возьмёт. Ф. Достоевский в своих “Дневниках” за 1876–1877 годы писал по поводу событий, связанных с русско-турецкой войной: “Для Европы Россия — недоумение, и всякое действие её — недоумение, и так будет до самого конца”.

“Да Россия виновата уже тем, что она Россия, а русские — тем, что они русские, то есть — славяне: ненавистное славянское племя Европе, *les esclaves*, дескать, рабы...”

“Нас замечательно не любит Европа, и никогда не любила; никогда она не считала нас за своих, за европейцев, а всегда лишь за досадных пришельцев”.

И это — не просто мысли писателя.

Запад всё время находился в состоянии скрытой агрессии и войны по отношению к восточной цивилизации, кое-кто забыл, что в 1204 году первый крестовый поход был направлен против православного Константинополя; поляки и французы поочередно “отличались” в Москве; в 1853 году Франция, Англия и мусульманская Турция напали на Россию. После Первой мировой бывшие союзники сразу же навалились на нас. Про Гитлера и говорить нечего...

Всю жизнь Европа готова была поддержать кого угодно против нас — турки ли против сербов и России, албанцы ли против сербов, чеченцы ли против России — в наши дни.

Общественное мнение Запада сто с лишним лет назад описал Фёдор Достоевский: “В наше время чуть ли не вся Европа влюбилась в турок, более или менее... Прежде, например, хоть и старались в Европе отыскать в турках какие-то национальные великие силы, но в то же время почти все про себя понимали, что делают это из ненависти к России”.

Не похожая ли нынче до боли ситуация с албанцами и чеченцами, разъезжающими по всей Европе по форумам и саммитам, по отелям и пресс-конференциям в дорогих костюмах.

Читаешь далее у Ф. Достоевского: “А вот известный своими прекрасными статьями с поля битвы, из нашего лагеря “полное право” истребить всё болгарское население к северу от Балкан, едва русская армия перешла через Дунай... Но заметьте себе, он, конечно, не так бы выразился, если б вместо болгар дело шло о французах или итальянцах. Он потому только выразился так, что это были только славяне — болгары. Какое же после этого у них у всех в Европе родовое, кровное презрение к славянам и славянскому племени. Считаются, всё равно что за собак”.

Не так ли и ныне, в чеченскую кампанию или в сербскую войну?

Откуда эта неприязнь? Скажут — религия. История. Культура. Богатство — недра у нас, и всё прочее. Много нас, сильные мы. Тот же Достоевский писал: “...нам никак нельзя побеждать в Европе, если б даже мы и могли победить; в высшей степени невыгодно и опасно... бремя победы над Европой мы ни за что бы не перенесли, несмотря на всю нашу живучесть...”

Победы нам Европа не простит, как не простила победы в Великой Отечественной войне, пятьдесят лет копила ненависть. А что теперь?

Религия и культура — всё размыто, хотя многое, конечно же, устоялось в глубинах души, как, например, разные генотипы. Богатство — почти отобрали. Силы — уже никакой. Эстония — и та требует пересмотра границ в свою пользу.

Почему же теперь пусть и не таких, как они, но уже не опасных, как раньше, не берут в общеевропейский дом?

Думаю, дело в том, что мы постоянно приводили Европу в недоумение нашим бесконечным желанием стать такими же. Как если бы у животных — пасутся рядом тигры и львы, бегают антилопы и бизоны, плавают бегемоты и крокодилы. Ну, как бы отнеслись звери к крокодилу, который хотел стать тигром? Или льву, пытающемуся стать бегемотом.

Ну, побегать или поплавать рядом — пожалуйста. Сожрать кого-то вместе — нет вопросов. Но зачем прыгать вместе с тиграми по лужайкам, когда те-

бе Богом положено плавать? Тем более – волос не вырастет, клюв не уменьшится, за антилопой в саванне не угнаться.

И тиграм сначала смешно всё это, и они даже поощрительно улыбаются, потом им это надоедает, они огрызаются на прилипшего к их стае крокодила, а потом начинают и порывивать: иди-ка ты, дружок, обратно в тину и сиди там.

В этой притче нет ничего оскорбительного для нас. Можно и наоборот: они – крокодилы, мы – тигры. Но суть одна: создал Господь и разные народы, и разных тварей. И жить все должны по-своему, а не стремиться быть похожими на кого-то. Естественно, в сегодняшней жажде быть “похожими” на Европу (Запад) во всём мы подозрительны, смешны и в перспективе – опасны, как слон, скачущий вместе со стаей изящных газелей. И Европа косит глазом на нас, неуклюжих, огромных: а чего это они? Уж не замышляют ли чего?

Отсюда и подозрительность, и недоверие.

Отсюда – двойные стандарты. Одни – для нас, другие – для них.

\* \* \*

Британский музей – богатейшее собрание произведений культуры и искусства. Тут вам и Древний Египет, Греция и Рим, Япония, Китай, Вавилон, – словом, что хочешь.

Вот только вопрос: откуда все это взялось? Ответ: украдено у представителей коренных наций и народов. В результате войн, набегов, обманных покупок за бесценок, когда дурили мало понимающих в древнем искусстве аборигенов. Целый музей трофеев английского империализма. И ничего: все ходят, чмокают и фыркают от восторга. А мы-то за всю историю в 1945 году из разбомбленного и стёртого с лица земли американцами Дрездена вывезли несколько десятков полотен, отреставрировали их, да стеснялись пятьдесят лет показывать: как чувствовали, что отберут.

А как выставили, так и началось: вернуть Германии, отдать обратно... И извиниться при этом.

Вопрос: перед кем и за что? Так ведь можно и у немцев попросить прощения за Ледовое побоище – сколько народу-то потонуло!

Уверен, что ни у одного англичанина и мысли не возникнет вернуть все мумии фараонов в Египет, а античные статуи – в Грецию (в тамошних музеях этого добра, пожалуй, меньше, чем в Британском).

Отчего же у нас такое повальное рвение избавиться от того, что во всём мире по праву принадлежит победившей стране?

Откуда у наших учёных дураков такая тяга к самоунижению? Кстати, в Британском музее практически ничего нет о Византии – она и за культуру-то не считается.

\* \* \*

Ничто так сильно не изменило человеческий разум, как телевидение и компьютер. Вполне возможно, что с течением времени классическую литературу перестанут воспринимать совсем. Просто станет неинтересно. Как в кино сейчас: скоростной сюжет, двадцать трупов, пятьсот драк и перестрелок... и ни одной мысли.

А раньше детектив (в СССР): украли баян в сельском клубе, и кино часа на два – разговоры, страсти, судьбы.

Кому сейчас интересно, что думал Раскольников перед тем, как грохнуть бабку, и чем мучился после этого.

Интерес стало представлять событие, а не движение человеческих душ.

Все стало просто, без переходных цветов: черный да белый.

Душевное – не интересно, а вот физические чувства – да.

И осталось: событие (факт) и чувства (факт).

Например, ловят, бьют (больно), убивают (кричат), или встретились, обнялись, поцеловались (приятно), дальше – больше, снова кричат... А зачем остальное? Действительно – зачем?

\* \* \*

В Крещение на Иртыше огромное количество народу. Столько на праздниках разных не видел нигде и никогда. К огромному кресту, вырубленному

в метровом льду, и к деревянным купелям народ двинулся ещё днем, но и к вечеру — столпотворение.

По-зимнему, сквозь метель и сумрак — машины, одна за другой, с ярко горящими фарами. Остановиться и выйти можно только за километр — так плотно всё заставлено транспортом. Люди с ёмкостями — кто с банками, кто с бутылками, а то и с ведром — идут друг за другом, толпятся в очереди у проруби.

Подъехал мужик на водовозке, но едва вышел из кабины, на нём тут же повисли милиционеры, видно, зачерпнуть через шланг не дадут. Хотя воды в этот день в реке не меньше, чем всегда. У купелей, на пару метров погружённых в лёд, обледенели перила и ступени — мороз за двадцать пять. Две огромные палатки от МЧС — раздевалки. Одна — для мужчин, другая — для женщин. Женщин мало. Мужиков полно. Идут друг за другом, хотя зрителей больше, чем желающих совершить омовение.

Внутри палатки, прямо на снегу, плотный слой снега. Одежду вешают на протянутые тут же вдоль стен верёвки, а то и просто кладут под ноги, на снег. Народ с виду простой, работный. Однако ни слова матерного. Пьяных нет. Один говорит товарищу, стаскивающему штаны: “Чего переживаешь, Серёга! Подумаешь — окунулся. Раньше-то за веру на костёр шли...”

Все смеются...

А я думаю, откуда это берётся. Ведь практически все мы — либо дети атеистов, либо частично верующих родителей. Да и что говорить, православное религиозное воспитание в наше время получали единицы из тысяч. На Пасху, правда, почти везде красили яйца, вот и всё. Здесь, в Ханты-Мансийске, и храм-то построили в конце 80-х годов...

Сейчас Православие, слава Богу, не преступление.

Но ведь и не заывают в церковь или к проруби в крещенские морозы, как на концерт Киркорова или футбольный матч, — через телеящик, газеты и радио.

Не ездит машина с микрофоном по городу, призывая всех собраться к Иртышу, как к избирательным урнам.

Тем не менее, полгорода людей, ещё десять лет назад не ходивших в храм, оказались здесь, несмотря на отсутствие назойливых приглашений.

А к урнам, несмотря на бесконечные телевизионные и прочие призывы, ходят меньше четверти избирателей.

Во всяком случае, в очереди не стоят и не толпятся, хотя всё это происходит в тёплых помещениях, под музыку, а то и с недорогим коньячком под халявную закуску.

Стало быть, есть в народе что-то основательное, устойчивое, живучее, неистребимое, я бы даже сказал — бессмертное.

Иные говоря — историческая память. А иные говорят — душа. То, что объединяет всех, то, что у всех вызывает одинаковую реакцию, восприятие.

И чтобы управлять нашим народом, надо быть всего-то — из народа. Быть таким же, с такой же душой, с тем же восприятием.

А у нас, что ни правитель, то — реформатор, и все с одним направлением: что-то исправить, что-то переменить...

Не оттого ли старушка-пенсионерка с ясными глазами рассуждает мудрее министра со знанием макроэкономических законов и прекрасным английским.

\* \* \*

Каждый раз, вспоминая об утратах исторических памятников, кричим: “Проклятые коммунисты!” Или: “У русских нет исторической памяти!”

Побывав в Березове, куда сослали князя Меншикова, с удивлением обнаружил, что всё, связанное со светлейшим: острог, где он жил, могила, какие-то свидетельства о его пребывании — всё исчезло очень давно, ещё в конце XVIII — начале XIX века. А ведь у жителей этого замечательного города за всю историю только и было, что эта ссылка, едва ли не самое великое событие, однако и здесь всё исчезло...

Побывав в Англии в знаменитом доме-музее Шекспира и осматривая предметы жизненного обихода гения мировой литературы, с ещё большим удивлением узнал, что всё это — современная туфта. Дом гения (а в этом городе явно известнее Шекспира никого не было) продали, перестроили, а потом и во-

все снесли, построив на этом месте что-то вроде харчевни или постоянного двора. И только потом, не так уж и давно, восстановили, чтобы показывать туристам за деньги, а вовсе не из-за всеобщей любви и признательности.

То есть дело не в коммунистах и не в русских.

\* \* \*

Почитаешь решения судов – удивишься. Вот, например, где-то в садоводстве выпустил мужик погулять собаку – то ли бультерьера, то ли ещё кого похуже. Собачка побежала на соседний участок, где и напала на двух бабушек. Одну загрызла до смерти тут же, другую изувечила, сделав инвалидом (попросту отгрызла руку).

Результат судебного заседания: год тюрьмы условно и штраф (в пользу живой), 50 тысяч рублей.

Прицепил мужик пса, похихикал и пошёл домой.

То есть “мочи” в быту кого хочешь, грызи, режь, ничего страшного! Собаку даже не отстрелили, наверное, справку выправили, что нормальная она.

А ведь чего проще решить эти проблемы. На Западе владельцы таких вот уродов-людоедов регистрируются, как владельцы оружия.

А вот в городе Нефтеюганске группа так называемых скинхедов поколотила южан, и ребятам припаяли от 4-х до 7 лет. Правда, у потерпевших ещё отобрали деньги и ценные вещи, а на дверях одного из подъездов (о, ужас!) преступники нарисовали свастику.

Я не комментирую того, что выселенные и обобранные до нитки, а точнее – просто бежавшие из Чечни 250 тыс. русских людей не упомянуты с сожалением ни в одном из отчетов западноевропейских комиссий, по ним не плачет ни один известный правозащитник. Как говорится, проехали. Точнее, переехали – те, кто выжил.

И суд-то европейский по Чечне в Европарламенте решили создать, когда уже колотить стали именно чеченцев (тоже ведь обеспокоились!).

Но за что пацану семь лет? Он что – идеолог? Автор партийной программы? Организатор националистической (это, действительно, плохо) террористической группы? Скорее всего, нет. Просто их возмущают очевидные вещи: торгуют ребята на рынках, ездят на хороших машинах, пристают к их одноклассникам, по-хамски ведут себя с людьми, всегда при левых деньгах. В общем, хозяева жизни, города. Купили милицию, купили власть. Скорее, эта выходка – естественная реакция на униженное состояние. Так ведь и надо не допускать этого социального неравенства, социального унижения, не дать ему перерасти в национальный протест.

А такими вот судебными решениями добиваются прямо противоположно: стихийные выступления вряд ли прекратятся, но на почве вопиющей несправедливости будет развиваться идеологическая и организационная база будущих выступлений. А с этим бороться уже будет значительно сложнее.

\* \* \*

Интересно, почему Гитлер, так ненавидевший международный финансовый капитал, напал не на банковскую Швейцарию, где лежали все деньги и золото мира (ведь нас уверяют, что он стремился к мировому господству); мировое господство – это все-таки контроль за финансовыми потоками, а не контроль за побережьем Карского моря или сибирской тайгой. Тем более что у Швейцарии не было армии, в отличие от России, и туда вели прекрасные, асфальтированные шоссе-ные дороги, да и на поезде в первом классе – час езды! От Франкфурта до Цюриха – 30 минут лёту!

Нет же, пошел он в Пинские болота да в Брянские леса. Ну, еще говорят – за бакинской нефтью.

Неувязочка, однако, получается с мировым господством.

\* \* \*

Недавно праздновали юбилей Министерства иностранных дел. Говорили об успехах дипломатии в сложных условиях современной жизни. Успехи несомненные: впервые за 400 лет Тюменская область вновь стала приграничной. Как при Ермаке Тимофеевиче.

\* \* \*

Музей в Багдаде с несметными сокровищами мирового уровня обчистили за пару дней капитально. Украли практически всё, что представляло хоть какую-либо ценность. А всего-то и стоило охрану поставить — пару автоматчиков, никто бы и не сунулся.

А почему? Ведь знали, что не табачная лавка. Наверное, так было удобнее.

Теперь развешивай всё хозяйство по частным коллекциям и любуйся на ранчо головой какого-нибудь Хаммурапи XII. За пару миллионов баксов.

\* \* \*

Сначала компромат. Потом — компромисс.

\* \* \*

Заполнял анкету в американское посольство для оформления визы. Последний раз в жизни такую подробную анкету заполнял при вступлении в КПСС. От чего мы ушли, к тому они пришли. Тотальный учет и контроль за каждым смертным. Причём вопросы один глупей другого: участвовали ли в вооруженных террористических формированиях, везёте ли химическое оружие или наркотики, не является ли целью Вашего посещения США взорвать Белый дом\* или кокнуть президента. Интересно, ответил ли кто-нибудь утвердительно на эти вопросы? И, получив ответ “да”, какую формулировку начертает слуга американского народа на анкете? “Отказаться в связи с намерениями совершить теракт”?

\* \* \*

Жалуются на учителя начальных классов “продвинутые” родители директору школы за то, что учитель ведет религиозную пропаганду. Забывает компьютерные головы чадом, дурманом и мракобесием.

Учитель спрашивает: “А мифы Древней Греции рассказывать можно?” “Конечно, можно. Это во всех книжках есть”, — соглашается недоумевающая мамаша. Тем более в Грецию ездят отдыхать. Там тепло и море чистое. И по-русски говорят.

Вот ведь как. Про Зевса и Венеру можно. А про Дмитрия Донского, Александра Невского нельзя.

Мракобесие, несовременно. Засмеют.

\* \* \*

Псково-Печерский монастырь. Благолепие и великолепие — сказка. Золоченые и голубые купола, башенки и башни древней крепости, благоухающие многоцветные клумбы и цветники, стройные туи и раскидистые яблони. За монастырской оградой, за воротами — обыкновенная жизнь, грязь, невымытые окна, лужи, покосившиеся домишки, магазины с пивом, водкой, сигаретами и карамельками.

Но главное — лица монахов, послушников и трудников в монастыре и прохожих — на улицах.

На фоне монастырских отдельные персонажи имеют прямо-таки козлиный облик. Хотя в обыденной жизни к таким лицам привыкаешь — других-то нет. Это всё одно, что сравнить сверкающую витрину цветочного магазина с замызганным и зарешёченным окном заводского подвала.

Что интересно: люди стремились к Богу, оттого и селились поближе к монастырям. И по большому счету, жители Печор — потомки этих рьяных богомольцев и трудников.

Как же чувство веры не сохранилось у них? Не оставило в некоторых из них даже малейшего следа? Ведь и жили-то прямо у монастырских ворот, ходить далеко не надо. . .

---

\* У нас на Дону есть свой. Саркел. Так и переводится — Белый дом.

\* \* \*

Воспоминания митрополита Вениамина (Федченкова). Удивительный эпизод.

В 1905 году студенты Духовной академии на сходке (!) решили поддержать забастовку других учебных заведений столицы (!!). Естественно, против царя.

А мы толкуем о тёмном крестьянстве, революционной матросне и сионистах!

\* \* \*

Выпустили из Лондонского суда оправданного Закаева. Сложно сказать, убийца он или нет, на его актёрский облик с автоматом наперевес по TV насмотрелась вся страна.

Судья, в основном, критиковал власти РФ за бомбардировки мирных чеченцев и сетовал на то, что подследственный на родине неминуемо будет подвергнут пыткам в РСБ. На суд свидетелей (за чей счет?) прилетел правдолюб С. Ковалёв, почтенный дедушка.

Прилетел, чтобы опровергнуть “противоречивые”, по его словам, показания отца Филиппа, скромного батюшки, которого выкрали и чуть не убили. . .

Православный священник противоречив, по Ковалёву. А обвешанный автотоматами (весь мир видел по TV) Закаев – убедителен.

Ну, нельзя же так, товарищи!

\* \* \*

“Собственность священна!” – говорят вожди демократизации. Но у нас, в России, процесс превращения собственности из государственной в частную шёл на глазах у миллионов граждан. Вернее сказать, на виду у всей России. Ничего “священного” в этом процессе не было. Собственность распределялась по принципам, далеким от справедливости. Все получили по ваучеру, а результат разный. У кого-то нефтяная скважина, у большинства – вообще ничего.

Народ в целом характеризует весь этот процесс как воровство. Все знают, что ни труд (доблестный и многолетний), ни талант, как у Билла Гейтса, тут ни при чём.

Откуда тогда будет уважение в народе к новому классу собственников, если их поголовно считают ворами и криминальными элементами? Вы скажете: а на Западе?

Так ведь тоже первоначально стреляли и грабили. Верно. Но это было в Европе – пятьсот, в Америке – триста лет назад. Теперь награбленное давным-давно, приумноженное трудом потомков, стало священным, неприкосновенным.

Должно пройти время.

К Наполеону мы уже относимся полегче, чем к Гитлеру, хотя для России они суть почти одно и то же. Но если сегодня искать в Гитлере положительные черты (скажем, любовь к живописи), в обществе это воспримут неоднозначно, точнее, отрицательно. Ибо зверства немецких фашистов в Великую Отечественную – это реальная, а не книжная память. Так же и с собственностью в России. Не стоит убеждать нас сейчас, что она “священна”.

\* \* \*

Можно обвинять весь мир в наших бедах, и, наверное, это справедливо. Но вот случай. Отправили из Москвы призывников, посадили в транспортный самолёт и повезли на Дальний Восток с пересадками. Парни были одеты легко, а в самолёте – то температурка минусовая, это вам не “боинг”. На пересадках прыгали, чтобы согреться, на взлётной полосе. Результат – один мальчишка умер. У остальных воспаление лёгких в тяжелейшей форме. Ну, почему же никто из сопровождающих, встречающих, просто проходящих мимо не обратил на это внимания? Здесь речь идёт даже не о выполнении инструкций (а они имеются), не о сострадании (много ли его надо?). Утрачено что-то на генетическом уровне. Потеряна какая-то система координат.



Мальчишек можно было теплее одеть, обуть, провести в тёплое помещение, напоить горячим чаем или водкой. И заметьте, недостаток финансирования армии тут совсем ни при чём.

Просто, похоже, мы перестали опознавать друг друга, как определённый подвид животных.

Мне кажется, что русский народ утратил способность к самоорганизации – важнейшей составляющей развитой нации. В подъезде поставить железную дверь, посадить консьержку – проблема. Жильцам не договориться друг с другом об очевидных вещах.

На фоне слабеющей самоорганизации – всё возрастающая агрессивность. Во Франции наблюдал аварию – столкнулись три машины. Люди вышли, поговорили, покурили, разъехались... У нас бы орала и размахивала монтировками. У моих знакомых был убит сын в результате вот такого случая: выясняли, кто прав, кто виноват...

Ведь ещё не так давно осваивали целину, строили БАМ, создавали нефтегазовый комплекс. Зайдите на любой рынок, и вы увидите, как склонны к самоорганизации наши южные соседи. В чем их вина? В том, что они, чтобы выжить, осваивают новое жизненное пространство? Я уже молчу о родовых связях. Иные родственники только и собираются, что на похоронах, да и то – чтобы напиться да набить друг другу морду.

\* \* \*

Взорвали поезд в Мадриде. Погибли больше ста человек. И вот два миллиона жителей столицы Испании вышли на улицы в тот же вечер. Стояли ночь, утро. Акция протеста, солидарности – так переживают о родных. Чувство сопричастности, единства.

У нас взорвали поезд в метро – и ничего, кроме праздного любопытства, идиотских комментариев. Вечером, естественно, работали рестораны, театры, концертные залы. По TV, как обычно, шоу, викторины.

Никаких тебе демонстраций, протестов, митингов солидарности. Стало быть, нет сопереживания, нет стихийного чувства родства, единения. Нет ни одной струнки в душе, которая бы в какой-то момент из тысячи отозвалась бы звучанием на знакомую мелодию. Полная разноголосица. Полная разобщённость. Одичание.

\* \* \*

Как же мы далеки от Европы! Читаю воспоминания журналиста Познера о фашистской оккупации Парижа (он был тогда мальчишкой лет десяти и помнит мамины рассказы).

Вот, к примеру, случай. В вагон метро заходит беременная женщина. Немец в форме (эсэсовец, наверное) поднимается, уступая ей место. Она гордо отказывается, отвергая несколько его предложений. Ему становится неудобно, он краснеет и выбегает на следующей остановке. Вагон, естественно, рукоплещет.

Вот тебе и оккупация!

Сравните-ка с Белоруссией или с Россией, где выжигали села и города, где расстреливали и вешали сотни тысяч без суда и следствия. Эшелонами гнали на рабский труд в Германию. И хоть бы кто извинился. Все помнят документальные кадры про концлагеря, в каких условиях содержали русских военнопленных. К примеру, американские или английские получали посылочки с дополнительным питанием от Красного Креста. Наши дошли с голоду и от побоев, жили хуже скота. Сейчас придумали: Сталин виноват, конвенций не подписывал. А и подписал бы... В отношении нас Запад всегда считал себя свободным от обязательств. Вон в НАТО набирают всех, даже Албанию, и ту в строй (причём велика вероятность, что в строй пойдут ребята из Аль-Каиды, душманы и все те, кого вчера именовали террористами).

В воспоминаниях главнокомандующего американскими войсками Эйзенхауэра (я опять про Вторую мировую) есть интересное место. Ехал он по расположению своих войск на машине с адъютантом (бабой, кстати) да и заехал к немцам. Чуть не поймали бедолагу, насилу смылся. Вот вам и линия фрон-

та! (Вспомним Ленинградскую блокаду.) Они и воевали-то друг с другом по-иному, по другим правилам, чем с нами.

\* \* \*

Трагедия нынешнего времени – в утрате языка, культурного типа. Чтение скоро перестанет быть потребностью. Литература станет не нужна. Язык изменится настолько, что мы перестанем понимать тех, кто идёт нам вослед.

При всем уважении к “Слову о полку Игореве”, его же невозможно читать современному человеку.

То же – и Феофан Прокопович, Тредиаковский...

Современный, то есть нынешний, русский язык, а следовательно, и генотип человека (род, подвид) – это Пушкин, Чехов, Бунин, Пастернак.

И вот, представьте, через тридцать лет “Я помню чудное мгновенье” будет восприниматься, как “Не лепо ли ны бяшеть...” То есть это поймут только учёные, а мы, грешные, даже не сможем объяснить в магазине или аптеке. Нас с нашим “сленгом” просто не поймут! И Распутин с Беловым, и Искандер с Битовым – в одной осажденной крепости, которую вот-вот сметут с лица земли бесчисленные орды масскультуры. А мы ещё разбираемся внутри своих шатких укреплений, кто прав, кто виноват, приближая свой конец.

\* \* \*

А реформы ли идут в России? Реформы должны длиться какой-то срок и приводить к каким-то результатам. Взять, например, нашу же историю. В 1917–1922 – революция, гражданская война. С 1923 – нэп, кооперация, с 1929 – коллективизация и индустриализация. 1941–1945 – война, с 1945 по 1953 – восстановление народного хозяйства.

Смотрите, периоды – 5, 5, 7 лет.

Возьмём восстановление послевоенной Японии и Германии – опять же лет по десять.

А что у нас? Стартовали в 1991 году. А если уже быть точным, то в 1985 году, когда заговорил небезызвестный Горбачёв о новом мышлении, демократизации, интенсификации... А результат?

Похоже, это не реформы, а целенаправленный (закономерный), хотя и с элементами хаотичности процесс разрушения и полного уничтожения основ государства, жизненного уклада и мировоззренческих основ народов, проживающих на этой территории, а заодно и самих народов с последующей заменой их другими этносами.

Результат реформ очевиден: сокращение населения и его деградация. За 12 лет убыль народа составила 10 миллионов человек.

До 2015, то есть еще за 10 лет, – еще минус 10. Среднегодовое сокращение населения составляет 800 тысяч человек.

Это по официальным данным.

Власти проявляют озабоченность, но пытаются объяснить всё объективными причинами: якобы это признаки того, что Россия влилась в цивилизованный мир. Очередное враньё. Там, в Германии или Франции, рожают не реже, а вот живут значительно дольше. И вот главный вопрос: сокращение трудовых ресурсов. С 2006 года количество людей, выбывающих из трудоспособного возраста, превысит количество тех, кто придёт на эти рабочие места. Кем восполним? Ребятами с Кавказа? Вьетнамцами, таджиками, китайцами? И страна будет стремительно менять свой облик, ибо придут народы со своим укладом жизни, со своими ценностями, в том числе не всегда культурными. Но, как все замкнутые этнические группы, с отличной внутренней организацией, позволяющей не только самосохраняться в чуждой среде, но и активно бороться за лидерство в бизнесе и власти.

Если так стремительно сокращается народонаселение (и параллельно деградирует и физически, и нравственно) зачем, для кого увеличивать в два раза ВВП? Кому нужен будет этот валовой продукт?

Наверное, начинать надо не с ВВП, экономики и политики, а определить, что самое главное наше богатство (как, впрочем, и любой другой державы) – это люди.

Изменилась в худшую сторону энергетика общества, стремительно уменьшается народонаселение – трудовой потенциал, – и падает потенциал экономический. Соответственно, и держава превращается во второстепенную. Всё наше богатство – люди и их труд. С людьми – катастрофа. С трудом – тоже. Честный, созидательный труд не в почёте, в ходу лишь *понятия*: нагреть, объегорить, кинуть...

Раньше хоть праздники были: мир, труд, май. Нынче труд – тяжелая обуза, удел неудачников. Так, во всяком случае, формируется сознание народа через фильмы, репортажи, публикации.

\* \* \*

Россия меняет этнический состав. Нелегальная миграция стала очевидным бедствием, ибо она неуправляема. Этнические преступные группировки – абсолютная реальность. В чем же суть проблемы? На мой взгляд, простая ситуация: со своим уставом не ходи в чужой монастырь. То есть приезжие должны вписываться в общественный, культурный уклад жизни народов принимающей страны. Отторжение пришельцев в случае нарушения этих правил – естественный процесс. Однако “наверху” думают иначе. Все проблемы, как обычно, объясняются “плохим” русским менталитетом. И задача правительства – ужесточить наказания пресловутым *скинхедам* (именно за “национальные”, “расистские” преступления). То есть, если *скинхеды* побьют русского – не беда. Если азербайджанцы побьют русского, тоже не критично. Но если русский побьёт таджика – расизм. Национальная нетерпимость. Во-вторых, запретить ксенофобские (читай: национально-патриотические русские) издания и вести разъяснительную работу среди русских, чтобы изменить их агрессивный менталитет. То есть перестроить свой монастырь под чужой устав.

Подобного бреда не было ещё в истории. 85% населения должны “переделаться” в соответствии с требованиями и пожеланиями прибывающих с Кавказа и Средней Азии “трудящихся”. А кто, собственно, прибывает? Научно-техническая интеллигенция? Передовые, высококвалифицированные рабочие? Студенты? Нет. Не встретит юношей ни в библиотеках, ни в аудиториях университетов (особенно по техническим специальностям). Не заметны они ни в залах театров и филармоний, ни в заводских цехах, производящих высокотехнологическую (за исключением водки) продукцию.

Зато мы видим повальное пришествие их в торговые ряды, то есть туда, где ходит “наличка”, где нет кассовых аппаратов, а следовательно, и налогов.

На телепередаче какой-то эмоциональный Фарид вскричал: “Да им памятники надо ставить – трудягам-азербайджанцам, по 18 часов работающим у прилавка. Кто за них будет делать эту работу?”

Ну, во-первых, был недавно в Латвии и Литве, зашёл на рынок и чувствую – чего-то не хватает. Фрукты-овощи на месте. Цветы и творог тоже. Не хватало знакомых южных лиц продавцов. Нету их там. И проблем нету. Работают же люди. Это во-первых.

Во-вторых, не надо отрицать мафиозно-национальной клановости торговли.

Ни для кого не секрет, что со своей картошечкой или молочком просто так, без соответствующей mzды не государству, а национальному клану, за прилавок не поставят. А могут и вообще не пустить.

Кстати, несмотря на Конституцию, именно потому, что ты другого *этнического типа*.

В-третьих, давно пора овощи и фрукты продавать через магазины и торговые сети, где они проходят санитарный контроль, а с их продажи через кассовые аппараты идут налоги государству. Ибо наши *колхозные* рынки, созданные в эпоху социализма для реализации излишков продовольствия через кооперативную сеть, – пережиток времени и прибежище теневого, а стало быть, преступного бизнеса.

Ну, и в-четвертых. Безработица в России есть, целых 8%. И новоявленные *скинхеды* не слонялись бы по улицам, а, возможно, стояли бы за прилавками да и торговали бы себе на здоровье. Образно говоря, не у них ли отняли рабочие места?

Это к слову, о рынках. Ну, и далее, двигаются южане не в цеха и лабо-

ратории, а в милицию и во властные структуры типа ЖЭКов и ДЭЗов, где можно справки разные выдавать.

Вот так обстоят дела.

Теперь об этнических проблемах. Ведут-то себя приезжие по-хозяйски. Терпимость, культура, сдержанность коренного населения ими принимается за слабость, внешняя агрессивность южан и вызывает определённое раздражение у остальной части общества. Подстраивать, подгонять под наши общежитийские рамки надо иностранцев, а не наоборот.

\* \* \*

А была ли в СССР дружба народов? Была – и я тому живой свидетель. Два года моей жизни связано с городом Баку и с Азербайджаном. Было ли тогда предвзятое, настроенное, неприязненное отношение к русским, к примеру, – нет, не было.

Жили очень дружно, весело. Может, не замечали чего? Конечно, была история, угольки какие-то тлели, но никто специально пламя вражды не раздувал. А в девяностые и пламя раздули, и дров подбросили, и бензинчику подлили.

\* \* \*

Дискуссии бурные об одной книге и о фильме. С критикой: нехристианский, аморальный... Спор Проханова и Хакамады по телевизору: либерализм, свобода, Православие, нравственность... Говорим о свободе во всём: в заявлениях, в мыслях, в действиях. Человек должен выбирать сам. Люди не быдло, заключает Хакамада. Но позвольте, если вы идёте в магазин покупать обувь или одежду, выбираете бытовую технику или, ещё круче, автомобиль, человек (если он не полный идиот или крупномасштабная личность) спрашивает совета специалиста. Врача – какие принимать лекарства, строителя – как делать ремонт, нынче даже в спортзале тренер (вместе с компьютером) распишет, сколько раз и в какой последовательности исполнить то или иное упражнение или поднять гирьку.

Та же Хакамада наверняка ходит к косметологу, а не пользуется детским мылом или вазелином.

Так почему же в вопросах духовных она считает, что можно обойтись без советника, специалиста, наставника? Минздрав же предупреждает (с опозданием), что курить опасно. На винных и водочных этикетках пишут: употреблять умеренно. Почему же никто не измеряет размеры духовной отравы? А она, безусловно, есть. Насилие, порно, идиотские развлекательные шоу, культ наживы... Всё это – повсеместно через СМИ активно внедряется в мозги. За “палёную” водку могут дать срок. А за “палёную” культуру? Это ведь ещё хуже. Возмущаемся же мы, когда вместо *Versace* нам *впаривают* китайскую *варёнку*.

Так что, если специалисты (профессионалы) будут почаще объяснять людям, что такое хорошо и что такое плохо в отношении культурных и нравственных основ (ценностей), то народ вам скажет только спасибо, потому что к хорошему привыкаешь быстро. А когда сегодня мы переживаем за то, что геи не прошли парадом по Москве, так напомним, что христианством однополые сожителство всегда осуждалось. Чем кончил Рим?

Сначала жили друг с другом, потом с животными, потом – родители с детьми и наоборот.

За падением нравов следует неизбежно ослабление народа и падение государства, под руинами которого погибнут и стратеги империализма.

Но беда ещё и в другом: полное падение морали настолько утомляет и разочаровывает народ, что он в итоге поддерживает самую небывалую диктатуру. Так уже было и в Германии, и во Франции, и в России. Словом, именно бездумное следование идиотским постулатам либерализма о полной свободе личности настолько опустошает внутренний мир этой “личности”, настолько развивает чувство неуверенности и страха перед жесткой реальностью мира (а это естественная реакция одиночки), что “личность” в итоге будет приветствовать и Гитлера, и Сталина вместе взятых. С ними спокойней.

Ещё необходимо отметить один “аспект” свободы.

Доступность всего. Полная свобода выбора во всём – опасная вещь для отдельных категорий граждан. Для детей и подростков, например. 100 грам-

мов в день спиртного полезно для взрослого человека, смертельно для младенца, а юного через полгода превратит в алкоголика. Да ведь то же касается и пищи: есть диабетики, есть язвенники. Есть люди, страдающие иными недугами, и для них абсолютно необходима диета. Для здоровья (физического) – необходима диета.

Так же необходима и душевная (духовная) диета. Не тащите всё подряд в голову и в душу. Послушайте совета специалиста, священнослужителя, в первую очередь. Авторитетного политика или деятеля культуры, наконец. Делайте правильный выбор и будьте здоровы. И физически, и духовно.

\* \* \*

Дети сегодня меньше любят родителей, чем раньше. Слишком много “хорошего”, что отвлекает их от этого: игрушки, телевизор, компьютер.

Слабеет детская любовь к родителям. Слишком многое отвлекает от мамы с папой. Раньше было – природа, родители, братья, сестры, домашние животные. Всё – одушевлённое, живое.

Ныне “детский мир” – это компьютер с его соблазнами. Высокотехнологичные игрушки, телевизор. На маму с папой просто времени нет. Более того, родители ещё и раздражают, отвлекая от интересных занятий и развлечений. Вот и иссякает любовь, а с ней и всё хорошее и доброе в душе маленького человечка.

А в Писании так и сказано: последние времена настанут, когда иссякнет любовь.

\* \* \*

Чтение – в отличие от ТВ – заставляет мыслить. Когда читаешь – работает воображение. Воссоздаёт твой мозг, разворачивает прочитанные события, как в кино. Создаётся образ. Отсюда и образное мышление. Глядя на экран, ты копируешь в мозгу увиденное, то есть образ не создаётся мыслительно, он дан тебе готовым, а не создан тобой.

Не читающий человек разучивается мыслить.

\* \* \*

Эпоха закончилась.  
А жизнь продолжается.

АНДРЕЙ УБОГИЙ

## НА СЧАСТЛИВОЙ ЗЕМЛЕ

### I. НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ

*Жизнь это бой, пребывание в чужой стране.*

Марк Аврелий

Летим второй час. Стюардесса уже принесла синтетический завтрак – эх, скорей бы дорваться до настоящей итальянской еды! – и скоро внизу, под крылом, стали видны морщинисто-бурые, как лицо старика, хребты и долины Балкан. Взгляд на всё это сверху – ещё и подкреплённый всем тем, что пришлось прочитать и обдумать перед путешествием, – наводит на мысль о счастливых и несчастливых народах.

Как мы знаем, счастливых и несчастливых людей, первые из которых как будто магнитом притягивают удачу, а вторые – не менее сильным магнитом – беду, так и судьбы народов бывают удивительно разными. Сравните, к примеру, балканских славян или греков – со счастливыми-итальянцами. Славяне на Балканах, изнывая четыреста лет под владычеством турок, пережили такое количество горя и бед – что вообще удивительно, как горемычные эти народы сохранили культуру и веру, язык и живую, пусть и окрашенную трагизмом, радость существования. А итальянцы – те словно в рубашке родились. Обитая поблизости – через Адриатику, – но защищённые со всех сторон морем, а с севера – снежными Альпами, непроходимыми для османских коней (а своего Суворова у турок, слава Богу, не оказалось), – итальянцы всегда жили, что называется, как у Христа за пазухой. Земля щедра, как в раю, климат тепличный, характер у самих итальянцев отходчиво-лёгкий, весёлый: ну, что ещё нужно для полного счастья? Последние шестнадцать веков они, кстати, не очень-то и сопротивлялись иноземным вторжениям, предпочитая спокойную жизнь беспокойной мороке под названием “борьба за независимость”.

И лишь когда оставаться раздробленной, слабой стало совсем уже неприлично – лишь во второй половине девятнадцатого столетия! – Италия, наконец, кое-как собрала себя в целостно-суверенное государство. Зато, не изнурённая войнами, она сохранила здоровье и силу – да ещё сберегла те бесчисленные культурные памятники, доходы от посещения которых туристами составляют весомую часть бюджета страны. Это надо же так ухитриться: собрать на своей территории 60% культурного наследия планеты! Можно сказать, *контрольный пакет* мировой культуры – в руках итальянцев.

Как же они не счастливы? Пока народы Балкан и Руси, с одной стороны, а испанцы – с другой сдерживали мусульманский напор на Европу, Италия процветала и веселилась, словно балованное дитя в большой европей-

ской семье. К ней всегда и относились, как к ребёнку, со сложной смесью снисходительного презрения и глубинной любви к этому жизнерадостному и живописному, шумному, взбалмошному и такому живому народу. Ни в одну страну мира европейцы не стремились так, как сюда. Ещё в XVI веке англичане заложили традицию *grand tour* – многолетнего путешествия по Италии. И доселе зов итальянской культуры, истории, кухни и моды звучит, не смолкая, для всех европейских народов.

Но, думаю, самым глубинным мотивом, который зовёт в Италию миллионы людей, является всё же иное: это стремление к счастью – или, точнее, стремление увидеть страну счастливых людей. Ведь это такая редкость и чудо – счастливый народ на счастливой земле, – что подышать этим воздухом счастья уже есть великое благо и милость судьбы. Недаром Гёте – сам редкий счастливец – писал: “Человек, побывавший в Италии, уже никогда не будет вполне несчастен”. А Пушкин, наш высший авторитет, свое представление о счастье формулировал так: “Говорят, что несчастье хорошая школа; может быть. Но счастье есть лучший университет”.

Вот мы и летим в Италию – за высшим, можно сказать, образованием, высшей наукой: умением быть счастливыми здесь и теперь, умением не отодвигать своё счастье куда-то в туманную даль будущего или прошедшего, а жить внутри счастья, как рыбы живут в воде.

Первый запах, который нас встретил в Италии, был, разумеется, запахом кофе: он пропитал собой всё небольшое здание аэропорта Римини. А первым встреченным здесь итальянцем был Федерико Феллини. Его фотографии смотрели на нас со стен вперемежку с афишами культовых фильмов, и мысленный возглас: “Здравствуй, Феллини!” – был первым, что я произнес на итальянской земле.

А вот то, что я сказал потом вслух, было, по сути, паролем – то есть тем, что говорит почти каждый, прилетевший сюда. Поймав взгляд барменши за стойкой, я с усердием первоклассника проговорил: “*Buon giorno, signora! Un caffè, per favore*”. Отзывом на мой неуверенно-робкий пароль была сияющая улыбка, чашка эспрессо и нежно-грудное: “*Prego!*”.

Ну, что же: нас пропустили в Италию, страну счастья, – и то, что долгие месяцы было мечтой, начинает, наконец, сбываться. Тайна счастья – столь же недостижимая, как черта горизонта, – вдруг начинает казаться доступной и близкой, такой же реальной, как, например, эта чашка пахучего кофе с коричневой пенкой – или четкие контуры пиний на яркой, пронзительной, как поцелуй, синеве...

Что поразило и в тот, первый день – да и в несколько следующих дней итальянского вояжа? Это множество иностранцев-туристов, которые съехались сюда со всех концов света, чтобы своими галдящими толпами и вспышками фотоаппаратов оглушить, ослепить, заморочить друг друга и нас, трёх туристов из русской Калуги. Экскурсанты заполонили весь старый Рим (а первые трое суток мы провели как раз в Риме); у знаменитых фонтанов трудно было протолкаться к воде, чтоб напиться; очередь к Ватиканским музеям растянулась – чтоб не соврать – километра на два. А забастовка автобусов – та вообще превратила центр Рима в какое-то невероятное сборище праздновавшихся, радостно взвинченных, вольно одетых людей, сжимающих в одной руке путеводитель, в другой – фотоаппарат, а глазами шаривших по фасадам и обелискам с таким ошалевшим азартом, с каким мы, случается, ищем грибы в лесу.

“Да что же это за вавилонское столпотворение?!” – раздражался я поначалу, ступая по чьим-то ногам и толкаясь плечами. От этой всемирной толпы никак не удавалось ни отделаться, ни отрешиться. И вдруг меня осенило. “Да это же, – догадался я, – второе нашествие варваров!” Ну, конечно: история повторяется вновь, уже с пародийно-комическим переполюсом того, что здесь, в Риме, творилось полторы тысячи лет назад. Кто мы для римлян, как не варвары, чужаки, обитатели диких, далёких окраин почти неизвестного римлянам мира? Наши орды ворвались на улицы Вечного города, затопили подножья холмов, скаты лестниц, припали сухими губами к воде лучших в мире фонтанов. Да, Рим снова пал под натиском туристических толп – как когда-то под натиском гуннов или вандалов.

Только теперь всё наоборот: не мы грабим Рим, как когда-то, а он грабит нас. Мы не крушим римские статуи и не разрушаем дворцов, напротив,

мы поклоняемся им. Словно мы решили принести покаяние за то разграбление Рима, что совершилось когда-то, в эпоху великого переселения народов. Нет, но какая ирония: город, захваченный толпами “варваров”, сам беспощадно, лукаво и весело обирает “захватчиков”; а они, простаки, ещё и благодарны ему за это!

Правда, есть и другой поворот нашей темы. Рим, охвативший когда-то дорогами-щупальцами весь обитаемый мир, на протяжении многих веков свозил и сокровища, и предметы искусства со всех концов света. Кто-нибудь посчитал, сколько гранитных египетских обелисков возвышается на площадях Вечного города? А сколько греческих статуй, как подлинников, так и их копий, украшают итальянские палаццо и палио? А разграбленный крестоносцами Константинополь? Разве не византийские золото и порфир так украсили Рим и Венецию, что превратили их в красивейшие города мира?

Я уж не говорю о том, что все те чудеса, которым туристы сейчас поклоняются — от терм, мавзолеев, мостов до Форумов и Колизея, от храмов до арок имперских триумфов, — что всё это было создано руками рабов, то есть тех самых варваров, наших далёких предков, которых согнали сюда римские легионы.

Поэтому мы, туристы из сопредельных и дальних стран, смотрим, фотографируем, трогаем и изучаем, в известном-то смысле, — своё. И можно считать те немалые деньги, что мы платим и римлянам, и вообще итальянцам за этот просмотр “своего” — можно считать их платой музейным работникам, тем хранителям и сторожам, что сумели сберечь и представить сегодня нам наше собственное богатство. Ведь надо же нам — то есть нам, человечеству, — иметь где-нибудь планетарный музей, собрание ценностей нашей цивилизации?

## II. ФЛАМИНИЕВА ДОРОГА

*Эх, дороги...*

*Из песни*

Но будем описывать всё по порядку. Сегодня мы едем из Римини в Рим по древней Фламиниевой дороге. Грандиозность того, что называется “дорогами Римской империи”, до сих пор поражает. Невозможно понять: зачем в ту эпоху, когда люди передвигались только пешком или на лошадях, надо было строить дороги такой толщины и надёжности, словно по ним должны были двигаться танки? Разнокалиберные валуны укладывались в четыре слоя — так, что толщина дорожного покрытия достигала метра; когда, спустя девятьсот лет после строительства, средневековый историк исследовал одну из римских дорог, он сказал: “Ни один камень не пошатнулся”.

Так и кажется: эти дороги строили не обычные люди, а какие-то инопланетяне. Но больше всего поражает не прочность, не качество римских дорог, не система водоотводов, не путевые столбы с указанием расстояний до Рима — поражает забота о людях, что шли по этим дорогам. Это надо же: по обочинам высевался особый сорт мягкой травы, чтобы путник мог подложить её в обувь!

А как объяснить вот такой удивительный факт: дорога, которой мы едем, максимально выровнена по горизонтали? Хоть мы и пересекаем центральную, холмистую часть Апеннинского полуострова, но не замечаешь ни явных подъёмов, ни спусков: мосты и тоннели, которых здесь множество, держат дорогу на одном уровне, не давая ей ни спускаться в овраги, ни забираться на склоны холмов. Даже по звуку мотора слышно, что водитель вообще не переключает скорости: мотор гудит монотонно, и автобус катит по ровной, ничем не нарушаемой горизонтали.

Но насколько же усложняло строительство вот такое спрямление дороги! Лишь если дорога строилась на века — тогда были оправданы немалые эти затраты на сооружение десятков, если не сотен, мостов и тоннелей. Конечно, когда нет крутых подъёмов и спусков, покрытие не оползает, дожди и снега меньше портят дорогу, да и аварий — на ровном-то месте — должно быть значительно меньше.

Так что, судя по здешним дорогам, итальянцы мыслят веками; а вот мы с вами, судя по российскому бездорожью, не думаем о времени вообще.



У нас даже свежепроложенная дорога уже через год выглядит так, словно её нещадно бомбили. И это тем более поразительно, что для русских “дорога” — одно из важнейших, сакральных понятий. Трудно найти хоть одну русскую песню, в которой бы не упоминалась дорога. Можно сказать, что дорога есть русский символ, есть главное в нашей стране и в нас с вами. Но отчего же тогда так чудовищны, так невозможны дороги России?

Дороги, являясь, с одной стороны, результатом общенародного творчества, с другой — они же формируют и народную душу. Одно дело — из поколения в поколение двигаться по безупречной дороге, наслаждаясь комфортом и скоростью, привычно воспринимая весь окружающий мир как некую организацию, предназначенную для доставления нам удовольствий; и совершенно иное — пробираться по нашим российским дебрям и хлябям, сознавая свою беззащитность, ничтожность пред ликом жестокого и равнодушного мира.

Да, дороги Италии очень удобны — как удобны характер и жизнь самих итальянцев. Можно сказать, что итальянский менталитет столь же “горизонтален”, как и дороги Италии. Итальянцы на дух не переносят того, что их выбивает из привычно-горизонтального существования. Ни “высо́ты”, ни “бездны” не манят их так, как, к примеру, они манят русских. “Неизменность житейских привычек”, как определял счастье Шатобриан, для итальянцев гораздо важнее мятежных порывов, падений и взлётов души. Всё, что выводит из равновесия и самодовольства, из распорядка удобно сложившейся жизни, итальянцы стараются сгладить, смягчить — точно так, как они выпрямляют дороги, сооружая мосты и тоннели. И жить итальянскую жизнью, похоже, легко и приятно — так же приятно, как ехать по этой отличной дороге, созерцая пейзажи прекраснейшей в мире страны.

Катим по Умбрии. Что ни холм впереди — то и город: со старыми крепостными стенами и впритык поставленными домами песочного цвета, с непременной ратушной башней и куполом собора. Слов нет — красиво. Природа здесь не дика — всюду засеянные поля и дороги, виллы и городки, — но и не истерзана цивилизацией. Хватает и рек, и лесов, и простора. Итальянцам удалось удержат равновесие между природой и человеком — оттого и пейзажи центральной Италии напоминают красиво запущенный парк, где присутствие человека не угнетает, а лишь дополняет и украшает природу.

Но время обедать — и, где-то недалеко от Ассизи, наш автобус притормаживает возле дорожного ресторана. Подробно описывать этот обед я, пожалуй, не буду — хотя лазанья и артишоки оказались отменные, — а перейду сразу к тому, как после обеда наша русская группа томилась и маялась: всем не терпелось снова отправиться в путь. Но водитель куда-то запропастился — итальянцы торопиться не любят, — и нам оставалось только ходить вокруг автобуса, то и дело поглядывая на часы, и с тоскою посматривать на уходящую за горизонт ленту дороги.

Вот тоже загадка: куда мы всё время торопимся? Почему мы не можем спокойно и самодовольно, как итальянцы, наслаждаться текущей минутой, жить “здесь и теперь”, но нам обязательно нужно куда-то стремиться, идти или ехать, расставаться с реальностью настоящего ради призраков будущего? Мы вообще неспособны жить настоящим, ценить и хранить то, что уже имеем; мы постоянно пытаемся отряхнуть, так сказать, прах реальности с наших ног — и готовы с восторгом шагать за мечтой, миражом и химерой.

Уже одно это — неспособность ужиться с реальностью, спокойно жить в настоящем — делает русских неисправимыми революционерами. Тем-то, быть может, и наводим мы ужас на иные народы, что реальность, в которой все прочие более или менее приспособились жить — нам, русским, скучна и постыла. Мы жаждем жизни иной, мы рвёмся к ней, как к единственной нашей надежде и цели; именно эта вот русская вечная неутолённость таит в себе столько опасностей и для нас, и для мира, но и несёт с собой некую (может быть, призрачную) надежду на выход из безнадежного тупика под названием “жизнь”.

Пока мы так рассуждали, водитель вернулся, автобус, гудя и покачиваясь, вновь покатил по дороге, и предчувствие скорого въезда в знаменитейший из городов — Вечный город! — уже наполняло нас особого рода волнением. Или это во мне оживает дух Гоголя, который, возможно, испытывал к Риму любовь более искреннюю и живую, чем к какой-либо из женщин? Так, в финале гоголевской повести “Рим”, когда герой, охваченный страстью к прекрасной Аннунциате, бежит к ней сломя голову, он вдруг оглядывается, видит крыши,

холмы, купола и тёмно-зелёные пинии Вечного города — и забывает в эту минуту восторга и себя, и Аннунциату, и всё на свете... Наверное, так и сам Гоголь, которому не довелось любить женщин, любил Рим, любил со всей глубиной и тоской, на какую способна была его восторженно-сумрачная душа.

Правда, нам Рим открылся не так театрально-эффектно, как гоголевскому герою. Въезд в город с востока почти незаметен. Просто-напросто придорожные строения становятся чаще и выше — и вот уж мы едем не по Фламиниевой дороге, а по римской улице с тем же названием, “Via Flaminia”. Сразу видно, что город живой, обжитой и уютный. Даже по лицам прохожих, по этим ухоженным дамам с собачками и по парочкам молодёжи, бредущим в обнимку, легко догадаться: им здесь хорошо. Да, город стар, кое-где тесен, не всегда безупречно-опрятен, но в нём себя чувствуешь, словно в старой квартире, где, наверное, сами жильцы уж не помнят происхождения и назначения многих комнат, углов и чуланов, но где сохраняется дух векового уюта, дух незапамятно-древней, густой, многослойной, таинственной жизни. Вот уж где, видимо, хорошо себя чувствует *genius loci*, тот “гений места”, который незримо живёт где-то здесь, в переулках и арках, в теснинах дворов, под лепниной тяжёлых фасадов и в плеске фонтанов...

Казалось, что Рим — словно пленник себя самого. Он словно сам себя зачаровал, заморочил, околдовал — да и сам уж забыл: как, зачем, для чего так немислимо-долго он существует на свете? К чему вся эта обветшалая роскошь и камни руин, вокруг которых толпятся туристы, и мрачная тень Колизея, и эти вот чайки, что вьются над крышами и куполами? Да, Рим заложник пороков и роскоши, собственных древних легенд, он пленник каменной мощи и красоты, грандиозный гибрид бальной залы и кладбища, храма, музея и рынка... Воистину, он ворбал в себя всё, что входит в понятие “город”, — и теперь сам не знает: что делать, как быть с этим всем неумным богатством?

### III. ГОРОД ФОНТАНОВ И ЛЕСТНИЦ

*...князь взглянул на Рим и остановился: пред ним в чудной сияющей панораме предстал вечный город.*

Н. Гоголь

Едва мы ступили на римские камни — около Термини, то есть вокзала у терм Диоклетиана, — как Маша из Питера, наш замечательный проводник, предупредила: “И не смейте ходить по Риму без счастливых улыбок — я вам этого никогда не прощу!” До сих пор благодарен ей за этот совет, без которого, может быть, я не понял бы главного об итальянцах и Риме. Действительно, Рим — город счастья: земного, реального. И в Рим нельзя не влюбиться — как трудно не улыбнуться в ответ на радушную, радостную улыбку.

И ещё Рим — город фонтанов и лестниц. Именно эта формула воскрешает, едва её произнесёшь, живые воспоминания о Риме. Вряд ли есть ещё города, так сроднившиеся со своими фонтанами, так ими гордящиеся и выставляющие их напоказ. Фонтаны здесь — ориентиры и центры районов, у них назначают свидания и коротают досуг, их бесконечно рисуют и фотографируют, их водой, наконец, утоляют жажду: всем известно, что лучшая в Италии вода — вода римских фонтанов.

Фонтаны Рима — они очень разные. Вот, скажем, знаменитый Треви с его вычурной пышностью, с толпами разноцветных туристов, что кидают монеты в светло-голубоватые воды, а вот неприметная ржавая трубка, торчащая из стены старого дома: из неё тонкой струйкой сочится вода, предлагая тебе, пешеходу, подставить ладони, напиток да охладить перегретую голову.

Каждый из римских фонтанов достоин не то что отдельного описания — он достоин поэмы; жаль, что я никогда их не напишу. Самые знаменитые — Баркачча, Тритон или, например, фонтан Четырёх Рек на пьяцца Навона — сами по себе уже есть поэмы из камня, воды, бликов света и брызг, из гомона разноразных туристов, из тех легенд, что окутали каждый фонтан, словно незримое облако.

В той поэме, которая никогда мной не будет написана, я не забыл бы и о фонтане Черепах: то, как он неожиданно открывается пешеходу, бреду-

щему в каменных проймах римского гетто, — открывается солнечной, ярко-весёлой поляной, с журчаньем воды, игрой солнца на струях и с той удивительной лёгкостью всей композиции, где даже черепахи похожи на птиц, которые вот-вот вспорхнут с влажной чаши.

А Тритон, одиноко стоящий на площади Барберини, — Тритон, с таким напряженьем закинувший голову и трубящий в завиток каменной раковины, что смотреть на него почти больно?

А Баркачча — лодка, которая терпит крушение, и вот уже много веков всё не может никак затонуть, напоминая и судьбу Рима, и судьбу всего человечества?..

Каждый римский фонтан есть легенда и притча — причём всякий, зачерпнувший воды из опаловой чаши, неизбежно привносит и что-то своё в этот сборник легенд и преданий, видений и снов, в эту сложную смесь реальности и мечты.

Вообще тема воды, в самых разных её проявлениях — одна из ведущих тем Рима. Так, главные птицы здесь — не воробьи и не голуби, а крикливые чайки. Ну, конечно: Тирренское море неподалёку, километрах всего в двадцати. А римские термы? Ведь это же, в сущности, роскошные храмы воды, и посещали их римляне бесплатно и ежедневно.

А римские общественные уборные, где под задами — простите за натурализм — посетителей протекал полноводный ручей, смывающий нечистоты? Санитарное дело в Риме было на высоте; не оттого ли доныне лучшая в мире сантехника — именно итальянская?

Римские акведуки, *водопроводы*, по которым вода, самотёком стекая с окрестных холмов, питает фонтаны Вечного города, исправно работают вот уж две тысячи лет. И как это римские водопроводчики не боялись остаться безработными? Как вообще можно что-либо строить один раз — и на века? Хочется пробормотать по-старушечьи: “Батюшки-святы. . .” — и перекреститься.

У нас-то, у русских, — всё, слава Богу, не так. У нас чуть что построили — глядь, оно уже и развалилось. А и правильно: мы на земле только гости — нечего, стало быть, и обустраиваться, и обживать. Погостил, чайку выпил — и, с Богом, в дорогу. А то ишь, что удумали: что ни город, то вечный, что ни водопровод — то с гарантией аж на две с лишним тысячи лет! Превознеслись они слишком, на русский-то взгляд — обуяла их, бедных, гордыня. . .

Но, с другой стороны, как тут не загордиться, живя сызмала в окружении этой Античности и этого Средневековья, в обрамлении каменных кружев, реликвий, святынь? Пройдя по теснякам меж старых домов, мимо кадок с лимонными деревцами и дверных ручек в виде львиных голов, попирая подошвами камни, по которым ступали сенаторы, цезари и папы, начинаешь казаться себе самому тоже вечным, тяжеловесным, напоминающим собственный памятник.

А тут ещё эти римские лестницы — второе, после фонтанов, чудо великого города. Живописность и разнообразие лестниц Рима чаруют и изумляют. И совершенно различны их, так сказать, энергетика. От самой священной и знаменитой лестницы в мире, от Санта Скала — тех, вывезенных из Иерусалима, двадцати восьми мраморных ступеней, по которым некогда поднимался Иисус на суд Пилата и по которым ныне можно взойти только лишь на коленях, — до самых мирских и простецких, до лестниц, где так хорошо пить вино или просто лежать в полудрёме на тёплых камнях и слушать, как шаркают, шаркают, шаркают мимо десятки и сотни человеческих ног. . .

Как в толпе не найти одинаковых лиц — так и среди римских лестниц вряд ли найдёшь хотя бы две, похожих друг на друга. Но общее в них всё же можно почувствовать. Все они очень свободны, раскованны, непринуждённы, словно они предназначены больше для спуска, чем для натужно-томительного подъёма. В этом они выражают народ, который их построил: итальянец вполне итальянец, лишь когда он расслаблен и весел, когда он поёт или пьёт, или непринуждённо болтает о чём-то, то есть тогда, когда он спускается по лестнице — отдаётся вполне этой неге и радости спуска. А возьми немца или англичанина — тем, наоборот, нужен подъём, нужно усилие организации, дисциплины, труда — лишь тогда их национальный характер проявится полно и ярко.

Лестницы Рима — они словно льются с холмов, напоминая потоки окаменевшей воды. Особенно это относится к знаменитой Испанской лестнице. Она именно ниспадает каскадами вольных потоков, то расходящихся на рукава, то сливающихся воедино. И поразительно, как неподвижное каменное соору-

жение — лестница — может казаться столь живым и текучим, пластичным. Возможно, что этот эффект производят те сотни людей, что движутся вверх или вниз по истёртым ступеням, сидят на них или даже лежат — и при этом, как будто в счастливом бреде, они что-то бормочут на разных языках, образующих сложную смесь. Если была в истории человечества Вавилонская башня, где разделились и смешались *дванадцать языков*, то здесь мы видим настоящую *Вавилонскую лестницу*. Правда, здесь разделение языков, похоже, никому не мешает выражать свой восторг и своё понимание счастья — единое, в сущности, для всех народов Земли.

Раз уж мы оказались на Испанской лестнице, нельзя не подняться наверх и не попробовать отыскать дом Гоголя на Via Sistina — дом, где писал он “Мёртвые души”. Стараясь держаться в тени — первомайское солнце уже допекает — мы, вертя головами, бредём сквозь чад и шум улицы, шарахаясь от проносящихся мимо воющих скутеров и бормоча “Scusi!” проходим, которых случайно толкаем. Дома здесь насуплены, стары, подёрнуты копотью времени — как, впрочем, многое в Риме. Вижу табличку на рыжеватой стене, вглядываюсь — не гоголевская ли? — но ошибаюсь: это дом, где жил Андерсен. А профиль Гоголя встречает нас через пару шагов, на соседнем, таком же обшарпанном доме горчичного цвета. Так вот, значит, где сочинялась самая, может быть, знаменитая русская книга — одновременно поэма и пасквиль, гимн России и карикатура на Русь. Вот за этими ставнями из косых деревянных реек Гоголь спасался от римской жары и терпел промозглую римскую зиму, здесь его посещали те грёзы и сны о России, которые он воплотил в своей гениальной поэме...

Но как удивительно это сближение: Гоголь и Андерсен. Ведь эти два гения, жившие в Риме на одной улице, кажутся по судьбе, по натуре и даже по внешности своей чуть ли не близнецами. Оба одинокие девственники, прожившие жизнь в бездомных скитаниях, — только Рим и пригрел-приютил этих странных людей; оба боролись всю жизнь с потёмками собственных душ — и даже фобии у них были одинаковые! И Гоголь, и Андерсен больше всего боялись быть погребёнными заживо — и, засыпая, оставляли записки, умолявшие не закапывать их, прежде чем не проявятся явные признаки разложения.

И оба — великие сказочники. Ну, с Андерсеном-то понятно; но ведь и Гоголь, по сути, не писал ничего, кроме сказок — смешных или страшных, мистических, героических или абсурдных, — но именно сказок. Разве мало-российские или петербургские повести, разве “Тарас Бульба” или те же “Мёртвые души” — не сказки? Гоголь — колдун, чародей, заклинатель; недаром от гоголевских страниц, стоит раскрыть наугад любую его книгу, уже невозможно — физически! — оторваться.

“Не случайно же, — думаю я, ладонью касаясь шершавой стены под табличкою с профилем Гоголя, — наш сказочник выбрал обителью именно Рим, город-сказку: ему ещё, как не в окружении римских развалин, фонтанов и лестниц, было ему сочинять свои русские сказки?”

Ну, что — идём дальше? Сегодня Рим подарил нам автобусную забастовку — то, что поначалу так огорчало, но потом, как это часто бывает, оказалось нам во благо. Ибо вряд ли иначе мы бы так походили по старому Риму — вдоль мелкого Тибра, по гетто, к цветочному рынку с печальным Джордано Бруно, и дальше, к подножию лестницы, что мягко внесла нас на Капитолий, — вряд ли мы так впитали бы весь этот римский дурманящий зной, шум и чад площадей и пустыньность тенистых улиц, где так легко потеряться. И вряд ли бы, думаю, вялая пышность барокко — любимого римскими папами стиля — показала бы нам в иной ситуации столь же уместной. Ведь, скажем, строгий и чистый аттический стиль — стиль Парфенона в Афинах — требует для восприятия бодрости тела и духа, отваги и ясности взгляда; а вот если ты уже вял, утомлён и ослаблен — то завитушки барокко тебя умилят и прельстят, и покажутся, может быть, верхом искусства. Хотя, в сущности, всё это пошло-безвкусно: эти волны лепнин и гирлянды щекастых задумчивых путти — то ли амурчиков, то ль ангелочков? — весь этот перекармливаемый, самодовольно-назойливый избыток плоти.

Но даже они могут быть хороши, если воспринимать их как игру, если вдруг осознать, что весь Рим, по сути, — грандиозная декорация. Жить в Риме — это всё равно что жить внутри театра, за кулисами, где хранятся все пыльные и обветшалые декорации прошлых сезонов-эпох, где реальность пе-

реплетается с вымыслом, где с течением времени перестаёшь понимать, кто же ты: лицедей или зритель?

И вот как раз обветшалость, патина времени и возносит творенья барокко на истинную высоту. Эти фасады, фонтаны, скульптуры — они, как вино или сыр, с годами становятся лучше, и прозелень мха, благородная плесень или рыжая накипь на чашах фонтанов привносят в творенья прославленных зодчих как раз то, чего им не хватало при их создании: печаль увядания, горечь мудрой улыбки над собственным, столь легковесным, тщеславием и собственной, столь неуместной, гордыней.

Рим покоряет именно тем, что он — город-сказка, он не пробуждает, а усыпляет, он не приближает к реальности, а, напротив, уводит в какие-то смутные сны. Если б не рёв мотороллеров, врывающихся время от времени в забытьё пешехода, — кажется, я б превратился в сомнамбулу Рима и вечно бродил бы по этим камням, то сырым и холодным, то солнечно-тёплым, и чувствовал, как то ли я проникаю сквозь время, его неподвижно-прозрачную толщу — то ли оно без усилий насквозь проникает сквозь зыбкие контуры призрака под названием “я сам”...

#### IV. ВАТИКАН

*Думай много, говори мало, не пиши ничего.*

(Из католических наставлений)

Кому не расскажешь, что, дескать, недавно вернулся из Рима, тут же слышишь вопрос: “А был в Ватикане?”

Да был я там, был — ещё бы не посетить цитадель Католичества, образец абсолютной монархии, где папа — и глава государства, и законотворец, и верховный судья. Одно слово — непогрешимый. О какой-то там демократии, замусоленной и обветшалой игрушке современной Европы, в Ватикане смешно даже думать. Здесь, как в том военном уставе, где первым пунктом стоит “командир всегда прав”, а вторым — “если командир неправ, смотри пункт первый”.

Военная тема звучит в папском Риме ещё и таким неожиданным образом. Ватикан — это детище Муссолини, отца итальянского и мирового фашизма: в 1927 году были подписаны Латеранские соглашения, и папа с его окружением получил часть территории Рима, и Ватикан с того времени стал независимым, очень богатым и очень влиятельным государством.

А то, что идеи и дух Муссолини живут здесь до сих пор, доказать очень просто: посмотрите, сколько в Италии винных бутылок с портретами “дуче”. Они продаются, особенно в туристически-людных местах, буквально на каждом углу. Но раз есть предположение — значит, есть спрос; торговый прилавок отражает общественное сознание лучше любого института социологии. Многие итальянцы, похоже, и нынче мечтают о цезарях и диктатуре; и несомненно, что папский Рим, со всей его сумрачной мощью, со всеми пороками и лицемерием абсолютизма продолжил традиции именно дохристианского, цезарианского Рима.

Но довольно политики — поговорим об искусстве. Ведь для туристов всех стран и народов главное в Ватикане — его музеи. На протяжении многих веков сюда свозились сокровища со всех сторон света. И даже та реквизиция ценностей, которую учинил здесь Наполеон Бонапарт, не очень-то отразилась на папских коллекциях. Добра оказалось здесь столько, что, сколь ни грабь, — остаётся ещё предостаточно.

А богатство — оно и притягивает богатство. Едва ли не самое сильное впечатление от Ватикана оставила очередь к кассам музеев: когда я пробежал вдоль неё в оба конца, то выглядел, как умирающий галл. И ведь все эти тыщи и миллионы туристов несут в Ватикан деньги, деньги и деньги: их поток никогда здесь не иссякает.

Что удивило и что запомнилось из ватиканских коллекций? Опять, и в который раз, — изобилие плоти. Ренессанс, воскрешая и собирая образцы античного искусства, сам оказался настолько завален всей этой мраморной мускулатурой, что превратился в настоящую свалку и оргию тел. Какое уж там христианство, какая победа над плотью и смертью, когда всё в Ватикане,

от залов скульптур до Сикстинской капеллы, кричит об одном: о капитуляции духа под натиском плоти. Не радость и просветление победы, а тоска поражения — вот что остаётся в душе после дня, проведённого здесь.

Уверен, что многие папы, гуляя по залам музеев (являющихся, кстати сказать, их личной собственностью), не могли не испытывать чего-то подобного: печаль и тоску, ощущение пленённости всей этой мраморной и нарисованной плотью — и стремление вырваться из этого безнадежно-телесного тупика. Доходило и до комических эпизодов. Один из пап, придя в ужас от десятков окружающих его мраморных фаллосов — а Античность, как известно, не могла обойтись без любовно и точно вылепленных гениталий, — приказал беспощадно отбить эти части скульптур. Вот это, я понимаю, было зрелище: бедняга-каменотёс, хохоча и плача, с зубилом и молотком проходил по залам музеев, оставляя в хрустящем под сапогами мраморном крошечке — нет, не отрубленные головы драконов или гидр, а нечто гораздо более страшное: фаллосы древних богов и героев! Говорят, и доныне где-то в подвалах понтифика хранятся эти отбитые части скульптур; а посетители музеев довольствуются грубыми сколами мрамора на причинных местах, но зато могут дать волю воображению. В общем, есть над чем посмеяться и в гостях у римского папы.

Конечно, описывать картины и гобелены, скульптуры и фрески дело неблагодарное — их надо видеть, но вот обойтись без описания Сикстинской капеллы никак невозможно. Ведь это не просто одно из главных мест Ватикана (а значит, всего католического мира); это самое, может быть, знаменитое художественное произведение всей европейской цивилизации.

Что поражает в Сикстинской капелле? Прежде всего, это памятник неимоверному, превосходящему всё, что мы можем себе представить, труду человека. Всё это огромное, необозримое взглядом пространство, нависающее над зачарованно переступающими посетителями — все эти своды, распалубки и люнеты, эти сложно переходящие друг в друга плоскости — расписал за неполные четыре года один-единственный человек! Он работал совсем без помощников: даже краски художник растирал и смешивал собственноручно. Да что краски: Микеланджело и леса строил сам, в одиночку, по собственным чертежам; а потом так и жил там, наверху, на подмостках. Даже если не брать в расчет то, что в итоге получился художественный шедевр, само представление о покрытии красками всех этих изогнутых плоскостей, то сужающихся, то расширяющихся, да ещё находящихся на огромной высоте, поражает. Информация для сопоставления: в восьмидесятые годы XX века проводилась реставрация Сикстинской капеллы, заключающаяся, главным образом, в удалении, с помощью влажной фланели, той копоти, что оседала на фрески в течение четырёхсот лет. И вот сотня усердных реставраторов в течение 12 лет всего лишь протирала влажными тряпками то, что один-единственный человек написал за три года и несколько месяцев!

Но всё же это достижение спортивного, так сказать, характера — абсолютный рекорд работоспособности. А что сказать о художественном и религиозном впечатлении — то есть о том, ради чего и был совершён этот подвиг? Спроси меня сам Микеланджело: “Ну, как, братец, тебе всё это?” — я бы, пробормотав что-нибудь о величии его гения и о масштабах труда, вряд ли сумел бы ответить ему что-нибудь по существу. Ибо попытка передать невыразимое даже не словом (слово всё-таки ближе к Тому, Кто и Сам есть великое и изначальное Слово), а красками на штукатурке — такая попытка заранее, в самый момент замысла, обречена на неудачу. “Сотворению мира” не веришь — вот главное чувство, какое уносишь с собой, проходя по огромному, сумрачно-гулкому залу Сикстинской капеллы.

А уж “Страшный Суд” — тот вообще оставляет гнетущее впечатление. И ладно бы, это чувство испытывал я, слабый грешник, которому на Суде, вероятно, придётся несладко; но почему и на лицах тех праведников, что уже спасены и возносятся, чтобы сесть одесную Спасителя, — виден ужас отчаяния? Что же это за Суд, что же это за Бог, всепрощающий и милосердный, близость к Которому пробуждает не радость, а скорбь и обнажает бездонную тьму обречённости?

И снова эти мясные, тяжёлые груды тоскующей плоти... Даже женщины у Микеланджело сложены, как мужчины-штангисты; даже Спаситель, Чьё тело повторяет контуры и мускулатуру знаменитого Бельведерского торса — и Тот превосходит всех тех, кого Он призвал на Суд, не столько силою и про-

светлённостью Духа, сколько мощью напряжённых мышц. Кажется, персонажи Сикстинской капеллы пытаются вырваться из западни собственной плоти — её же, плоти, усилием и напряжением; и поэтому все их потуги остаются втуне.

Недаром папский церемониймейстер Бьяджо да Чезан, впервые увидевший “Страшный Суд” Микеланджело, воскликнул: “Да эта фреска больше подходит для бани или трактира!” И гнев Микеланджело, который не поленился изобразить Чезана в облики Миноса, встречающего грешников в аду, — сам этот гнев подтверждает, насколько был точен — а значит, смертельно обижен — упрёк церемониймейстера.

Бьяджо да Чезан в своих чувствах был не одинок. И в XVI, и в XVII веке “Страшный Суд” подмалёвывали, пытаясь затушевать его видимую непристойность, смягчить подавляющий зрителя грубый телесный напор. Живое христианское чувство говорило католическим иерархам: “Нет, всё же в этом апофеозе клубящейся, одновременно тоскующей и торжествующей плоти — что-то здесь не так...” Уже в недавние времена, в 1994 году, при открытии Сикстинской капеллы после её реставрации, мудрый папа Иоанн Павел II был вынужден в очередной раз оправдываться перед всем миром: фрески Микеланджело, дескать, следует понимать, как “храм богословия человеческого тела”. Слово “богословие” здесь явно лишнее — тогда уж любой анатомический атлас можно считать катехизисом, — а вот слова “храм тела” действительно выражают суть Католицизма. Католичество очень телесно, конкретно и зримо, оно осязаемо и, так сказать, имманентно; в Католичестве христианство низведено с его изначально-трансцендентных высот к бытовым и телесным низинам. Недаром же и Ренессанс, возрождавший языческое искусство, пришёл так ко двору папскому Риму: именно папы покровительствовали гениям Возрождения.

И как символичен казался тот сумрак, в котором находятся ныне сикстинские фрески... Я понимаю, конечно, что затемнение необходимо для лучшей сохранности красок; но эта гнетущая сумрачность и теснота шевелящихся, трущихся тел туристских толп так подавляет, что выходишь наружу, на площадь Святого Петра с чувством долгожданного освобождения.

“Да, их Бог — в силе, — думаешь, вспоминая скульптуры ватиканских музеев и нагромождения тел Сикстинской капеллы, — причём в силе конкретно-телесной, в том, что называется “кулачное право”. Здесь, в центре всего католического мира, нельзя этого не ощутить; и впечатления от собора Святого Петра лишь подтверждают телесную, зримую мощь папской Церкви”.

Но не будем впадать в грех гордыни. Конечно, хотелось бы вспомнить и слова Александра Невского: “Не в силе Бог, а в правде”, — вспомнить, кстати, и то, что как раз католических рыцарей Невский разгромил на Чудском озере, хотелось бы даже, упрощая мысль до банальности, заявить: Католичество, дескать, есть тело Христовой веры, а Православие есть душа христианства.

Кое-какой резон в этом, конечно, есть; но не забудем, что именно Католичество, с его целевыми, конкретными установками, и сделало христианство действительно мировой религией. Вера должна быть конкретна и зрима — “вера без дел мертва есть” — и вот в этом-то смысле католики дадут сто очков вперёд православным. Создавать, строить, организовывать, внедрять принципы веры в конкретную жизнь, убеждать, блюсти свою выгоду, идти на компромиссы — в этих делах католики за полторы тысячи лет достигли виртуозности и совершенства.

Конкретность, приверженность “миру сему”, конечно, бывает порою опасна, грозит затянуть в череду мелко-суетных дел, но ещё пагубней может быть неуважение к частностям жизни, презрение к конкретному и единичному, слепота общественная и житейская, когда не замечаешь людей, окружающих нас: то есть то, чем, увы, часто грешим мы с вами, русские и православные.

И вот думаешь: а нет ли в том, что христианство разделилось на Западное и Восточное, на Католичество и Православие, нет ли во всём этом Промысла Божьего? Как сотворил Господь не единого человека, а мужчину и женщину, чтобы они в своей нераздельной противоположности, в своём непримиримом единстве могли выразить некую общую, целокупную истину о человеке, не так ли Он попустил разделение Церкви на Западную и Восточную, чтобы каждая могла ярче, полней и решительней выразить некую, может быть, частичную, истину христианства? Как из мужского ребра была некогда сотворена женщи-

на, которая с тех самых пор вечно враждует и спорит с мужчиной, но не может жить без него, точно так же, как он без неё, — не так ли и из ребра Православия, то есть первичной, единой некогда Церкви, возникло и Католичество? И как женщине Творец поручил, так сказать, сей земной мир — хлопоты чадородия и плодородия, суету бытового жизнеустройства, — не так ли и Католичеству была дана как бы на откуп земная, конкретная, плотская жизнь? Конечно, мысль диковатая, но в чём-то, быть может, и верная. И хоть мы нескончаемо спорим и даже враждуем иногда с Католичеством, но чувствуем в глубине души, что общая наша, единая Истина лежит всё же глубже формального разделения христианских конфессий. Мы друг без друга не можем: исчезни из нас кто-то один, возможно, что эта потеря трагически и неизбежно погубит другого.

## V. ХОЛМЫ ТОСКАНЫ

*Где больше неба мне, там я бродить готов,  
И ясная тоска меня не отпускает  
От молодых ещё, воронежских холмов  
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане...*

О. Мандельштам

Ожидая отъезда в Тоскану, я провёл около часа в окраинном римском кафе. Было ещё очень рано — половина восьмого утра, — но небольшое кафе уже было полно посетителей. Несколько смуглых небритых мужчин стояли у игровых автоматов. Они опускали в прорезь монеты, дёргали рычаги и ждали, когда же им выпадет счастье. И тени сомнения в том, что им обязательно повезёт, не было ни в глазах, ни в спокойно-уверенных жестах. Скорее посетитель мог сомневаться в том, что ему здесь нальют кофе, чем эти римляне могли бы усомниться в своей скорой встрече со счастьем.

У нас-то, в России, да ещё в половине восьмого утра, такие вот мужики могут думать лишь об одном: как бы опохмелиться? А эти, смотри-ка — настолько уверены, что им вот-вот повезёт, что даже, похоже, не очень волнуются: пришли за удачей, как за зарплатой.

А потом я заметил, что многие женщины, вместе с чашкою кофе, покупают ещё и какой-то блестящий листочек. И, попивая свой капучино, они почти машинально монеткой соскабливают серебристое напыление с этой бумажки, небрежно-рассеянно смотрят, комкают листок и спокойно бросают в корзину. “Да это же лотерея! — догадался я. — Они, как и те мужики у игровых машин, уже спозаранку пришли за удачей”.

Похоже, что мне в это утро открылась одна из важнейших пружин итальянской души. Итальянцы — народ, жаждущий счастья и уверенный в том, что *посылка счастья* им уже выслана, и теперь дело за малым: надо всего лишь дождаться её да получить. Как же это отличается от нашего с вами, русского отношения к миру! Если итальянцы ждут счастья и не сомневаются в своём на него неотъемлемом праве, то мы в глубине своей души ждём, скорее, беды, и тоже не сомневаемся в том, что наши личные или общенародные беды не за горами и, рано или поздно, они обязательно нас посетят. Мы и угрюмы бываем поэтому сверх всякой меры, но по этой же самой причине можем быть и безудержно-веселы. Дескать, гуляй, рванина, от рубля и выше: хоть день, да наш! одна живём, братцы! Или, как поётся в известной припевке:

*Эх, пить будем,  
Гулять будем,  
А смерть придёт —  
Помирать будем!*

Но где же — вправе спросить читатель — холмы Тосканы, которые нам обещало название главы? Да вот же они — стоит только взглянуть в окно катящего по дороге автобуса. Мало что видел я гармоничнее этих ласкающих взоры холмов, по склонам которых или колыхнутся волны бледно-зелёной пшеницы, или желтеет сурепка, или алыми брызгами светятся маки. А на вершинах стоят одинокие виллы, к которым ведут аллеи из кипарисов и тополей, или



громоздятся целые городки, которые издали кажутся нереально-игрушечными.

И каждый такой городок мало чем отличается от такого же по размеру квартала, например, Рима, то есть в нём будет тот же фонтан на площади перед собором, тот же рынок и те же кафе, в которых мужчины будут неспешно прихлёбывать кофе, горячо обсуждая футбольные новости. Между столицей и самой заштатной провинцией здесь, как и вообще в благополучной Европе, нет той чудовищной разницы, что у нас – у нас, где затрапезный райцентр кажется почти что столицей по сравнению с какой-нибудь опустевшей деревней, где губернский город подавляет сельского жителя шумом и роскошью; а уж Москву-то я и не знаю, с чем сравнивать – это словно иная планета.

Среди тех городов, что мы встретим сегодня в Тоскане, будет и самый маленький в мире: Монтериджиони. В нём есть всё, что положено иметь городу: мэр и муниципалитет, почта и ресторан, есть даже своя собственная, сохранившаяся со времён Средневековья монета, а население этого города, красиво стоящего на холме, в окружении старых каменных стен, состоит всего лишь из восьми человек. В Италии даже крошечный город есть всё же город, со своими правами и гордостью, с преданиями и легендами, со своим – разумеется, лучшим на свете, по мнению жителей, – сортом вина, и с глубинною убеждённостью в том, что вот именно здесь и находится центр всего мира. Да, это немного смешно; но зато человек, сознавая, что он живёт в самом лучшем месте на свете, не будет ни гадить у себя под окнами (как, увы, часто делаем мы), ни отказываться от своих предков и своей истории (а у нас отречение от прошлого стало дурною национальной традицией), не будет и поднимать свой авторитет за счёт унижения других: ибо человек, уважающий сам себя, и к ближним относится с уважением.

Но не пора ли размяться да испить кофейку? Наш автобус подрулил к придорожному ресторанчику, мы вышли в тень раскидистых пиний и пошли на запах кофе. У стойки бара царит – как бы это поточнее выразиться? – суетливый покой: парадоксальное состояние, в котором обычно живут итальянцы. То есть они азартно жестикулируют, вскрикивают и почти что без умолку болтают на своём сладкозвучно-певучем, густом языке, но при этом ни в них самих, ни в их окружении не происходит, похоже, никаких перемен. Этот мир как будто застыл в возбуждённом покое. И поэтому наблюдать итальянцев, их жизнь и эмоции, слушать их разговор – почти то же самое, что бесконечно смотреть на огонь или на текущую воду.

Но подошла моя очередь, и в руках у меня уже исходит паром ароматная чашка “маккьято”. Кофе в Италии – это нечто потрясающее. Это может стать отдельной темой для очередного сравнения русских с итальянцами: кофе и чай, национальные наши напитки, хоть и являются настоем одного и того же вещества, но отличаются так же, как и мы отличаемся от обитателей Апеннин. Любимый наш чай здесь, в Италии, кажется ересью, за которую могут сжечь на костре. Недаром Гоголь, любивший и знавший Италию, как мало кто из иностранцев, писал Данилевскому: “Здесь чай – это что-то ужасное, что-то похуже на привидение, приходящее пугать нас...”

Чай – напиток простора и воли, он льётся и пьётся таким же потоком, как, скажем, река или русская песня, поэтому, видимо, этот колониальный товар пришёлся настолько по вкусу в России. Классическое наше чаепитие у самовара – это нечто раздольно-широкое, долгое, размывающее границы частного существования, нечто, переводящее индивида уже как бы в плоскость иного – общенародного – бытия. И любой русский, от помещика до ямщика, неспешно выпивший пять-шесть чашек чая, становился как бы ещё более русским, чем он был до чаепития: он прикивал к тем пластам и источникам жизни, где частное растворяется в общем, как кусок сахара тает в дымящемся чае. В ходе задумчиво-долгого, под разговор, чаепития – а только таким должен быть настоящий, не смазанный суетой, ритуал, – приходит странное чувство, что тебя самого уже как бы и нет, но есть мир без тебя, безгранично прекрасный, подробный и сложный, увидеть который тебе до поры мешал ты сам; но чайный поток растворил на тебе эту индивидуальную плёнку, и ты наконец прикоснулся к реальности как таковой, смог почувствовать мир, не искажённый призмой личного восприятия.

А вот чашка кофе не только не размывает границ “я”, но, напротив, ещё более обостряет и закрепляет твою личную отделённость от окружающего. Сделав пару глотков итальянского крепкого кофе, смотришь на мир, словно

с некой дистанции. Взгляд становится напряжённой и резче, предметы и люди вокруг — отчуждённые...

Да, чашка кофе — это как бы инъекция одиночества в нашу общинную русскую душу, это то, чего нам порой так не хватает для ощущения дистанции между собою и миром, той дистанции, без которой не возникает чувства личного самоуважения. Здесь, в Италии, на кого ни взгляни — официанта, таксиста или продавца, — все настолько солидно-вальяжны, важны, что похожи, скорей, на министров, чем на работников сферы обслуживания. Уверен, что кофе играет здесь далеко не последнюю роль: те инъекции жизненной силы и чувства “особости”, что итальянцы получают в виде чашек “эспрессо” ежедневно и многократно, не могут на них не влиять.

Но мы уже тронулись в путь и опять покатали по солнечной и живописной Тоскане. Автобус перевалил за гряду невысоких холмов и начал спускаться в долину Арно. Значит, скоро Флоренция, и её знаменитые купола вот-вот замаячат вдаль. А в мозгу, возбуждённом недавно выпитой чашкой кофе, никак не уляжется недоумение: как случилось, что этот город — не порт, не промышленный узел, не перекрёсток торговых путей — стал, тем не менее, родиной Ренессанса? Почему именно флорентийская живопись, зодчество, скульптура и литература поднялись в ту эпоху на небывалую высоту? Что сделало этот тесный, сплошь каменный небольшой городок, терзаемый войнами и чумой, символом и средоточием всей европейской культуры Возрождения?

Если верно, что нацию формирует язык, то итальянская нация выросла не просто из флорентийского диалекта, но из одного-единственного флорентийского литературного произведения — “Божественной комедии” Данте. Вряд ли в истории человечества происходило что-либо подобное, когда творение гения становилось краеугольным камнем истории народа. Недаром и почести Данте здесь, во Флоренции, воздаются божественные: строки его поэмы выбиты, как на скрижалях, на стенах домов, и вся Флоренция кажется каменной книгой, единственным и уникальным изданием *Divina Commedia*.

Не забудем ещё и другого титана флорентийской и мировой литературы — Джованни Боккаччо. Видеть в “Декамероне” лишь собрание скабрёзных анекдотов — значит, не замечать в нём главного: трагедии *пира во время чумы*. Картины чумной эпидемии 1348 года, которыми открывается книга, придают всем историям, что рассказаны в ней, глубину и трагизм, достоверную живость, и делают сборник Боккаччо воистину книгой на все времена — ибо каждая из проживаемых нами эпох есть, по сути, эпоха чумы. Энергия и весёлая изобретательность автора — удивительны; язык, сочетающий куртуазную утончённость с живостью уличной речи, не теряет достоинства даже и в переводе; количество подражаний “Декамерону” огромно; сюжеты его — бессмертны.

Говорить о литературе Флоренции можно долго. Как забыть, скажем, о Микеланджело, которому, кажется, было всё равно, чем — резцом, кистью или пером — выражать себя в мире? Уже одно его стихотворение “Ночь”, гениально переведённое Тютчевым (“Молчи, прошу, не смей меня будить...”), делает Микеланджело великим трагическим поэтом.

А Никколо Макиавелли, известный более как теоретик политтехнологий — тех способов манипулировать обществом, что и поныне не потеряли своей актуальности? Прочитайте его “Песнь торговца кедровыми шишками”, и вы сразу увидите, какое живое литературное дарование нёс в себе этот циник и мизантроп.

А, наконец, сам Лоренцо Медичи, прозванный Великолепным, — главный спонсор всего флорентийского Ренессанса? Он ведь и писатель был далеко не заурядный: до сих пор без его сочинений не обходится ни один сборник новелл Возрождения.

И это всё — флорентийцы, жители небольшого тесного городка в центре Тосканы. Как удивительно всё же Господь распределяет таланты: Он зачем-то сгущает их в одном месте и времени — оставляя иные места и эпохи почти что бесплодными. “Флорентийское чудо” наводит на мысли и о другом литературно-географическом феномене. Я имею в виду русское наше Подстепье, тот удивительный треугольник меж Тулой, Орлом и Воронежем, из которого вышла едва ли не вся русская классика.

Так, может, совсем не случайно та перекличка “молодых воронежских холмов” с всечеловеческими холмами Тосканы, о которой писал Мандельштам? Может быть, гении слышат друг друга через эпохи и через пространст-

ва, а вместе с ними слышим друг друга и мы, их читатели? Уверен, что между мною, читающим Данте или Боккаччо, и итальянцем, читающим Льва Толстого или Андрея Платонова, возникает особая, неуловимая – но и нерасторжимая! – связь.

## VI. БРАТА РАЯ

*...смерть — это всегда вторая  
Флоренция с архитектурой Рая.*

И. Бродский

Во Флоренции мы провели целый день. И кто бы мог думать, что в нашем блуждании по лабиринтам сырых переулков и улиц, с выходом в солнечно-шумную толчею площадей, в этой привычной усталости пешехода-туриста, когда неизвестно, что у тебя гудит больше – ноги или голова? – что во всём этом содержался и некий сюжет, осознать который я смог лишь потом, возвратившись в Россию?

Мы ступили на флорентийскую землю возле церкви Сан-Марко, той самой, где служил и произносил свои пылкие проповеди Джироламо Савонарола. И, оставив храм за спиной, бодро двинулись к центру. Вон уж видна в перспективе прямой шумной улицы резная шкатулка Дуомо, знаменитая бело-зелёная перевить его каменных кружев. Сам кафедральный собор кажется несообразно огромным как для площади, тесной и полной туристов, так и вообще для Флоренции. Здесь некуда отойти, чтобы сфотографировать собор целиком, а уж поджарая колокольня Джотто, ракетой взлетевшая в небо, тем более не помещается в видоискатель. Приходится фотографировать её по частям, захватывая в нижние кадры чернявые головы вездесущих японских туристов, а в верхние – стаи стрижей, свиристящих над красно-коричневым куполом и резной колокольней.

Налюбовавшись на эти творения Брунеллески и Джотто, ныряем, как в воду, в средневековую тень флорентийских – нет, даже не улиц, а сумрачно-тесных проходов, бродя по которым, кажется, вот-вот начнёшь бредить, метаться и лихорадочно искать выход из этого каменного лабиринта.

Что запомнилось? Цеховые дома. Они очень старые: XVI век во Флоренции – уже “новодел”. То, что дом – это крепость, становится здесь особенно понятным, поскольку окна напоминают бойницы, стены – метровой почти толщины, а над черепичными крышами поднимаются башни; не знаю уж, какой в них военно-оборонительный смысл, но выглядят они сурово и устрашающе. Средневековый город Европы мало того, что сам был автономной, самоуправляемой единицей, так он ещё и делился на множество самостоятельных составляющих – цехов, гильдий, общин и районов, даже отдельных домов, – каждая из которых была как бы городом в городе и могла, в принципе, существовать сама по себе. Так, городской ремесленный цех был, по сути, мини-государством, со своими традициями и законами, со своей иерархией, со своим управлением и бюджетом, со сложной внешней и внутренней политической жизнью. Маркс с Энгельсом, мечтавшие о сплочении и организации трудящихся – соединяйтесь, мол, пролетарии! – опоздали со своим призывом почти на тысячу лет: рабочие люди Европы давным-давно знали, что такое профессионально-политическая организация.

Но я не забыл о сюжете. Напомню, что мы начали свой путь от церкви Сан-Марко; спустя же часа полтора мы стояли на площади Синьории, и я смотрел даже не столько на микеланджеловского Давида или Персея Челлини – прекрасные, слов нет, скульптуры, – сколько на каменную звезду, выложенную в центре площади: так флорентийцы отметили место, где был сожжён Джироламо Савонарола. Если же забежать чуть вперёд и сказать, что сегодняшней день мы закончим в Ферраре, на родине Савонаролы, то станет ясно, чья тень незримо сопровождала нас во Флоренции. Да, это был Джироламо Савонарола – человек, не просто несправедливо казнённый согражданами, но ещё и оболганный на шестьсот лет вперёд. Спроси сейчас у любого более или менее образованного человека, кто такой Савонарола, и вам, скорее всего, ответят, что это был мракобес, “едва не погубивший всё итальянское Возрождение” (именно такую характеристику отца Джироламо я нашёл в интер-

нете). А вот о том, что это был человек поразительной честности и отваги, что он отстаивал христианские ценности в утонувшем в разврате и роскоши городе, что его проповеди потрясали умы и сердца, об этом мало кто знает. Противостояние банкирского клана Медичи и одиночки-монаха Савонаролы — главный сюжет флорентийской истории. В нём, как в фокусе, сошлось всё: языческая контрреволюция Ренессанса, которая уже почти одолела христианство в Италии, и страстные проповеди Савонаролы, а потом и его мученическая смерть, которые так встряхнули страну и эпоху, что они как бы опомнились, и началось истинное Возрождение Италии. Благодаря отцу Джироламо “нравственность снова стала возможна”, как выразился один персонаж пьесы Томаса Манна “Фьоренца” — прекрасного сочинения на главную флорентийскую тему — тему драматических отношений добра и богатства, аскезы и красоты, язычества и христианства.

У нас, в русской литературе, тоже есть свой Савонарола: это священник из пушкинского “Пира во время чумы”. И если бы не авторитет Председателя, сказавшего: “Старик, иди же с миром!” — то священник вполне мог бы быть убит хмельной обезумевшей толпой пирующих.

Европейское Возрождение — оно и было, в сущности, *пиром во время чумы*: ни падений, ни взлётов эпохи нельзя оценить и понять, упуская из вида ту постоянную и неотступную близость смерти, в которой жил человек эпохи Ренессанса. Чума и войны, вражда всех против всех — вот тот трагический фон, на котором завязывались и распускались горячечные и скороспелые, словно чумные бубоны, цветы Возрождения.

Но сейчас, слава Богу, чума нам не грозит, и мы можем без всякой опаски бродить по улицам Флоренции. Даже на кожаном рынке, недалеко от Думо — там, где стоит бронзовый знаменитый кабанчик, один из языческих символов города, — даже там, в толчее, суматохе и гомоне, мы заразимся скорее не чумой, а тем, что в былые советские годы называлось “вещизмом”. Да, здесь так много всяческих сумок и курток, туфель и кошельков — и так много людей, чьи глаза горят куда более откровенным азартом и жизнью, чем где-нибудь в залах музеев, что становится ясно: мы, люди, почти ни в чём не меняемся, и печной горшок нам всегда будет дороже Бельведерского Аполлона. И это ещё мы не вышли на Понте Веккьо, на “золотой мост”, как зовут его русские туристы. На этом мосту, превратившемся в длинную ювелирную лавку ещё при Лоренцо Медичи, золото будет прельщать нас гораздо сильнее, чем оно прельщало, скажем, пушкинского Скупого рыцаря, лёжа в его сундуках, ибо золото здесь, на мосту, поражает своей красотой. А уж перед этим двойным искушением — золотом и красотой — устоять почти невозможно. Нас, слава Богу, хранит наша бедность: мы можем позволить себе брести вдоль сиянья и блеска витрин с независимым, гордым, почти скучающим видом. А уж если и залюбуемся какой-нибудь брошью или фероньеркой — то отстранённо-эстетски, как чистой и недоступной нам красотой.

Золото, можно сказать, преследовало нас во Флоренции. Оно было повсюду: и в магазинных витринах, и на вывесках ресторанов, отелей и банков (Флоренция испокон веку — город банкиров), и во дворце Пити, куда мы пошли посмотреть интерьеры, картины и быт Ренессанса. Флоренция — своего рода *храм золотого тельца*; недаром флорин, золотая монета, которую чеканили здесь, в XV веке был главной валютой Европы.

Но самое большое впечатление произвели на нас Золотые ворота Гиберти — те, про которые Микеланджело как-то сказал, что такие ворота должны быть в раю. Так случилось, что около этих “врат рая” мы провели почти три часа, ожидая, пока починят наш автобус, и было время поразмышлять об их назначении и сути.

Это ворота баптистерия (то есть крестильни), построенного ещё в XI веке. Здесь сакральный центр города: сам Данте был крещён в этих стенах. Там, внутри, за “воротами рая” — если и не сам рай, то его зримые образы: сияние византийских мозаик. Мерцающий свет изливается с апсид и купола, и в этом глубоком, таинственном свете нам брезжит иная — уже как бы вечная — жизнь. Чувствуешь: если наши тела ещё пребывают в земном, падшем мире, то взгляды и души уже вознеслись в жизнь иную...

Но внутренний зал баптистерия, как это ни странно, посещается редко. Если снаружи несметные толпы туристов, если в толчее Понте Веккьо или на площади Синьории стоит несмолкающий, словно в улье, гул голосов, то

в баптистерии гулко, пустынно и тихо. Похоже, свет истинной веры мало влечёт европейских или, тем более, азиатских туристов. Бренды католического Ренессанса — в том числе, Золотые ворота флорентийского баптистерия — слишком “раскручены”, чтоб отпускать от себя восхищённые взгляды. Вот народ и толпится снаружи, у Золотых ворот, представляющих, в сущности, комикс библейских сюжетов, рассказ по картинкам для тех, большей частью неграмотных, горожан, которые некогда приходили сюда. Из золота сделано множество мелко-подробных фигур и пейзажей, на вас смотрит множество лиц, и вся эта многофигурная композиция отполирована до слепящего блеска. Кажется, не одни только руки, но даже и взгляды туристов, так вожделенно скользящие по “воротам рая”, шлифуют эти рельефные фигуры не хуже, чем абразивная паста.

Но эти ворота из золота, перед которыми возбуждённо толпится народ, — именно они-то и отделяют нас от рая, от образов истины, радости, света, которые ждут в баптистерии. Ворота всегда есть преграда, препятствие, некий рубеж; Золотые ворота и стали тем символом, что обозначил соотношение между земной, осязаемой пышностью Католичества — и духовной красотой изначального христианства.

О чём ещё думалось перед “воротами рая”? В том числе и о Страшном Суде. Тем более, этот сюжет — едва ли не самый частый в итальянском искусстве: всюду, от флорентийского баптистерия до Сикстинской капеллы, мы видим трактовки того, что с нами случится после Второго Пришествия Спасителя.

А действительно: что же случится? Как соотносится безграничное милосердие Божье — с божественной же справедливостью, с воздаянием полною мерой за всё, что человек совершил от рожденья до смерти? Одно с другим, вроде бы, несовместимо, по крайней мере, в земных, человеческих наших понятиях.

Но выход, кажется, всё-таки есть. Если Господь в час Суда исполнит наше самое искреннее, исходящее из глубины сердца, желание, тем самым восторжествует и справедливость, и милосердие. Ведь исполнение наших заветных желаний — тех, к каким мы приходим в итоге всей жизни, — может быть как наградой, так и наказанием. Кроме того, это будет и торжеством той свободы, на какую мы, люди, были отпущены в акте Творения.

Иными словами: наш ад и наш рай мы носим в себе, в своём сердце; Творец лишь поможет его проявить, закрепить в актуальной и сбывшейся вечности. Если ты, прожив жизнь, сохранил в душе, скажем, только желание власти или богатства, или желание неких телесных усад, то Господь, вздохнув, скажет: “Ну, что же — живи с этим вечно. Я не неволил тебя — ты сам сделал выбор...” Самое страшное — но и самое справедливое — в этом Суде будет то, что мы уже не сумеем слукавить, обмануть ни себя, ни, тем более, Бога: истина наших сердец будет обнажена...

## VII. ПАЛИО В СИЕНЕ

*Если бы я ещё имел неосторожность верить в счастье, то искал бы его в неизменности житейских привычек.*

Ф. Р. де Шатобриан

Самое, может быть, итальянское изо всех впечатлений от Италии — это Сиена, живой город-музей в центре Тосканы. В Старом городе и сейчас населения столько же, сколько было в XIII веке, и живут там сиенцы в домах, построенных 800 лет назад. Сиена — своего рода резервация Средневековья — или, если угодно, *машина времени*, поскольку здесь сохранились не только здания, но и сам дух и традиции средневекового быта.

Но древность в Италии часто соседствует с юностью. Лишь только мы вышли к сиенским воротам, как увидели шустрых чернявых мальчишек, азартно игравших в футбол под городской стеной. А уж когда мы познакомились с Сарой, нашим здешним проводником, уроженкой и жительницей Сиены, с этой живой, как ртуть, большеглазой, худой, очень юной женщиной, то ощущение не иссякающей юности этого древнего города стало ещё одним спутником в наших блужданиях по узким, то поднимавшимся, то опускавшимся улицам.

Но что важно: как ни тесны эти улицы и переулки, как ни суровы подслеповатые окна и стены домов, но здесь нет того ощущения западни, какое порою охватывало нас во Флоренции. Дело, может быть, в том, что Сиена стоит на холме — и просторные, вольные виды Тосканы сквозят в торцах улиц и наполняют город тем воздухом воли, которого так не хватает нам, русским, блуждающим в каменных лабиринтах средневековой Европы.

О чём щебетала наш гид, пока мы, как бестолковые козы за юной пастушкой, спешили за ней, оскальзываясь на гладких камнях? Конечно, она говорила о главном: контрадах и палио. Старый город на протяжении вот уже тысячи лет разделён на семнадцать районов-контрад; населяет одну контраду около двух тысяч жителей. Каждый район называется именем какого-либо животного — носорога, пантеры, орла, черепахи, улитки, — и каждый имеет чётко очерченные границы. На рубежах до сих пор происходят драки подростков — вроде того, как и у нас случаются битвы между улицами или кварталами. Но главное в том, что контрада на протяжении многих веков остаётся настоящей большой семьёй, опекающей и защищающей всех своих чад. До недавней поры даже браки между представителями разных контрад были запрещены. Действительно: как можно женить улитку на носороге, орла на пантере или барана на черепахе? Все дети, рождённые в одном районе, считаются как бы общими: за их ростом, развитием и воспитанием следит — и участвует в нём — весь район. Он же поддерживает “своих” на протяжении всей их жизни, но и воспитанники контрады, куда бы их ни завела судьба, всегда помнят, кто они и откуда, и чтят городскую общину, взрастившую их, наравне со своей собственной семьёй. В каком-то смысле контрада в жизни каждого её жителя является чем-то более важным, чем собственная семья. “Когда я уже не могу жить со своим мужем, — признаётся нам Сара, — он носорог, а они все ужасные, самовлюблённые грубияны! — то я ухожу в свою контраду баранов, и живу там, у родителей, несколько месяцев, пока не успокоюсь...” Коренной житель Сиены никогда не остаётся один. Даже если он не имеет семьи и детей, если он болен, беден и стар, община всегда его примет, утешит, накормит и обогреет.

Мы поднялись сначала к собору, который построил Никколо Пизано, — по пути, в контраде орлов, я прикупил бутылку *Montepulciano*, отличного красного вина, — и продолжали двигаться к площади, главному месту Сиены. То и дело до нас доносилась раскатисто-гулкая дробь барабанов. “Это мальчишки репетируют праздничное шествие, — пояснила нам Сара. — Мой сын — ему шесть лет — тоже будет барабанщиком: он очень этим гордится”. То есть, едва появившись на свет, юный гражданин Сиены уже получает ту роль, что ему надлежит играть в будущем, — роль, которую до него исполняли поколения и поколения его предков.

Прошлое вообще поразительно живо в Сиене. Наша предводительница, юная женщина XXI века, вдруг горячо обращается к нам: “Я не люблю загружать людей датами, но один год я вас умоляю запомнить: это 1260-й, когда сиенцы — единственный раз! — разбили в бою флорентийцев!” Маслины её глаз заблестели слезами, голос дрогнул — казалось, что она вот-вот разрыдается... Поразительно: то, что произошло почти восемь веков назад, до сих пор наполняло её живым трепетом, гордостью, счастьем! Насколько же прошлое может быть актуальным, живым, существующим “здесь и теперь”, насколько всё то, чем живет настоящее, дышит, можно сказать, вечным воздухом прошлого.

Да, настоящее современной Италии во многом определяется её прошлым. Но ведь это и есть формула счастья, секрет которого, как писал Шатобриан, в “неизменности житейских привычек”. Итальянцы знают этот секрет и придерживаются его; поэтому, если где-нибудь в мире и есть счастливый народ, живущий в счастливой стране, то это итальянцы в Италии. Неизменность уклада и быта является здесь почти культовым принципом, который соблюдается неукоснительно, как магическое заклинание. Это, в сущности, и есть заклинание, которым итальянцы стараются отогнать те невзгоды и беды, которые неизбежно приходят с новшествами и переменами. И это им почти удаётся — во всяком случае, куда в большей степени, чем нам.

Наше-то бытие, в отличие от итальянского, определяется, в основном, будущим, ибо мы — люди мечты, устремлённости в недостижимую даль. Мы не храним своего прошлого и не держимся за него, но, напротив, маниакаль-

но стараемся от него избавиться. Может, ещё и поэтому мы так глубоко, так безнадежно несчастны? Мы не ценим того, что у нас уже есть или было, то есть, по сути, не ценим, не любим самих себя, а гонимся за ускользающим призраком, за мечтой, вместо того чтобы жить настоящим.

Но вернёмся в Сиену. Слушая гида, мы выходим на покатую площадь, ту самую, где происходят знаменитые скачки. Палио – конные состязания на главной площади города – проводятся здесь ежегодно, 2 июля и 16 августа. Дистанция – три круга, всего что-то около километра; каждая контрада выставляет лошадь и нанимает жокея, который должен в отчаянной скачке, где разрешены любые толчки и удары, привести лошадь к финишу. Маленькая деталь: ни седел, ни стремян нет, и поэтому едва ли не половина лошадей к концу скачек оказывается без всадников. Пожалуй, коррида в Испании менее опасна, чем эти дикие конные скачки на каменной площади.

Передать словами тот азарт, с которым сиенцы проводят свой главный праздник, передать ликование победителей и отчаяние проигравших, конечно же, невозможно. Вот лишь несколько красноречивых деталей картины под названием “палио в Сиене”. За четыре дня до состязаний, после жеребьёвки, когда контрада получает свою лошадь, надежду на будущую победу, в каждом районе проходят церковные службы. Лошадей вводят в храмы, читают в их честь молебны, дают им поцеловать крест и завершают всю службу словами: “Иди и вернись победителем!” Чтобы такое “кошунство” было возможно, римскому папе пришлось издать специальный указ, позволяющий жителям города дважды в год осквернять таким образом храмы, ставить лошадей перед алтарями и воздавать им почести, какие воздают далеко не каждому человеку.

Победители скачек ежедневно и всей контрадой пируют три месяца. Столы накрывают прямо на площади, лошадь-победительницу, украшенную венками и лентами, ставят у стола на почётное место, дают ей выпить и закусить. Победители веселятся и пляшут, едят и поют, обнимают и целуют друг друга на зависть соседним контрадам. А едва отдохнув от трёхмесячной этой гульбы – или оправившись от поражения – все районы вновь начинают готовиться к палио: собирать деньги, чтобы нанять самого отчаянного жокея, репетировать шествие в средневековых костюмах, учить барабанщиков барабанить, а жонглёров – жонглировать разноцветными флагами. Палио – непрерывное возобновление и сохранение традиции – является центром и целью всей жизни сиенцев; вот уж воистину, их настоящее живёт прошлым. Точнее сказать: прошлое здесь, в Сиене, стало вечно длящимся настоящим.

Самых скачек в реальности я, к сожалению, не видел. Но по фотографиям, фильмам, рассказам – да ещё сидя на тёплых камнях знаменитой сиенской площади – нетрудно было представить безумие палио: тысячи зрителей, стиснутых цепью ограды, вопли толпы и посвист бичей, топот и храп лошадей, свалки из конских и человеческих тел на крутых поворотах трассы...

Я сидел на истёртых подошвами тёплых камнях – вокруг, на покатых булыжниках площади, сидело или лежало немало таких же туристов, – прихлёбывал из бутылки тёплое *Montepulciano*, закусывал коркой пшеничного хлеба... Можно сказать, что таким образом я *причащался Италии*, вкушая хлеб и вино этой благословенной земли, но думалось мне о России. Я думал: конечно, прекрасно, что здесь, в самом сердце Тосканы – а значит, и всей европейской культуры – так бережно сохраняется всё, что здесь было заложено издавна: стены ратуши, камни собора, булыжники площади. Прекрасно, что дух и традиции древности здесь живы, в том числе и в азартном кипении палио, в том священном безумии скачек, которым каждое лето, вот уже восемь веков кряду, болеет весь город.

И как же ужасно, что мы не храним и не ценим того, что у нас, русских, есть или некогда было: мы шагаем в грядущее, забывая историю, предков, обычаи, забывая, по сути, самих себя. Но при этом – вот в чём парадокс! – теряя так много, не храня, не ценя ничего из того, что так ценит Европа, мы всё же себя сохранили как особый, ни на кого не похожий народ, балансирующий на самом краю исчезновения и хаоса, народ, которого не должно бы давно уже быть, но который ещё существует, надеется, терпит и любит... Вот и пойми теперь, где живёт сердце народа, что питает его непостижную разумом душу и какая судьба предначертана нам, русским?

## VIII. ВОПЛОТИВШИЙСЯ ПРИЗРАК

*...Волшебный демон —  
Живой, но прекрасный.*

А. Пушкин

Пушкин посвятил Венеции всего несколько строк. Это строфа из первой главы “Онегина” и черновой набросок:

*Ночь светла. В небесном поле  
Ходит Веспер золотой.  
Старый дож плывёт в гондоле  
С догарессой молодой...*

Но строки, вынесенные в эпиграф, кажутся написанными именно о Венеции, об этом городе-призраке, о прекрасной блуднице на водах, которая вот уже много веков завлекает, чарует и сводит с ума всех, кто имел неосторожность посетить её. Даже мне, пожилому русскому доктору, побывавшему там мимолётно, до сих пор трудно освободиться от чар её миража, который словно всплыл из вод Адриатики и на целый день заключил нас в свои русалочьи объятия.

День был солнечным, ветреным, и знаменитого затхлого запаха вод, по которому даже слепой, говорят, распознает Венецию среди сотен других городов, — этого запаха тления мы не ощутили вовсе. Зато поразила нас та дымка, та солнечно-зыбкая марь, в которой был словно подвешен и медленно таял весь город — все эти ряды разноцветных палаццо, колонны и арки, столбы для причаливания гондол, вкривь и вкось торчавшие из зеленоватой воды, и сами гондолы, бесшумно скользившие по каналам и исчезающие в зыбком солнечном блеске.

Пожалуй, в Венеции нет ничего удивительней, чем эта лаково-чёрная лодка длиной 11 метров, похожая то ли на скрипку, то ли на узкую женскую туфлю со стелькой из красного бархата. Движение гондолы настолько легко и бесшумно, что кажется фокусом: не может же, думаешь, быть, чтоб всего лишь одно кормовое весло, лежащее в локте уключины, придавало гондоле такую свободу скольжения мимо окон, балконов, мостов, такую порочную, томно-изящную лёгкость? Мерещилось: этой таинственной лодкой управляют как будто ещё и иные, потусторонние силы; как будто гондола, а вместе с ней и гондольер, и его пассажиры решили отринуть бытийное бремя, отказаться от всех долговых обязательств перед жизнью — и заскользили с чарующей лёгкостью в ту манящую бездну, что ждёт-поджидает любого из нас...

Скажете: автор хватил через край? Но почитайте-ка Томаса Манна, его “Смерть в Венеции” — и мотивы *инферно*, которые там несомненно звучат, приоткроют вам многое в тайнах Венеции — в том числе, в тайнах венецианской гондолы. Да, гондольер перевозит нас в небытие — недаром же в пору чумных эпидемий эта женственно-грациозная лодка перевозила трупы на Сан-Микеле и на материк; именно это и стало причиной того, что теперь все гондолы покрашены в траурный цвет.

Однако и в облике, и в невесомо-ритмичном скольжении гондолы, кроме зова Танатоса, слышен и голос Эроса. Это лодка порока и страсти, место тайных свиданий, объятий и сладостных стонов, это своего рода постель для любовников, вынесенная из сырой тесноты венецианских жилищ на податливо-лунные воды лагуны.

Но оторвёмся же, наконец, от гондолы и посмотрим на город, который возник перед нами, словно мираж, из тающей мякоти солнца, прикрытого дымкой, из рефлексов той искристой ряби, что бегло играет по ветреной зыби лагуны. Город именно призрачен, он возник словно бы ниоткуда и вот-вот готов снова исчезнуть; смутное опасение, что чары скоро рассеются, и колдовской этот город растает, порождало в душе беспокойство и заставляло нас жадно, словно стараясь запомнить навеки, разглядывать эти каналы, мосты, купола и покрытые пятнами сырости стены домов.

Мы сошли с катера на Фондамента дельи Скьявони, Славянской набережной — спасибо, Венеция, за столь учтивый приём! — и чуть ли не сразу оказались в магазинчике, торговавшем муранским стеклом. Здесь, посреди разноцветно мерцавших витрин, в окружении пестроты и изящества, роскоши и утончённости, ощущение призрачности того, что нас окружает, стало почти



болезненным. Я догадывался, что кто-то из нас двоих бредит, но пока не мог решить, кто: я, ослеплённый обманками ультрамариновых, розовых, ярко-карминных и охристых стёкол, или весь этот город, построенный из отражений и бликов, обманов и чар, из неверных посулов, порочных намёков и из несказанной, сводящей с ума, красоты? Ведь то, что вокруг, вот на этих витринах – всего лишь цветное стекло; но Венеция убедила нас в том, что это стекло драгоценнее, чем драгоценные камни. Разве это не чары, не некий гипноз, в который века и века погружают заезжих людей, которые с благоговением и трепетом выносят отсюда цветные стекляшки, заплатив за них дикую, несоразмерную цену?

А маски, ещё одно из венецианских чудес? Трудно представить, но в пору расцвета венецианской карнавальской культуры маски носили по шесть месяцев в году, то есть половину сознательной жизни венецианец прятал лицо под личиной. Вы только представьте: половину всей жизни человек был не самим собой, но персонажем какой-то, может быть, ему самому не до конца понятной игры. Тот призыв и завет, который был обращён к людям ещё со времён Древней Греции: “Познай самого себя!” – в Венеции был заменён иным. “Забудь самого себя”, “скрой свой лик под личиной” – вот к чему призывали жителей Венеции в дни, недели и месяцы карнавальных безумств. Излишне говорить, в какой хаос обмана, убийств, шантажа и предательств погружался тогда весь ликующий, пляшущий город, в сущности, и сам построенный из шантажа и обмана, лукавых коммерческих сделок, коварных интриг... Карнавал вполне выражал суть этого города: Венеция с радостью снова и снова меняла лицо на личину, надевая обманную маску из папье-маше.

В лавке масок даже как-то жутковато. Все стены, от потолка и до пола, увешаны разноцветными масками; в глазах рябит ото всех этих блёсток и перьев; но из пустых глазниц словно тянет знобящим сквозняком. Кажется, загляни поглубже в эти чёрные дыры – и увидишь изнанку бытия, окажешься там, где нельзя, не положено быть человеку...

Масок, при всём их разнообразии, всего несколько типов. Вот рядами висят Коломбины, вот Арлекины и Пьеро – это всё персонажи традиционной *commedia dell'arte*; вот смешная личина врача с длинным носом: этот нос не позволял доктору слишком низко склоняться к заразным больным. Но главная маска – это, конечно, маска баута. Она мертвенно-белая, без каких-либо вычурных украшений, она закрывает почти всё лицо и напоминает посмертный гипсовый слепок, поэтому тот, кто её надевает, как бы репетирует собственную смерть. Что-то в душе холодеет, когда видишь эту маску или вертишь в руках этот лёгкий, почти невесомый и оттого ещё более страшный образ небытия.

Снова и снова звучит здесь, в Венеции, тема отказа от бремени жизни. Всё существование этого города – по крайней мере, с рокового для христиан и всего человечества 1204 года, – представляется долгим скольжением вниз; кажется, никогда и нигде, кроме разве что папского или цезарианского Рима, человеческие пороки – тщеславие, алчность, тяга к роскоши и разврату – не достигали такой концентрации, не расцветали так пышно и так соблазнительно, как в Венеции. В годы расцвета Венеция представляла собою одновременно всемирный банк, всемирную лавку роскоши и всемирный бордель, наглядно показавши, что эти три заведения не только прекрасно сосуществуют и ладят между собой, но и представляют собой единое целое.

Более развратного города, чем Венеция, в истории человечества, пожалуй, не бывало. В это трудно поверить, но по ревизии 1542 года число официально зарегистрированных проституток здесь достигало 10% населения города. Получалось, что на каждых двух-трёх взрослых мужчин приходилась одна “законная” проститутка, а кроме того, были ещё и нелегальные: служанки, неверные жёны – которые хоть и не платили налогов, но всегда были готовы утешить мужчин. Как только у венецианских кавалеров хватало прыти на такой грандиозный разврат?

И несомненно, что прелести куртизанок были важнейшим источником процветания Венецианской республики, ибо они были ничуть не менее доходны, чем, скажем, работоторговля. Конечно, хотя это и было дело постыдное, но оно приносило столь ощутимый доход, что на моральную сторону просто закрывали глаза.

Но за Венецией, этой великой блудницей на водах, водились грехи куда более тяжкие, нежели распутство. В 1204 году купцы и банкиры Венеции организовали IV крестовый поход, в результате которого был коварно захвачен,

сожжён, осквернён и разграблен христианский город – православный Константинополь. Более гнусной низости, более подлого предательства братьев по вере невозможно себе представить. Современный исследователь истории Венецианской республики, авторитетный Джон Норвич назвал захват и разграбление Константинополя в 1204 году “величайшей катастрофой в истории”. Ему вторит известный историк сэра Стивен Рансимел: “IV крестовый поход – величайшее в истории мира преступление против человечества”.

Львиную долю добычи захватила Венеция. Вот вам и чаровница-прелестница – вот вам и подоплёка всей этой роскоши, утончённости и красоты. Как воровская маруха, разряженная в награбленные тряпки и драгоценности, Венеция хочет забыть, откуда и как достались ей все эти богатства; но нам-то, которые кое-что помнят и знают, – нам не пристало заискивать и преклоняться перед этой развратной лживой красоткой.

Но есть и ещё один поворот этой темы. Не стань Венеция той, какой она стала, не сохрани она часть награбленных в Царьграде богатств, – кто знает, смогли бы мы с вами сейчас видеть мозаики в храме Святого Марка, те воистину неземной красоты переливы светящейся смальты, перед которыми только и можно вполне ощутить, какой высоты и гармонии достигала православная цивилизация Византии? Собор Святого Марка в Венеции – греческий по происхождению храм, где когда-то служил Патриарх, – пожалуй, только это и искупает всё остальное: и жуликоватость торговцев, и ту атмосферу разврата и тления, которой наполнен весь город, и даже, быть может, преступления Венецианской республики перед человечеством. Если есть это, и оно до сих пор и доступно для обозрения и живо, то всё остальное не так уж и важно. Главное – в том неиссякающем свете, который на нас изливается с этих мозаик, в том сиянии истинной веры, перед которым – и это здесь чувствуешь всем своим существом – отступает сама неотступная смерть. Не знаю, как передать словами это необычайное чувство, но пока я стоял в золотистом сиянии, наполняющем этот собор, я с совершенным и полным сознанием истины знал, что уже никогда не умру. Я сознавал, что есть вечность, и я к ней причастен какой-то важнейшей, неистребимой частью самого себя...

А потом мы опять оказались на площади Сан-Марко, и перед нами опять замелькали туристы, фасады и арки, и Джулиана, наш проводник, опять повела нас по каменным джунглям Венеции. Но странное дело, теперь совершенно другими глазами воспринимал я всё то, что видел. Если раньше, до храма Святого Марка, я переживал нетерпеливую, полную жадного любопытства встречу с Венецией, то теперь это было прощанием. Словно пройдя некую точку возврата, я смотрел на Венецию, уже удаляясь от этих каналов, мостов, площадей, этих нагромождений из камня, в которые мерно плескалась вода, этих лаковых клювов гондол, что бесшумно, как призраки, появлялись из-за угла, проплывали и исчезали за поворотом. Может быть, это было прощанием с жизнью, с её миражами, обманами, прелестью и красотой? Я не знаю. Но помню, как больно мне было осознавать нашу с нею – с Венецией? с жизнью? – разлуку. С меня будто сдирали заживо кожу, и на душе оставалась саднящая рана. Все впечатленья последнего часа – и цыганки на розовом мраморе у стены Дворца Дожей, и качавшиеся гондолы у свай, и крылатый лев на колонне, и ступени, сходящие в воды лагуны, и дымка, в которой тонул Сан-Микеле, – всё это запомнилось так, как, наверное, осуждённому на эшафоте запоминаются доски помоста и стоптанные сапоги палача...

Разлука с Венецией стала невыразимо печальна: как будто действительно этот таинственный город меня растворил, уподобил тому миражу, каким он является сам, и на том вапоретто, что вскоре отчалил от пристани, осталась одна лишь моя бестелесная тень...

## IX. В РУКАХ ВЕЧНОСТИ

*Ты как младенец спишь, Равенна,  
У сонной вечности в руках...*

А. Блок

После Венеции надо было хоть немножко прийти в себя. После того, как мы были словно растворены в миражах, отражениях, бликах обманного города, этой русалки, так соблазнительно всплывшей из вод Адриатики, после того,

как душа — как бы это сказать? — растеклась по горизонтали, потеряла границы и ориентиры, надо было восстанавливать вертикаль.

Вот этим-то восстановлением вертикали и стала поездка в Равенну. Истинный символизм, как писал Андрей Белый, совпадает с истинным реализмом; вот и блоковский поэтический символ Равенны — спящий младенец — совершенно естественным образом оказался не где-нибудь — в нашем вагоне. Пухлый ребёнок — кажется, мальчик — посапывал, чмокал, пускал пузыри на коленях у матери; и почти все итальянцы, проходившие мимо, умилялись, склонялись над ним и улыбались толстушке-мамаше, которая радостно и благодарно улыбалась в ответ. Культ младенца в Италии так же естествен, как и культ матери или культ старика, — возможно, ещё и поэтому так блаженна и счастлива итальянская жизнь.

Равенна нас встретила зноем и благостной тишиной — такой непривычной после сутолоки и суеты экскурсионной недели. Стараясь держаться теневой стороны улиц — зной, хоть и майский, уже допекал — мы брели по пустынно-му, в самом деле дремотному, городку. Дрозды, щебетавшие в кронах пиний и лип, были слышней, чем машины; с газонов пахло свежескошенной травой; а синева неба над крышами была столь чиста и пронзительна, что смотреть на неё было как-то даже неловко: словно ты был недостоин такой чистоты.

Справляясь с путеводителем, мы посетили пять главных точек Равенны: четыре базилики и баптистерий. Так уж случилось, что здесь, в этом городке итальянской провинции, сохранилось так много мозаик византийского происхождения, что Равенна стала как бы филиалом Константинополя, напоминанием о той великой цивилизации, которую ограбила и разорила католическая Европа.

Чтобы описать те мозаики, что мерцают под сводами базилик Равенны, надо иметь другое перо и другую — высокую — душу. Но и тогда вряд ли будет возможно выразить словом тот свет, что исходит от них, передать целомудрые лики, гармонию тел и цветов, рассказать о том состоянии благоговения и тишины, в каком пребывали мы, зрители, созерцая — нет, даже не образы, не композиции — созерцая ту вечность, что тихо струилась на нас с куполов Византии.

А если представить, что эти мозаики некогда были всего только частью гармонически-сложного торжества Литургии, что в этих храмах мерцали свечи, дымилась паникадила, басу диакона отвечали раскаты и трели церковного хора, и дароносица возносилась над алтарём, и звучало по-гречески: *ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΝΟΝ* — “Господи, помилуй!” — то понимаешь, что именно вечность хранили в себе и собой выражали православные храмы и службы Равенны. Ощущение вечности, вдруг сгущённой до мига, и мига, который способен заполнить вечность, с гениальной силой выразил русский поэт Осип Мандельштам, строки которого словно бы продолжают рассказ о Равенне.

*Вот дароносица, как солнце золотое,  
Повисла в воздухе — великолепный миг!  
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:  
Взят в руки целый мир, как яблоко простое.*

*Богослужения торжественный зенит,  
Свет круглой храмины под куполом в июле,  
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули  
О луговине той, где время не бежит.*

*И Евхаристия, как вечный полдень, длится,  
Все причащаются, играют и поют,  
И на глазах у всех божественный сосуд  
Неиссякающим веселием струится.*

Дольше всего мы задержались в баптистерии Святого Иоанна — там, где наглядность той вертикали, что соединяет нас с небом, была явлена с ангельской, прямо-таки детской простотой. Наверху, в самом зените — Бог-Вседержитель; на куполе — таинство Крещения Христа, Сына Божия; ниже, по окружности купольного барабана, Святой Дух огненными языками нисхо-

дит к Апостолам и, наконец, сила животворящего Духа спускается и на того, кого омывают в крестильной купели, то есть на человека-христианина. Вертикаль “Бог — Христос — Апостолы — человек” явлена здесь, в баптистерии Сан-Джованни, с такой прямоотой и силой, что отныне уже невозможно не знать: мы — дети Бога и братья во Христе. Вертикаль восстановлена, смерти нет, вечность свершилась над нами. . .

Вот это и есть настоящее возрождение человека — его возрождение в духе. А тот Ренессанс, о котором толкуют нам путеводители и экскурсоводы, — это, сказать откровенно, никакое и не возрождение, это — падение человека. Нужно быть совершенно слепым и нечутким, чтобы, например, в завитушках барокко, порочного папского стиля, видеть якобы некое “достижение” и “совершенство”. Да *разуйте же глаза*, посмотрите, хоть в той же Равенне, чего стоят все “достижения” Ренессанса в сравнении с ясностью, светом и чистой византийской мозаик! Ведь в храмах Равенны как будто нарочно совмещены два искусства: византийское и *возрожденческое*. В одном из приделов — мозаики, яркая смальта которых доселе, спустя столько веков, дышит вечной гармонией, радостью, силой; в остальных частях храма — росписи более поздних эпох: претенциозные, пышные, тусклые, вялые. Не нужно быть искусствоведом, чтоб сделать свой выбор мгновенно, по зову души и велению сердца: конечно же, за Православием — свет истинной веры и вечности, свет красоты. Здесь именно красота выступает критерием Истины; и она здесь иная, чем, скажем, в Венеции. Если там, в этом тающем городе-призраке, ты и сам ощущал, как теряешься, таешь, словно присутствуешь на репетиции собственной смерти, то здесь, в гармонически-ясном, торжественном свете равеннских мозаик, ты как бы рождаешься заново. В тебе прибавляется радости, мужества и доброты; становишься как-то мягче и тверже одновременно; а то, что с тобою здесь происходит, можно назвать репетицией вечности. . .

Наверное, к этому мы, по сути, и ехали, в этом и был метафизический смысл нашего итальянского путешествия. Мы испытали в Равенне примерно такое же чувство, как послы Владимира Крестителя, которые признавались ему, побывав в Византии: “Не знаем, где были мы, на земле или на небе. . .”

И так было странно потом, посетив православные храмы Равенны, брести по булыжникам улиц, поделенным на солнечные и теневые, затем выйти на Пьяцца дель Попполо, Народную площадь, и посмотреть на башенные часы. Их ажурные стрелки, заколдовав-заморочив самих себя, пытались внушить нам представление о времени, наивно не понимая, что никакого времени не существует, а есть только сгущения и разрежения вечности, есть её вдохи и выдохи, её зыбко-прозрачные воды, сквозь которые, как драгоценности на мелководье, мерцают и светятся мозаики истинной веры. . .

## X. DOLCE ITALIA

*Что устрицы? Пришли? — о, радость!  
И мчится ветреная младость  
Глотать из раковин морских  
Затворниц жирных и живых,  
Слегка обрызнутых лимоном...*

А. Пушкин

На Римини можно смотреть с разных точек зрения и, соответственно, по-разному его описывать. С одной стороны, это город Феллини — именно его фотографии встречают всех приземлившихся в аэропорту, который носит его имя. Здесь улицы названы в честь его фильмов, здесь есть музей мастера и парк Феллини — здесь царит настоящий культ этого великого мастера.

С другой стороны, Римини — самый русский город в Италии. Родная речь слышится здесь на каждом шагу, в ресторанах — меню на русском языке, в аэропорту, среди множества национальных флагов, развевающихся на флагштоках, наш флаг занимает почётное третье место: после итальянского и британского. Это при том, что в других городах Италии нашего *триколора* не сыскать днём с огнём.

Римини знаменит и своими античными памятниками. Так, мост Тиберия, возраст которого равен двум тысячам лет, — самый старый из действующих

мостов мира. Мягкая мощь пяти его арок, симметрично отражённых в зеленоватой воде, чем-то напоминает усталого льва: постаревшего, грузного, полуслеплого, но всё-таки льва, не забывшего о своей былой силе и своём имперском происхождении. А на другом конце улицы, проходящей от моста Тиберия через центр Старого города, – арка императора Августа. Её воздвигли в честь завершения строительства Фламиниевой дороги, соединившей Римини с Римом. Как-то случилось мне завтракать, сидя напротив этой арки, разложив еду на скамейке под пинией. Отхлёбывая вино из бутылки, закусывая моцареллой и норчинским окороком, я старался представить себя постаревшим легионером, который вот так же, сидя в тени, запивает вином сыр и хлеб и смотрит на эту тяжёлую арку, смысл которой лишь в том, чтобы напоминать всем и каждому о величии и несокрушимости Рима. Оказалось, однако, что арка Августа на полторы тысячи лет пережила империю, о величии которой так убедительно напоминала публике. Интересно, думал ли тот захмелевший легионер, которого я себе воображал, что арки, колонны и обелиски окажутся долговечней империи, и что любое подобное сооружение есть, по сути, надгробье, которое эпоха устанавливает самой себе?

Ещё Римини – самый демократичный (то есть дешёвый) итальянский курорт. Как пишут в путеводителях, отдыхающих привлекает, прежде всего, “бурная ночная жизнь города”. Это значит, что здесь очень много борделей и проституток. И действительно: даже в мае, до начала сезона, главную улицу городка, километров на пятнадцать растянувшегося вдоль побережья, с наступлением темноты патрулируют жрицы любви.

Но это так, к слову. Я хотел написать о другом: о кулинарных, столь памятных мне, впечатлениях от Римини. Начну с рассуждения. Каждый народ несёт своё собственное, формировавшееся столетиями, определение родины, в котором он выражает её образ и суть. Так, француз скажет: “прекрасная Франция” – выражая тем самым своё отношение к ней, как к возлюбленной, как к желанной и полной очарования женщине. Для англичанина родина – “старая добрая Англия”, то есть мать, хранящая всё богатство традиций, семейных привычек, уклада и быта. Для русского образ родины – это “Святая Русь”, то есть мечта о просветлении той неприглядной реальности, в которой мы с вами живём, но которую всё же надеемся, с Божьей помощью, преодолеть, возлюбить и спасти.

А вот итальянцы обращаются к родине: “Dolce Italia”. То есть для них важнее всего вкусовое восприятие родины: их Италия – сладкая!

Поэтому и разговор о еде здесь, в Италии, имеет совершенно иное значение, чем в других странах; здесь это не просто досужая болтовня, но способ постижения национальной идентичности, понимания ее сердца – читай, желудка. То, что желудок и сердце у итальянца расположены так близко друг к другу, они признают и сами – такими их создал Господь. Они, с нашей точки зрения, язычники ещё и в этом смысле: то есть люди, поклоняющиеся языку как органу вкуса.

Кулинарные впечатления Римини начинаются с местного рынка. Здесь всё гудит, гомонит, оживлённо и радостно спорит, кажется, век бы не покидал этой упоительной толчеи, этого праздника быта, в котором, при всей его возбуждённости, так много радостного покоя. Ни в одном из музеев Италии так не почувствовать духа страны, как на субботнем галдящем и суетном рынке. Именно здесь понимаешь, сколь бледно, условно и приблизительно то, что нам предлагает искусство, по сравнению с этим кипением эмоций и буйством цветов, с поющими переливами речи и пляской жестикюляции, с этим хохотом, руганью, блеском в глазах – со всем, словом, тем, что называется “итальянская жизнь”.

Вдоль рыбных, к примеру, рядов проходишь буквально с открытым от восхищения ртом. Колотый лёд за витринными стёклами серебристо мерцает; а на крошечке льда разложены угри и форели, тунцы и лососи, и ещё незнакомые, странные рыбы невиданных форм и цветов.

Здесь же великое множество прочих обитателей моря. Вот “полипо”, то есть осьминоги, чьи сиренево-зеленоватые щупальца с рядами нежнейших присосок почему-то наводят на мысли об инопланетянах. Вот вялые бурые каракатицы: из их чёрно-лиловых чернил готовят соус к спагетти. Вот груды кальмаров, от крошечных, как паучки, до увесистых и мускулистых, напоминающих по форме сердце.

А это что, интересно, за бурые камни? Бесформенно-грубые, в нитях водорослей, они словно бы по ошибке попали в съестные ряды. Ба, да это же устрицы, деликатес из деликатесов, да ещё, как говорят, способствующий мужской силе! Не знаю уж, как насчёт силы, но выглядят они, в самом деле, внушительно.

Вообще, моллюсков здесь в Римини, продают и съедают великое множество. Местные жители ходят здесь за ними на побережье, как мы с вами в лес по грибы. Выходя утром купаться, я всякий раз встречал пожилых итальянок, неспешно бредущих вдоль моря и ковыряющих палками влажный песок: так они собирают съедобные ракушки.

Некоторые из моллюсков так нарядно-изысканны, что напоминают ювелирные украшения. Таковы, например, бело-розовые гребешки: именно на такой вот фестончатой раковине плывёт Венера у Боттичелли. Да и сам моллюск бело-розовый, очень красивый; на вкус же он – нечто среднее между рыбой и курицей.

На другой день, ближе к вечеру, мы посетили театр рыбного ресторана. Это был именно театр, то есть представление, в котором мы являлись и зрителями, и участниками одновременно. Официант, брутального вида мужчина со шрамом на левой щеке, – он напоминал мафиози средней руки – обсуждал со мною меню вполголоса, с таким скорбным, серьёзным лицом заговорщика, словно речь шла о плане свержения власти в стране. Вино, которое выбрал я, он решительно забраковал. “*No, signor, no!*” – трагически морщился он, словно мой выбор причинял ему нестерпимую боль. – Что до меня, я бы выбрал вот это... Но он указал на тосканское белое урожая 2005 года; я согласился; официант вытер со лба пот с таким облегчением, словно мы с ним только что избежали опасности, грозившей разрушить наш заговор.

Мы заказали: полдюжины гребешков, рыбу на гриле, тигровых креветок под солью и, наконец, – гулять, так гулять! – диковинного для нас омара. Ужин шёл своим чередом – вино оказалось и впрямь неплохим, рыба – отличной, креветки чуть суховаты, но когда в зал ресторана внесли поднос со сверкавшими хирургическими инструментами, я понял, что с омаром, кажется, я погорячился. Не имея понятия, зачем в ресторане нужны рёберные кусачки Листона, я выглядел, должно быть, растерянным. Недаром и наш официант-мафиози, и его молодые приятели поглядывали на меня с любопытством и плохо скрытой насмешкой: дескать, сейчас позабудемся, наблюдая, как этот русский будет мучиться с нашим омаром! Может, так и оставит его неразделанным? То-то будет потеха...

Скоро внесли и этого жуткого зверя-омара: его глазки смотрели колюче и зло, огромные бородавчатые клешни торчали угрожающе, усы в локоть длиною, покачиваясь, свисали с овального блюда – это бронированное страшное лицо напоминало дракона, который вот-вот оживёт и тогда непременно нас всех растерзает. Официант грохнул на стол тяжеленное блюдо – аж зазвенела посуда! – и сколил на меня издевательский глаз: ну, что ж, дескать – воюй!

Отступать было некуда. Я вздохнул, взял тяжёлые, холодившие руку, кусачки – и ринулся в битву. Осколки толстого панциря полетели во все стороны – один из них ударил мне в грудь, другой в потолок, а третий, кажется, угодил в лоб стоявшему за моей спиной официанту. Тот застонал, отшатнулся – его молодые товарищи захохотали, – но я, не обращая внимания на неизбежные в воинском деле потери, продолжал сокрушать упорно сопротивлявшегося дракона. Компания официантов, похоже, была разочарована: эти парни явно ждали иного исхода. Но откуда же им было знать, что мой хирургический стаж – двадцать шесть лет, и что русских омаром не испугаешь?

Минут через восемь всё было кончено. Стол был усеян осколками панциря и забрызган масляным соусом, я отирал салфеткой лицо и руки, а официант-мафиози, склонившись ко мне, уважительно прохрипел почему-то по-английски: “*It was beautiful...*” – “Это было великолепно...”

Вы, может быть, спросите: вкусен ли был этот самый омар? Но вкуса его я почти не запомнил: уж очень непросто достались мне эти комочки белого мяса. Но точно помню, что после битвы с омаром я вышел из ресторана голодный и протрезвевший, с пустым кошельком и с чувством недоумения: зачем мы вообще сюда заходили? Ради, разве что, шоу – которое, правду сказать, удалось.

## XI. РОДИНА ГЕНИЯ

*Средь множества картин старинных мастеров  
Одной картины я желал быть вечно зритель...*

А. Пушкин

Едем в Урбино, на родину Рафаэля. Если считать, что гений особенно полно и глубоко выражает образ страны, несёт в себе тайну народа, и соглашаться, что Рафаэль — величайший живописец Италии, страны живописцев, то и в Урбино отправишься с чувством необыкновенным. Когда узнаешь что-то о месте, где человек родился и провёл детство, то узнаешь важное, — может быть, главное — и о самом человеке. В случае с Рафаэлем, первым художником всех времён и народов, ожидаешь узнать что-то важное и об Италии, о стране, чья душа заговорила через его вдохновенную кисть.

Интересно, что, думая о Рафаэле, почти всегда видишь внутренним взором и двух его, так сказать, братьев: Моцарта и Пушкина\*. То есть в каждом из основных искусств — живописи, музыке и литературе — есть гений непревзойдённый, тот, кто собой выражает искусство как таковое, в его самом чистом, возвышенном, радостном виде.

Эти трое — всегда на вершине Олимпа; и если увидишь, услышишь или прочтёшь одного, то сразу почувствуешь рядом и двух других. А уж то, что сроки земной жизни гениев оказались почти одинаковы, объединяет их в некое братство бессмертных, союз “сыновей гармонии”.

И поэтому по дороге в Урбино, пока наш автобус, петляя, забирался всё глубже в холмы, то бело-розовые, то алые от цветущих каштанов, акаций и маков, в ушах непрерывно звучала Сороковая симфония Моцарта; вспоминался и Пушкин — то из него, что созвучней всего итальянским мотивам. К примеру, вот это, “Из Пиндемонти”:

*По прихоти своей скитаться здесь и там,  
Дивясь божественным природы красотам,  
И пред созданьями искусств и вдохновенья  
Трепеща радостно в восторгах изумленья...*

Впрочем, Пушкина можно цитировать целиком и подряд, — он всегда будет созвучен всему, что есть в мире прекрасного. А что-либо прекраснее этой дороги, мягко взлетающей между холмами Марке — да ещё в мае месяце! — право, трудно себе даже вообразить. Если есть рай — а, наверное, всё-таки есть, раз мы так часто и вспоминаем о нём, мечтаем о нём, — то в нём не может не быть этих вот итальянских холмов, на чью свежую зелень там и сям положены бело-розовые мазки, этих плотных, как бы нарисованных на синеве, облаков, и этих прямых, расходящихся с неба, лучей, на которые, кажется, опирается солнце, — лучей, как бы тоже сошедших с картин рафаэлевской школы.

То есть пейзаж, открывавшийся нам в разных ракурсах с поворотов дороги, словно бы непрерывно цитировал живопись — в том числе, и Рафаэля; он пытался (и, прямо скажем, с немалой сноровкой и мастерством) как бы строить себя по подобию гениальных его картин. Впервые я видел, что не живопись подражает природе, а, напротив, пейзаж подражает картинам, старается стать столь же лёгким и просветлённым, как и тот идеал, что возник перед внутренним взором художника.

И тот городок, что лепился вон там, впереди, к скалистым обрывам горы, — городок, чьи желтовато-песочные стены и черепичные крыши перемешались густой зеленью каштанов и лип, — городок этот словно был нарисован на склоне холма. Маленький, ладный, какой-то игрушечный, так и хотелось взять его на ладонь... Урбино казался не то декорацией к сказке, не то воплощённым сном. “Неужели, — подумалось мне, — там просто живут люди, а не какие-нибудь эльфы или гномы?”

\* Разумеется, так видит великую трицу гениев русский; немец назвал бы третьим Гёте, англичанин — Шекспира, итальянец, скорей всего, — Данте.

Оказалось, что жили там, большей частью, студенты: Урбино знаменит своим университетом. Когда мы поднимались от городских ворот по крутым улицам-лестницам, останавливаясь, чтобы сделать очередной фотоснимок, который, конечно, не передаст ни вот этого нежного воздуха, полного запахов кофе и утренней выпечки, ни таинственной глубины перспективы, в которой тонул многоярусный горизонт, ни толчков напряженного сердца, ни наших частых, взволнованных вдохов и выдохов, ни стука подошв по камням, ни томления от невозможности выразить или хотя бы запомнить всё то, что ты видишь и чувствуешь, — так вот, когда мы поднимались к Палаццо Дукале, навстречу шагали, смеясь и болтая, десятки студентов, искавших, где бы им перекусить в перерыве между лекциями. Много было студенток, и очень хорошеньких. У меня уже ныло в груди: даже не столько от напряженья подъёма и дивных видов Урбино, сколько от этих блестящих, смеющихся глаз на святых юностью лицах. Вместо того чтобы встретиться в Урбино что-нибудь древнее, чинно-музейное, — старинные камни, картины и фрески, благоговейную память о Рафаэле — я встретил здесь живую, беспечную молодость.

И я узнавал свет, надежды, томление собственной юности, что осталась в далёком Смоленске, в этих лицах, глазах, голосах, что меня окружали в Урбино. Неужели, действительно, молодость вечна, лишь переходит из души в душу или из эпохи в эпоху? Я как-то сразу и вспоминал себя, молодого — и вообразил себя здешним, урбинским студентом. Воспоминание, соединившись с мечтой, обрело неожиданно-достоверную силу, получило весомость реальности. И вот мне уже не пятьдесят, а всего только двадцать, мой шаг стал упругим, взгляд жадным — и я, как когда-то, одновременно застенчив и нагл в обращении с девушками, с теми, кто так безраздельно сейчас занимается и душу, и ум, и мечты молодого студента. . .

Если бы мы, наконец, не подошли к дворцу герцога Монтефельтро, то я, может быть, потерялся бы в собственных грёзах и поныне блуждал бы в декорациях сна наяву, где переулки Смоленска смешались с улицами Урбино, где прошлое стало вдруг явью, а явь стала грёзой. . .

Но реальность ревнива: она ничего не желает отдать, никого — отпустить, и всех, кто пока ещё жив, возвращает к себе. Вот поэтому мы и бредём сейчас гулками залами герцогского дворца. Здесь зябко и пусто; душа отдыхает лишь около окон, в которых сквозит небесная синева, зелень дальних холмов и у которых мы, узники, заточённые в цепи реальности, чувствуем дыханье свободы и рая.

Вы спросите: как же картины? Но в том-то и дело, что живопись Ренессанса, в её подавляющем большинстве, меня оставляла почти всегда равнодушным. Я лишь удивлялся тому, что столько людей, слывающих ценителями и знатоками, из поколения в поколение восхищаются аляповатой, серийной, ремесленной живописью Возрождения. Современники этих всех мастеров, основателей школ и носителей громких имён, относились к ним, кажется, более трезво: как известно, живопись в средневековой Италии была делом малопочтенным. У художников не было даже собственной гильдии: они входили, как низшие и подчинённые — как своего рода внебрачные дети, бастарды — в гильдию врачей и аптекарей.

Но это всё, разумеется, не относится к Рафаэлю, бесспорному гению. Здесь, в залах дворца Монтефельтро, мы увидели всего лишь один женский портрет его кисти, но этот портрет, на мой взгляд, куда лучше знаменитой “Джоконды” да Винчи с её леденяще-холодной змеиной усмешкой. Рафаэль написал лицо молодой грустной женщины (не Форнарины, но тоже красавицы), смотреть на которое хочется бесконечно. Самой живописи — то есть мазков, композиции, света и перспективы — как-то и не замечаешь; и даже не очень-то пристально смотришь и на само это нежное, грустное, глядящее в сторону лицо, но зато с болью и радостью чувствуешь: Боже мой, как печальна и как хороша вся эта странная, сну подобная, жизнь. . .

Эта картина, единственная из всех, тоже была как бы неким окном, возле которого тяжесть реальности не так уж сильно давила, — окном, из которого к нам доносилось дыханье иного, не омрачённого смертью и временем мира.

Замок герцога расположен почти на вершине всего городка; пересекая Урбино по булыжным его мостовым, мы уже не поднимались — спускались. Студентов на улицах не убывало. Похоже, они здесь и вовсе не учатся, а только и бродят из улицы в улицу, гомоня на певучем своём итальянском да кусая



на ходу огромные пиццы. Вид жующих студентов напомнил: пора бы и нам где-нибудь перекусить. В первом же подвернувшемся по пути магазинчике взял вино и п्याдину — лепёшку с начинкой из сыра и ветчины.

Стали думать: куда бы присесть? И тут снова сработал “закон итальянской скамейки”. В Италии, стоит только подумать: “Эх, хорошо бы присесть да полюбоваться этими видами!” — как тут же подворачивается скамейка, словно кто-то невидимый носит её за тобой и мгновенно устанавливает там, где нужно.

С той скамьи, на которую мы уселись в Урбино, открывались волшебные дали. Горизонт таял в нежно-палевой дымке; волны холмов, расстилаясь пред нами, показывали все оттенки зелёного цвета, от бледно-салатового до почти чёрного, а тени от облаков так легко, невесомо скользили по склонам, что всё — и холмы, и дороги, и черепичные крыши домов — обретало такую же, почти невесомую лёгкость. Казалось, что это не столько реальный пейзаж, сколько чья-то мечта или сон. Очередная проплывшая над нами тучка сбросила несколько капель дождя; но он был так скоротечен и робок, словно это был не дождь, а только сон о дожде. “Из снов составлена и сном окружена вся наша маленькая жизнь...” — писал Шекспир в “Буре”; если так, то и сон, что нам снился в Урбино, был поистине райским...

## ХII. ВОЗВРАЩЕНИЕ

*Путь зело прискорбен и труден...*

Из отчёта стольника П. Толстого  
о путешествии в Италию

Как выражался кумир нашей юности Хемингуэй, я не написал ещё очень о многом. Не написал о прогулках вдоль моря и о футболе, без которого не представить себе современную Италию, как Древний Рим не представить без боёв гладиаторов. Не написал о фонтане Треви под дождём и о болгарской церкви напротив — той, в которой мы пережидали ненастье. Не написал о скутерах в Риме, ревущих так, словно уже наступил Судный День, и о поющих кондукторах, продавцах, официантах. Не написал о спагетти и о брускетте, о граппе и о лимончелле — вообще о том культе застолья, с которым в Италии можно сравнить только культ Девы Марии.

Да мало ли! Обо всём, разумеется, не написать; тем более что Италия — это нечто настолько разнообразное, ускользающее от определений и формул, что попытки её описать — то есть закрепить на бумаге живую, подвижную жизнь — заранее обречены на неудачу.

К тому же, мы знаем несколько разных Италий. Одно дело — античный Рим, с его дорогами и правопорядком, с чеканной латынью, словно специально созданной для военных приказов и афоризмов, с его терминами и гладиаторскими боями, с пирами Лукулла, с жестоким развратом Калигулы или Нерона, с горестной мудростью Марка Аврелия...

Другое дело — Италия Возрождения, рассыпанная на города-государства, непрерывно враждующие между собой, то почти вымирающие во время чумных эпидемий, то вновь оживающие благодаря торговле и ростовщичеству, Италия развратнейших пап, признаваемых, тем не менее, “непогрешимыми”, — и художников, чьи творения до сих пор подкармливают страну: весь мир стремится сюда, чтобы, так сказать, *приобщиться к прекрасному*.

А есть Италия современная, поделённая на двадцать областей, каждая из которых отличается своим диалектом и кухней, природой, традициями и экономикой. Все эти Италии очень различны. Современный певучий и мягкий итальянский язык так же мало похож на суровую бронзу латыни, как нынешний итальянец-красавчик в модных тёмных очках, белоснежной рубашке и шарфике мало похож на римского легионера, затянутого в кожу и закованного в латы.

Да и в итальянском характере немало противоречий. Так, итальянцы порывисты, шумны, активны — при поразительной нелюбви к переменам. Похоже, для них что-нибудь предпринять — мука мученическая; итальянец готов на любые усилия и любую активность, лишь бы ничего — ну, совсем ничего! — не менялось.

Примеров “пламенного бездействия” итальянцев не счесть. Вспомню лишь случай, произошедший с моим сыном Дмитрием. Он, тогда студент-медик, путешествовал по Италии на электричках в компании таких же смоленских студентов. На одной из станций парень по имени Саша отстал — и Димке ничего не оставалось, как рвануть ручку стоп-крана. Тормоза зашипели, поезд остановился, и очень скоро в вагоне появился кондуктор с двумя дюжими карабинерами. Крича, жестикулируя и ругаясь на чём свет стоит — “Mamma mia!” и “Santa Maria!” звучали почти в каждой фразе, — трое итальянцев наперебой объясняли русскому парню (продолжающему удерживать рычаг стоп-крана), что он-де преступник, он создаёт аварийную ситуацию на дороге, и что его ждут страшные кары, как земные, так и небесные. Но Дмитрий уже видел Сашу, бегущего по перрону, и поэтому держал стоп-кран до последнего: русские своих не бросают.

И вот что поразительно: трое здоровых мужчин, остервенело ругаясь, махая руками, исходя, так сказать, праведным гневом, даже пальцем не прикоснулись к юноше, действительно создающему аварийную ситуацию на железной дороге! Да схвати они парня за шиворот, оторви от стоп-крана и пинками вытолкай из вагона — кто бы сказал, что они поступают неправильно? Но итальянцы не сделали ничего подобного; и это при том, что энергии на возмущенье и крики потратили столько, что этими силами вполне можно было бы, например, штурмовать небольшой городок.

Вообще, я испытываю к жителям Апеннин странное, двойственное чувство: я ими искренне восхищаюсь, я их даже люблю, но никогда, ни за что на свете я не хотел бы быть итальянцем. Мне всё кажется, что прожить жизнь так, как её проживают в Италии — значит, прожить её, хоть и с большим удовольствием, но совершенно впустую.

Нет нужды говорить, что всё это лично моё, субъективное мнение; но пребывание в Италии среди самоуверенных итальянцев научило меня уважать своё мнение больше, чем это было доселе.

И ещё: моё отношение к Италии чем-то похоже на отношение к женщине. Эта страна и сама, словно женщина: очень красивая, манкая, часто кокетливо-лживая, бесконечно играющая некую театрально-декоративную роль. И меня к ней, естественно, тянет; но я — повторяю — никогда, ни за что бы не согласился сам стать итальянцем.

Но с другой стороны, полюбив и прочувствовав райскую эту страну, я в чём-то, наверное, “обитальянился” (уж простите мне этот уродливый термин). Так, я стал больше ценить досуг; безделье, столь тягостное недавно — итальянцы называют его *dolce fare niente* — повернулось ко мне самой сладкой своей стороной, лишённой мук совести или томления скуки.

Да что там: даже и эти заметки, которые я только что перечитал, написаны словно бы итальянцем. В них слишком много слов, в них избыток эмоций и даже, отчасти, кокетства, в них многовато пустой трескотни, но я не хочу вычищать итальянский “налёт” в своём тексте. Пусть остаётся — как память об этой стране и о том, как я её полюбил. Ведь мы, русские, тем и особенны, что переимчивы, чутки, отзывчивы; любой звук или мысль, прозвучавшие где-то, уже звучат словно о нас и для нас; “нам внятно всё”, как писал Блок.

Размышляя об этом, я даже понял, почему мы — единственный в мире народ, обозначающий свою национальную принадлежность не существительным — как “немец”, “француз”, “англичанин”, а прилагательным: “русский”. Дело в том, что наше-то существование, наша суть — это человек как таковой, вообще человек. Суть русских всемирна, вот именно — по Достоевскому — *всечеловечна*. Если сущность любого иного народа как бы частична, не столь широка (и может быть выражена частичным понятием “немец”, “испанец”), то русская сущность — всеобща. Русский — прежде всего человек, и только потом уже — русский.

Это простое соображение объясняет многое и в нас самих, и в наших, таких драматических, отношениях с миром. Чужое, то есть *всечеловеческое*, нам часто дороже и ближе, чем собственное своё; потому что мы это чужое воспринимаем глубинно-своим. Нас, русских, не защищает национальная маска — она же броня! — мы открыты для всех, беззащитны пред всеми; нам так трудно держаться шаблона, традиции, жеста, национальной привычки, потому что всего этого — жеста, привычки, шаблона — у нас нет по определению, по причине глубинной *всечеловечности* русских.

И, конечно, нет тяжелее ноши, чем та, что ложится на русских: чем эта обязанность быть человеком для всех, чем это призвание и долг ощущать всех как самих себя, и себя — как бы всеми иными. Мудрено ли, что мы так часто падаем или ломаемся под непомерною тяжестью этой всечеловеческой ноши?

Надо было, конечно, съездить в Италию, чтобы это почувствовать и осознать. Выходит, я съездил сюда, к итальянцам, на встречу с самим собой; и постольку, поскольку отчасти я стал итальянцем, я стал ещё более русским.

Возвращались же мы как раз в День Победы. Было пасмурно, но тепло, всё вокруг зеленело, и чувство радости от возвращения, от того, что вокруг звучит русская речь, было смешано с грустью от расставания с Италией. Я думал: конечно, Италия — лучшая из возможных реальностей, воплотившихся в нашем земном бытии; но в том-то и дело, что с одной лишь реальностью наше сердце упорно не хочет мириться. Жизнь — это жизнь, как она нам дана, плюс ещё что-то, чего в жизни нет; и как раз это неуловимое что-то и составляет ту сердцевину всего бытия, без которой всё остальное рассыплется в мусор и прах. Найти это что-то в Италии мы не сумели; больше того: нам показалось, что именно там, в этой райской, счастливой стране шансы на обретение этой неуловимой *присадки* к реальности ничтожно малы. Там, где люди так счастливы, так довольны собой и окружающим, — там незачем ни томиться в бесплодной тоске, ни ломать свою жизнь ради жизни иной, непонятной и призрачной, вечно недостижимой...

Ничего, не беда: попытаемся, как мы пытались и раньше, найти это неуловимое что-то дома, в России. “Что ж, опять надо жить”, — думал я, глядя на плавно плывущие мимо поля, перелески, куртины цветущих черёмух, глядя на подмосковный, неяркий, до боли знакомый пейзаж. И было у меня такое чувство, что мы возвращаемся из игрушечной, праздничной жизни, из какого-то пёстрого, яркого, шумного театра — в настоящую, трудную, русскую жизнь...

АЛЕКСАНДР ВОДОЛАГИН

## БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД В ВОЙНЕ МИРОВОЗЗРЕНИЙ

*Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?  
Ты должен слышать нас, мы это знаем...*

Константин Симонов  
ноябрь 1941

В своих застольных разговорах в 1941–1942 годах в “Волчьем логове” Гитлер любил предаваться историческим экскурсам и импровизациям по поводу сформулированной им ещё в 1925 году в “Mein Kampf” идеи освоения восточных пространств, которые, по его замыслу, должны были стать провинциями Третьего рейха. При этом он призывал своих соратников и единомышленников помнить “все уроки истории”, особенно те, которые немецкие войска получили при заселении “русского пространства”. Гитлер имел в виду отнюдь не колонизацию Советской России и насаждение системы управления миллионами “с помощью небольшой кучки людей” — на английский манер в Индии. Речь шла о “расовой войне” и переселении “имперских крестьян” на территории, очищенные от неполноценных, с точки зрения “расово-национальной политической историософии”<sup>1</sup>, славян, не способных к “онемечиванию”. Какое-то послабление допускалась лишь по отношению к народам азиатской части СССР: “Но при одном условии: господами будем мы, — говорил Гитлер. — В случае мятежа нам достаточно будет сбросить пару бомб на их города, и дело сделано. А раз в год проведем группу киргизов по столице рейха, чтобы они прониклись сознанием мощи и величия её архитектурных памятников”<sup>2</sup>. Гитлер рассчитывал на то, что с началом германского вторжения в нашу страну резко усилятся “разъединяющие тенденции в русском пространстве”, обострятся межнациональные противоречия между “объединенными в СССР народами”, что быстро приведет к распаду союзного государства на множество мнимо самостоятельных образований, которые и войдут в состав Третьего рейха. В частности, в своей геополитической игре Гитлер делал ставку на Кавказ и некоторые склонные к сепаратизму населяющие его народы. “Кавказ играет в наших разработках особую роль уже потому, что он будет снабжать нас нефтью”, — говорил Гитлер 9 мая 1942 года, то есть накануне летней кампании, закончившейся для нацистской Германии Сталинградской катастрофой. Экономический мотив, склонивший фюрера в 1942 году к выбору южного (кавказского) направления главного удара, понятен<sup>3</sup>. А вот для того, чтобы

---

*ВОДОЛАГИН Александр Валерьевич, доктор философ. наук, профессор. Член Союза писателей России. Автор книг “Онтология политической воли” (1992), “Четвертая печать. Эскизы к феноменологии русского духа” (в соавт. 1993), “Метафизическая ось евразийства” (в соавт. 1994), “Метафизика воли” (2012), сборника рассказов “Оливема” (2000), романа “Ворох, или играющий с огнём” (2010 — Литературная премия имени Н. В. Гоголя).*

уяснить, что помимо экономических соображений побудило его одновременно бросить значительные силы вермахта на Сталинград, нужно принять во внимание его *мировоззренческие установки*<sup>4</sup>.

Очевидно, что в противостоянии “расово-национально-политическому мировоззрению” Третьего рейха идеология русского национализма (даже в той или иной форме панславизма) не могла быть эффективной, как и идеология “пролетарского интернационализма”, гласящая, что рабочие якобы “не имеют отечества”. Ни “русская идея”, ни тем более коммунистическая утопия в её космополитическом толковании не смогли бы стать силой, объединяющей и мобилизующей народы России-Евразии на борьбу с Западом, осуществившим в 1941–1942 годах свой самый энергичный за последнее тысячелетие *натиск на Восток*. Такой идеей-силой стала архетипическая фигура коллективного сознания евразийских масс – *Великая Мать*, зовущая своих детей на защиту Отечества, дарующая им бесстрашие перед смертью и понимание высшего смысла жертвенного служения России. Впечатляющим скульптурным воплощением упомянутой центральной мобилизующей идеи советского народа – этого мощного российско-евразийского суперэтноса – стал памятник, воздвигнутый на Мамаевом кургане в 1967 году<sup>5</sup>. Солнечный образ женщины-воительницы, ведущей в бой народы *Великой Скифии*, затмил и свёл на нет ничего не говорившие русской душе пропагандистские “измы”. Командарм В. И. Чуйков, бойцы которого показали немцам на деле, что такое *ад*, включил в свои мемуары воззвание Городского комитета обороны, ставшего “боевым органом Военного совета Сталинградского фронта”<sup>6</sup>. Привожу фрагмент этого предельно конкретного обращения:

“Сталинградцы! Не отдадим родного города на поругание немцам. Встанем все как один на защиту любимого города, родного дома, родной семьи. Покроем все улицы непроходимыми баррикадами. Сделаем каждый дом, каждый квартал, каждую улицу неприступной крепостью. Выходите все на строительство баррикад. Баррикадируйте каждую улицу. В грозном 1918 году наши отцы отстояли Царицын. Отстоим и мы в 1942 году Краснознаменный Сталинград!”<sup>7</sup> Поразительно, что все эти установки были буквально реализованы защитниками Сталинграда, использовавшими шокировавшую немцев тактику ближнего боя. В. И. Чуйков ссылаясь на воспоминания полковника 6-й армии Паулюса: “Советские войска сражались за каждую пядь земли... Соединения Красной армии контратакуют, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество... Население взялось за оружие. На поле битвы лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рулём разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не видели...”<sup>8</sup> Таким образом, натиску гитлеровцев противостояли и *живые, и мертвые*, как писал Константин Симонов. В первые месяцы Сталинградской битвы подавляющему превосходству противника в живой силе и технике мы противопоставили сверхчеловеческое бесстрашие и стойкость. Одна наша дивизия сдерживала наступление пяти вражеских дивизий, рвавшихся к Тракторному заводу. Снайперы Чуйкова ликвидировали сотни гитлеровцев. Испытанное тогда немцами потрясение передалось французам и англосаксам, снявшим художественный фильм о противоборстве снайпера Василия Зайцева и сверхснайпера Хейнца Хорвальда, присланного из Берлина по указанию Гитлера (Жан-Жак Анно, “Враг у ворот”, 2001). Массовый героизм – необходимое, но недостаточное условие победы в большой войне. Подвиги русских солдат и офицеров в Крымской войне, в русско-японской войне, в Первой мировой войне не спасли Россию от поражений, так как слишком много гнили накопилось в правящем слое, а монарх утратил понимание сути и смысла исторического бытия России – *Третьего Рима*. Сталин как самый выдающийся политик XX века (что признавалось, между прочим, Черчиллем, Рузвельтом и де Голлем) своевременно отказался *на деле* от марксистской эсхатологии<sup>9</sup> и ещё до начала Второй мировой войны начал действовать как правоверный евразиец<sup>10</sup>, *Правитель красных земель, Отец народов*. Конструируемая им **пирамидальная система власти** практически не имела ничего общего с ленинско-бухаринской моделью *диктатуры пролетариата*. То была поистине **народная монархия** (используем термин И. Л. Солоневича) – **волюнтаристская форма организации этнического хаоса России-Евразии**<sup>11</sup>, противостоящей насильственной вестернизации, стре-

мившейся сохранить свою континентальную целостность и культурное своеобразие в условиях навязываемого извне “нового порядка”. Устойчивость сконструированной Системы была обусловлена её укоренённостью в “коллективном бессознательном” российско-евразийских масс, которые издавна грезили об установлении справедливого социального порядка, исключавшего существование какого-либо паразитарного, не участвующего в Общем Деле слоя, живущего для себя, а также – безотказно действующим механизмом подбора политической элиты, объединённой в боевую организацию типа военно-религиозного ордена. У вершины пирамиды, таким образом, собирались действительно лучшие люди России – её безупречные стражи, люди, созданные, по словам Михаила Шолохова, из негнувшейся стали. Носители же так называемого “вождедующего самосознания”, в частности, индивиды с воровской психологией торгашей, в принципе не допускались в правящий слой, а если и просачивались туда случайно, то быстро элиминировались из него. Подобно Древнему Риму, Советская Россия существовала и развивалась благодаря тому, что была организована как единый военный лагерь, что, безусловно, отвечало вызовам Железного века. Возможность возникновения и самоорганизации пятой колонны подавлялась в зародыше органами НКВД. Сталинские железные секретари обкомов имели высокий статус и в военной иерархии. Без военизированной партии, способной осуществить тотальную мобилизацию многонародной нации, страна была бы захвачена и расчленена в молниеносной войне – под знаком разрушителя границ Барбароссы. Отбросив идею и практику Третьего Коминтерна, Сталин, как никто другой до него, способствовал реализации идеи Третьего Рима<sup>12</sup>, правда, в виде безбожной теократии.

Евразийскую подоплёку государственного строительства в СССР и сталинской геополитической стратегии отчасти сознавал серый кардинал Третьего Рейха, оккультный наставник Гитлера Карл Хаусхофер<sup>13</sup>, разработавший еще в 1920-х годах “грандиозное биогеографическое пограничное мировоззрение”, в рамках которого граница истолковывалась как “зона боевых действий, как трёхмерное пространство борьбы”, а германский натиск на Восток представлялся естественным поведением “великого народа Земли, больше всех сдавленного пространством в своём свободном развитии” и, в отличие от других народов, обладающего “более свободным восприятием границы”<sup>14</sup>. Скептическое отношение к предубеждению относительно святости государственных границ подкреплялось в его работах ссылками на пограничную практику “первопроходцев всемирной истории”: Александра Македонского, Юлия Цезаря, Карла Великого, Фридриха Барбароссы. В свете разработанной им геополитической концепции единственным серьёзным препятствием на пути исторически обделенного народа, разрушающего границы в своей борьбе за выживание и “освоение восточных пространств”, могла стать Россия, обретающая “жизненную форму отечества” для всех без исключения этносов Северной и Восточной Евразии, спешно реконструируемая Сталиным в качестве евразийской сверхдержавы, возобновившая характерную для империй политическую практику “делания границ”. Видимо, не без помощи Хаусхофера Гитлер разглядел в “хитром кавказце” Сталине своего главного соперника в борьбе за контроль над евразийской “осью истории”, а значит, и за мировое господство<sup>15</sup>. Война против СССР, помимо всего прочего, имела для фюрера смысл личного соперничества с Правителем красных земель. Может быть, поэтому и захват Красного Царицына – Сталинграда, этой “тайной столицы” России-Евразии – представлялся ему не менее важным, чем взятие Москвы, Ленинграда и оккупация Кавказа. “Сталинград в 1942 году оказался, как Москва в 1941 году, таким объектом, в котором сошлись главные стратегические, политические, экономические и престижные цели и задачи войны, – писал бывший командующий 62-й армией маршал В. И. Чуйков. – Накал боёв на Волге дошёл до такой степени, что осенью 1942 года весь мир замер. Всё зависело от того, удержат ли советские войска Сталинград”<sup>16</sup>. По удачному выражению журналиста, близкого к верхушке нацистской Германии, Сталинград стал для Гитлера “гипнотизирующим символом”<sup>17</sup>. По свидетельствам генералов вермахта, именно маниакальное упрямство Гитлера в его попытках овладеть Сталинградом привело к гибели 6-ю армию генерал-полковника Ф. Паулюса<sup>18</sup>. Тогда, в 1942-м, всем союзникам и противникам СССР было ясно, что Сталинградская битва по мощи задействованных в ней человеческих и военно-технических ресурсов – кульминационное собы-

тие Новейшей истории. Только тремя десятилетиями позднее англосаксы, подучившиеся на роковых ошибках Гитлера и начавшие новый “натиск на Восток” (*натовский*), приступили к активной фальсификации истории Второй мировой войны, объявив разгром африканского корпуса Роммеля в сражении у Эль-Аламейна *переломом* во Второй мировой войне, Сталинградская же битва якобы привела лишь к *повороту*<sup>19</sup>. “В то время как немец был убеждён, что защищает дело Запада, Запад нанёс ему удар в спину, — проговаривался уже в 1953 году Вернер Пихт. — До самого горького конца нас не покидала надежда, что Запад, наконец, поймёт и признает, что мы защищаем Германию и, следовательно, всю Европу”<sup>20</sup>. Так и мы не должны забывать, что гитлеровцы бились с Красной армией России-Евразии “плечом к плечу с вооруженными силами Финляндии, Италии, Венгрии, Румынии, а также вместе со словацкими и хорватскими частями и добровольцами из Испании, Швеции, Дании и даже из Франции, Бельгии, Голландии и Норвегии” и что немецкий солдат, таким образом, чувствовал себя “защитником Европы”, как говорил тот же Вернер Пихт, невольно вторя Карлу Хаусхоферу. Подобно Наполеону, Гитлер обрушил на нашу страну мощь всей Европы. На его политическом мышлении, как заметил генерал Курт фон Типпельскирх, лежала “печать двойственности”, что, между прочим, соответствовало (если верить Хаусхоферу) внутреннему настрою “высокооударённой, но склонной к шизофреническим катастрофам народной общности”<sup>21</sup>. Именно в нацистском натиске на Восток как никогда ранее с небывалой отчетливостью обнаружилась стихия массового безумия, — то, что Карл Ясперс называл “шизофреническим стилем” XX века. Фюрер Третьего Рейха персонифицировал в себе стихию этого темного и слепого “жизненного порыва” нации, травмированной опытом Первой мировой войны, и вместе с тем выражал характерное для фаустовской “души Запада” в целом влечение к смерти, *волю к ничто*. Профессиональные психиатры видели в Гитлере “честолюбивого психопата и шизоидного фанатика”<sup>22</sup>. Противопоставлять культивируемой Гитлером религии смерти “общечеловеческие ценности” всё равно что быть Дон-Кихотом в политике, или, если использовать терминологию Ф. М. Достоевского, *идиотом*. Сталин в своём противостоянии Гитлеру нашёл другой противовес.

Наша победа в Сталинградской битве продемонстрировала интеллектуальное превосходство и организационную мощь российско-евразийской элиты, объединенной не столько связанным со стабильной географической средой “инстинктом безопасности”, о котором вещал Хаусхофер, сколько идеей жертвенного служения *государству Правды*, а также захватывающим чувством единой исторической судьбы всех народов *Континента России*. “Сталинград стал не только символом нашей победы, как бы велика и торжественна она ни была, но и символом нашей непобедимости”, — писал в 1943 году Константин Симонов. “И все мы после Сталинграда несли в себе ощущение счастья”<sup>23</sup>. Верховный Главнокомандующий лично участвовал в планировании всех операций по разгрому сил вермахта под Сталинградом (“Уран”, “Сатурн”, “Кольцо”), ежедневно вникал в детали менявшихся ситуаций на фронтах, не навязывая при этом руководителям Ставки, Генштаба, Наркомата обороны и командармам своих произвольных решений, как это часто делал Гитлер в характерной для него безапелляционно-истерической манере, так что и в личном противоборстве с фюрером на “шахматной доске истории” Сталин обладал явным преимуществом. Его огромный личный вклад в подготовку и обеспечение победы под Сталинградом был признан даже таким его пристрастным критиком среди военных, каким стал в 1960–1970-е годы маршал Г. К. Жуков. “Было отчаянно видеть, как накапливал опыт стратегического руководства вооруженной борьбой Сталин, — вспоминал в 1970-е годы маршал А. М. Василевский. — Будучи Верховным Главнокомандующим, он, конечно, проделал уже в первые месяцы войны колоссальную работу. То, что он стоял во главе Ставки, придавало ей вес и значение. Он твёрдо держал в своих руках нити управления фронтами и всеми вооруженными силами”<sup>24</sup>. В 70-ю годовщину нашей победы на Волге, в память всех, кто эту победу готовил и вершил, мы должны сломить сопротивление малодушных политических пигмеев и вернуть Царицыну его новое, прославленное в ожесточённых боях за Родину имя — Сталинград! А пока это сопротивление не сломлено, битва за Сталинград продолжается.

## Примечания:

- <sup>1</sup> Крик Э. Преодоление идеализма. Основы расовой педагогики. М., 2004. С. 166–174. Об “оплодотворённой идеей расы философии истории” см. также: Философия вождизма. М., 2006. Внутренняя шаткость “расово-национально-политического мировоззрения” проявлялась и в некоторых высказываниях его создателей. Например, Ганс Ф. К. Гюнтер утверждал, что “немецкая кровь” — это коктейль из крови разных рас” (Гюнтер Ганс Ф. К. Избранные работы по расологии. М., 2005. С. 104), из чего следовало, что проблема “расовой чистоты” в Германии в принципе неразрешима.
- <sup>2</sup> Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск, 1993. С. 37. Гитлер называл большевизм “новой организацией азиатского населения” (Мазер В. Адольф Гитлер. М., 2000. С. 195).
- <sup>3</sup> Об “эзотерической причине” наступления Гитлера на Кавказ и на Сталинград см.: Серрано М. Золотая цепь. Тамбов, 2007. Мигель Серрано усматривал эзотерический смысл и в той военной кампании, которая планировалась Гитлером после восхождения эсэсовцев на Эльбрус и захвата Кавказа (Серрано М. Наше мировоззрение. Львов, 2002. С. 30). Попытка фальсифицировать послевоенные концепции оккультного происхождения национал-социализма была предпринята немецким историком Кристофом Линденбергом в книге “Технология зла: К истории становления национал-социализма” (1997).
- <sup>4</sup> Мировоззренческие основы национал-социалистского движения Гитлер сформулировал в “Mein Kampf” — Hitler A. Mein Kampf. New Delhi, 2008. P. 264–306, 347–358, 418–427. Один из идеологов Третьего Рейха Август Фауст, разъясняя в 1942 году основы германской философии войны, писал: “Для немецких основных установок успех и неудача вообще не играют решающей роли. Даже совершенно безуспешные действия не кажутся бессмысленными, если они предпринимаются из убеждений, имеющих ценность сами по себе” (Философия вождизма. М., 2006. С. 291). Иными словами, немцы демонстрировали склонность к *ценностно-рациональному* поведению, в отличие от англосаксов, привыкших действовать *целерационально*. На фоне этих двух типов рационального поведения действия русских на Восточном фронте представлялись нацистскому философу непостижимыми: “Русские готовы на любые жертвы и жестокости. Они бессмысленно жертвуют миллионами людей ради достижения совершенно незначительных стратегических преимуществ, которые не могут решить исход войны. Здесь тоже стремятся к успеху, но к конечному успеху, который должен прийти так же внезапно, как *Царство Божие на земле* по Достоевскому и Соловьеву, как появляется Христос в поэме Блока” (там же). При более внимательном чтении Достоевского и Владимира Соловьева можно было бы понять, что во Второй мировой войне в духовном плане столкнулись несовместимые мировоззрения: религия жизни, основанной на самопожертвовании, и религия смерти, предполагающая принесение в жертву *других*. В конце XIX века Фридрих Ницше пророчески писал о том, что грядущая мировая война будет “войной мировоззрений”. Разъясняя эту мысль, Мартин Хайдеггер показал, что мировоззрение есть характерное для эпохи Модерна духовное выражение *натиска* человеческой субъективности на сущее, форма проявления *метафизики воли к власти*, нацеливающей соперничающих субъектов на мировое господство и использование всего сущего “до полного израсходования” (подробнее об этом: Водолагин А. В. Метафизика воли. М., СПб., 2012).
- <sup>5</sup> По пренебрежительно-ироничному отношению к памятнику павшим героям Сталинградской битвы и сейчас легко установить предателей Родины, подрывающих её духовно-исторические устои в сфере политически опасного формотворчества.
- <sup>6</sup> Особо оперуполномоченным Сталинградского ГКО был и мой дед — М. А. Водолагин, третий секретарь Сталинградского обкома партии, заместитель командира корпуса народного ополчения, отвечавший в Городском комитете обороны за эвакуацию раненых, женщин и детей. На левый берег Волги удалось переправить тогда около 300 тыс. человек. Последний Председатель КГБ СССР В. А. Крючков рассказывал мне, как в июле-августе 1942 года он с друзьями не раз приходил на митинги, которые проводил на предприятиях Сталинграда М. А. Водолагин по заданию Городского комитета обороны с целью мобилизации гражданского населения на защиту города. В июле 1942 года ситуация вокруг Сталинграда казалась безнадежной, катастрофической. Многие думали, что город не устоит под натиском гитлеровцев, как и Киев, откуда прибежали ошеломленные полководцы без армий — Хрущёв и Брежнев. Приказ Верховного Главнокомандующего № 227 (“Ни шагу назад!”) остановил отступление. Партия погасила панические настроения, внушила массам абсолютную уверенность в победе.
- <sup>7</sup> Цит. по кн.: Чуйков В. И. Сражение века. М., 1975. С. 81–82.
- <sup>8</sup> Там же. С. 76. Так “люди нордического типа” испытывали в боях за Сталинград подлинную мощь того “Востока в России”, о котором ещё до войны писали идеологи аутентичного евразийства (в частности, Н. Н. Алексеев). Якобы склонные к “бесформенному поведению”, “милые” и “комичные” русские (Гюнтер Ганс Ф. К. Избранные работы по расологии. С. 363–366) использовали такие формы борьбы с противником, к которым ни психологически, ни технически не была готова немецкая “армия мировоззрения”. Характерны, например, жалобы нацистов на партизан, не считавшихся с положениям Женевской конвенции.
- <sup>9</sup> Сталин не был “твердокаменным марксистом”, как не был им и теоретик левого большевизма А. А. Богданов (Малиновский), учитель Н. И. Бухарина. Говоря о “тяжкой



- психологической нагрузке” тёмного духовидца Сталина, Даниил Андреев имел в виду его “вечное хождение в маске материализма, марксизма” и неизбежность “постоянной двойной жизни” (Андреев Д. Роза Мира. М., 2006. С. 658). Маска, согласно Ницше, — необходимая принадлежность сверхчеловека, пошедшего на разрыв с человеческим, *слишком человеческим*. “Когда он говорит не с самим собой, он всегда в маске” (Nietzsche F. Der Wille zur Macht. Stuttgart, 1996. S. 642).
- <sup>10</sup> Гиммлер полагал, что азиатская кровь Чингисхана “неожиданно вернулась в Россию в лице её нынешнего правителя” — Иосифа Сталина (Мэнвелл Р., Френкель Г. Знаменосец “Чёрного ордена”. Биография рейхсфюрера СС Гиммлера. М., 2006. С. 277).
- <sup>11</sup> Подробнее об этом в кн.: Водолагин А. В. Онтология политической воли. Тверь, 1992.
- <sup>12</sup> Об этом см.: Водолагин А. В. “Третий Рим” против Третьего Рейха. // Национальные интересы, 2010, № 4–5. С. 56–58. О “сильной дозе мистицизма”, присущей всем евразийцам, см.: Письма и заметки Н. С. Трубецкого. М., 2004. С. 22. О “высокой мистической одарённости” Сталина: Андреев Д. Роза Мира. С. 627–642. Один из идеологов Третьего Рейха — Эрнст Крик — переносил враждебное отношение национал-социалистов к Риму и католицизму на Советскую Россию с её “восточным эрзац-христианством”, видя в сталинском режиме новейшую **разновидность цезаропапизма, предполагающего “обожествление диктатора”**, а в “романтическом коммунизме” большевиков (*люцинеров*, по удачному выражению Григория Распутина) — модифицированное манихейство и иллюминатство.
- <sup>13</sup> Профессор Карл Хаусхофер (1869–1946) познакомился с Гитлером через своего студента Рудольфа Гесса, который стал заместителем Гитлера по партии, но руководствовался не столько указаниями фюрера, сколько предсказаниями своих астрологов и ясновидцев (Керстен Ф. Пять лет рядом с Гиммлером. М., 2004. С. 116–118), а также рекомендациями близкого к немецкой военной разведке сына профессора Хаусхофера Альбрехта (Мэнвелл Р., Френкель Г. Знаменосец “Чёрного ордена”. С. 258). Будучи одним из создателей эзотерической организации, трансформировавшейся в ядро НСДАП, Карл Хаусхофер, в свою очередь, следовал наставлениям *черного мага* Г. И. Гурджиева, бывшего однокашника Сталина по духовной семинарии, поэтому, возможно, лучше кого-либо другого понимал “долговременную логику” политического поведения *Правителя красных земель*. Возможно, именно Хаусхофер превратил оккультное Общество Туле в “магический центр нацистского движения” (подробнее об этом в кн.: Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. СПб., 1993) и “вдохновил Гитлера на мечты об экспансии” (Мэнвелл Р., Френкель Г. Знаменосец “Чёрного ордена”. С. 268). См. также: Пенник Н. Тайные науки Гитлера: в поисках сокровенного знания древних. Новосибирск, 2006. с. 44–46, 85. Опровергая тезис об оккультном воздействии “мага Хаусхофера” на Гитлера, Кристоф Линденберг, тем не менее, был вынужден признать, что Хаусхофер несколько раз беседовал с Гитлером и консультировал его по вопросам геополитики (Линденберг К. Технология зла. М., 1997. С. 7–14).
- <sup>14</sup> Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. М., 2001. С. 27, 33, 34.
- <sup>15</sup> По свидетельству Генри Пикера, Гитлер считал Сталина гением и открыто восхищался им: “В своём роде он просто гениальный тип. Его идеал — Чингисхан...” (Пикер Г. Застольные разговоры с Гитлером. С. 332, 451). “Если Черчилль шакал, то Сталин — тигр”, — говорил “волк-оборотень” Гитлер (там же. С. 478).
- <sup>16</sup> Чуйков В. И. Сражение века. С. 78.
- <sup>17</sup> По мнению знатока “эзотерического гитлеризма” М. Серрано, Сталинград ассоциировался в стратегическом мышлении Гитлера со святым городом асов Асгардом (Серрано М. Золотая цепь. Тамбов, 2007. С. 165, 255, 279).
- <sup>18</sup> Например, о “Сталинградской катастрофе, вызванной упрямством Гитлера”, рассуждал генерал-полковник Гейнц Гудериан (Итоги Второй мировой войны. М., 1957. С. 126–129). В. И. Чуйков цитировал генерала Ганса Дерра: “Гитлер не хотел успокаиваться, пока его войска не захватили последний клочок земли, называвшейся Сталинградом. Политика, престиж, пропаганда и чувство взяли верх над трезвой оценкой полководца” (Чуйков В. И. Сражение века. С. 255). Собственно от города почти ничего не осталось после чудовищных бомбежек 23 августа 1942 года, но магия его имени продолжала действовать — и не только на Гитлера. Предательское переименование Сталинграда в Волгоград в 1961 году было зловещим предзнаменованием грядущего поражения СССР в борьбе с Западом.
- <sup>19</sup> Лидделл Гарт Б. Вторая мировая война. М., 1976. С. 270–296. См. также: Howarth T. Twentieth century history. N.Y., 1979. P. 172–174.
- <sup>20</sup> Итоги Второй мировой войны. С. 65.
- <sup>21</sup> Хаусхофер К. О геополитике. С. 237.
- <sup>22</sup> Кох-Хиллбрехт М. Ното Гитлер: психограмма диктатора. М., 2003. С. 55. “Это не проходимец без роду и племени, — писал Даниил Андреев о Гитлере, — а человек, выразивший собой одну — правда, самую жуткую, но характерную — сторону германской нации” (Андреев Д. Роза Мира. С. 642). Но Гитлер, по его словам, “будучи сопоставлен со Сталиным, проигрывал под углом зрения метаистории в качестве кандидата в абсолютные тираны” (там же. С. 644).
- <sup>23</sup> Симонов К. М. Сегодня и давно. М., 1978. С. 476.
- <sup>24</sup> Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 1973. С. 268–269.

НИКОЛАЙ СКАТОВ

## “ПОРА ЛИТЕРАТУРНЫХ МОИХ ТРУДОВ НАСТАЁТ...”

*Татьяна (русская душою,  
Сама не зная почему)  
С ее холодной красою  
Любила русскую зиму, —*

писал поэт о своей задушевной героине. *Русский душою* Пушкин не любил ни русской весны, ни русского лета. Он не любил русской зимы: “...здоровью моему полезен русский холод”. И любил русскую осень, конечно, *зная почему*: она была полезна его творческому здоровью, подлинно становилась временем сбора обильного *поэтического урожая*. Кажется, в этом качестве она и определилась только после юга – в глубине России. “Осень подходит. Это любимое мое время <...> Пора литературных моих трудов настаёт”, – уведомляет поэт Плетнёва. “Не пишу покамест ничего: ожидаю осени”, – сообщает он Вяземскому.

Все это даже вызывало шутки. И друзей: “Надеюсь, – пишет Вяземский Жуковскому, – что Пушкину лучшей осени не нужно: смело может он приняться за стихи. У нас такое ненастье, что не приведи Господи!”; и собственные: “...мне и стихи в голову не лезут, хоть осень чудная, и дождь, и снег, и по колено грязь”, – доносит поэт Плетнёву из Болдина в октябре 1830 года. Но вот здесь-то стихи как раз *полезли в голову* как никогда, рождая явление, не виданное в истории всей мировой культуры.

Болдинская осень. Пора завершений: достаточно сказать, что был закончен “Евгений Онегин”. Пора новых исканий. “...В это время, – отмечал П. Анненков, – перепробовал он множество разнообразнейших тонов своей лиры. Глядя на изобилие мотивов в стихотворениях, принадлежащих к его осенней болдинской жизни, на беспрестанную перемену метров их, на чудные переходы к самым противоположным мыслям и настроениям поэтического духа, кажется, видишь художника, безгранично предающегося в уединении многосложной импровизации своей”.

Всё сошлось здесь: деревня, осень, изоляция... Самое течение времени как бы нарочно остановилось, чтобы Пушкин в свободной игре духа смог и подвести итоги прошедшему, и наметить и выбрать пути к будущему.

Плетнёву, своему неизменному комиссионеру и ходоку по издательским делам, Пушкин докладывает: “Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал,

как давно уже не писал... : 2 последние главы “Онегина”, 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Анопуге. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно: *Скупой рыцарь*, *Моцарт и Сальери*, *Пир во время чумы* и *Дон Жуан*. Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Ещё не всё (весьма секретное)\*. Написал я прозою 5 повестей (“Повести Белкина”. — Н. С.)...

Что же нового явила в этом ряду Болдинская осень? Прежде всего, прозу — “Повести Белкина” — и в стихах так называемые “Маленькие трагедии”. Разве не говорит о страшной энергии перелома сам характер работы над теми же “Маленькими трагедиями”: замыслы и наброски многолетней давности реализуются в две недели. Пушкин “вдруг” сумел расстаться с “Онегиным”. “Вдруг” сумел написать “Маленькие трагедии”...

Уже авторские колебания в выборе названия (“драматические сцены... опыты... изучения...”) говорят об их экспериментальном характере. Общее восприятие приговорило и закрепило одно из пушкинских названий — “Маленькие трагедии”. Трагедии — сказано точно. Но почему маленькие? Конечно, не по малости трагических коллизий. Наоборот. Малая, “маленькая” форма обеспечила большую сосредоточенность мысли, не отвлекаемой ни на что более и не рассеиваемой более ничем. На смену широкому историческому, типа шекспировской хроники, полотну, каким был “Борис Годунов”, возвратилась “узкая” форма французской Расиновой трагедии. Место, время и действие постоянно стремятся к максимальной концентрации, и, наконец, в последней из трагедий, “Пир во время чумы”, их единство (вопреки источнику — “Чумному городу” Вильсона) становится полным.

Произведения, за которыми утвердилось название “Маленькие трагедии”, отнюдь не мозаика, не собрание пёстрых глав. *Маленькие трагедии* образуют одну большую всеевропейскую трагедию. Сам этот западный мир явлен нам в колоссальном объеме: истории, географии, богатства человеческих типов. Англия, Испания, Австрия... Европейское рыцарство, Возрождение, Просвещение... Образы людей, в которых европейский опыт уже универсализирован: и Дон Жуан, и Моцарт с Сальери... Пушкина занимают вопросы отнюдь не собственно европейской жизни, а мировой, но он обращается к такому человеческому опыту, где они поставлены историей наиболее остро. Личность — в своей одинокости, в своем утверждении, в своем развитии с его противоречиями, падениями и взлётами — это, конечно, прежде всего, опыт западной, европейской жизни, особенно Нового времени. Недаром И. Киреевский писал, что *частная, личная собственность* есть основа западного развития: “Весь частный и общественный быт Запада основывается на понятии об индивидуальной, отдельной независимости, предполагающей индивидуальную изолированность... Каждый индивидуум — частный человек, рыцарь, князь или город — *внутри своих прав* есть лицо самовластное, неограниченное, само себе дающее законы. Первый шаг каждого лица в общество есть окружение себя крепостию, из нутра которой оно вступает в переговоры с другими независимыми властями”. Иначе говоря, уже по выражению Ю. Самарина, *личное ставит свою пользу крайним мерилем своей деятельности*.

У Пушкина личность предстаёт как бы в главных человеческих страстях — деньги, искусство, любовь, — и в каждой из них реализует себя с максимальной полнотой и предельной отдачей.

\* \* \*

Первая из трагедий — “Скупой рыцарь”. Часто в литературе о Пушкине смысл этой трагедии видят в изображении того исторического времени, когда на смену власти меча пришла власть денег: с одной стороны, герой-рыцарь, с другой — чуть ли не буржуа. Пускается в ход соответствующая терминология, вроде “эпохи первоначального накопления капитала” и т. п. Что же, неужели Пушкин обратился к рыцарскому Средневековью для зарисовки социологии истории? Да и сама социология у Пушкина масштабнее и значимее простой констатации фактов общественного бытия. И. Киреевский, отмечая особый

\* Для тебя единого. (Примеч. Пушкина.)

характер поземельной собственности на Западе, писал: “Можно сказать: все здание Западной общественности стоит на развитии этого личного права собственности, так что и самая личность, в юридической основе своей, есть только выражение этого права собственности”.

Можно сказать, что Пушкин выявил, как *личность* – уже безотносительно к юридической стороне дела, – становится только *выражением права собственности*. Не случайно “Скупой рыцарь” начинает ряд “Маленьких трагедий” и как бы лежит в основании всего цикла. “...Деньги, – писал Маркс, – не только один из объектов страсти к обогащению, но *самый* объект последней. Эта страсть по существу – проклятая жажда золота... <...> ...страсть к наслаждениям в её общей форме и скупость – две особые формы жадности к деньгам. Абстрактная страсть к наслаждениям предполагает предмет, который заключал бы в себе возможность всех наслаждений. <...> Чтобы сохранить деньги как таковые, скупость должна жертвовать, отречься от всякого отношения к предметам особых потребностей, чтобы удовлетворить потребность жажды денег как таковой”.

Поэтому, казалось бы, парадоксальным образом страсть к предельному самообогащению здесь оборачивается предельным самоограблением – внешним и внутренним. Поэтому “Скупой рыцарь” – единственная из “Маленьких трагедий” – названа трагикомедией.

Кстати, у Пушкина применительно к её герою нет противопоставления “с одной стороны”, “с другой стороны”, о котором часто пишут исследователи. Может быть, отчетливее всех это сделал Г. А. Гукровский: “Обратим внимание на название пушкинской драмы: не “Скупой”, как у Мольера, а именно “Скупой рыцарь”. <...> Дело именно в том и заключается, что скупцом оказался рыцарь именно в двойственности и даже в некой противоречивости определения человека двумя словами пушкинского названия. Рыцарь по “нормальному” представлению историко-культурных явлений не должен быть скупым; ему это не свойственно. А свойственно рыцарю быть, скажем, храбрым, верным, влюбленным (романтический идеал), верующим или – в ином плане – драчливым, грабителем, гордым, непокорным (Гетц фон Берлихенген) и т. п., но ни при каких обстоятельствах рыцарь не должен быть накопителем, ростовщиком, скупцом. А вот пушкинский рыцарь – ростовщик и скупец; вернее, он стал ростовщиком и скупцом, сделался им, и в этом его трагедия”.

Однако все дело в том-то и состоит, что герой трагедии Пушкина – не рыцарь, но – скупой и не скупой, но – рыцарь. Он – *скупой рыцарь*, рыцарь скупости, рыцарь денег. Слово “рыцарь” у Пушкина неизменно имеет точное значение (ср.: “Жил на свете рыцарь бедный”). Рыцарь – это человек служения. Рыцарство – наиболее полная и “бескорыстная” форма служения. Герой Пушкина – человек идеи. Недаром позднее у Достоевского в связи со “Скупым рыцарем” появилась фраза: “Выше этого по идее Пушкин ничего не производил!” Здесь точно схвачено именно значение идеи у Пушкина, в данном случае, идеи денег, служение идее и утверждение себя в идее до конца, вплоть до убийства, до самоубийства, до самоуничтожения. Достоевский-то, конечно, должен был понять именно такой характер отношений человека с идеей.

Но не раздумья над сторонним и не отвлеченные умствования вели поэта к глобальному осмыслению страшной власти денег, вставших между отцом и сыном в далеком европейском Средневековье. У Пушкина даже самое вековечное всегда оборачивается общественно актуальным, да и возникает из лично пережитого.

В то же время сам Пушкин, видимо, так переносится в атмосферу западного Средневековья, что уже и в современном деловом и денежном письме Дельвигу об этой Болдинской осени продолжает “играть” в рыцарей: “Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать, именуемую цветочною, по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов. Донушу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна и что коли твой смиренный вассал не околеет от сарацинского падежа, холерой именуемого и занесенного нам крестовыми войнами, то есть бурлаками, то в замке твоём, “Литературной газете”, песни трубадуров не умолкнут круглый год”.

Собственный опыт стоит и за “Скупым рыцарем”. И без почти комичной всего-то лишь скуповатости “мозора” Пушкина мы, вероятно, не имели бы трагической всепоглощающей страсти, иссушившей скупого Барона и вытеснившей его из области всех других чувств, наконец, и из мира родственно-

сти, и из самого отцовства. Ведь и невинная, казалось бы, царапина может образовать страшные язвы и развиваться в смертоносную гангрену.

Вероятно, поэту думалось, — а судя по некоторым замечаниям, и всегда думалось, — и о денежных пресечениях отца в петербургской юности, и о материальной беспомощности — часто почти нищете — своего южного пребывания. И конечно, он помнил о семейном столкновении осенью 1824 года в Михайловском. Так помнил, что, по сути, воспроизвел его в финале своей трагедии осенью 1830 года в Болдине.

В “Скупом рыцаре” ситуация обернулась настоящей трагедией — смертью отца, не лишаясь, впрочем, из-за абсурдности взаимонепонимания своеобразного комизма и превращаясь в *трагикомедию* — именно так обозначил жанр “Скупого рыцаря” автор.

Цитируя некоторые позднейшие вполне добродушные родительские письма, современный исследователь комментирует: “Какой малый след, выходит, оставила ссора 1824 года в сердце родителей Пушкина”. Оставила, оставила, да еще какой большой, глубокий и как долго не зараставший! И оставила она его и у родителей, и у сына. Ведь это был не преходящий эпизод, а ставший долговременным акт, потрясший обе стороны и разделивший их высокой и глухой *баррикадой*: их отношения прервались на два с половиной года.

“Скупой рыцарь” был задуман в 1826 году. В 1827-м в семье произошло примирение. В 1830-м — написан “Скупой рыцарь”. После 1830 года в семье воцаряется мир. Последние слова “Скупого рыцаря” — приговор трагикомедии: “Ужасный век, ужасные сердца!” Все Пушкины, все участники семейной драмы действовали *вопреки* этому приговору, подчинившись своим *добрым благородным сердцам* и в противовес *ужасному веку*. И отец, и сын выгребали из этой страшной стремнины, отплывая от разрушительного, *обесчеловечивающего* водоворота.

Не сразу и в борении, но Александр Сергеевич действительно стал, по слову Жуковского, “выше незаслуженного несчастья”, найдя разрешение именно в ПОЭЗИИ, создавая, в частности, своего “Скупого рыцаря”, и сумел “обратить в добро заслуженное”.

Еще в 1826 году трогательно заботливый и ранимый Дельвиг, вовлеченный во все эти пушкинские семейные перипетии, писал другу-поэту по получении известия об окончании его ссылки: “. . . Как счастлива семья твоя, ты не можешь представить. Особенно мать, она наверху блаженства. Я знаю твою благородную душу, ты не возмутишь их счастья упорным молчанием. Ты напишешь им. Они доказали тебе любовь свою”. Летом 1827 года тот же Дельвиг сообщает П. А. Осиповой: “Александр меня утешил и примирил с собой. Он явился таким добрым сыном, как я и не ожидал”.

И он уже навсегда *остался таким добрым сыном*.

*У доброго отца*. В 1830 году при женитьбе сына отец не колеблясь передаст ему Болдино с последними незаложенными двумястами душами, не от богатства отрывая, а делясь в бедности: сам он уже катился к разорению. Он передаст его сыну-наследнику, не подозревая, что через недолгий срок, уже в 1837 году, он сам окажется наследником сына. И даже состоятельным наследником: ведь царь в память о поэте в ряду других милостей освободит Болдино от всех долгов.

Нежность Надежды Осиповны к сыну в последние годы как бы искупает всю недоданную ему в детстве материнскую ласку. И именно этот её сын — единственный, кто повезёт её в 1836 году хоронить в Святые Горы. Да и себе там приготовит место к ещё нечаянному-негаданному 1837 году. Ещё через несколько лет туда же привезут и его упокоившегося отца.

Так что, пожалуй, можно было бы сказать, что западный “Скупой рыцарь” в семейной, родительской, пушкинской жизни разрешился в духе русских “Повестей Белкина”.

Герой первой из трагедий — рыцарь. Однако, по сути, рыцарь — герой каждой из них. Сальери — рыцарь искусства, тёмный рыцарь, подвижнически искусству служащий. Почему-то Сальери стал символом бездарности и ремесленничества, а “поверка алгеброй гармонии” — признаком ремесленничества и бесталанности. Может быть, наши скорбь и горечь хотя бы таким образом дополнительно покарат убийцу, унижая его обвинением в ничтожестве. Собственно, он и есть ничтожество. Правда, только в искусстве и только перед лицом Моцарта. Но сам по себе и безотносительно к Моцарту он даже велик.

И в искусстве тоже: "...Я, наконец, в искусстве безграничном / Достигнул степени высокой. Слава / Мне улыбнулась; я в сердцах людей / Нашёл созвучия своим созданиям". Иначе и трагедии бы не было.

Что же до проверки "алгеброй гармонии", то для Сальери, и не только для него, — это лишь "первый шаг" и "первый путь". Сальери, считал Белинский, "человек действительно с талантом, а главное — с замечательным умом, со способностью глубоко чувствовать, понимать и ценить искусство". Добавим — и служить ему. И идти до конца в откровенности перед самим собой. Если верить Ларошфуко, — а Пушкин хорошо его знал, — то "люди часто похваляются самыми преступными страстями, но в зависти, страсти робкой и стыдливой, не смеют признаться". Сальери признался.

Задуманная, очевидно, как драма зависти (во всяком случае, первоначально она так и называлась — "Зависть"), история Моцарта и Сальери раскрылась как трагическая коллизия бытия: тяжба таланта с гением во имя мировой справедливости ("Нет правды на земле"), богоборчество ("Но правды нет и выше"), завершившееся ("Ты, Моцарт, бог...") — богоубийством.

Пушкин любил музыку и знал в ней толк. Поэт с детства жил в музыкальной атмосфере. Оттуда были вынесены впечатления и от Моцарта, и от упомянутаго в трагедии Пиччини:

*Иль звучным фортепьяно  
Под беглою рукою  
Моцарта оживляешь?  
Иль тоны повторяешь  
Пиччини и Рамо?*

Так писал он в послании "К сестре" из Лицея. Да и в самом Лицее музыка неизменно отводилось достойное место, и петь учили хорошие профессионалы. А лицеисты сочиняли не только стихи, но и музыку, к примеру, тот же Михаил Яковлев: до сих пор страна поёт песни лицеиста Яковлева на стихи лицеистов Дельвига и Пушкина.

Кстати сказать, увлечение сестры Ольги Н. И. Павлицевым и тайный от родителей брак с ним, которому поэт всячески содействовал, возможно, тоже имели музыкальную подоплёку: Павлицев — не только любитель музыки, но и композитор, правда, только любитель, тем не менее, он сотрудничал с самим Михаилом Ивановичем Глинкой в подготовке одного музыкального издания. А уж в зрелые годы Пушкин — регулярный, "всякую субботу", по свидетельству А. О. Смирновой-Россет, филармонический слушатель немцев — Гайдна, Бетховена, Моцарта...

Потому и в общей трагедии тяжбы таланта с гением поэт оказался абсолютно точен и в выборе конкретного вида искусства — музыки, и в выборе её конкретного создателя — Моцарта. "Музыкальный талант, — сказал Гёте, — проявляется так рано потому, что музыка — это нечто врождённое, внутреннее, ей не надо ни питания извне, ни опыта, почерпнутого из жизни. Но всё равно явление, подобное Моцарту, пребудет чудом, и ничего тут объяснить нельзя".

Сальери пытается понять и "евклидовым умом" объяснить самое непонятное и необъяснимое — чудо, тем самым оправдаться и утвердиться в жизни и в искусстве. Самоутверждение (небезосновательное: ведь Сальери — человек могучих сил, большого таланта и "замечательного ума") заканчивается тем, что Сальери бросает вызов мирозданию, беря лично на себя право последнего суда и окончательное решение вопроса о том, что есть Истина. На этом пути и совершается предательство искусства вследствие преданности ему, убийство искусства (ведь Моцарт — само искусство) во имя искусства, да, по сути, и самоубийство, самоуничтожение и саморазрушение — в нём же.

И трагедия "Моцарт и Сальери" во многом питалась личным опытом поэта. Конечно, может быть, условно, но, вдумываясь в пестроту пушкинских жанровых определений всего драматургического цикла, следовало бы сказать, что это "драматические сцены" (одно из авторских названий, другое — "драматические опыты"), возведённые "изучениями" (тоже пушкинское обозначение) к всеобщим "маленьким трагедиям" (еще одно определение Пушкина, к которому присоединились впоследствии все: и читатели, и исследователи творчества поэта).

Пушкинская “Маленькая трагедия” вмещает великое множество коллизий, ситуаций, отношений и конфликтов, проигранных и пережитых в жизни самим поэтом, часто совсем не трагедийно начинавшихся и – тем более – разре- шавшихся.

Ещё в 1820 году Фёдор Глинка в напечатанном в “Сыне отечества” послани- ни “К Пушкину” совершенно *сальериански* воскликнул:

*О Пушкин! Пушкин! Кто тебя  
Учил пленять в стихах чудесных?*

Истинно, как у Пушкина:

*О Моцарт! Моцарт!*

Ф. Глинка:

*Какой из жителей небесных  
Тебя младенцем полюбил?*

У Пушкина слова Сальери:

*Ты, Моцарт, бог...*

“Какая смелость...” – восхищается Моцартом Сальери. Именно сме- лость Пушкина-поэта сразу поразила тогда всех так, как сейчас нам, давно воспитанным на этой смелости, уже трудно представить. В 1818 году Вязем- ский пишет Жуковскому: “Стихи чертёнка-племянника чудесно-хороши. В дыму столетий!.. Я всё отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестия! Надобно нам посадить его в жёлтый дом, не то бешеный сорванец всех нас заест, нас и отцов наших”.

“Посадить в жёлтый дом”... Почему бы и не отравить? Такая шутка может обернуться и *сальерианским* приговором: “Я избран, чтоб его остановить”. Сути дела это не меняет. Шутливое “не то... всех нас заест” может прозвучать у Сальери и драматически: “Не то мы все погибли, мы все, служители музыки”. Суть-то дела остается той же. Неизбывная зависть проявляется раз- нообразно. И в дружбе: видимо, неизменно. Кажется, С. Булгаков сказал, что зависть такая же спутница дружбы, как ревность – любви. Да ведь и Мо- царт и Сальери – друзья. А уж сколько потерпел в дружбе (впрочем, как и приобрел) Пушкин – не счесть. Что и засвидетельствовали позднее многие запоздалые раскаяния многих друзей: тех же – близких – Карамзиных. И то- го же – ближайшего – Вяземского.

Что значит для Сальери *соревноваться* с Моцартом? Что значит соперни- чать с чудом? Что значит завидовать Богу? Однако Пушкин хотя и “бог”, но не Моцарт, а если и Моцарт, то особого рода. Если согласиться с Гёте в том, что музыке, подобной музыке Моцарта, “не надо ни питания извне, ни опыта, по- черпнутого из жизни”, то поэзии, подобной поэзии Пушкина, было не обой- тись ни без “питания извне”, ни без “опыта, почерпнутого из жизни”. Пушкин в своем драматическом опыте *пробиросно* чисто вывел и представил культу- ру “таланта” и “гения” в их смертельном столкновении, да и *лабораторию* для этого “опыта”, как видим, нашел на европейском Западе.

С другой стороны, русские литературные таланты (“Сальери”) ставились историей к своему русскому литературному гению (“Моцарту”) в особые и иные отношения, так же как и он к ним. Чудо гения – *моцартианство* как не- что *врождённое и внутреннее*, – конечно, было, но “питание извне” ему обес- печивало и талантливое *сальерианство*, которое дружно работало на Пушкина.

Пушкин действительно явился как результат общенационального коллек- тивного усилия, в котором конфликты “таланта” и “гения” растворялись, ло- кализовывались и сглаживались. А уж сам гений Пушкина изо всех сил такие таланты поощрял, одобрял, ободрял, полагал себя им обязанным, ясно, впрочем, сознавая, кто есть кто и что есть что. Во всяком случае, никогда ни- кому не мог бы, подобно Моцарту, сказать: “Он же гений, как ты да я”. Здесь уже только – я!

Собственно, пушкинский Моцарт обрёл себя на смерть самим непониманием Сальери, непроникновением в него, глухотой к нему, даже признанием гения в нём, зная, что он не гений. Белинский точно указал на диалектику его души.

*Он же гений,  
Как ты да я. А гений и злодейство —  
Две вещи несовместные. Не правда ль?*

“Эта выходка ускорила решимость Сальери. Здесь Пушкин поражает вас шекспировским знанием человеческого сердца. В простодушных словах было соединено всё жгучее и терзающее для раны, которою страдал Сальери. Он знал себя как человека, способного на злодейство, а между тем сам гений говорит, что гений и злодейство несовместны и что, следовательно, он не гений. А! так я не гений? Вот же тебе, — и яд брошен в стакан гения...” — писал В. Г. Белинский.

Удивительно у нас узнавание каждым себя в Пушкине, обнаружение в себе Пушкина, возвышение себя к Пушкину.

\* \* \*

Если вспомнить слова из трагедии “Моцарт и Сальери”: “... одной любви музыка уступает”, то можно сказать, что в “Каменном госте” музыка хотя и продолжается (мотив Моцартова “Дон Жуана” звучит в преддверии к этой трагедии), но уже полностью уступает любви.

Дон Гуан — рыцарь такой любви: обаятельный, поэтический, прямодушный. Дон Гуан утверждает — и не без оснований — себя в любви: это могучая личность. В предельном выражении себя, в ослеплении собою, своей силой и её безмерностью и бросает он свой страшный самоубийственный вызов Командору. В каждый данный момент пушкинский Дон Гуан абсолютно предан своей любви, будь то Лаура или Дона Анна, безусловен в ней, совершенно искренен и тем абсолютно неотразим. Да, его сила — это, прежде всего, сила правды, ибо он не обманщик, не лжец, не “коварный соблазнитель”. Он героичен. В каждом случае он готов немедленно жертвовать жизнью: в кровавой ли стычке с Доном Карлосом; открывая ли, не глядя на угрозу мстящего кинжала, свое имя Доне Анне; приглашая ли — отважный и беззаботный любовник! — на своё свидание с вдовой статуей её мужа — Командора:

*Я, командор, прошу тебя прийти  
К твоей вдове, где завтра буду я,  
И стать на стороже в дверях...*

Пушкин, конечно, поставил своего героя в мировой ряд Дон Жуанов, но и решительно отделил от них уже самой фонетической трансформацией имени (Дон Гуан).

Многое открывается в “Каменном госте”, если учесть, во-первых, что поэт тогда готовился к женитьбе и, во-вторых, как он к ней готовился.

В своё время Анна Ахматова была поражена, увидев при внимательном рассмотрении в Дон Гуане почти автопортрет Пушкина, а в испанских грандах — чуть ли не петербургских франтов, гуляк и вольнодумцев, собиравшихся при свете “Зелёной лампы”.

Конечно, применительно к Пушкину никогда не следует говорить о литературном маскараде и поэтических переодеваниях. Его Испания — это именно испанская Испания, а не прикинувшаяся Испанией Россия.

Может быть, заточённый в осенней нижегородской деревне Пушкин с тем большей увлечённостью и достоверностью должен был оказаться так далеко на юге и передать дыхание его летней благодатности.

*Ночь лимоном  
И лавром пахнет...  
А далеко, на севере, в Париже...*



Мы почти вздрагиваем, почти физически ощущая холод и сырость, которые так “далеко, на севере” (нет-нет, — не в Болдине), “в Париже!”. (Какой ужас! Какая Лапландия!) Но в этой реальной Испании герои действительно проникнуты, одержимы, обеспокоены чувствами и мыслями Пушкина на одном из самых драматичных, переломных и решающих этапов его жизни.

Здесь и многомерный донжуанский опыт. Ведь когда Дон Гуан пугает, впрочем, не слишком испугавшуюся Лауру призраком грядущей старости, — это лишь поэтическая вариация мотива, за несколько месяцев до того уже проигранного самим Пушкиным в письме (черновом) Каролине Собаньской: “Но вы увянете; эта красота когда-нибудь покатится вниз, как лавина. Ваша душа некоторое время ещё продержится среди стольких опавших прелестей, — а затем исчезнет”. Здесь и мотив загробной ревности, так бурно прорвавшейся в эту пору в письме Пушкина, буквально ощутившего себя Командором.

Г. П. Макогоненко справедливо заметил, что Пушкин не случайно, вопреки мировой традиции, меняет место приглашения Гуаном статуи Командора. “Приглашение статуи и было проявлением своеволия в его крайней степени”. И тема любви, и мотив ревности, по сути, лишь обострили эту главную тему, этот основной мотив — *своеволие*. Потому Пушкин и называет свою трагедию, опять-таки вопреки традиции, до него установившейся и после него продолженной, не именем героя, а — “Каменный гость”.

Похоже, что Дон Гуан — это Пушкин, сам себя схвативший за размахнувшуюся руку тяжелой рукой статуи Командора. В это переломное, кризисное время поэт мучительно переосмысливает всю свою предшествующую жизнь и осмысливает будущую.

*Безумных лет угасшее веселье  
Мне тяжело, как смутное похмелье.  
Но, как вино, — печаль минувших дней  
В моей душе чем старе, тем сильней.  
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе  
Грядущего волнуемое море.  
Но не хочу, о други, умирать;  
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;  
И ведаю, мне будут наслажденья  
Меж горестей, забот и тревоженья:  
Порой опять гармонией ульюсь,  
Над вымыслом слезами обольюсь,  
И, может быть, — на мой закат печальный  
Блеснет любовь улыбкою прощальной.*

Это стихи той же осени 1830 года. Поэт — и про себя, и для других — даёт прошлой жизни жёсткие и даже покаянные оценки. И готовится к жизни новой и иной: и надеясь на счастье, и не очень на него рассчитывая, и очень его боясь.

Это понятно: Пушкин был наделён редким даром понимания и ощущения счастья — как полноты жизни и высшей человечности. Не случайно он написал как о высшем человеческом сочувствии: о *сочувствии* не в несчастье, а в счастье. Не случайны повальные свидетельства лично прибывавших к Пушкину об ощущении счастья как первом и главном ощущении, которое даёт Пушкин: не бодренький оптимизм и благоустроенность, а счастье приобщения к такому богатству и такой полноте переживания.

Недаром Гоголь ощутил гибель Пушкина как потерю личного счастья: “Всё наслаждение моей жизни, всё мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. <...> Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу”.

Не на печаль звал он с собой и будущую жену: “Я никогда не хлопотал о счастье — я мог обойтись без него. Теперь мне нужно на двоих — а где мне взять его” (запись от 12 мая 1830 года). И он готовился ей его добывать и нести. В частности, обещая не потерпеть, чтобы она нуждалась, — уже и в быту. Через много лет А. И. Куприн как раз под впечатлением пушкинских писем к жене скажет: “Я хотел бы представить женщину, которую любил Пушкин, во всей полноте счастья обладания таким человеком”. Именно потому, что он,

как никто, был наделен даром ощущать счастье, он, как никто, боялся и его потерять. Потому же боялся счастья так, как другие боятся несчастья. То есть боялся не несчастья, а прихода несчастья в пору высшего счастья, скажем, пугался – при его беззаветной храбрости – не смерти, а её явления в счастливый, может быть, самый счастливый момент жизни.

И его Дон Гуан готов в любую минуту рискнуть жизнью – в борьбе с кем угодно, но впал в ужас именно от гибели, грозящей в счастливейший миг любви. “О, Дона Анна”, – последние его слова.

Смерть в “Каменном госте” – не только физическое уничтожение человека, смерть – наказание, смерть – кара, смерть – возмездие за грехи. И потому трагедия называется не “Дон Гуан”, а “Каменный гость”.

\* \* \*

Каждая из “Маленьких трагедий” – это утверждение себя личностью – в деньгах, в искусстве, в любви, утверждение себя в жизни вопреки всему, и в каждой из трагедий – опровержение личности, встречающей, в конце концов, последнее препятствие – смерть, ибо действительно такая личность, по выражению А. Хомякова, заключается в себя, как в гроб. Мотив смерти здесь непреходящ. Начавшись с замысла об убийстве и закончившись смертью барона в “Скупом рыцаре”, он продолжится прямым убийством в “Моцарте и Сальери”. В “Каменном госте” этот мотив уже почти не умолкает: от свидания на кладбище к убийству Гуаном соперника у Лауры и гибели Гуана от руки командора.

И наконец, венчающий цикл трагедий “Пир во время чумы”.

Ведь и сам Пушкин тогда готовился к “пиру” – свадьбе – и к новой жизни в столице, а оказался запертым и буквально обложенным страшною смертью в деревне. В известном смысле, последняя из “Маленьких трагедий” и самая в их ряду большая: смерть явлена здесь в её необъятности, в её массовости, во всеобщей всех на неё обреченности и всеобщей беззащитности перед ней.

Пушкин не впервые попадал в такое положение. Еще в Молдавии ему довелось жить в окружении страшной эпидемии. Почти во всё время его пребывания там *мрачной царицей* края была эпидемия чумы и оспы. Только в 1822 году в Арзруме умер чуть ли не каждый десятый. “Не проходит почти дня, – записал тогда же свои впечатления об этом буквально чумном городе П. Долгорукий, – чтобы не встретился покойник или не умер кто в соседстве”.

Возможно, не только чумный Арзрум, но и чумный Кишинёв вспомнились Пушкину в холерном Болдине. Но тогда, в Бессарабии, эти события не запечатлелись в его творчестве ни единым штрихом, только теперь они оказались в центре его внимания.

Собственно, в “Пире во время чумы” вся его идея заключена уже в названии.

Трагическая коллизия заявлена в формуле, почти в декларации: жизнь и смерть. Жизнь предстает в своём максимуме, в последнем напряжении сил. Ведь вершится веселье, “праздник жизни”, идёт *пир*. Торжество жизни, вплоть до вызова, брошенного смерти в песне Председателя:

*Всё, всё, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья –  
Бессмертья, может быть, залог,  
И счастлив тот, кто средь волненья  
Их обрести и ведать мог.*

Но и смерть явлена в своём максимуме – во всей своей фатальности и безобразии, ничем не смягченная и не облагороженная: “Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею”. Каково! То-то театр обычно не решается на постановку “Пира во время чумы”. Но это значит, что и вся трагедия лишается на сцене своего последнего акта.

Таким образом, “Маленькие трагедии”, каждая из которых раскрывает основные трагические конфликты человеческого бытия, связаны единством, может быть, главного трагического конфликта – бытия и небытия, жизни

и смерти, — так волновавшего Пушкина в переломную пору, когда завершался важнейший этап его жизни. Письма Пушкина той поры хорошо проясняют и комментируют лирический подтекст “Маленьких трагедий” (тот же мотив ревности за гробом в “Каменном госте”), характер их интеллектуального напряжения.

Лев Толстой, по словам Горького, однажды сказал: “Если человек научился думать <...>, он всегда думает о своей смерти. Так все философы”. В пору создания “Маленьких трагедий” Пушкин *научился* так думать, научился всматриваться в *самое главное*: если воспользоваться приведёнными словами Толстого, — в смерть.

При общей оценке этих трагедий неизменно возникает соблазн итоговой формулы. Чаще других её видят в песне Вальсингама: “Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю...” и т. д. Вряд ли, однако, такую формулу вообще можно выделить, а в “Маленьких трагедиях” — тем более. Ведь такая формула свидетельствует о решении. А решения нет. И если можно говорить о каком-то резюмирующем определении, то, скорее всего, это, уже по положению своему в пьесе, её конец. В трагической сшибке жизни и смерти возникает третье — священник со словом о Боге. Председатель отталкивает его:

Священник  
*Пойдём, пойдём...*

Председатель  
*Отец мой, ради Бога,  
Оставь меня!*

Священник  
*Спаси тебя Господь.  
Прости, мой сын.*

*Уходит. Пир продолжается. Председатель остаётся, погружённый в глубокую задумчивость.*

Возможно предположить здесь и личный момент: переключку этой ситуации с призывом, обращённым в 1830 году к самому поэту “русским епископом” Филаретом (“Не напрасно, не случайно...”), и с неопределенно уклончивым ответом Пушкина (“В часы забав и праздной скуки...”). Погружённым в глубокую задумчивость вступал поэт в свои тридцатые годы.

\* \* \*

Пушкин писал: “Россия по своему положению, географическому, политическому etc. есть судилище, приказ Европы. Nous sommes les grands juges\*”. “Маленькие трагедии” есть, может быть, самая сильная из таких “кристик”, но не отвлечённая, не со стороны.

Достоевский справедливо назвал Пушкина главным славянофилом России. Но не менее справедливо, однако, назвать Пушкина и её главным западником.

Вообще, положение Пушкина начала 30-х годов, кажется, хорошо комментируется одним тезисом И. Киреевского конца 30-х годов: “Я совсем не имею намерения писать сатиру на Запад; никто больше меня не ценит тех удобств жизни общественной и частной, которые произошли от того же самого рационализма. Да, если говорить откровенно, я и теперь ещё люблю Запад, я связан с ним многими неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему моим воспитанием, моими привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, даже сердечными моими привычками; но в сердце человека есть такие движения, есть такие требования в уме, такой смысл в жизни, которые сильнее привычек и вкусов, сильнее всех приятностей жизни и выгод внешней разумности, без которых ни человек, ни народ не могут жить своею

---

\* Мы — великие критики (фр.).

настоящей жизнью. Потому что, вполне оценивая все отдельные выгоды рациональности, я думаю, что в конечном развитии она своею болезненно неудовлетворенности явно обнаруживается началом односторонним, обманчивым, обольстительным и предательским. Впрочем, распространяться об этом было бы здесь неуместно. Я припомню только, что все высокие умы Европы жалуются на теперешнее состояние нравственной апатии, на недостаток убеждений, на всеобщий эгоизм, требуют новой духовной силы вне разума, требуют новой пружины жизни вне расчёта, – одним словом, ищут веры и не могут найти её у себя, ибо христианство на Западе исказилось своемыслием”.

Конечно, Пушкин, в отличие от Киреевского, никак не сковывает себя исходным религиозным догматом, но он действительно ищет новые “пружины жизни”. Ещё П. Анненков справедливо усмотрел именно в Болдинской осени тот узел, в котором стянулись многие темы, сомнения и вопросы всего предшествующего пушкинского творчества и который уже начал развязываться и распускаться новыми средствами. П. Анненков определяет это старое как драму, а новое – как эпопею.

Осенью 1830 года появляется “первый проблеск того эпического настроения, которое впоследствии развилось у Пушкина и определило всю поэтическую его деятельность. <...> С 1830 года мысль автора начинает преимущественно выбирать повествование для проявления своего и вместе с тем подчиняется величавому, строгому, спокойному изложению, которое поработает читателя неволью, неудержимо и беспрекословно. <...> Стремление Пушкина к эпосу, по всей вероятности, бессознательное, обнаруживается впервые с 1830 года и затем уже не оставляет его до конца поприща. . . ”. Речь идёт о большем, чем жанровые определения. “Драмы, – заметил биограф, – были настоящим высоким трудом этой осени, а отдохновением поэта можно считать “Повести Белкина”...”

Опять-таки и об “отдохновении” следует говорить как о чём-то большем, чем отдых и разрядка: *отдохновение* – это и погружение в другой мир, и разрешение, находимое в этом мире.

Анненков точно почувствовал теснейшую, хотя, может быть, и обратную связь двух миров. До этого времени Пушкин и, естественно, никто до него никогда так не осваивал два таких мира в их соотносённости. Иначе говоря, Пушкину, для того чтобы начать создавать обобщенный “эпический” образ России, а значение “Повестей Белкина” с этой точки зрения давно понятно, потребовалось удалиться от неё. Следовало из неё уехать – на Запад.

Пушкин ведь и уехал: правда, особым образом. В глухом русском Болдине он, художественно воссоздавая западный мир, так сказать, строит европейский дом и поселяется в нём. Никогда ещё и никто из русских писателей до Пушкина, а может быть, и после Пушкина, так не погружался в мир Запада, не возводил столь обобщённого и одновременно столь разноликого образа этого мира.

Болдинское творчество Пушкина в почти параллельно создающихся западных драмах и русских повестях – это же образ открывающегося Запада с точки зрения, в свою очередь, открываемой им России и образ уяснения России с позиции освоения Запада. По мере творческого развития – во всяком случае, в XIX веке – почти каждый большой русский писатель выходит к обобщенному “эпическому” образу России. И снова Пушкин здесь – первый пример. При этом наши писатели обычно отталкиваются от опыта иных стран, чаще всего уезжая туда из своей страны. И здесь “невыездной” Пушкин – первый настоящий образец творческого познания Запада.

1830 год с этим своеобразным “отъездом” Пушкина из Болдина (точнее, в самом Болдине) на Запад показал, что эпопея становится своеобразнейшим типом русского художественного сознания и – соответственно – необычным, но типичным образом России, именно в этом своём качестве выделяясь в мировом литературном процессе. И в этом своём качестве художественный образ России в большой, если не в преимущественной степени создаётся именно за рубежом. “Повести Белкина” пишутся вместе с “Маленькими трагедиями” и явно в противостояние им. “Маленькие трагедии” – исключительно про Запад, “Повести Белкина” – только про Россию. В одном случае – сложность, восходящая почти к мистичности. В другом – простота, доходящая до элементарности почти буколической (“Барышня-крестянка”), до элементарности и простоты в самой мистике своей (“Гробовщик”). “Маленькие трагедии” –

про личное. “Повести Белкина” – про общее, про массовое. Герои трагедий исключительны, герои повестей просты, даже если они совершают необычные поступки или вовлекаются в удивительные приключения (“Метель”). Есть лишь один исключительный герой, но ведь недаром *не русский* – Сильвио (“Выстрел”). Образ “рокового” мужчины, в котором является Владимир в “Барышне-крестьянке”, лишь маска, которую легко обнаружить.

Однако главное, может быть, не в самих событиях, а в рассказчике, в Иване Петровиче Белкине. Только на фоне “Маленьких трагедий” можно понять силу и спасительность Белкина, его поэзии, его взгляда на мир. Мудрость нельзя обрести без искусства “Маленьких трагедий”. Но она, оказывается, невозможна и без Ивана Петровича Белкина.

Западный мир – мир “Маленьких трагедий” – требовал драмы, и потому для него был невозможен один рассказчик о других. Скажем, Барон, или Сальери, или Гуан, или даже Моцарт – герои самые замечательные – способны вместить лишь самих себя. Никто не принимает и не признаёт никого, ни сын – отца, ни отец – сына, ни даже Моцарт – Сальери: Моцарт не понимает Сальери и, пусть обманываясь, но в сущности видит в нём лишь себя самого (“Он же гений, как ты да я”), а если бы Моцарт понимал Сальери, может быть, *оба были бы спасены*.

Сальери понят Моцартом-Пушкиным именно потому, что понят Пушкиным-Белкиным.

Русский мир, образ России потребовал повествования, и потому для него оказался возможен один рассказчик – о других, через других и вместе с другими. Самый беспретенциозный герой – Иван Петрович Белкин – оказался самым вмещающим, всех вмещающим, поэтому, пусть невольно, давно началось отождествление Пушкина с Белкиным.

Но ещё Аполлон Григорьев справедливо корректировал такое отождествление, “ибо трудно представить действительно Иваном Петровичем Белкиным натуру, которая и прежде мерялась, да и не переставала меряться силами с самыми могучими типами, ибо в то же самое время гений поэта проникал в мрачно-сосредоточенную душу Сальери и вечно жаждущую жизни натуру Дон Жуана, – стало быть, вовсе не сосредоточивалась исключительно в существовании Белкина <...>

Белкин пушкинский есть простой здравый толк и здоровое чувство, краткое и смиренное – вопиющий законно против злоупотребления нами нашей широкой способностью понимать и чувствовать: стало быть, начало только отрицательное, – правое только как отрицательное, ибо предоставьте его самому себе – оно перейдет в застой, мертвящую лень, хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова”.

С этой точки зрения Белкин в художественном мире Пушкина не предоставлен самому себе. И если, как сказал Пушкин, “Россия по своему положению, географическому, политическому etc. есть судилище, приказ Европы”, то и Европа *по своему положению, географическому, политическому etc. есть судилище, приказ России*.

Пушкинское “пребывание на Западе” определило не только отталкивания и противостояния, но и возможность соотнесений и корректировок двух миров и двух образов: Запада и России.

И все же, думается, у Пушкина в его образе России, как он предстал в “Повестях Белкина”, – не смиренность главное качество, а способность понимания других и соотнесенность всех со всеми.

Так называемая *тема маленького человека* именно у Пушкина предстала в чистом виде, и существенна она не просто защитой обиженного – в “Станционном смотрителе”, например, – а сохранением личности в маленьком человеке и, значит, свидетельством того, что *есть что защищать* в нём. В “Маленьких трагедиях” самовозвышение личности обернулось самоуничтожением. В “Повестях Белкина”, казалось бы, самоустранение её – самосохранением.

Благополучно завершаются сюжеты, вроде бы обречённые на кровавую развязку. У “Маленьких трагедий” все финалы – про смерть. У “Повестей Белкина” свои финалы – про жизнь, которая неизменно продолжается: даже в повести “Гробовщик”, даже в “Выстреле” с его тремя дуэлями. “Маленькие трагедии” и “Повести Белкина” возникают на разной основе, вырастают на разной почве и поэтому по-разному прорастают в будущее.

ПЁТР ТКАЧЕНКО

## РУССКИЙ ПОЭТ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

1

Видимо, есть некая незримая закономерность в том, что теперь, когда русская литература вытеснена из общественного сознания и, по сути, упразднена, нам припоминаются те или иные имена писателей. И особенно — относительно недавнего прошлого, советского периода истории, послевоенного времени, когда русская литературная традиция после революционного погрома начала миновавшего века, наконец-то, не без потерь, но была всё-таки восстановлена. Когда литература уже перестала всецело полагаться марксистской идеологической догматикой и с трудом возвратилась к народному самосознанию, к духу человеческому и народному.

Закономерность эта проявляется и в том, какие именно писатели нам теперь припоминаются, творчество которых как бы вдруг, всплывая из небытия, становится особенно необходимым. По всей видимости, в первую очередь, те, поэтический мир которых в своё время остался недостаточно уяснённым, а теперь многое может рассказать нам как о нашем прошлом, так и о происходящем ныне, о нашем духовном, мировоззренческом состоянии и положении. Подлинная поэзия оживает в следующих поколениях и своими прежними смыслами, и новыми значениями, с учётом вновь обрётённого нами опыта.

Вовсе не случайно, а по этой самой незримой закономерности нам теперь не просто припоминается имя выдающегося русского поэта советского периода истории нашей страны Ярослава Васильевича Смелякова (1912 (13)—1972), но пред нами предстаёт его поэтический мир во всей его глубине и величии. И что примечательно, сначала возникла потребность возвратиться к его творчеству, а потом уже вспомнилось, что приближается столетие со дня рождения поэта и сорок лет со дня его кончины.

Читать стихи Ярослава Смелякова я начал с юности, с его последних книг “День России” и “Декабрь”. До этого я знал его разве что по популярной в то время в литературных кругах песне “Если я заболел, к врачам обращаться не стану...”. То есть перипетии его необычной, поистине драматической судьбы тогда мне были неведомы. Но меня поражали в его стихах точность определения явлений природы и общественной жизни и характеристики людей, исторических личностей, к которым он постоянно обращался.

Представляли же официально творчество Ярослава Смелякова обычно как исполненное романтики комсомольской юности, сосредоточенное на темах

труда, преемственности поколений, сочетании лирической патетики с разговорными интонациями... Впрочем, это было привычное обыкновение – в аннотациях к книгам или в справочных изданиях давать самые общие, обтекаемые характеристики и поэтам, и их творчеству.

Каково же было моё удивление, когда со временем я познакомился с трудной судьбой Ярослава Смелякова. Меня поразило несоответствие устоявшейся уже к тому времени характеристики поэта и того, что ему в действительности довелось пережить. Конечно, эпоха была трудной и трагической, и прошлась своей тяжкой поступью почти по каждой человеческой судьбе, но Ярославу Смелякову она принесла испытаний сверх всякой меры:

*Мир был разъят и обещен,  
Земля крутилась тяжело.  
Ах, сколько их, тех самых трещин,  
По сердцу самому прошло.*

*Оно ещё живёт покуда  
И переваривает быт,  
Но, словно с трещиной посуда,  
Весёлым звоном не звенит.*

Вот так певец революционности и “комсомольской романтики”! “Мир был разъят и обещен...”. Прямо-таки противоположно революционной догматике о сотворении “нового мира”...

С первых шагов на литературном поприще он попадает в жесточайший идеологический переплёт. В 1932 году Ярослав Смеляков выпустил сразу две книги: “Стихи” и “Работа и любовь”, – которые стали поводом резкой полемики в литературных кругах. Молодого талантливого поэта обвиняли в *недостаточно чётком пролетарском мировоззрении*. Обвинение по тем временам грозное. И небезопасное для поэта, судя по трагическим судьбам многих и многих молодых русских писателей.

В 1934 году М. Горький выступил с резкой статьёй в “Правде”, “Известиях” и “Литературной газете” – “Литературные забавы”, в которой, по сути, вынес приговор талантливому поэту Павлу Васильеву, назвав его “врагом”. А заодно упрекал Ярослава Смелякова в том, что он поддаётся его влиянию: “На характеристике молодого поэта Яр. Смелякова всё более и более отражаются личные качества Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически ...это враг”.

На первом съезде советских писателей, состоявшемся в августе 1934 года, А. Безыменский вослед за “великим пролетарским писателем”, в своей “митинговой речи” (по определению И. Сельвинского) выносит, по сути, политический приговор и Павлу Васильеву, и Ярославу Смелякову, а заодно – и Николаю Заболоцкому: “И Заболоцкий и Васильев не безнадёжны. Перевоспитывающая мощь социализма беспредельна. Но не говорить совершенно о Заболоцком и ограничиться почтительным упованием и восхищением талантливостью и “нутром” Васильева невозможно.

Тем более это невозможно, что влияние Заболоцкого сказывается и на творчестве Смелякова и даже в некоторых стихах такого замечательного и родного нам поэта, как Прокофьев. Не потому я обязательно говорил бы о Смелякове, что боялся бы пропустить одно имя в списке поэтов, а потому, что Смеляков представляет серьёзное поэтическое явление, выражая то поколение, которое не знало гнёта царизма. Он подвергается не только влиянию богемно-хулиганского образа жизни, образцы которого даёт П. Васильев и которые так мощно заклеены в замечательной статье Горького “О литературных забавах” (“от хулиганства до фашизма расстояние, короче воробьиного носа”), но и вредным творческим влиянием” (“Первый всесоюзный съезд советских писателей 1934”. Стенографический отчёт. М., 1934). При этом надо полагать, что сам А. Безыменский мощью социализма уже был “перевоспитан”.

А 22 декабря Ярослава Смелякова, так и “не перевоспитавшегося беспредельной мощью социализма”, арестовывают. При обыске у него была изъята книга Гитлера “Моя борьба” на русском языке, изданная небольшим тиражом и выдаваемая для ознакомления только особо доверенным людям по списку, утверждённому ЦК ВКП(б).

Обвиняли Ярослава Смелякова в антисоветских разговорах, антиобщественном поведении, моральном разложении. На следствии с юношеской прямотой и бесстрашием он говорил о том, что “Горький не любит советской поэзии, его творчество выдохлось, он является пугалом для талантов... Человек не может подгонять своё творчество всегда под радость, человек имеет право отражать в своём творчестве не только схему, навязанную ему, но имеет право на творчество слёз, а нас заставляют писать о машинах, газгольдерах, когда хочется писать о слезах...”.

Эта трагическая страница биографии молодого поэта Ярослава Смелякова убедительно свидетельствует о том, как следовали талантливые писатели догматике “социалистического реализма”. Ей следовали только бездарные поэты и писатели – Безыменские и прочие. Да ещё те, кто создавал в литературной среде не просто атмосферу скандала, но выносил политические обвинения, которые, по суровости тех лет, могли стать причиной физического уничтожения поэта. И частенько становились...

Ярослава Смелякова 4 марта 1935 года особое совещание “за участие в контрреволюционной группе” приговорило к трём годам исправительно-трудовых лагерей. Как видим, уже не антиобщественное поведение и моральное разложение вменяется ему в вину в приговоре, а *контрреволюционная деятельность*. А это было более чем суровым обвинением.

После выхода на свободу, с началом Великой Отечественной войны поэт был призван в армию и направлен в Карелию. Через несколько месяцев он оказался в финском плену, длившемся для него с 1941 по 1944 год...

В третий раз Ярослав Смеляков попал в тюрьму в 1951 году, поскольку стали якобы известны какие-то подробности его “недостойного поведения” в плену. За такое обвинение ему грозила высшая мера наказания.

Ярослав Смеляков, в отличие от своих репрессированных сотоварищей – Бориса Корнилова и Павла Васильева, – остался в живых, можно сказать, случайно. Жена поэта Павла Шубина Г. Аграновская вспоминала: “Самое страшное было то, что смертная казнь ещё не была отменена, а какой срок уготовят Ярославу, не знал и Господь Бог. Спустя пять лет, когда вернулся Смеляков, вот он мне что рассказал: “Жизнь я обязан следователю. (Он и фамилию называл, а я за давностью запамятовала.) Я сиделец опытный, вижу – тянет и тянет. Последнее время и на допросы вызывать почти перестал. Спрашиваю: что волыните? А он мне говорит, что, мол, на том свете побывать успеете, куда торопиться... Видно, знал он, что “вышку” должны отменить, а я тянул на эту меру...”. И получил Ярослав Смеляков свой срок – 25 лет лагерей – вскоре после отмены смертной казни” (“Вопросы литературы”, сентябрь-октябрь, 1991). И только в 1955 году он вышел на свободу.

О том, что третий арест для Ярослава Смелякова мог бы действительно закончиться трагически, свидетельствует и его стихотворение “Письмо в районный город”, представляющее собой поэтический ответ на письмо Т. М. Корниловой, матери репрессированного поэта Бориса Корнилова. Стихотворение любопытное, написанное с некой раздражительной болью:

*...Получил письмо я от старушки  
И теперь не знаю, как мне быть:  
Может быть,  
        пальнуть из главной пушки  
Или заседанья отменить?  
Не могу проникнуть в эту тайну,  
Не владею почерком своим.  
Как мне объяснить ей,  
        что случайно  
Мы местами обменялись с ним?  
Поменялись как, не знаем сами,  
Виноватить в этом нас нельзя —  
Так же,  
        как нательными крестами  
Пьяные меняются друзья.  
Он бы стал сейчас лауреатом,  
Я б лежал в могиле  
        без наград.*



*Я-то перед ним не виноватый,  
Он-то предо мной не виноват.*

Хорош же певец комсомольской романтики и рабочей темы, вся молодость которого прошла, по сути, на нарах... Между тем, Ярослав Смеляков в общественном сознании представлялся нам эдаким насквозь советским поэтом, воспевающим социалистическую систему. И это теперь якобы даёт нам право уничтожать и “развенчивать” его с точки зрения идеологической догматики и в полном согласии с новой революционной “демократической” идеологией...

Кстати, что имел в виду поэт под “главной пушкой”, из которой, вроде бы, можно было “пальнуть”? Высказать, так сказать, всю “правду-матку”, со всей диссидентской упрощённостью? Но к ней он никогда не прибегал.

У нас появилось уже целое поколение литераторов, которое судит как о предшественниках своих, так и друг о друге не по текстам, не по книгам, а по неким мнениям, неизвестно на чём основанным, – то ли на внешних впечатлениях, то ли на слухах. Не подлежащие сомнению, ввиду их очевидности, литературные факты для таких “литераторов” ничего не значат. Так, В. Огрызко пишет о последних годах Ярослава Смелякова следующее: “В последние годы жизни Смеляков как поэт, мне кажется, сломался. Да, к нему пришло официальное признание. В 1967 году он за книгу “День России” получил Государственную премию, которая по иронии судьбы носила имя одного из первых его гонителей – Максима Горького. Спустя год ему вдогонку дослали за очень слабую поэму “Молодые люди” ещё и премию Ленинского комсомола. Поэта стали в качестве свадебного генерала приглашать почти на все правительственные мероприятия. Но град наград никак не повлиял на уровень мастерства” (“Литературная Россия”, № 11, 2007). Видимо, редактор литературного еженедельника “Литературная Россия” столь был занят несуществующей интригой, вынесенной в заголовок – “Соперник Твардовского: Ярослав Смеляков”, – что Александра Трифоновича Твардовского называет Александром Трифоновым... Понятно, что это – небрежность. Но только она очень уж характерна для данного литературного издания, да и для автора...

В то время как в творчестве Ярослава Смелякова проявилась иная, прямо противоположная закономерность. В творчестве истинных поэтов бывает так, что к концу творческого пути их поэзия открывается новой глубиной, новым духовным зрением. И они создают в этот период, может быть, главные произведения всей своей жизни. Так произошло и с Ярославом Смеляковым, о чём свидетельствует и книга “День России”, и особенно последняя его книга – “Декабрь” (М., “Советский писатель”, 1970).

Тут скорее поверишь Владимиру Цыбину, знавшему хорошо и поэта, и его творчество: “Мне было ясно, что второе дыхание, что так называемая вторая молодость проявляются обыкновенно у финиша. Так было и у В. Луговского с его “Серединной века”, и у А. Твардовского с его “пейзажно-философскими” стихами, так было и с “Декабрём” Ярослава Смелякова. В этом прощальном обилии мобилизуются все творческие ресурсы. Природа торопится реализовать себя. Даже в этой книге Ярослав Смеляков не позволил себе расслабиться. В ней есть всё – и боль, и горечь. Нет только чувства увядания, стихов “ни о чём” (“День поэзии”. М., “Советский писатель”, 1980).

*Комсомольская поэма “Молодые люди”* (М., “Молодая гвардия”, 1968) поэмой вовсе не является. Это цикл стихотворений, чисто издательским приёмом соединённых в книгу, видимо, в связи с 50-летием комсомола. И уже только поэтому эта книжица “очень слабой поэмой” быть не может.

Никакого “воспевания” комсомола в ней нет. Скорее – укор ему и ирония:

*Я юность прожил в комсомоле,  
Средь напряжённой прямоты.  
Мы всюду шли по доброй воле,  
Но без особой доброты.*

И уж никак нельзя назвать “воспеванием” комсомола строчки, перефразирующие известные стихи Сергея Есенина:

*Я сам, оставив эти долы,  
Как отоснившиеся сны,  
Здрав штаны, за комсомолом  
Бежал по улицам страны.*

Как видим, редактором “Литературной России” предпринята попытка *переоценки* поэзии Ярослава Смелякова. Уничжительная и абсолютно не соответствующая действительности. Никакого “слома”, никакого понижения мастерства в последние годы в творчестве Ярослава Смелякова не было. По логике В. Огрызко получается так, что это “официальная критика” врала нам о том, что Ярослав Смеляков – большой поэт. Да и его “моральный облик” она же приукрасила. На самом же деле он был вовсе не таким, о чём и решил поведать нам представитель неофициальной критики, надо полагать, *критики настоящей*. Перед нами – ещё одно сбрасывание с “корабля современности”. Разве что имеющее иную мотивацию, нежели в начале XX века, но оттого не более справедливое.

*Русское и советское* в поэтическом мире Ярослава Смелякова не противопоставлены альтернативно друг другу, а находятся в преемственной связи. Советское – продолжение русского, но не подменяющее и не отрицающее его. Какой всё-таки сложной и тонкой была общая идеологическая картина в Советском Союзе, в России! Во всяком случае, в послевоенный период. Но теперь-то, двадцать лет спустя после “демократической” революции, мы можем и должны признаться самим себе, что практически выходило из такого противопоставления русского и советского: исподволь насаждалась идеология нового революционного анархизма, а вовсе не “освобождения от коммунизма”. Ведь таким противопоставлением, признанием XX века “тупиковым” и якобы не принадлежащим “исторической России” этот самый, пожалуй, сложный и трудный век вообще вычеркивался из истории страны, образуя лауну в исторической преемственности, которая могла стать основой революционного беззакония.

Ведь эта убийственная формула – целили в коммунизм, а попали в Россию – свидетельствует только о том, что мы так и не разобрались, кто куда целил, потому что в образованной части общества оказалось слишком мало людей, понимавших эту взаимосвязь. Повторюсь: эта формула свидетельствует о том, как ни печально в этом сознаваться, что нас просто *переиграли* интеллектуально, подсунув губительные и ядовитые идеи, которые были приняты большинством людей без анализа их сути и последствий их преобладания на идеологическом поле страны. Так создавалась идеология нового революционного разорения страны – в форме такого соблазнительного якобы *преодоления былых несправедливостей*, которые в значительной степени к тому времени были уже преодолены.

И самое печальное состоит в том, что такое противопоставление русского и советского долгое время почиталось чуть ли не вершиной патриотизма. Но какими же упрощёнными, примитивными, интеллектуально несостоятельными предстают подобные идеи теперь, на развалинах нашей жизни...

Убедительно обосновать исторически и метафизически, а не только отвлечённо-идеологически советский период истории это поколение образованных людей оказалось не в состоянии. И ввергло оно наш народ и страну во тьму нового революционного анархизма. Неужто оно не понесёт за это никакой ответственности? Формально дозволенное “освобождение”, по сути, – ложное, обернувшееся новым беззаконием, оказалось дороже самой жизни, обеспеченной столь большими жертвами и страданиями людей.

Ярослав Смеляков был одним из немногих, кто понимал непростое сложившееся соотношение русского и советского. И этого ему не могут простить до сих пор. Именно поэтому о нём говорят как о *певце советского строя* и даже его идеологии, а не как о большом русском поэте советского периода истории нашей страны.

Но, к сожалению, совсем иначе мыслило подавляющее большинство образованных людей, “образованцев”, к которым принадлежал и сам автор этого определения А. Солженицын. Оно ожидало крушения “режима”, превратившись из советской народной интеллигенции в ту интеллигенцию, которая у нас

уже была в XIX веке, предпринявшую попытку развить “освободительное движение” в своей стране. . .

Но жить с ощущением, знанием и ожиданием того, что “режим” рухнет, то есть рухнет страна, в которой ты живёшь, — это похоже всё-таки на некий комплекс *смердяковщины*. Не могли же интеллигенты новой поры не знать того, что отдельно от страны “режимы”, то есть идеологии, не рушатся. Они рушатся только вместе со страной.

И потом, не могли же они не помнить о том, какими огромными жертвами и страданиями человеческими этот “режим” устанавливался. . . И живя уже пусть и в относительном, но благополучии, во всяком случае, без варварства революционного анархизма и массовых репрессий, ждать “крушения режима” — это всё-таки была своего рода безответственность.

Да, “слишком уж противоестественной была государственная идеология — в кричащем противоречии с историей страны и её культурой” (Станислав Джимбинов. “Коэффициент искажения”. “Новый мир”, № 9, 1992). Но каково должно быть это соотношение в новых условиях, разве об этом, в первую очередь, должны думать не деятели культуры? Разве они должны в столь важных вопросах всецело доверяться политикам? Однако такая мысль им, кажется, не приходила в голову. Было избрано самое простое, примитивное “разрешение” кричащего противоречия — крушение “режима”, понимаемое как-то умозрительно, без крушения судеб миллионов людей, в том числе и их собственных судеб.

Тот советский строй, как выразился поэт, — *стиль жизни*, который был объявлен в “демократическую” революцию “тупиковым” и не принадлежащим “исторической России”, а стало быть, подлежащий разрушению, стал результатом долгого и мучительного преодоления революционного сознания и нового государственного созидания. И мало чего общего имел он с началом советской эпохи и её революционной догматикой.

Привожу суждения Станислава Джимбинова как наиболее характерные, преобладавшие в образованной среде в то время. Признав наличие “духовного Чернобыля”, многие интеллигенты стали идеологическими бойцами новой революции. И тут пошла в ход литература как “средство” и как “помощница”, как сила “служебная” в процессе разрушения советской идеологии: “Можно ли рассматривать так называемую советскую литературу как продолжение русской литературы? Без колебаний отвечаешь: нет, это весьма отдалённый мутант русской литературы”. Да неужто творения М. Шолохова, М. Булгакова, А. Твардовского, Я. Смелякова, А. Ахматовой, В. Шукшина, В. Белова, В. Соколова, Н. Рубцова и многих других писателей — это не русская литература? Ну, был, конечно, и поток средних писаний, как и во все времена, но литература-то важна её вершинными творениями.

Убедительным доказательством опрометчивости и несправедливости таких представлений и суждений является то, что в результате чаемого крушения “режима” русская литература вообще была изъята из общественного сознания. Вот когда действительно наступил “духовный Чернобыль”. . . Значит, не смогли его предусмотреть, потеряв даже то, что имели? Значит, не оказалось достаточной прозорливости для этого? Выходит, что так. Как это ни печально осознать.

Но удивительно, что даже получив вместо демократии *беспредел*, не сотворив никакого саркофага на “духовный Чернобыль”, но пробудив новый, ещё более страшный кризис, автор тем не менее исполнен радости, даже счастья: “Однако счастье мы уже обрели — освобождение от чудовищной, калечащей душу идеологии”.

Но как человек образованный и глубоко мыслящий (знаю его не только по статьям, но и по лекциям в Литературном институте), Станислав Джимбинов задавался наиважнейшим вопросом о соотношении русского и советского, так и оставшимся никем не исследованным. А по поводу известной песни:

— *А куда же напишу я?  
Как я твой узнаю путь?  
— Всё равно, — сказал он тихо, —  
Напиши куда-нибудь... —*

даже заметил: “Прислушайтесь внимательно — и в словах комсомольской песни вы рассмотрите христианское смирение и веру в чудо”.

Ну, так был “духовный Чернобыль” или нет? Так и хочется спросить: если был, то откуда взялись столь образованные и умные авторы, какие теперь не могут появиться в принципе? Прошло всего два десятка лет, и обнажилась вся опрометчивость подобных убеждений и суждений.

Такой оказалась логика интеллигенции советского периода истории. В своём желании сокрушить режим она поступила точно так же, как и интеллигенция XIX века. России советской ей оказалось так же не жаль, как той интеллигенции – России самодержавной.

Парадокс, даже можно сказать идеологический “капкан”, в который она попала, состоял в следующем: борясь с режимом, осуждая революционный вандализм и его последствия, она, тем не менее, стала идеологической обслугой новой, “демократической” революции в России. Причём революции криминальной... Неужто в этом и состояли её идеалы? Понятно, что идеалы – на то и идеалы, чтобы никогда не быть воплощенными в жизнь. Но когда между замыслом деяния и результатом этого деяния, изменившим положение в обществе, такая потрясающая разница, изъян следует искать в самом замысле.

Таким оказалось в миропонимании интеллигенции той поры соотношение русского и советского. Русское ей было не особенно нужно, и тогда она занялась борьбой с советским. То есть с тем государственным устройством, которое было, а никакого другого, как видим, и не было в её воспалённом сознании...

Но всё дело в том, что соотношение русского и советского давно постигнуто и выражено с большой поэтической глубиной в стихах Ярослава Смелякова.

## 2

Дело вовсе не в том, что Ярослав Смеляков был якобы фанатиком советской системы, а в том, что советский период истории он понимал как закономерный этап в трудной, трагической истории страны. Он исходил из того “режима”, который реально был, а не из того, какой он мог бы себе вообразить. Ведь, как оказалось, никакого другого “режима” у интеллигенции той поры даже в воображении не было. Была только борьба с “режимом” существующим. И чем далее мы уходим от “демократической” революции нашего времени, тем более убеждаемся в правоте Ярослава Смелякова. В этом отношении примечательно его стихотворение “Национальные черты”:

*С закономерностью жестокой  
И ощущением вины  
Мы нынче тянемся к истокам  
Своей российской старины.*

*Мы заспешили сами, сами,  
Не на экскурсии, а ввласть  
Под нисходящими ветвями  
К ручью заветному припасть.*

*Ну, что ж! Имеет право каждый,  
Обязан даже, может быть,  
Ту искупительную жажду  
Хоть запоздало утолить.*

*И мне торжественно невольню,  
Я сам растрогаться готов,  
Когда вдали на колокольне  
Раздастся звон колоколов.*

*Не как у зрителя и гостя  
Моя кружится голова,  
Когда услышу на берёсте  
Умолкших прадедов слова.*

*Но в этих радостях искомым  
Не упустить бы на беду  
Красноармейского шелома,  
Пятиконечную звезду.*

*Не позабыть бы, с обольщением  
В соборном роясь серебре,  
Второе русское крещение  
Осадной ночью на Днепре...*

Особенно поражает “ощущение вины”, которое испытывает поэт, так как “Рязанские Мараты”, впад в обольщение, натворили-набедокурили много чего, в порыве строительства “нового мира” отвергая всё истинное, родное, национальное. Потому “гул забвения и славы” плывёт над их кладбищем...

Но разве в этих стихах Ярослав Смеляков не оказался, к сожалению, *про-роком*, когда в наше время, отвергнув такой трудный советский период в истории страны, мы сотворили новую беду?.. Вот, оказывается, по Ярославу Смелякову, когда начиналась “перестройка”, и какая... А совсем не та “революционная перестройка”, которую мы помним и знаем...

Это понимали, пусть и немногие, его современники. У Владимира Леонovichа есть стихотворение, посвящённое Ярославу Смелякову, в котором он выражает именно эту мысль о судьбе поэта:

*...А знают что? Такой он и сякой,  
К тому ж ещё угрюмый и гундосый.  
Согнётся, будто в поле над сохой,  
И рот заткнёт всегдашней папирсой.*

*В газете напечатает стишок  
И в рукописи чистый лист оставит,  
А между делом за вершком вершок  
В историю российскую вращает.*

(“Дружба народов”, № 12, 1983)

Немногие, совсем немногие люди обладают талантом жить настоящим, то есть распознавать его истинный смысл и значение, ценить своё кратковременное земное бытие. Это трудно, это требует упорной работы души и разума. Чаще люди судят о настоящем по предшествующему, по стереотипам и догмам прошлого, словно не замечая, что жизнь не знает повторений. Но так проще и легче, ибо в текущей жизни непросто распознать, где подлинное, а где мнимое и ложное. Умение жить настоящим – это умение распознавать то, что происходит на самом деле. Знать истинную историю – это одно, а ностальгировать о прошлом, убегая в него от настоящего, считая своё время неким “недоразумением”, – это совсем иное. Это признак интеллектуальной несостоятельности и слабости воли.

Не случайно Ярослав Смеляков, по свидетельству Владимира Цыбина, возвращаясь из Югославии, как-то обмолвился: “Одни кладбища и руины. Никто не видит своего настоящего. Настоящим никто не гордится”.

Другая крайность ухода от настоящего – апелляция к неопределённому будущему, пока ещё никому не известному. Уход в этакую бесплодную мечтательность, где нет даже намёка на пророчество. В этом есть изрядная доля спекуляции, когда будущее предстаёт не в качестве идеала, который непременно воплотится, дай только срок, а в качестве догмата, изменить который невозможно по определению.

Ярослав Смеляков обладал удивительным талантом жить настоящим. Постоянные его обращения к истории имели иной смысл, собственно, они были подчинены потребности жить настоящим. Это он с предельной лаконичностью и точностью выразил в “Стихах, написанных в псковской гостинице”. Он мечтал, как Пущин, приехать к великому поэту “утром и зимой”, обязательно с шампанским, и чтобы “полозья бешено скрипели, и снег стучал из-под копыт”. Но – “Всё получилось по-другому”:

*Но из-под той заветной крыши  
На то крылечко без перил  
Ты сам не выбежал, не вышел  
И даже дверь не отворил.*

*...И, сидя над своей страницей,  
Я понял снова и опять,  
Что жизнь не может повториться,  
Её не надо повторять.*

*А надо лишь с благоговеньем,  
Чтоб дальше действовать и быть,  
Те отошедшие виденья  
В душе и памяти хранить.*

И особенно поражает, пронзает душу читателя это беспощадное и вместе с тем такое простое и ясное: “Её не надо повторять”, – ведь у каждого человека – своя страница рукописи и своя судьба. Даже имя Пушкина в стихотворении не названо, а лишь поминается “пушкинский дом”, да “псковская гостиница”. Каждый пишет “свою страницу” в истории, а не повторяет чью-то, уже однажды прочитую...

Среди выдающихся русских поэтов советского периода истории нашей страны Ярослав Смеляков занимает особое место. В его творческой судьбе, в его наследии, как ни у кого из его современников, ясно виден тот путь, каким шло во временном развитии народное самосознание в этот драматический, сложный, мировоззренчески запутанный период нашей истории.

Но благородство, человеческая мудрость поэта в том и состояли, что, трижды пройдя испытания своего тяжкого времени – лагеря и финский плен, он не ожесточился, как многие, не “заиклился” на этом, превозмог личную, впрочем, вполне понятную обиду. Более того, как видно по всему, усилием воли отстранился от этой темы: “Позабылось быстро горе, я его не берегу”. И вовсе не из страха и не из осторожности, как полагают иные околотитературные публицисты, а, видимо, из глубокого понимания того, к чему это может привести. Это очень сильный творческий и человеческий поступок Ярослава Смелякова, остающийся и по сей день уроком для нас. Он остаётся для нас таким и потому, что многие писатели со сходной трагической судьбой не смогли удержаться на такой духовной и нравственной высоте. Так и не смогли психологически *выйти* из ГУЛАГа, навсегда оставшись там сознанием и душой... Более того, потащили за собой, в эту тюремную психологию, и своих читателей. То есть остались навсегда в пределах обыденной логики, далеко небезупречной и с точки зрения творческой, да и просто с человеческой.

Ведь продолжая писать о лагерях, о пережитом в них, выражая лишь свои обиды, они, как правило, мотивировали это следующим: ради установления правды; чтобы ничего подобного больше не повторилось. Все так. Они имели полное право на это. Но хотели они того или нет, так и не выйдя из лагеря, не найдя в себе сил преодолеть лагерную психологию, они продолжали удерживать лагерное сознание в своих современниках, а вовсе не способствовали освобождению его. Более того, они прививали его тем, кто его уже не знал по молодости лет. Такую коварную штуку сыграла с ними по-человечески понятная и вроде бы оправданная позиция критицизма. Декларируемые вроде бы благородные намерения обернулись в очередной раз своей противоположностью.

И о том, что это действительно так, свидетельствует то, что, пока разоблачалась прошлая неправда, созрела новая, может быть, ещё более коварная. Стало быть, *такой* путь к освобождению от неправды не приводит. Ведь указание на зло само по себе не избавляет нас от зла. Литературные “лагерники” поступили точно так же, как и их предшественники, которых они разоблачали: негодуя над неправдой своего времени, не заметили нового бедствия, выпавшего народу и стране. Более того, стали представлять его как возвращение к справедливости. То есть новое разорение России выставили как её возрождение...

Ну, а довод о том, чтобы ничего подобного больше не повторилось, какой-то и вовсе наивный, лишённый проницательности и мудрости. И потому, что история не знает повторений, и потому, что не таким способом создаются преграды от трагедий и социальных потрясений. Наоборот, такой способ создаёт предпосылки для их пробуждения. Духовная крепость достигается не воспитанием ненависти в человеке, но – любви, что русской поэзией постигнуто было уже давно.

В такой позиции Ярослава Смелякова действительно сказалась его человеческая и нравственная высота. А ещё — истинно православное отношение к людям и миру. И здесь уместно сопоставить его судьбу с судьбой архимандрита Иоанна (Крестьянкина), о котором рассказал в своей книге “Несвятые святые” и другие рассказы” архимандрит Тихон Шевкунов: “Отец Иоанн говорил, что каждый день поминает его (своего следователя. — П. Т.) в своих молитвах. Да и забыть не может... меня всегда поражало, как он отзывался о временах, проведённых в лагерях. Батюшка говорил, что это были самые счастливые годы его жизни.

— Потому что Бог был рядом! — с восторгом объяснял батюшка. Хотя, без сомнения, отдавал себе отчёт, что до конца мы понять его не сможем” (М., издательство Сретенского монастыря; “ОЛМА Медиа Групп”, 2011).

### 3

Советский период истории был довольно долгим и неоднородным. Более того, без учёта этого его *изменения и развития во времени* невозможно судить о нём объективно. Следует задаться вопросом: а что, собственно, составляло главное содержание этой эпохи? Нам тут же укажут: как что, да это же очевидно: крушение “исторической России” в результате революционной катастрофы 1917 года, господство марксистско-ленинской идеологии, чуждой народному самосознанию, с которой рано или поздно, но пришлось бы расстаться. Вот мы наконец-то с ней и расстались.

По внешним признакам всё вроде бы так. И все же это упрощённое и, по сути, неверное представление, так как по законам социального развития после всякой революции непременно наступает *реставрация* как отход от революционного анархизма и возвращение к народному самосознанию и традиции. А потому мы уверенно можем сказать, что основным содержанием идеологического противоборства советского периода истории нашей страны было противоборство *революционного* сознания с *традиционным*. Разумеется, при сохранении официальной марксистско-ленинской идеологии, которую просто отбросить было уже невозможно. Не через “отбрасывание” этой идеологии происходила реставрация, а через её медленное, но неотвратимое “переваривание”, переосмысление и возвращение к народной традиции в культуре и к народному самосознанию в жизни. Начался этот процесс в 1934 году, а с победным завершением Великой Отечественной войны можно было уже говорить, что Россия ценой огромных потерь восстановилась после революционной катастрофы начала века. Реставрация, по сути, завершилась. Особенность её в том и состояла, что официальной идеологией оставалась прежняя марксистско-ленинская схоластика. Преодоление революционного сознания и явилось главным итогом Великой Отечественной войны, а вовсе не “преимущество” социалистической системы над капиталистической, как писали в учебниках истории. И, что очень важно, наконец-то восстановилась русская литературная традиция, что свидетельствовало о возвращении к народному самосознанию.

Официальная идеология уже не была самым большим злом, так как “времен суровость” (Б. Пастернак) смягчилась. “Подобревшее лоно столицы”, — как писал Я. Смеляков, уже явно стало иным. Но тут-то со всей остротой и “обнаружилось” (вот новость!) несоответствие реального состояния народной и государственной жизни и их идеологического обеспечения. И поскольку литература у нас участвовала как в преодолении идеологии, так и в формировании новой идеологической картины общества, она раскололась на два, по сути, противоположных направления. Одни писатели работали в литературной традиции, восходящей к XIX веку, веку великой русской литературы. Другие, явно запоздало, занялись ликвидацией несоответствия между реальной жизнью и её идеологическим обеспечением. То есть низвержением идеологии, в то время как она не была уже самым большим злом, и это стало уже вполне безопасным делом. Это-то направление и было выставлено в общественном сознании как *передовое* и *прогрессивное*, не в пример традиционному — якобы *консервативному*.

Но поскольку веских причин для непримиримой и самоотверженной борьбы, воспринимаемой непременно как *благородный гражданский подвиг*, уже не было, то это направление литературы — *шестидесятническое, диссидентское* — обратилось к раннему периоду советской истории с его реальными

зверствами классовой борьбы. Сторонники этого направления убеждали общество, что теперь и только теперь надо, наконец, расстаться с этими несправедливостями, которые, по сути, уже были преодолены. А почему бы и не включиться в такую борьбу, если это было уже не столь опасно, как в довоенные годы, на эшафот идти уже не надо было, а между тем — можно было прослыть правдолюбцем... В результате такого временного смещения, а по сути — исторической манипуляции бунт *шестидесятников* был направлен против возвращения к народным началам жизни. За реанимацию всё того же *революционного* сознания, принесшего столько бед стране и нашему народу. За восстановление прежней идеологической схоластики.

Ведь это поколение *шестидесятников* и появилось на волне нового революционного рецидива в нашем обществе, пробужденного Хрущёвым. Как идеологическая обслуга *оттепели*. И души их были уязвлены не народными страданиями, а отступлением от *ленинских норм* идеологии, которой так долго и столь свирепо мордовали наш народ.

Правда, вскоре открылась вся неприглядность такой мировоззренческой основы бунта *шестидесятников*. И тогда её начали скрывать, выдавая её за борьбу за справедливость и за *историческую Россию*. На самом же деле это была борьба за *чистоту ленинской идеологии*, то есть, в конечном счёте, за идеологическое обоснование ГУЛАГа, против которого они вроде бы декларативно боролись. Так создавалась идеология новой революции в России, свидетелями и участниками которой мы стали десятилетия спустя. Вот главная мировоззренческая проблема той эпохи, от которой никуда не уйти и которая со временем будет проступать всё явственнее. Отдавали ли они себе отчёт в том, что, борясь с прошлыми несправедливостями, уже в основном преодоленными, они приуготавливают себе и нам новые несправедливости? Это уже не столь важно.

Словом, интеллигенция советского периода, назвавшая себя *шестидесятниками*, говоря словами А. Блока, начала снова *дичать*. Как уже, кстати, не однажды случалось в нашей истории. О *шестидесятниках* века XIX А. Блок писал ещё в 1919 году так, словно речь шла о *шестидесятниках* нашего времени, минувшего века: “Шестидесятничество и есть ведь одичание; только не в смысле возвращения к природе, а в обратном смысле: такого удаления от природы, когда в матерьялистических мозгах заводится слишком уж большая цивилизованная “дичь”, “фантазия” (только наизнанку) слишком уж, так сказать, — “не фантастическая”.

*Бунт главного нашего диссидента — А. Солженицына — начинался именно как протест именно против “отступлений от ленинизма”.* Правда, годы спустя он выставит его в прямо противоположном свете. Справедливо писал Вадим Кожин: “Известны слова А. И. Солженицына из “Письма вождям Советского Союза” (1973), призывавшие отбросить чуждую России идеологию: “Сталин от первых же дней войны не понадеялся на гниловатую порченую подпорку идеологии, а разумно отбросил её, развернул же старое русское знамя, отчасти даже православную хоругвь, — и мы победили!”... Но ещё показательнее другое. Сам Александр Исаевич во время войны, то есть за тридцать лет до своего “Письма вождям Советского Союза”, был явно и резко недоволен этим самым развёртыванием “старого русского знамени”... Солженицын, не дождавшись конца войны, в проходивших тогда цензуре письмах обвинил Сталина в отступлении от ленинизма. 9 февраля 1945 года он был арестован, и в его бумагах обнаружили портрет Троцкого, которого он считал истинным ленинцем...” (“Великое творчество. Великая победа”. М., Военное издательство, 1999). Эти истоки и особенности диссидентствующего патриотизма надо знать, о них нужно помнить. Никакие запоздалые декларации и риторика не должны нас вводить в заблуждение.

И разве не за это же ратовал один из видных *шестидесятников* А. Вознесенский:

*Уберите Ленина с денег,  
так цена его высока.*

В результате столь запоздалой борьбы с чуждой идеологией произошёл возврат к *революционному* сознанию и замена интеллигенции: вместо советской интеллигенции, не державшей на идейное водительство, появилась но-



вая, идеологически озабоченная, по сути, такая же, как и в дореволюционное время, поставившая себя по отношению к народу в положение превосходства и дерзнувшая на борьбу с ним. Так борьба с марксистско-ленинской идеологией превратилась в борьбу с народом, с его культурой, традицией и самосознанием. Ведь тот анархизм и беззаконие, которые охватили ныне наше общество, являются не некой издержкой перехода России якобы на свой истинный или на более прогрессивный путь развития, а прямым следствием очередной революции, со всеми её родовыми признаками и неизбежными бедами.

Ярослав Смеляков продолжал русскую литературную традицию. В его поэтическом мире с предельной ясностью проявилась эволюция народного самосознания в советский период истории страны – от *революционного* к *традиционному*. Именно этот аспект нашего духовного бытия старательно скрывали в послевоенный период и скрывают до сих пор с помощью новых идеологий, поскольку он лишает исповедников революционного сознания оправдания, метафизической основы для объяснения происходящего, мешает осуществлению новой революции в России. А её, как мы потом воочию убедились, спровоцировать, в иной форме, конечно, было несложно при господстве официальной идеологии “революционных ценностей”, а не народных ценностей и не национальных интересов. А потому, когда после стольких трагедий – революции, гражданской войны, голода, Великой Отечественной войны, нового хрущёвского революционного рецидива – в стране наступило хоть какое-то спокойствие, его тут же объявили “застоем”. Предстояло, конечно, не “застой” преодолеть, а разрушить кое-как устоявшийся уклад жизни, доставшийся народу столь дорогой ценой. Ну, не может жить иначе, кроме как бунтуя и разрушая, *прометеев человек*. У него просто нет иного способа заявить о себе на этом свете, кроме варварского, что является следствием его патологического безверия и бездуховности.

Станным было это наше *шестидесятничество*. Ему прощалось, дозволялось *вольнодумство* как бы для полноты общей картины культурной жизни: вот, мол, у нас и такое есть. И вместе с тем оно было самой исправной идеологической услугой власти. Причём не в народном её понимании, а в догматическом, марксистско-ленинском. Эдакие разрешённые *вольнодумцы* все с той же ортодоксией, от которой вся народная и государственная жизнь с таким трудом всё более и более отдалялась. По сути, они возвращали общество к той же идеологической догматике под видом *вольнодумства*. Могло ли на таком мировоззренческом обеспечении произойти что-либо иное, кроме новой революции? Конечно же, нет. И она произошла...

Когда внимательно следуешь за поэтической судьбой Ярослава Смелякова, обнаруживаешь поразительную закономерность: тот конфликт, который он пережил в молодости, стоивший ему стольких лет лагерей, сопровождал его всю жизнь. Несмотря на официальное признание и даже на государственные награды. Это проявлялось и в *крамольных* его стихах, которых у него оказалось немало: “Ты себя под Лениным чистил...”, “Голубой Дунай” и другие. И главное – в рукописи “Я обвиняю!”, представляющей собой его многолетнее расследование гибели или, по всей вероятности, убийства Владимира Маяковского. Смеляков писал: “Мы можем и должны сказать, кто преступник, кто сволоочь, можем назвать тех, кто подготовил роковой выстрел”. И он называет всех, частных к травле и гибели Маяковского. Но, видимо, при всей его известности и знаменитости, он так нигде и не смог эту статью опубликовать...

Я хорошо помню 38-страничную рукопись, бродившую в литературных кругах Москвы, помеченную декабрём 1970 года, то есть всего лишь за два года до кончины автора...

Но ведь сам факт того, что рукопись была пущена для ознакомления в литературных кругах именно таким образом, а не через публикацию, говорит о многом. По всей видимости, у Ярослава Смелякова другого способа передать её литературной общественности не было...

Как видно из этой рукописи, и конфликт Владимира Маяковского, и конфликт самого Ярослава Смелякова с обществом осуществлялся не в плоскости “поэт и власть”, а по совсем иным параметрам. Это был конфликт между поэтом и той околотитулярной публикой, которая имела совсем иные виды и на русскую поэзию, и на русскую историю, и на судьбу России... И имела она большое влияние на общественное сознание нашей страны. Это были те лю-

ди, с кем мы “даже вроде дружим”, но “кому — до боли сердца нужен — любовью, но всё-таки успех” (“Письмо другу — стихотворцу”).

Ярослав Смеляков любил Владимира Маяковского, как и многие люди его поколения. Причём, как это ни странно, в его поэзии нет ученичества, связанного с поэзией Маяковского. Совершенно справедливо отметил Николай Старшинов, “Смеляков обожал Маяковского. Следуя за ним (хотя формально он не испытал никакого влияния его), он сам стремился к тому, чтобы каждое стихотворение содержало в себе так называемое гражданское звучание. И это была не поза, не дань моде, не желание спекулировать на теме, но глубокое внутреннее убеждение” (“Поэзия”, № 1, 1998).

По всей вероятности, в Маяковском Смелякова привлекало другое, не только собственно его поэтика. Для него он был, видимо, образцом взаимоотношений поэта и общества, он был властителем дум, обладающим колоссальным влиянием на людей. Именно таким, по его мнению, должно было быть положение поэта в обществе, о чём обмолвился в своих воспоминаниях о Ярославе Смелякове Владимир Цыбин: “Мне часто казалось, что ему хотелось, чтобы поэты походили на вождей”.

Смеляков защищал Маяковского мужественно и бесстрашно. Чего только стоит публикация его стихотворения, посвящённого Маяковскому, в альманахе “Поэзия” (№ 10, 1973), где поэт со всей беспощадностью обличает тех, кто травил поэта и, в конечном счёте, стал причиной его гибели:

*Ты себя под Лениным чистил,  
Душу, память и голосище,  
И в поэзии нашей нету  
До сих пор человека чище.*

*Ты б гудел, как трёхтрубный крейсер,  
В нашем общем многоголосье,  
Но они тебя доконали,  
Эти лили и эти оси.*

*Не задрипанный фининспектор,  
Не враги из чужого стана,  
А жужжавшие в самом ухе  
Проститутки с осиным станом.*

*Эти душечки-хохотушки,  
Эти кошечки полусвета,  
Словно вермут ночной, сосали  
Золотистую кровь поэта.*

*Ты в боях бы её истратил,  
А не пролил бы по дешёвке,  
Чтоб записками торговали  
Эти траурные торговки.*

*Для того ль ты ходил, как туча,  
Медногорлый и солнцеликий,  
Чтобы шли за саженым гробом  
Вероники и брехобрики?!*

*Как ты выстрелил прямо в сердце,  
Как ты слабости их поддался,  
Тот, которого даже Горький  
После смерти твоей боялся?*

*Мы глядим сейчас с уваженьем,  
Руки выпростав из карманов,  
На вершинную эту ссору  
Двух рассерженных великанов.*

*Ты себя под Лениным чистил,  
Чтобы плыть в революцию дальше,  
Мы простили тебе посмертно  
Револьверную ноту фальши.*

Об истории публикации этого стихотворения рассказал в своё время Николай Старшинов: “Осенью 1972 года я с поэтом Вадимом Кузнецовым приехали к Ярославу на дачу в Переделкино. Поэт был нездоров, плохо себя чувствовал. И настроение у него было неважное, даже расстроенное... Я попросил у Ярослава стихи для альманаха “Поэзия”, куда только что поступил на работу. Он, по сути дела, отговаривался:

– Я же сказал, что не могу сейчас писать... Ничего нового у меня нет... Впрочем, у вас в издательстве осталось несколько моих стихотворений, которые не вошли в мою последнюю книгу. Помните, Таня попросила их снять... Вот и можете их отыскать и напечатать...

– И стихи о Маяковском тоже можно?

– Печатайте и эти стихи. Я не против, если они у вас сохранились...

Дело в том, что при отправке в набор его последней прижизненной книги Таня Стрешнева, жена Ярослава, попросила снять, вынув из рукописи, идущей в производство, несколько стихотворений. В первую очередь стихи о Маяковском “Ты себя под Лениным чистил...”.

После публикации этого стихотворения разразился скандал. Николай Старшинов вспоминал историю, связанную с публикацией этого стихотворения: “После выхода альманаха “Поэзия” стихотворение это не было ни разу опубликовано ни в одном издании. А с самим номером альманаха произошла непонятная история. Он мгновенно исчез с полок книжных магазинов. Поэт и прозаик Виталий Коржииков рассказал мне даже такое:

– Подошёл я несколько дней назад к книжному магазину, который находится поблизости от моего дома. Смотрю: подъезжает к нему легковая машина. Из неё вышли молодые люди. Они по-быстрому забежали в магазин, вынесли из него с десяток пачек каких-то книг. Я услышал их разговор: “Сейчас отъедем за город и сожжём...”. Я зашёл в магазин и поинтересовался у продавца: что это за книги вынесли сейчас эти молодые ребята? А он мне: “Да это последний номер альманаха “Поэзия”.

Потом начали пытаться членов редколлегии альманаха: были ли они ознакомлены со стихотворением до его публикации? Многие уклонились от ответа, и только поэт Василий Фёдоров сказал, что он был ознакомлен, хотя на самом деле стихотворения этого до публикации не видел...

Таковыми совсем недавно были литературные нравы. В таких условиях существовала русская литература советского периода истории нашей страны. Такой была идеологическая борьба. Не за строчки, конечно. Но за русскую поэзию, за нашу российскую жизнь. И, как видим, сводилась она вовсе не к проблеме “поэт и власть”, а проходила совсем по иному горизонту.

Ярослав Смеляков всю жизнь размышлял о гибели Владимира Маяковского. В упомянутой рукописи “Я обвиняю!” он писал: “В течение 40 лет я не переставал думать: что же произошло 14 апреля 1930 года?... Исследуя и сопоставляя факты, имеющие отношение к смерти Маяковского, я пришёл к выводу, что она подготавливалась врагами поэта издавна, планомерно и неотступно”.

Он не просто перечислил имена всех, причастных к гибели поэта, но и назвал явление, по причине которого определённая часть критики отказывала в признании наиболее талантливым русским поэтам, начиная с Пушкина: “О том, что определённая часть критики не понимает и не признаёт многих русских писателей, говорил в своё время А. П. Чехов. В дневнике 1897 года он откровенно писал: “Такие писатели, как Н. С. Лесков, С. В. Максимов, не могут иметь успеха у нашей критики, так как наши критики почти все евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, её духа, её форм, её юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в русском человеке не больше не меньше, как скучного инородца. У петербургской публики, в большинстве руководимой этими критиками, никогда не имел успеха Островский, и Гоголь уже не смешит её” (Чехов, ПСС, 1933. Т. 12. С. 112).

Я понимаю, что уже за одну эту цитату меня обвинят в антисемитизме, – продолжал Ярослав Смеляков. – Нас, русских людей, издавна запугивают этим словом. Между тем, если повнимательней понаблюдать нашу жизнь, осо-

бенно в части литературы и искусства, нетрудно убедиться, что не антисемитизм, а антирусизм или, как прежде говорили, – русофобство получило необыкновенное развитие и приносит ощутимый вред социалистической культуре. Трагическая судьба Маяковского – одно из подтверждений тому... То, что писал Чехов о критиках Лескова и петербургских истолкователях Гоголя и Островского, полностью, а может быть, ещё в большей мере относится к критикам Маяковского. Они действительно оказались неспособными понять Маяковского как русского поэта”.

Размышляя долгие годы о трагической участи Маяковского, Ярослав Смеляков вместе с тем думал не только о нём, но о положении талантливых русских поэтов в обществе вообще. Дело в том, что в качестве основного, дежурного идеологического довода “враги социализма”, а точнее – недоброжелатели России, как во вне, так и внутри страны выдвигали то, что поэт якобы “пришёл в противоречие с советской действительностью. Такого противоречия не было и не могло быть”. Эти слова Ярослава Смелякова в полной мере относятся и к нему самому. И мы видим, как неореволюционеры нашего времени этот же довод задним числом пытаются применить и к Ярославу Смелякову, “не понимая”, как поэт, столько отсидевший в лагерях, не только не впал в обличительность и диссидентство, в “диссидентский соцреализм”, по точному определению Станислава Куняева, но гордился своей трудной эпохой и многострадальной страной.

#### 4

Следует всё-таки особо остановиться на драме жизни Ярослава Смелякова, тем более что о сути её постоянно умалчивается. И вовсе не случайно. Между тем как она многое объясняет и в его судьбе, и в его творчестве. Поразительно же, в самом деле, что всего лишь из шестидесяти лет жизни поэт одиннадцать лет провёл на нарах, в тюремном заключении и в плену, тринадцать лет оставался с судимостью, которая была снята с него только после вручения Государственной премии, в 1969 году, за три года до кончины... И это поэт, как представляли его официально, *рабочей темы и комсомольской романтики*. Выходит какая-то и вовсе специфическая и неромантическая романтика...

Ярослав Смеляков действительно занимает особое, исключительное место как в русской литературе советского периода, так и в нашем самосознании. Причём не только в то время, но и сегодня. Всей своей трагической, многострадальной судьбой он явил нам удивительный пример истинно человеческого достоинства и благородства, подлинной гражданственности в самых неблагоприятных условиях жизни. И чем далее, тем это становится всё более очевидным.

Проще всего в столь долгих несчастьях, выпавших на долю поэта, обвинить политическую систему, “режим” и на этом посчитать свою задачу выполненной. И все внешне будет вроде бы правдой. Если бы не одно обстоятельство. Слишком уж у нас были разными “жертвы режима”, а порой и прямо противоположными.

Для одних лагерное прошлое становилось основным достоинством их литературного творчества и образцом гражданственности, своеобразной индальгенцией, по которой им прощалось и несовершенство их писаний, и не слишком лояльное отношение к власти. И тут, конечно же, прежде всего, вспоминается несчастье А. Солженицына. В биографиях других поэтов и писателей, в том числе и Я. Смелякова, эти события старательно замалчиваются, что приводит порой к забавным казусам. С чего бы так? Видимо, это случилось потому, что для одних ничего, кроме “режима”, в *этой стране* не существовало. И они боролись с ним последовательно и неистово, менее всего думая о последствиях своей борьбы. То есть оказались они людьми непрозорливыми. Другие же помнили о том, что, кроме “режима”, есть ещё и многострадальный народ, есть ещё и *наша страна*, Родина, занимающая уникальное, но вместе с тем и сложное положение в мире. Возможно, что именно поэтому она и ввергалась в нескончаемые войны. А потому апеллировать только к “режиму”, всю историю народа и страны сводить к “освободительному движению” они не могли. И вовсе не из страха перед беспощадностью системы, а потому, что это было оскотлением истории и, по сути, исторической неправдой.

Но теперь-то, когда борьба с “политической системой” и “режимом” принесла не только не те результаты, которые нам обещали, которых ожидали и которые декларировали, но прямо противоположные, — произошло не освобождение народа, а ещё более изощрённое его закрепощение — разве это не убеждает нас в том, что неистовость борцов с “режимом”, с советской системой была лишь формой их самоутверждения, просто они, по-видимому, не нашли для этого иных средств и способов? Значит, они именно этого хотели?.. или их просто провели?.. Но если так, чем же, в таком случае, восхищаться и на каком основании выставлять их правдолюбцами?.. Речь, очевидно, идёт вовсе не о защите “политической системы”, а о том, что она имела свою трудную, трагическую историю. А потому напрочь отвергать её, не учитывая этого и ничего не предлагая взамен, кроме пресловутого “прав человека” и неопределённой и, как правило, спекулятивной “свободы”, означало ввергнуть народ в новый виток революционного анархизма. Теперь уже — в иной форме. Что, собственно, и произошло.

Размышляя над тем, почему были столь разными наши “жертвы режима”, приходишь к выводу, что Ярославу Смелякову до сих пор не могут простить того, что он, человек столь трагической судьбы, прошедший лагеря и плен, не стал диссидентом. Хотя у него для этого было гораздо больше оснований, чем, скажем, у А. Солженицына. Ведь история ареста Солженицына в конце Великой Отечественной войны хорошо известна: вовсе не за патриотизм он выступал и не за “историческую Россию”, но против отступлений от “чистоты” ленинизма... Это уже потом он обратился к державным декларациям. Но первопричина его диссидентства была совсем иной.

Итак, обратимся, хотя бы кратко, к трагической судьбе Ярослава Смелякова. Мне попало в руки исследование А. Белоконя “Жизнь Ярослава Смелякова, или Возвращение из долгого путешествия”, опубликованное в журнале “Север” в 1994 году.

Автор этого труда не касается творчества, но ставит своей целью “несколько прояснить судьбу поэта”, тем более что о ней пока ничего не рассказано. Это исследование ценно ещё и тем, что автор хорошо знает систему “исправительных” учреждений и старательно поработал в архивах. Исторически отсылаясь о вступительной статье поэта Марка Соболя к книге избранных произведений Ярослава Смелякова, в которой тот писал, что “Ярослав только что вернулся из долгого и невесёлого путешествия”, автор и разбирает все три “путешествия”, которые случились в судьбе поэта (М., “Советская Россия”, 1976).

Первое “невесёлое путешествие” Ярослава Смелякова началось, как известно, с ареста в декабре 1934 года после грозной статьи М. Горького “Литературные забавы”. Как не без оснований уточняет А. Белоконь, “сочинённой на основании писем-доносов, услужливо подсунутых М. Горькому плеядой “доброжелателей”, завидовавших талантам молодых поэтов. Вот и получилось, что Алексей Максимович знает только то, что “от молодого комсомольского поэта Смелякова постоянно пахнет вином”, но анализа его творчества нет в этой статье. Впрочем, как и других поэтов, попавших в разгромную статью, имевшую, скажем прямо, поистине трагические последствия для всей поэзии 30-х годов: практически мало кто из “героев” статьи не был репрессирован”.

Поэту вменяли в вину антисоветскую деятельность, террористические настроения, а также намерение вместе с Л. Лавровым коллективно покончить жизнь самоубийством в знак протеста против советской действительности. Состав преступления явно не получалось. “Антисоветская деятельность” сводилась к критике Союза писателей и к неодобрительным отзывам об “ударничестве”. “Террористические настроения” усматривались в факте изъятия у него книги Гитлера “Моя борьба”, изданной на русском языке ограниченным тиражом и выдаваемой по спискам, утверждённым ЦК ВКП(б). Кто дал почитать поэту книгу, следователи, конечно же, знали, не могли не знать. И тогда прибегли к внесудебной расправе. Постановлением особого совещания от 4 марта 1935 года Я. Смеляков, как и поэты, арестованные одновременно с ним, были осуждены к трём годам исправительно-трудовых лагерей за “участие в контрреволюционной группе”.

Вернувшись из первого “путешествия”, Я. Смеляков обратился в Союз писателей. И генеральный секретарь Союза писателей В. Ставский “помог” ему устроиться на работу “по специальности”: в редакцию многотиражной газеты трудовой коммуны им. Дзержинского в г. Люберцы. То есть поэт оказался в той же “исправительной” системе, но уже в качестве вольнонаёмного. И толь-

ко в середине 1939 года он получил разрешение на проживание в Москве и поселился в квартире матери. И даже перешёл на работу в Союз писателей инструктором сельской прозы.

Второе “путешествие” Я. Смелякова произошло в ходе войны. За месяц до её начала он был призван в армию и направлен на формирование 521-го строительного батальона под Петрозаводском, который участвовал в сооружении оборонительных укреплений. Затем строительный батальон, в котором служил Я. Смеляков, был брошен на формирование 1-й лёгкой стрелковой бригады Карельского фронта, занимавшей оборону западнее Медвежьегорска. Там, при разгроме финнами его части, он и попадает в плен. С марта 1942 года он находился в Выборгском лагере, где использовался на общих работах. Там же он получил и должность валистуса – просветителя лагеря, в обязанности которого входила работа в библиотеке, распространение среди военнопленных газет и журналов, изготовление стенгазет для барачков. Среди своих товарищей по несчастью он получил прозвище “Пушкин”. Ясно, какой направленности была эта литература: она должна была посеять среди военнопленных неверие в победу России, Советского Союза над Германией.

Между тем А. Белоконь пишет и о подпольной патриотической деятельности Я. Смелякова в лагере, основываясь на свидетельствах его сотоварищей по неволе И. П. Ражева и В. А. Пузыня. Однако резонно замечает, что “каким бы подтвердить или опровергнуть факты патриотической деятельности Я. Смелякова в плену пока не удалось. Видимо, слово за архивами Финляндии”. Известно только, что когда возник конфликт между военнопленными Выборгского лагеря и его администрацией, причиной которого послужило требование военнопленных помощь от Красного Креста выдавать им на руки, а не пускать в общий котёл, из числа военнопленных была выбрана делегация для переговоров с администрацией, в состав которой вошёл и Я. Смеляков. И именно он написал требование военнопленных и передал его начальнику лагеря. Конечно, за этим последовало наказание.

В ноябре 1944 года все военнопленные из Финляндии были отправлены в Советский Союз, где, естественно, проходили проверку в фильтрационных лагерях. Военнопленные из Выборгского лагеря проходили проверку в г. Сталиногорске – ныне город Новомосковск Тульской области. Никаких претензий к поэту в связи с его пленением и обстоятельствами “сотрудничества” с администрацией лагеря не предъявлялось. Да он и сам изложил всё, как было, письменно в своём заявлении. Ему было разрешено работать в газете “Сталиногорская правда” и выезжать в Москву к матери.

Но вот примечательный факт. Как только поэт после стольких испытаний начал возвращаться к творчеству, к литературному труду, он тут же был подвергнут разгрому в статье Сергея Львова “Заблуждения талантливого поэта” на страницах “Литературной газеты” от 1 октября 1949 года. Зная то, в какой мере в те времена литература была делом “партийным”, какая борьба в ней велась и какие нравы преобладали, мы не можем считать этот факт совершенно случайным. Он был для Смелякова отголоском уже пережитого. Шесть лет спустя после войны 20 августа 1951 года Я. Смелякова арестовывают и предъявляют ему самое тяжкое обвинение, какое только могло быть, – “измена Родине и антисоветская пропаганда”. Если открылись какие-то факты его недостойного поведения в плену, то почему единственным свидетелем выступила ещё довоенная знакомая поэта – писательница С. С. Виноградская, которая из свидетельницы превратилась вскоре в обвиняемую и тоже оказалась в местах лишения свободы? Совершенно неожиданно заседание военного трибунала Московского военного округа было прервано, и суд решил вызвать товарищей поэта по плену, которые подтвердили бы, что он добровольно в плен не сдавался и в лагере вёл патриотическую работу. Как отмечает А. Белоконь, “такое решение суда – случай по тем временам поистине беспрецедентный”. Однако, *несмотря на показания* товарищей Я. Смелякова по плену, подтвердивших его правоту, приговор был убийственный – 25 лет исправительно-трудовых лагерей, поражение в правах на три года и конфискация имущества. И это – в 38 лет. . .

Отбывал он “наказание” в Инте. За всё время пребывания в лагере не подал ни одной жалобы, и дело его было пересмотрено в общем порядке. Сначала снизили срок до десяти лет, а 19 августа 1955 года Я. Смеляков был освобождён из лагеря.

В ходе этого третьего “путешествия” поэта было ещё одно обстоятельство, обращающее на себя внимание, поскольку и его тоже нельзя считать случайным. Когда следствие подошло к концу, 13 ноября 1951 года следователь подполковник Овчинников принял решение *уничтожить фотографии, письма, черновики стихотворений, то есть весь архив, изъятый у поэта при его аресте...* Конечно, мы теперь можем лишь предполагать, какие силы могли принудить следователя принять такое удивительное решение. Зачем ему было уничтожать материалы, которые должны были служить уликами против арестованного?.. Пожалуй, приходится согласиться, что послевоенный арест Ярослава Смелякова никакого отношения к плену не имел.

Однако есть надежда на то, что не весь послевоенный архив Я. Смелякова был тогда уничтожен. Видимо, поэт, наученный трагическими превращениями своей судьбы, жил осторожно и вряд ли держал весь архив у себя дома. В Новомосковске Тульской области, куда Я. Смеляков был направлен из плена для проверки, он сдружился с журналистом и поэтом Степаном Поздняковым и какую-то, а может быть, и значительную часть архива передал ему на хранение. Подтверждение этому я нашёл совершенно неожиданно для себя.

В Москве у меня был старший товарищ, земляк-кубанец, ныне покойный военный журналист и историк, полковник Виталий Григорьевич Радченко. В последние годы его жизни мы часто встречались, в том числе и у него дома. До 1967 года он служил в Туле.

И вот однажды в кругу его семьи когда зашёл разговор о Ярославе Смелякове, и его супруга Галина Викторовна рассказала мне следующее. В 60-х годах она работала в тульской областной газете “Шахтёрская правда”. Там она и познакомилась с поэтом и журналистом Степаном Поздняковым из г. Новомосковска, активно сотрудничавшим в их газете.

Как почти каждый фронтовик, Степан Поздняков был ершистым. Но когда сложились доверительные отношения, он рассказал Галине Викторовне о том, что дружил в Новомосковске с Ярославом Смеляковым, и “у него на сохранении был его архив, пока Ярослав отбывал срок на зоне”. Когда семья Радченко переехала в Москву, точнее – Виталий Григорьевич был переведён по службе для работы в центральной военной печати, Степан Поздняков прислал Галине Викторовне свою книжку стихотворений “Косы русые России” (Тула, Приокское книжное издательство, 1971). То есть, надо полагать, отношения у них были добрые, и вряд ли Степан Поздняков стал бы рассказывать о дружбе с Ярославом Смеляковым человеку случайному.

Забрал ли потом Я. Смеляков свой архив у новомосковского друга, мы не знаем.

Вполне возможно, что, наконец-то выйдя на свободу и возвратившись к литературной работе, он и не думал о нём – ему было не до архива. Так что возможные открытия о жизни Ярослава Смелякова нас ждут не только в архивах Финляндии, но и в затерявшемся тульском архиве поэта... В поисках этого архива Ярослава Смелякова можно было бы рассчитывать на одержимость местных краеведов. Но где они теперь...

## 5

Одним из самых совершенных творений Ярослава Смелякова, в полной мере отражающим понимание им гражданской войны, “похлёбки классовой борьбы”, советского периода истории нашей страны, который оказался “предельно сложный в своём веселье и тоске”, является стихотворение “Жидовка”. Стихотворение малоизвестное, не вошедшее даже в самую полную книгу стихов поэта, изданную в серии “Большая библиотека поэта” в 1979 году. Нам должно быть понятно, что “крамольным” оно оказалось уже из-за своего названия, из-за того, какой тип героини предстаёт в этом стихотворении Ярослава Смелякова, с удивительной последовательностью отдававшего дань в своей поэзии женским образам. Из-за ложно понимаемой политкорректности, которая у нас стойко сохраняется и жёстко удерживается до сих пор, это стихотворение постигла столь незавидная судьба.

В “перестроечные” годы “демократы” из журнала “Новый мир” предприняли было первую публикацию этого стихотворения” (№ 9, 1987). Но публикация обернулась форменным скандалом. Как совершенно справедливо писал Станислав Куняев, “они, всю жизнь, со времён Твардовского, воевавшие против

цензуры, не смогли “проглотить” название и первую строфу: стихотворение назвали “Курсистка”, и первую строфу чья-то трусливая рука переделала”.

В этом стихотворении мне представляется более значимым и важным не сам тип персонажа, хорошо известный, не эта старуха, сохранившая “безжалостный взгляд”, а иное: что же произошло такое в России за это время, что её как революционерку уже не уничтожат, как она уничтожала других, а “велят” вернуться в столицу? Поэт выражает это предельно точно: “**подобревшее лонно столицы**”... Но в таком случае неизбежно возникает вопрос: а такой революционный тип людей с их беспощадностью и безжалостностью способствовал ли созиданию советской жизни, этому *подобрению*, или же наоборот – препятствовал ему? И на этот вопрос Ярослав Смеляков даёт ответ: “И тебя самое под конвоем *по советской* земле повезут”. Ведь, казалось бы, тут больше подходило бы “по российской земле повезут”. Нет, именно “по советской”. Ведь когда столь ретивых революционеров, сохранивших свой “безжалостный взгляд”, осуждали за “антисоветскую деятельность”, – это было сущей правдой, так как их революционный радикализм уже работал против с таким трудом создаваемой новой государственности – *советской России*. И они, по всей видимости, это хорошо понимали, потому с такой лёгкостью подписывали столь грозные обвинения. Ну, а другой государственности, кроме этой, вновь создаваемой, у нас не было. Можно было сколько угодно вздыхать по “исторической России”, предаваться маниловским мечтаниям о её скором “освобождении от коммунизма”, чем занималась значительная часть эмиграции, – всё это было уже вне той жизни, которой жила страна. Всё, вопрос был исчерпан. Но и жизнь пошла не по революционным идеям “жидовок”, а по совсем иным, народным путям, насколько это было возможно после революционного погрома страны и при сохранении всё той же идеологии... .

Подменять же *советское коммунистическим* давно стало самым распространенным обыкновением – сначала у интеллигентных интеллектуалов, а потом и у творцов новой революции. Ведь, собственно, на этой подмене и строилась идеология “демократической” революции... .

Но какая широта души у поэта – никакой обиды, никакой мести или хотя бы злости к этой старухе, всё ещё сохраняющей “безжалостный взгляд”, а только жалость... .

Наконец, что же произошло такое в стране, что сам поэт, с юности обвиняемый в отсутствии “пролетарского мышления”, в “моральном разложении”, в “участии в контрреволюционной группе”, столько лет отсидевший в тюрьме, со временем стал официально признанным? Неужто лишь потому, что умело подстроился под “стиль” эпохи? Нет, конечно. Коренным образом изменилась жизнь в России, когда истинный поэт смог занять своё, подобающее ему место в обществе.

Это стихотворение Ярослава Смелякова тем и уникально, что в нём даёт-ся общая, но точная картина того, что происходило в действительности и что оставалось, да и всё ещё остаётся заслонённым идеологической догматикой, теперь уже новой, “либерально-демократической”.

Как нет, кстати, никакой обиды и мести в стихотворении “Послание Павловскому”, окрестившему молодого поэта “крестом решётки” на Лубянке. Казалось бы, могла быть и месть, вроде бы такая оправданная и даже праведная. Нет, здесь совсем иное, даже снисходительно-дружеское: “За чашкой чая нам с тобою о прожитом потолковать”. Значит, в обществе произошли столь важные перемены, что теперь узник и палач могут встретиться за чашкой чая. А это означало, что революционное сознание перестало быть преобладающим, что жестокое противостояние в народе, наконец-то, завершилось. А это ведь факт огромной значимости для народа и страны, измученных братоубийственной войной и постоянной “немой борьбой”.

Мне могут возразить на такой генезис советского периода истории нашей страны, выводимый из творческого наследия Ярослава Смелякова: но ведь, в конце концов, пришлось *освободиться от советскости*. Да нет, не так. От самодержавия, как мы помним, тоже *пришлось освободиться*... . Такое утверждение было бы справедливым при единственном условии: если бы действительное освобождение состоялось. Но коль произошло новое разрушение страны, культуры народа, причём в ещё более коварных формах, значит, тем самым оправдывается новая революционная катастрофа России. Ну, а убеждение в “неизбежности” такого варварства оставим самым идеологизированным нашим соотечественникам.



Но нынешние неореволюционеры, разоблачители советского периода истории страны, уже не имея на то никакого права, требуют мести и расправы. Причём зачастую над жертвами, а не над палачами... То есть они требуют продолжения революционного анархизма и беззакония под видом преодоления былого беззакония и утверждения идеалов демократии. Вот, собственно, и вся идеологическая приманка, с помощью которой была разыграна величайшая трагедия нового времени – развал Советского Союза, но, слава Богу, ещё пока не России.

Стихотворение “Послание Павловскому” помечено 1967 годом. Привожу стихотворения полностью, чего обычно в статьях не делается, лишь потому, что при нынешнем расцвете демократии, почему-то сопровождаемом изгнанием русской литературы из системы образования, современный читатель ни в каких антологиях и сборниках прочитать их не сможет.

*В какой обители московской,  
В довольстве сытом иль в нужде  
Сейчас живёшь ты, мой Павловский,  
Мой крёстный из НКВД?*

*Ты вспомнишь ли мой вздох короткий,  
Мой юный жар и юный пыл,  
Когда меня крестом решётки  
Ты на Лубянке окрестил?*

*И помнишь ли, как птицы пели,  
Как день апрельский ликовал,  
Когда меня в своей купели  
Ты хладнокровно искупал?*

*Не вспоминается ли дома,  
Когда смежаешь ты глаза,  
Как комсомольцу молодому  
Влепил бубнового туза?*

*Не от безделья, не от скуки  
Хочу поведать не спеша,  
Что у меня остались руки  
И та же детская душа.*

*И что, пройдя сквозь эти сроки,  
Ещё не слабнет голос мой,  
Не меркнет ум, уже жестокий,  
Не уничтоженный тобой.*

*Как хорошо бы на покое, —  
Твою некстати вспомнив мать, —  
За чашкой чая нам с тобою  
О прожитом потолковать.*

*Я унижаться не умею  
И глаз от глаз не отведу,  
Зайди по-дружески скорее.  
Зайди.*

*А то я сам приду.*

Какую цель преследовала та новомировская публикация этих двух стихотворений, со столь бесцеремонной цензурой? Ею пытались показать, что и Ярослав Смеляков причастен к лагерной теме, из которой тогда изготавлилась новая “демократическая” идеология революционного разорения России. Но из этого, кроме скандала, ничего не получилось, так как Смеляков не был лагерным поэтом.

Можно ли его назвать поэтом советским, в том расхожем, идеологизированном смысле слова? Разумеется, нет. Он был большим русским поэтом советского периода истории нашей страны. А это не одно и то же.

Сказать о Ярославе Смелякове лишь то, что он “верил в идею”, в правоту социалистического строя, оправдывал и поддерживал его, — значит, всё свести к идеологии и политике, где легко орудовать всевозможным идеологическим лукавцам. Как большой поэт и глубокий мыслитель, он просто понимал истинный смысл и значение своего времени. Его понимание эпохи не вошло в полной мере в общественное сознание и до сих пор.

Он нашёл абсолютно точное определение этому периоду истории, не в пример идеологам и политикам. Не “строй” и не “режим”, как скажут его ниспровергатели, но “**стиль**”:

*Он вошёл в мои книжки неплохо,  
Он шумит посильней, чем ковыль,  
Тот, что ты создавала, эпоха —  
Большевистского времени стиль.*

Но в том-то и дело, что стиль у него — не только “большевистского времени”, но он относится и ко всему народному бытию. Как в стихотворении “Мужицкие письма”:

*...Всё было бы только притворство,  
Я сам ничего бы не смог,  
Когда бы в своё стихотворство  
Не внёс доморощенный слог.*

*Издержки и таинства стиля  
Ничуть не стараюсь избыть,  
Да, мы его дома растили,  
А где его надо растить?*

*...Но всё-таки стиль создавали,  
Пока он таким вот не стал,  
Все те, что тогда диктовали,  
А я только просто писал.*

И здесь в его творчестве просматривалась основная для того времени проблема — о соотношении советского и русского. А потому оценка его творчества лишь с точки зрения лояльности к советской эпохе является спекулятивной: “С годами о Смелякове возникла легенда, будто поэт, трижды отсидев в лагерях, до конца оставался фанатиком советской власти. Ярый сторонник этого мифа — Станислав Куняев” (В. Огрызко). Надо быть невысокого мнения о поэте, чтобы допускать мысль, что он мог писать с оглядкой на вождей: “От него ждали гражданской лирики, но такой, какая бы могла усладить вождей. И он через силу выдавил из себя эту лирику. В 1948 году поэт издал небольшой сборник “Кремлёвские ели” (В. Огрызко).

Но такое облыжное осуждение поэта имеет и другую нехорошую сторону — оно скрывает тот истинный конфликт, который поэт переживал.

Не только Станислав Куняев, но, пожалуй, все, кто близко знал Ярослава Смелякова, отмечали, что у него не было обиды за перенесённые испытания. Но кроме того, об этом убедительно свидетельствуют его стихи. Только человек широкой души мог удержаться на такой высоте. Судя по всему, он знал, кто повинен в его несчастьях. Может быть, и это знание не позволяло ему обличать страну, строй, эпоху и уж тем более народ. В отличие от писателей, впавших в диссидентство и, как правило, мыслящих неглубоко.

## 6

Несмотря на то, что поэт говорил о своём постоянстве и старомодности, что он “в своих пристрастьях крайне стойкий”, нельзя не заметить той разительной перемены, которая происходила в его поэтическом мире, когда оценки тех или

инных явлений становились, по сути, прямо-таки противоположными. Как в последней книге “Декабрь”. Это был всё тот же Смеляков и всё-таки новый.

Какая-то невысказанная огромность и значимость человека, личности осветила его новые строчки:

*Я строил окопы и доты,  
Железо и камень тесал,  
И сам я от этой работы  
Железным и каменным стал.*

*...Я стал не большим, а огромным —  
Попробуй тягаться со мной!  
Как Башни Терпения, домны  
Стоят за моею спиной.*

Какая историческая значимость личности предстаёт в этих стихах Ярослава Смелякова! Это вовсе не то, что декларации о “правах человека”. Ведь либеральное мышление потому и декларирует эти пресловутые “права человека”, что на сущностном, на метафизическом уровне не содержит в себе личностного начала и, в конце концов, оборачивается уничтожением личности:

*Я устал от двадцатого века,  
От его окровавленных рек.  
И не надо мне прав человека,  
Я давно уже не человек...*

(Владимир Соколов)

Такая же значимость человека и в знаменитой в своё время смеляковской песне “Если я заболею”.

И вдруг такое пронзительное стихотворение в книге “Декабрь”, как бы отрицающее всю эту безбрежную романтику, пронизанную оптимизмом — “Я отсюдова уйду...”. Более того, называющее эту романтику “враньём”. И на основании этого с прежней предельной смеляковской прямоотой выносятся приговор, в том числе и самому себе: “Ежели поэты врут, больше жить не можно...”. Кажется, что эти стихотворения разных лет тем только и роднятся — только этим “бредом”. В раннем стихотворении: “Не сочтите, что это в бреду”; в позднем: “Бормочу в ночном бреду фельдшернице Вале...”:

*Я на всю честную Русь  
Заявил смелея,  
Что к врачам не обращусь,  
Если заболею.*

*Значит, сдуру я наврал  
Или это снится,  
Что и я сюда попал,  
В тесную больницу?*

*Медицинская вода  
И журнал “Здоровье”.  
И ночник, а не звезда  
В самом изголовье.*

*Ни морей и ни степей,  
Никаких туманов,  
И окно в стене моей  
Голо без обмана.*

*Я ж писал, больной с лица,  
В голубой тетради  
Не для красного словца,  
Не для денег ради.*

*Бормочу в ночном бреду  
Фельдшернице Вале:  
“Я отсюдова уйду,  
Зря меня поймали.*

*Укради мне — что за труд?! —  
Ржавый ключ острожный”.*

*Ежели поэты врут,  
Больше жить не можно.*

О каком “сломе”, о каком “надломе” поэта можно говорить после такого стихотворения?.. Что это — переоценка ценностей, отказ от прежних пристрастий и идеалов? Да нет же: “Я ж писал, больной с лица, // В голубой тетради // Не для красного словца, // Не для денег ради”.

Многое бы иной диссидентствующий автор отдал за то, чтобы его стихи были непроходимыми, то есть, по сути, запрещенными не по причине их политической прямолинейности, а стало быть, примитивности, выдаваемой за гражданскую смелость, а по каким-то иным причинам. У Ярослава Смелякова такое стихотворение есть, которое не вошло даже в его последнюю книгу “Декабрь”. И было впервые обнародовано Владимиром Цыбиным в воспоминаниях о Смелякове в “Дне поэзии” за 1980 год. Этот выпуск посвящен столетию А. Блока. Это стихотворение Смелякова “Голубой Дунай”.

Ну, казалось бы, что же тут такого “крамольного” может быть, если поэт говорит о простой женщине, Машке из рабочей слободы? Нет, не падшей, но всё же проявляющей слабость, какой Смеляков не позволял себе и не прощал другим. Ну, ладно, стихотворение “Жидовка” было непроходимым из-за известной “горечи”, из-за того, что были в нём “неудобные” вопросы. Но тут-то — простая рабочая женщина. Что же тут такого крамольного высказал поэт? Уж не то ли, что в связи с её судьбой и с “Голубым Дунаем” он расслышал “колокольчики России из степей и от саней”?.. Он постиг её истинную судьбу, о которой она и сама, “дура”, не подозревала. А вместе с тем и особенность той эпохи, когда ей довелось жить.

По свидетельствам очевидцев, Ярослав Васильевич читал это стихотворение в аудиториях чуть ли не со слезами на глазах, с обидой за Машку, за её такую добродушную и нелепую жизнь:

*После бани, в день субботний  
Отдавая честь вину,  
Я хожу всего охотней  
В забегаловку одну.  
Там, степенно выпивая,  
Я стою наверняка.  
В голубом дыму Дуная  
Всё колеблется слегка.  
Появляются подружки  
В окружении ребят.  
Всё стучат сильнее кружки,  
Колокольчики звенят.  
Словно в небе позывные,  
С каждой стопкой всё слышней  
Колокольчики России  
Из степей и от саней.  
Ни промашки, ни поблажки,  
Чтобы не было беды.  
Над столом тоскует Машка  
Из рабочей слободы.  
Пусть милиция узнает —  
Ей давно узнать пора —  
Машка сызнова гуляет  
Чуть не с самого утра.*

*Не бедна и не богата —  
Четвертинка в самый раз —  
Заработана лопатой  
У писателя сейчас.  
Завтра утречком стирает  
Для соседа бельецо.  
И с похмелья напевает,  
Что потеряно кольцо.  
И того не знает, дура,  
Полоскаючи бельё,  
Что в России диктатура  
Не чужая, а её...*

Вот в чём состояла крамольность этого стихотворения: в народном взгляде поэта на жизнь, в том, что, оказывается, простая Машка и есть хозяйин жизни в своей стране. Но, к сожалению, о том не ведающая... И что доказывает ся как текстом самого стихотворения, так и странной его судьбой...

Теперь, после очередной революции в России, “демократической”, после новых бедствий, пережитых нами за эти годы, разве не понятно то, о чём болела душа поэта, и разве большинство граждан не оказались в положении той же Машки из рабочей слободы?.. Что для нас было важнее: красивые декларации об освобождении от “тоталитаризма” или же реальное положение дел в стране? Давнее стихотворение поэта с учётом вновь приобретённого опыта открывается современному читателю новым смыслом.

## 7

Ярослава Смелякова пытаются теперь, задним числом, выставить таким прямолинейным трубадуром социализма, певцом советского строя и даже его идеологом, не ведающим сомнений. Более того, судя по себе, унижают невозможным — тем, что он якобы писал “верноподданнические” стихи. Или наоборот, якобы входящим в противоречие с советской действительностью. Не выходит, не получается, так как ни то, ни другое не имеет к нему отношения.

*Не знаю, как там будет дальше,  
Но возраст свой в своём краю —  
Без фанфаронства и без фальши —  
Я никому не отдаю.*

Поразительна и эта постоянная тяга Ярослава Смелякова к истории. Причём к истории России на всю её доступную глубину, а не только советской эпохи. Он даже считал, что поэтическое ремесло “созданию истории подобно”, когда поэт — “радиостудий рядовой пророк, ремесленник журнальный и газетный”. Есть у него стихотворение “История”, в котором он и современность рассматривает не иначе, как с точки зрения её исторической значимости:

*И современники, и тени  
В тиши беседуют со мной.  
Острее стало ощущение  
Шагов Истории самой.*

*Она своею тьмой и светом  
Меня омыла и ожгла.  
Все явственной её приметы,  
Понятней мысли и дела.*

*Мне этой радости донныне  
Не выпадало отродясь.  
И с каждым днём нерасторжимей  
Вся та преемственная связь.*

*Как словно я мальчонка в шубке  
И за тебя, родная Русь,  
Как бы за бабушкину юбку,  
Спеша и падая, держусь.*

А в стихотворении “Надпись на “Истории России” Соловьёва”:

*История не терпит суесловья,  
Трудна её народная стезя.  
Её страницы, залитые кровью,  
Нельзя любить бездумною любовью  
И не любить без памяти нельзя.*

И в этой тяге поэта к истории чувствуется явное стремление “уточнить” тот или иной факт или событие. А они в поэтическом мире Ярослава Смелякова очень даже расходятся со стереотипными представлениями, преобладающими в обществе. Этим же стремлением можно объяснить и его обращение к историческим личностям – от Иоанна Грозного до Лермонтова, Есенина, Гагарина... И его представление об исторических личностях удивительно точны, но вместе с тем и непривычны, поскольку отличаются от расхожих и искажённых представлений, распространённых в общественном сознании. Как, скажем, в стихотворении “Кресло”, когда автор или персонаж “безрассудно смел по-хулигански в кресло это, как бы играючи, присесть” (кресло Иоанна Грозного):

*Урока мне хватило слишком,  
Не описать, не объяснить,  
Куда ты вздумал лезть, мальчишка?  
Над кем решился пошутить?*

Мало кто из современников поэта имел такую историческую осмыслительность и такую трезвую самооценку. Не говорю уже о нынешних авторах идеологизированных и спекулятивных писаний о первом русском царе, кажется, заполонивших всё информационное пространство – от так называемых исторических исследований и книг до кинофильмов...

Или в стихах, посвящённых М. Лермонтову:

*Он был источник дерзновенный  
С чистейшим привкусом беды,  
Необходимый для Вселенной  
Глоток живой воды.*

А в другом стихотворении:

*О, этот Лермонтов могучий,  
Сосредоточась, добр и зол,  
Как бы светящаяся туча,  
По небу русскому прошёл.*

Очень характерно в этом отношении стихотворение Ярослава Смелякова, посвящённое декабристам – “Декабрьское восстание”, содержащее в себе полемику: противопоставление декабризма и народного Декабрьского восстания. Остановлюсь на этом стихотворении подробнее, так как тема декабристов как в исторической литературе, так и в общественном сознании слишком уж замутнена и запутана. Романтизирована без всяких на то оснований и, в общем-то, далека от истолкования её истинного значения. И для этого есть свои мировоззренческие и идеологические причины, остающиеся актуальными вплоть до сегодняшнего дня.

*Я не о той когорте братской,  
нельзя которую забыть,  
и что на площади Сенатской  
пытались ложу учредить.*

*...Я о декабрьской Красной Пресне,  
о той, где ты, Советов власть,  
подобно первым строкам песни,  
в пелёнках красных родилась.*

Примечательно, что в этом противопоставлении революционеров и народа “когорта братская” не отрицается вовсе: Ярослав Смеляков не доходит до максимализма Ф. Тютчева в известном его стихотворении “14 декабря 1825”, в котором декабристы – “жертвы мысли безрассудной”:

*Вас развертило Самовластье,  
И меч его вас поразил.*

*...Народ, чуждаясь вероломства,  
Поносит ваши имена —  
И ваша память от потомства,  
Как труп в земле, схоронена.*

И в то же время понимание декабристов Ярославом Смеляковым (“пытались ложу учредить”) далеко от их романтизации и героизации советской ортодоксальной исторической наукой, согласно ленинской “периодизации освободительного движения” в России: “...Декабристы разбудили Герцена...”. Как это ни покажется странным, (хотя и вполне понятным), но и досоветские, и даже антисоветские авторы, по сути, в равной мере предавались романтизации и героизации декабристов, солидаризуясь в этом с советскими историками. Факт более чем примечательный. В самом деле: менялись времена, формации, уклады жизни, идеологии, но тема декабризма оставалась неприкасаемой и “святой”. Иллюстрацией этого может послужить цикл стихотворений Зинаиды Гиппиус “14 декабря”, “14 декабря 17 года”, “14 декабря 18 года”.

На первый взгляд, трудно понять, по какой такой логике в мировоззрении интеллигентов той поры, в том числе и Зинаиды Гиппиус, романтизация и героизация революционеров-декабристов сочеталась с ненавистью к той революции, которая совершилась. Ведь, казалось бы, именно этого они жаждали, именно это они приближали. Ан нет. Декабристы для неё – “первенцы свободы”, “чистые герои” в “саванах святых”, явившие “ослепительный завет”. Революция представлялась в образе “Невесты”, как некий “освободительный костёр”. И вот революция совершилась, но она оказалась вовсе не такой, какой представлялась, “нехорошей”:

*Простят ли чистые герои?  
Мы их завет не сберегли.  
Мы потеряли всё святое:  
И стыд души, и честь земли.*

*Мы были с ними, были вместе,  
Когда надвинулась гроза.  
Пришла Невеста... И Невесте  
Солдатский штык проткнул глаза.*

*Ночная стая свищет, рыщет,  
Лёд на Неве кровав и пьян...  
О, петля Николая чище,  
Чем пальцы серых обезьян!*

Революционерка, жаждавшая “освободительного костра”, а значит, и крови, становится вдруг рьяной контрреволюционеркой, так как революция не оправдала её надежд, оказавшись такой ужасной: “Россией сейчас распоряжается никчёмная кучка людей, к которой вся остальная часть населения в громадном большинстве относится отрицательно и даже враждебно. Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские и китайские полки (самые надёжные) дорисовывают эту картину. Из латышей и монголов составлена личная охрана большевиков: китайцы расстреливают

арестованных – захваченных. ... Чем не монгольское иго?” (“Черная книжка”. В кн. “Под созвездием топора”. М., “Советская Россия”, 1991). Ну, а разве может быть иначе, когда во имя неких романтически-людоедских идей порушена государственность и воцарилось беззаконие? Как, пробуждая беззаконие, можно ожидать некой “Невесты” во всей её чистоте?

Что же произошло? Совершилась “не такая” революция? Прозрение, эволюция во взглядах? Но история человечества не знает революций без насилия, явившихся в образе некой чистой “Невесты”. А значит, никакая это не эволюция во взглядах, а обыкновенная непрозорливость... И столь резкая перемена во взглядах – от революционных к контрреволюционным – является всего лишь свидетельством ложной мировоззренческой установки. Неразличением того, из какой идеи или слова что именно неизбежно истекает в действительности.

Да и не ново это для “интеллигентного общества”, раздувающего “освободительный костёр” революции, разочаровываться в её результатах. Так ведь было и после Французской революции, так бывает после каждой революции.

В самом деле, трудно себе представить, что же это такое – “освободительный костёр” революции: как “костёр” может быть “освободительным”? Уничтожительным он является, а не “освободительным”. Да и как слепая стихия может уразуметь и выбрать – сжечь только ненужное и оставить необходимое?.. Да и кто определит, что – лишнее, а что – необходимое?..

Неслучайно об этом “костре”, о котором Зинаида Гиппиус писала в 1909 году, желая его, пробуждая его, с такой жесткостью напомним в 1918 году Александр Блок в статье “Интеллигенция и революция”. И думается, что именно это напоминание о “костре” революции, а не призыв слушать “музыку революции”, вызвало такую ненависть к поэту со стороны либеральной интеллигенции. Ведь поэт с беспощадной логикой уличает интеллигенцию в недомыслии и непрозорливости... Кому же понравится такое обвинение, тем более что оно было совершенной правдой: “Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благоразумны они ни были... Я не сомневаюсь ни в чьём личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое – отвечаем мы? Мы – звенья единой цепи... Значит, рубили тот сук, на котором сидели? Жалкое положение: со всем сладострастием ехидства подкладывали в кучу отсыревших под снегами и дождями коряг – сухие полешки, стружки, щепочки; а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба (как знамя), – бегать кругом и кричать: “Ах, ах, сгорим!”.

Справедливо отмечала доктор исторических наук Оксана Киянская: “В какой-то чрезмерной любви к крестьянству членов российских тайных обществ того времени – аристократов, в большинстве своём прагматиков, реалистов – трудно заподозрить. Практически никто из них, владельцем разной величины поместий, не отпустил крестьян на волю... Тот же Пестель планировал после революции установить десятилетнюю военную диктатуру именно для того, чтобы не допустить массовых выступлений, бунтов “бессмысленных и беспощадных” (“Литературная газета”, № 52, 2005). Разве не то же самое, но уже не в “планах”, а практически осуществлялось Лениным? Когда происходило самое жестокое подавление народа, чтобы ни о каком бунте он даже и думать не смел?”

Конечно, главным побуждением декабристов к заговору были не пресловутые “чаяния народа”, на которые, как на основной довод, бесконечно ссылались задним числом. Судя по их высокому социальному положению, причиной была неудовлетворённость иного порядка – желание более высокого положения в обществе, гордыня и т. д. Мы не сомневаемся в личном благородстве каждого из участников тайных обществ, не можем отрицать их образованности и одарённости, так же как и того, что потом, оказавшись “во глубине сибирских руд”, они внесли большой вклад в развитие общества. Но это уже – потом. Мы же говорим о революционном движении, в котором они участвовали. Выводить их благородство из понятной жалости и сострадания – значит, не совсем точно понимать явление. Ведь реакция власти на тех, кто встал на революционный путь, подвергая опасности не только себя, но и многих других людей, должна была быть именно соответствующей. Иначе что же это за власть, не защищающая не только себя, но и – общество, народ, страну?

История, как известно, не знает сослагательного наклонения. Но представим себе, что довольно обширный круг людей высшего света, людей об-



разованных, действительно благородных, души которых *страданиями человеческими уязвлены стали*, начали бы отпускать своих крестьян на волю. И это приобрело бы массовый характер... Да, это тоже был бы вызов самодержавной власти, но не революционный, и реакция на него была бы иной. В таком случае история освобождения от крепостного права в России была бы совсем другой... Но тогда не было бы благородных мучеников, воспевание которых более ста восьмидесяти лет служит, кажется, единственной цели – поддержанию в обществе, в науке, в литературе *революционного сознания* как якобы единственно прогрессивного и положительного...

О том же, до какой степени природа революций остаётся в общественном сознании не уяснённой и тщательно скрываемой, свидетельствует и то, что апологией революционности декабристов в равной мере были заняты как антисоветские исследователи, так и советские учёные. Так, в оценке революционного декабризма с Зинаидой Гиппиус, по сути, смыкается член-корреспондент Российской академии наук Николай Скатов (*“Фаланга героев”, “Литературная газета”, № 4, 2011*). Такое совпадение может свидетельствовать только об одном: люди оперируют одним и тем же понятием революционности, но вкладывают в него прямо противоположный смысл.

Рассматривать же декабризм как “эстетический феномен”, “как великое явление человеческого духа”, выискивать эстетику в революционном варварстве можно лишь, говоря об их деятельности в Сибири, после восстания. Но собирались они творить дела далеко *не эстетические*, а кровавые, “вырезать Романовых”, уничтожать самодержавие... И никто не знал, каким будет исход предпринятого ими “дела”...

Из того, что их кровавое дело не удалось, никак не следует, что они, заранее понимая свою обречённость, теряли всё, не получая ничего. Из этого следует лишь то, что они неверно оценили состояние общества и народа и преувеличили свою значимость. Но это – вовсе не благородство.

Вообще *революционность*, рассматриваемая как главное содержание российской истории и национальной жизни, – явление довольно странное. Уже хотя бы потому, что это – обоснование нескончаемых революций в России, а значит, нескончаемых социальных катастроф и бед. Кроме того, это какая-то человеческая и гражданская безответственность, если не злой умысел. *Всё многообразие многовековой народной и государственной жизни свести лишь к “освободительному движению”, лишь к истории бунтарства и революций...* Словно ничего иного за эти века в России и не происходило...

О возможности такой подмены *истории страны и народа историей революционного движения*, историей “интеллигентного общества” прозорливо писал Ф. М. Достоевский в “Объяснительном слове по поводу речи о Пушкине 1880 года”. Логику и позицию этого западнически настроенного “интеллигентного общества” он представлял так: “В народе русском, так как уж пришло время высказаться вполне откровенно, мы по-прежнему видим лишь косную массу, у которой нам нечему учиться, тормозящую, напротив, развитие России к прогрессивному лучшему, и которую всю надо пересоздать и переделать, – если уж невозможно и нельзя органически, то, по крайней мере, механически, то есть попросту заставить её раз навсегда нас слушаться, во веки веков. А чтобы достигнуть сего послушания, вот и необходимо усвоить себе гражданское устройство точь-в-точь как в европейских землях; о которых именно теперь пошла речь. Собственно же народ наш нищ и смерд, каким он был всегда, и не может иметь ни лица, ни идеи. Вся история народа нашего есть абсурд, из которого вы до сих пор чёрт знает что выводили, а смотрели только мы трезво. Надобно, чтоб такой народ, как наш, – не имел истории, а то, что имел под видом истории, должно быть с отвращением забыто им, все целиком. Надобно, чтоб имело историю лишь одно наше интеллигентное общество, которому народ должен служить лишь своим трудом и своими силами”.

Что стоит за этой не прекращающейся подменой истории народа и страны историей революций – общая догматичность сознания, безответственность, своеобразная ментальность, почитающая передовым и прогрессивным только и исключительно революционное? Видимо, всё, вместе взятое...

Я понимаю, сколь далеко я отвлёкся от творчества Ярослава Смелякова, впад в объяснение декабризма. Но это, во-первых, очень важный аспект нашей истории. Во-вторых, для такого отвлечения даёт повод стихотворение Ярослава Смелякова “Декабрьское восстание”, свидетельствующее о том, насколько глубоко понимал историю и судьбу России поэт.

Ведь, казалось бы, всего одна строчка поэта, — “и что на площади Сенатской пытались ложу учредить”, — но за ней встаёт целая эпоха нашего общественного и государственного состояния. С его не просто антисамодержавным, но антинародным и антирусским мартинизмом якобинского толка, продолжившимся в декабризме. Ведь декабристы, как и все, принадлежащие к этому бунтарскому направлению мысли, ставили задачей свержение всякой, по определению, власти в России, упразднение Православия как опоры самодержавия. На фоне этих давних не только умонастроений, но и практических действий в ином значении предстаёт и Декабрьское восстание, противопоставленное в стихотворении Ярослава Смелякова “когорте братской”.

## 8

Мы видим, как в советский период истории, во всяком случае, в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время, шло последовательное преодоление революционного сознания. Это, пожалуй, с наибольшей полнотой выразилось в творчестве Ярослава Смелякова.

Книга стихотворений Ярослава Смелякова “День России”, вышедшая в издательстве “Советский писатель” в 1967 году, свидетельствовала о том, что трудный путь от идеологического мародёрства в русской литературе к её восстановлению был в основном пройден. И пройден был со страшными потерями — уничтожением многих выдающихся поэтов. В этом смысле, без всякого сомнения, книга Ярослава Смелякова “День России” явилась событием огромной важности, некоей вехой в русской литературе советского периода, в общественном сознании, обойти или не заметить которую невозможно. Примечательно, что даже не за книгу, а за цикл стихотворений, опубликованных в пятом номере журнала “Дружба народов” за 1966 год, Ярослав Смеляков был удостоен Государственной премии.

Это возвращение от идеологической ортодоксии к подлинной истории и народному самосознанию не было простым и безоблачным, о чём свидетельствовала “оттепель” — новый рецидив революционного сознания. Для народа это было, конечно же, “похолоданием”, а для идеологически озабоченной интеллигенции — “оттепелью”, которая с этого рубежа перестаёт быть в полной мере с народом...

Обращаясь к той или иной странице русской истории, Ярослав Смеляков, тем самым, конечно же, говорил, прежде всего, о своём времени, о современности, о понимании им судьбы России и её истории во временном развитии.

— Но как обстоит дело в стихах поэта с собственно современностью? — может спросить читатель. Хотя, конечно, *современность* в оценке поэтических творений не является ни универсальной, ни обязательной. Но уж коли требование современности в литературе стало у нас таким повсеместным, с этой точки зрения — постижения современности — мне представляется примечательным небольшой цикл стихотворений Ярослава Смелякова “Один день”. Попутно отметим, что наша публика, ещё совсем недавно активно читавшая, хорошо помнит лагерное писание “Один день Ивана Денисовича”, находя в нём какие-то невероятные откровения и глубины, но вряд ли помнит цикл стихотворений Ярослава Смелякова “Один день”. Но такая переключка названий не случайна, в ней чувствуется внутренняя полемика. Главное же состоит в том, что “Один день Ивана Денисовича” А. Солженицына знала и всё ещё помнит недавно читавшая публика, а “Один день” Ярослава Смелякова она, кажется, и вовсе не заметила. Между тем, в этом небольшом цикле стихотворений поэт касался самых насущных проблем своего времени. И они ему представлялись иными, чем они представляли в литературе и общественной мысли того времени. Он касался проблем более важных, чем *лагерная* тематика.

Может показаться странным, что название цикла — “Один день” — для него вовсе и не обязательно. Это — один день автора или лирического героя, который “с писательской командировкой попал в сибирский городок”. Более того, это воспоминания *пятилетней* давности о том, что же он увидел в том городке в течение одного дня. Дело в том, что автор или лирический герой, “смотря не ловко, и в тайной жажде новых строк”, оказался в сибирском городке, который ещё совсем недавно вёл свой быт по старине, но для которого наступили совсем иные времена:

*Но вот по заданному сроку,  
Под гром литавр и шум газет,  
Здесь началась неподалёку  
Большая стройка наших лет.*

*Она с конторами своими,  
Самонадеянно смела,  
Его неведомое имя  
Себе решительно взяла.*

*Она, не спрашиваясь, сразу,  
Желая действовать скорей,  
Его пустынные лабазы  
Набила техникой своей.*

Ирония по отношению к этой большой стройке (“под гром литавр и шум газет”) и даже некоторое осуждение её (“самонадеянно смела”, и даже исконное имя городка “себе решительно взяла”) — всё это свидетельствовало о том, что поэт относился к этим большим стройкам и большим переменам вроде бы так, как это было распространено, с точки зрения экологической, а значит, протестной, и не более того. Но в стихах Ярослава Смелякова здесь обнаруживается совсем иной аспект проблемы, неведомый социальному, позитивистскому и бытописательскому подходу. Это скорее некий психологический и даже психический аспект, непременно сопровождающий все эти великие стройки и большие перемены, всякие социальные потрясения:

*У каждой славы есть изнанка:  
Как, надо думать, не с добра  
У забегаловки цыганка  
Плясала пьяная с утра.*

И эта барахолка, ходившая “то чуть не плача, то смеясь” — психологический аспект того же потрясения:

*Она задаром отдавала —  
Ей прибыль нынче не с руки —  
Свою герань и одеяла,  
Свои корыта и горшки.*

*Ведь не в далёкости, а вскоре  
Весь городок убогий тот  
Под волны будущего моря  
В пучину тёмную уйдёт.*

*Оно одно самодержавно  
Ходить на воле будет тут,  
И только полочки и ставни  
Со дна глубокого всплывут.*

*Что ж делать, если это надо?!  
И городок последних дней  
Находит горькую усладу  
В заздравной гибели своей.*

“Заздравная гибель” — это, конечно, нечто совсем необычное в той, скажем так, проблематике, которой поэт касался в цикле стихотворений. Но в целом, казалось бы, остался в пределах общепринятых представлений: надвигающаяся цивилизация, разрушительная и безжалостная и — протест против неё. Если бы поэт не поведал об ином, вроде бы не имеющем отношения к судьбе этого обречённого сибирского городка. Он, “не тратя времени задаром”, прогуливаясь по городку, вдруг увидел “рубленную башню”:

*Она недвижно простояла,  
Как летописи говорят,  
Не то чтоб много или мало,  
А триста с лишним лет подряд.*

*В её узилище студёном,  
Двуперстно осеняя лоб,  
Ещё тогда, во время оно,  
Молился ссыльный протопоп.*

*...Мятежный пастырь, книжник дикий,  
Он не умел послушным быть,  
И не могли его владыки  
Ни обломать, ни улестить.*

Казалось бы, при чём тут протопоп Аввакум? Неужто лишь потому, что автору случайно и вдруг попала на глаза рубленая башня – то узилище, в котором он пребывал? Да нет, конечно же, нет. Судьба этого сибирского городка представлена в стихах как бы прямым продолжением той далёкой духовной драмы, в которой протопоп Аввакум оказался столь стоек и непреклонен. Да, конечно, “другой какой-нибудь народ” в своей истории “полупохожих и подобных средь прародителей найдёт”. И всё же личность протопопа Аввакума есть нечто особенное, небывалое в других народах, кроме как в нашем, русском:

*Но этот — крест на грязной шее,  
В обносках мерзостно худых —  
Мне и дороже и страшнее  
Иноязычных, не своих.*

*Ведь он оставил русской речи  
И прямоту, и срамоту,  
Язык мятежного предтечи,  
Священный, как уголь во рту.*

Конечно же, протопоп Аввакум предстаёт тут, в этой новой трагедии, совсем не случайно.

Затем вдруг автор, вроде бы и вовсе ни к чему, описывает похоронную процессию, попавшуюся на его пути. Он даже не спросил у жителей, “кого тем утром неспешно к последней пристани везли”. Его лишь поразило то, что за нестройной маленькой толпой к последней пристани сопровождали человека выстроившиеся длинным цугом “строительства грузовики”:

*Надолго в памяти осталось,  
Как, все домишки шевеля,  
Под их колёсами шаталась  
И лезла в сторону земля.*

*...Я всё стоял с пустым блокнотом  
И непокрытой головой,  
Пока за дальним поворотом  
Эскорт не скрылся грузовой.*

Итак, автор остался “с пустым блокнотом”. То есть всё увиденное им тогда в течение одного дня показалось ему то ли не столь значимым, то ли непостижимым. И вот пять лет спустя, припоминая увиденное, автор, надо полагать, и воплотил его в этом небольшом цикле стихотворений “Один день”. Но тут он снова озадачивает читателя:

*За малый труд не ожидая  
Ни осужденья, ни похвал,*

*Я сам не очень понимаю,  
Зачем всё это написал.*

Всё это могло бы показаться лишь прихотью поэта, если бы за ним явно не просматривалась общая закономерность искусства минувшего революционного двадцатого века. Об этой закономерности писал Александр Блок в статье “Три вопроса”, что перед художником всегда встаёт вопрос о формах искусства — как; вопрос о содержании его — что. Но когда “улица ворвалась в мастерскую”, когда наступает время “всеобщего базарного сочувствия и опошления искусства”, — “в такие дни возникает третий, самый соблазнительный, самый опасный, но и самый русский вопрос: зачем? Вопрос о необходимости и пользе художественных произведений”. И Ярослав Смеляков задаёт этот самый трудный вопрос, не находя, однако, на него ответа. Он пишет о вероятном и возможном оправдании поэта:

*Мне б оправданьем послужило  
Лишь то, скажу накоротке,  
Что это в самом деле было  
В том утонувшем городке.*

*Да то ещё, что стройка эта,  
Как солнце вешнее в окне,  
Дает сегодня море света  
Не городку, а всей стране.*

Всё было бы просто, если бы здесь у поэта была утвердительная интонация. Тогда его вполне можно было бы отнести, так сказать, к певцам индустриализации. Но у него здесь — и сомнение, и железная необходимость, и сожаление, и неизбежность происходящего. И это придаёт полноту его мироощущению и его творчеству.

Как видим, это нечто совсем иное, чем мы встречали в подобных сюжетах у других писателей, хотя бы в повести “Прощание с Матёрой” Валентина Распутина: не только плач по утонувшей Матёре. Но и не безусловное оправдание такой индустриализации со всей её неизбежностью. Перед нами — трагедия, стоящая в одном ряду с трагедией протопопа Аввакума, как бы являющаяся её продолжением, необходимым следствием её.

В связи с этим нельзя теперь, по прошествии времени, не подивиться тому, каким всё-таки упрощённым было восприятие русской литературы советского периода истории нашей страны. Повесть “Прощание с Матёрой” — повесть о потопе, развивающая библейскую тему, критикой была сведена лишь к проблеме экологии. Словно она была написана журналистом, а не художником слова. Да ещё с некоторой оппозиционностью к власти: ведь это она провоцировала катастрофы, строя гидроэлектростанции (словно их строить не следовало, хотя промышленность, безусловно, нужно было развивать)...

Создавалось такое ощущение, будто в нашей литературе не было “Медного всадника” А. С. Пушкина, к стати, при жизни поэта так и не опубликованного, с его “стихией” и “Божьим гневом”, с которым и “царям не совладеть”... Просто анализировалась экологическая проблема, словно её можно разрешить написанием повестей...

Ярослав Смеляков являет совершенно иное свойство литературы — не только советской и не только “проблемной”, но традиционное для русской литературы постижение мира созерцанием и размышлением о происходящих событиях.

Ярослав Смеляков не был интеллигентом в том смысле, какой была интеллигенция в России во второй половине XIX века и на рубеже XIX–XX веков, и какой она стала в советское время. “Ругать власть” снова стало для неё мерилом интеллектуальности и гражданской смелости. Вне зависимости от доводов, объективных фактов и оснований. Советская интеллигенция выродилась в “интеллигентщину”, по словам Н. Бердяева, постепенно “дичающую”, по определению А. Блока.

Совсем иным был Ярослав Смеляков, по-своему понимавший гражданственность в литературе. Вовсе не как бунт, непременно бессмысленный и зача-



лось не до литературы, обращение к её славным страницам особенно необходимо и плодотворно. Ведь вопрос о русской литературе “решён” самым варварским и беспрецедентным для России способом – её изъятием из общественного сознания, изгнанием из образования, подменой её детективно-приключенческими суррогатами, бездарной развлекаловкой. И, может быть, именно в такое время и надо обращаться к литературе, являть её новое прочтение, пока она опять не стала делом “партийным”...

Ярослав Смеляков принадлежал к той плеяде писателей, в творчестве которых русская литературная традиция после её революционного погрома начала минувшего века наконец-то восстановилась. Сказать, что он был советским поэтом, – значит, только запутать и представление о тогдашней литературе, и исказить его роль в ней. Он был большим русским поэтом советского периода истории нашей страны.

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

1913—1972

## ВОЗВРАЩЁННАЯ РОДИНА

*17 сентября 1939 года части  
Красной Армии вошли в город Луцк...*

Я родился в уездном городке  
и до сих пор с любовью вспоминаю  
убогий домик, выстроенный с краю  
проулка, выходившего к реке.

Мне голос детства памятен и слышен.  
Хранятся смутно в памяти моей  
гуденье липы и цветенье вишен,  
торговцев крик и ржанье лошадей.

Мне помнятся вечерние затоны,  
вельможные брюхатые паны,  
сияющие крылья фаэтонов  
и офицеров красные штаны.

Здесь я и рос. Под этим утлым кровом  
я, спотыкаясь, начинал ходить,  
здесь услышал — впервые в жизни! — слово,  
и здесь я научился говорить.

Так мог ли я, изъездивший полсвета,  
за воду ту, что он давал мне пить,  
за горький хлеб, за лёгкий лепет лета,  
за первый день — хотя бы лишь за это —  
тот городок уездный не любить?

Нет, я не знал беспечного покоя:  
мне снилась ночью нищая страна,  
бетонною, враждебною чертою,  
прямым штыком и пулей разрывною  
от сердца моего отделена.

Я думал о товарищах своих,  
оставшихся влачить существованье  
в местечках страха, в городках стенанья,  
в домах тоски на улицах кривых.



Я вспоминал о детях воеводства,  
где на полях один пырей возрос,  
где хлеба — впроголодь, а горя — вдосталь  
и вдоволь, вволю материнских слёз.

Так как же мне, советскому поэту,  
не славить вас, бойцы моей земли,  
за жизни шум — хотя бы лишь за это! —  
хотя б за то, что в жёлтых тучах света  
в мой городок вы с песнею вошли?

1939

## НА ВОКЗАЛЕ

Шумел снежок над позднею Москвой,  
гудел народ, прощаясь на вокзале,  
в тот час, когда в одежде боевой  
мои друзья на север уезжали.

И было видно всем издалека,  
как непривычно на плечах сидели  
тулупчики, примятые слегка,  
и длинные армейские шинели.

Но было видно каждому из нас  
по сдержанным попыткам веселиться,  
по лицам их, — запомним эти лица! —  
по глубине глядящих прямо глаз,

да, было ясно всем стоящим тут,  
что эти люди, выйдя из вагона,  
неотвратно, прямо, непреклонно  
походкою истории пойдут.

Как хочется, как долго можно жить,  
как ветер жизни тянет и тревожит!  
Как снег валится!  
Но никто не сможет,  
ничто не сможет их остановить.

Ни тонкий свист смертельного снаряда,  
ни злобный гул далёких батарей,  
ни самая тяжёлая преграда —  
молчанье жён и слёзы матерей.

Что ж делать, мать?  
У нас давно ведётся,  
что вдаль глядят любимые сыны,  
когда сердец невидимо коснётся  
рука патриотической войны.

В расстёгнутом тулупчике примятом  
твой младший сын, упрямо стиснув рот,  
с путёвкой своего военкомата,  
как с пропуском, в бессмертие идёт.

1940

\* \* \*

Если я заболею,  
к врачам обращаться не стану.  
Обращаюсь к друзьям  
(не сочтите, что это в бреду):  
постелите мне степь,  
занавесьте мне окна туманом,  
в изголовье поставьте  
ночную звезду.

Я ходил напролом.  
Я не слыл недотрогой.  
Если ранят меня  
в справедливых боях,  
забинтуйте мне голову  
горной дорогой  
и укройте меня  
одеялом в осенних цветах.

Порошков или капель — не надо.  
Пусть в стакане сияют лучи.  
Жаркий ветер пустынь,  
серебро водопада —  
вот чем стоит лечить.

От морей и от гор  
так и веет веками,  
как посмотришь — почувствуешь:  
вечно живём.

Не облатками белыми  
путь мой усеян, а облаками.  
Не больничным от вас ухожу коридором,  
а Млечным Путём.

1940

## ЗЕМЛЯ

Тихо прожил я жизнь человеческую:  
ни бурана, ни шторма не знал,  
по волнам океана не плавал,  
в облаках и во сне не летал.

Но зато, словно юность вторую,  
полюбил я в просторном краю  
эту чёрную землю сырую,  
эту милую землю мою.

Для неё ничего не жалея,  
я лишался покоя и сна,  
стали руки большие темнее,  
но зато посветлела она.

Чтоб её не кручинились кручи  
и глядела она веселей,

я возил её в тачке скрипучей  
так, как женщины возят детей.

Я себя признаю виноватым,  
но прощенья не требую в том,  
что её подымал я лопатой  
и валил на колени кайлом.

Ведь и сам я, от счастья бледнея,  
зажимая гранату свою,  
в полный рост поднимался над нею  
и, простреленный, падал в бою.

Ты дала мне вершину и бездну,  
подарила свою широту.  
Стал я сильным, как тёрн, и железным —  
даже окиси привкус во рту.

Даже жёсткие эти морщины,  
что на лбу и по щёкам прошли,  
как отцовские руки у сына,  
по наследству я взял у земли.

Человек с голубыми глазами,  
не стыжусь и не радуюсь я,  
что осталась земля под ногтями  
и под сердцем осталась земля.

Ты мне небом и волнами стала,  
колыбель и последний приют...  
Видно, значишь ты в жизни немало,  
если жизнь за тебя отдают.

1945

## ПОРТРЕТ

Сносились мужские ботинки,  
армейское вышло бельё,  
но красное пламя косынки  
всегда освещало её.

Любила она, как отвагу,  
как средство от всех неудач,  
кусочек октябрьского флага —  
осеннего вихря кумач.

В нём было бессмертное что-то:  
останется угол платка,  
как красный колпак санюлота  
и чёрный веноч моряка.

Когда в тишину кабинетов  
её увлекали дела —  
сама революция это  
по каменным лестницам шла.

Такие на резких плакатах  
печатались в наши года  
прямые черты делегатов,  
молчащие лица труда.

1945

## КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ

Кладбище паровозов.  
Ржавые корпуса.  
Трубы полны забвенья.  
Свинчены голоса.

Словно распад сознания —  
полосы и круги.  
Грозные топки смерти.  
Мёртвые рычаги.

Градусники разбиты —  
цифирки да стекло —  
мёртвым не нужно мерить,  
есть ли у них тепло.

Мёртвым не нужно зренья —  
выкрошены глаза.  
Время вам подарило  
вечные тормоза.

В ваших вагонах длинных  
двери не застучат,  
женщина не засмеётся,  
не запоёт солдат.

Вихрем песка ночного  
будку не занесёт.  
Юноша мягкой тряпкой  
поршни не оботрёт.

Стали чугунным прахом  
ваши колосники.  
Мамонты пятилеток  
сбили свои клыки.

Эти дворцы металла  
строил союз труда:  
слесари и шахтёры,  
сёла и города.

Шапку сними, товарищ.  
Вот они, дни войны.  
Ржавчина на железе,  
щёки твои бледны.

Произносить не надо  
ни одного из слов.  
Ненависть молча зреет,  
молча цветёт любовь.

Тут ведь одно железо.  
Пусть оно учит всех.  
Медленно и спокойно  
падает первый снег.

1946

## МОЁ ПОКОЛЕНИЕ

Нам время недаром даётся.  
Мы трудно и гордо живём.  
И слово трудом достаётся,  
и слава добыта трудом.

Своей безусловною властью,  
от имени сверстников всех,  
я проклял дешёвое счастье  
и лёгкий развеял успех.

Я строил окопы и доты,  
железо и камень тесал,  
и сам я от этой работы  
железным и каменным стал.

Меня — понимаете сами —  
чернильным пером не убить,  
двумя не прикончить штыками  
и в три топора не свалить.

Я стал не большим, а огромным —  
попробуй тягаться со мной!  
Как Башни Терпения, домны  
стоят за мою спиной.

Я стал не большим, а великим,  
раздумье лежит на челе,  
как утром небесные блики  
на выпуклой голой земле.

Я начал — векам в назиданье —  
на поле вчерашней войны  
торжественный день созиданья,  
строительный праздник страны.

1947

## ЖИДОВКА

Прокламация и забастовка,  
Пересылки огромной страны.  
В девятнадцатом стала жидовка  
Комиссаркой гражданской войны.

Ни стирать, ни рожать не умела,  
Никакая не мать, не жена —  
Лишь одной революции дело  
Понимала и знала она.

Брызжет кляксы чекистская ручка,  
Светит месяц в морозном окне,  
И молчит огнестрельная штука  
На оттянутом сбоку ремне.

Неопрятна, как истинный гений,  
И бледна, как пророк взаперти,—  
Никому никаких снисхождений  
Никогда у неё не найти.

Только мысли, подобные стали,  
Пронизали её житиё.  
Все враги перед ней трепетали,  
И свои опасались её.

Но по-своему движутся годы,  
Возникают базар и уют,  
И тебе настоящего хода  
Ни вверху, ни внизу не дают.

Время всё-таки вносит поправки,  
И тебя ещё в тот наркомат  
Из негласной почётной отставки  
С уважением вдруг пригласят.

В неподкупном своём кабинете,  
В неприкаянной келье своей,  
Простодушно, как малые дети,  
Ты допрашивать станешь людей.

И начальники нового духа,  
Веселясь и по-свойски грубя,  
Безнадёжно отсталой старухой  
Сообща посчитают тебя.

Все мы стоим того, что мы стоим,  
Будет сделан по-скорому суд —  
И тебя самоё под конвоем  
По советской земле повезут.

Не увидишь и малой поблажки,  
Одинаков тот самый режим:  
Проститутки, торговки, монашки  
Окружением будут твоим.

Никому не сдаваясь, однако  
(Ни письма, ни посылочки нет!),  
В полутёмных дощатых бараках  
Проживёшь ты четырнадцать лет.

И старухе, совсем остролицей,  
Сохранившей безжалостный взгляд,  
В подобрешее лоно столицы  
Напоследок вернуться велят.

В том районе, просторном и новом,  
Получив как писатель жильё,  
В отделении нашем почтовом  
Я стою за спиною её.

И слежу, удивляясь не слишком —  
Впечатленьями жизнь не бедна,—  
Как свою пенсионную книжку  
Сквозь окошко толкает она.

*Февраль 1963  
Переделкино*

\* \* \*

На главной площади страны,  
невдалеке от Спасской башни,  
под сенью каменной стены  
лежит в могиле вождь вчерашний.

Над местом, где закопан он  
без ритуалов и рыданий,  
нет наклонившихся знамён  
и нет скорбящих изваяний.

Ни обелиска, ни креста,  
ни караульного солдата —  
лишь только голая плита  
и две решающие даты.

Да чья-то женская рука  
с томящей нежностью и силой  
два безымянные цветка  
к его надгробью положила.

*1964*

ВАЛЕРИЙ АУШЕВ

## ЗВЁЗДНАЯ ДОРОГА

*От Ломоносова до Рубцова*

Неподалёку от выхода из метро “Академическая” я свернул на улицу Дмитрия Ульянова и, пройдя чуть более полукилометра, на фасаде одного из зданий, на первом этаже которого размещается библиотека № 95, увидел вывеску “Музей Николая Рубцова”. По народному почитанию и всеобщему признанию Рубцов достоин зваться академиком российской поэзии! И тут можно представить, пофантазировать, как здесь ли, на Ломоносовском ли проспекте столицы встречаются души двух академиков, двух земляков, родившихся на Холмогорской земле. Нам неведомо, о чём они могут говорить, что вместе вспоминать. “Да и как можно поставить их в один ряд?” – возмутятся многие ныне здравствующие кандидаты и доктора наук из числа трёх с половиной тысяч диссертантов, защитившихся на Ломоносове в советские годы, и новоявленные соискатели, сегодня активно препарирующие поэзию Николая Рубцова.

Но не только можно, но и нужно сегодня ставить эти имена в один ряд!

Оба они – славные сыны Отечества. Оба – лидеры духовного обновления России разных эпох. Оба – романтики исканий, рисков, открытий. Оба – безжалостные сжигатели собственной энергии, жертвователи здоровьем, личным достатком и положением во имя истины – художественной ли, научной ли...

О двух могиканах русского духа написаны сотни и тысячи книг, статей, воспоминаний. И всё же “белых пятен” в исследовании их биографий, жизни и деятельности остаётся немало.

Недавно Россия широко отмечала их юбилеи – 300-летие со дня рождения М. В. Ломоносова и 75-летие со дня рождения Н. М. Рубцова. Но как определить степень духовного родства М. В. Ломоносова и Н. М. Рубцова? Оба они родом из одних мест, оба – холмогорцы, оба прошли свой путь по звёздной дороге – в Москву. Их связывает и объединяет новаторское творчество (характерное каждому – для своего времени). Меня потрясло (на это как-то никто из критиков и литературоведов не обращал прежде внимания) глубочайшее почтение, гордость Н. Рубцова своим великим земляком и подробнейшее знание его духовной биографии.

Кажется, композитор Георгий Свиридов называл стихи Н. Рубцова “живыми кусками, оторванными от сердца”.

---

*АУШЕВ Валерий Петрович, президент МРОО “Содружество творческих сил”, член Союза писателей России. С 1970 по 1979 год работал редактором областной молодежной газеты “Северный комсомолец” (г. Архангельск).*



У Николая было трепетное отношение к Церкви, проистекавшее, очевидно, от матери, образ которой он пронёс через всю свою жизнь. Он признавался мне, что хотел венчаться в церкви, как Есенин с Зинаидой Райх в Вологде.

Святость Рубцова, певшего, по воспоминаниям сестры поэта, в церковном хоре до Великой Отечественной войны, проистекает от матери Александры Михайловны Рубцовой (в девичестве – Рычковой).

Это в Холмогорах, стоя у стен полуразрушенного Преображенского собора, я впервые услышал от Николая восьмистишие М. В. Ломоносова, неведомое мне ранее:

*Я долго размышлял и долго был в сомненье,  
Что есть ли на землю от высоты смотренье;  
Или по слепоте без ряду всё течет,  
И помыслу с небес во всей вселенной нет.  
Однако, посмотрев светил небесных стройность,  
Земли, морей и рек доброту и пристойность,  
Премени дней, ночей, явления луны,  
Признал, что божеской мы силой созданы.*

Ещё больше я изумился, когда Рубцов сказал, что это – вольное переложение стихов латинского поэта Клавдиана Ломоносов сделал уже в конце своей жизни. “Но нас-то в вузе, – лепетал я что-то в оправдание, – уверяли, что Ломоносов – атеист, всегда был в “раздрае” с официальной церковью...”

Свидетельством тому – известная его сатира “Гимн бороде”. Рубцов раздраженно произнес: “Ты, наверное, и его переложения псалмов не читал. А он, можно сказать, в стихотворной дуэли с Третьяковским и Сумароковым из-за 143-го псалма дрался, кто лучше его в поэтический язык обратит, и победил!.. А вообще в ломоносовских переложениях псалмов из “Псалтири” я больше узнал о его душе и терзаниях, чем во всех книгах, написанных о нём... Если хочешь быть ближе к Ломоносову, прочти пронзительные по своему накалу, темпераменту, внутренней энергии его псалмы в стихах, и тебе откроется многое в характере, чувствованиях, вере, устремлениях поморачуёного, помора-поэта. А потом, я верю Пушкину, утверждавшему, что на письменном столе Ломоносова лежала Библия...”

Последний год жизни (веду отсчёт его с 19 января 1970-го по 19 января 1971 года) складывался, в общем-то, по словам самого Н. Рубцова, “вполне сносно” для него. Не всё так плохо обстояло в поэтической судьбе Николая: в 1969 году в Северо-Западном книжном издательстве вышел очередной, третий по счету, сборник его стихов “Душа хранит”, а в 70-м году, когда страна отмечала 100-летие со дня рождения В. И. Ленина, в Москве вышла новая книга Н. Рубцова – “Сосен шум”. Однако собратья по перу не очень-то стремились замечать успехи своего коллеги по поэтическому цеху.

С 11 по 16 октября 1970 года в Архангельске проходило выездное заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР во главе с С. В. Михалковым. В список делегации Вологодской писательской организации Николай Рубцов был включен в самый последний момент после переговоров с вологодским руководством, обеспокоенным, как бы он не выкинул чего-либо, из ряда вон выходящего, на всероссийском писательском *бомонде*.

Этот форум больше напоминал праздник послушания и идейного единения писательских рядов Северо-Запада. Со стороны он казался таким “мальчишником”, на который съехались пошуметь, пообщаться (и за рюмкой тоже) друзья-коллеги, не видевшиеся много лет. Во избежание нежелательных эксцессов и для соблюдения нравственности и облико-морале в состав делегаций не были включены представительницы женского пола (за исключением, пожалуй, Ольги Фокиной и женщины-инструктора ЦК партии, уполномоченной курировать проходящее мероприятие в русле задач, обозначенных курсом очередного съезда КПСС). Тема симпозиума была озаглавлена в духе времени – “Человек труда в произведениях писателей Севера”. Так как стихи Н. Рубцова, по мнению идеологических “экспертов”, мало отвечали обозначенной теме, его и не хотели делегировать на секретариат. Лишь заступничество основного докладчика по поэзии – известного советского поэта Сергея Сергеевича Орлова, заявившего сгоряча, что по-настоящему, кроме Николая Рубцова, и говорить будет не о чем и не о ком, – повлияло на исход дела:

Рубцов прибыл вместе с вологодскими писателями Виктором Астафьевым, Василием Беловым, Виктором Гура, Виктором Коротаевым, Иваном Полуяновым, Александром Романовым и Ольгой Фокиной.

Но вот с душой Рубцова творилось что-то неладное. Внешний вид являл страдальца, измученного странными ощущениями приближающейся катастрофы. “Николай Михайлович, чем-то раздосадованный, был замкнут, неразговорчив, встревожен, – вспоминает в своей книге “Литературный Архангельск” бывший директор Северо-Западного книжного издательства Б. С. Пономарев. – Я поинтересовался у Рубцова, какую он готовит рукопись для Северо-Западного издательства. Но, скажу откровенно, разговора не получилось. Рубцов посмотрел на меня своими пронзительными глазами, только и сказал, что ему сейчас тяжело и, право, совсем не до сборника. И даже не пошёл на заседание...”

А пришёл он в редакцию областной молодежной газеты “Северный комсомолец”, выложил на мой редакторский стол кипу отпечатанных на машинке и написанных от руки стихов и, немного погодя, отогревшись, разговорился. Заметив на лацкане моего пиджака юбилейную ленинскую медаль, выпущенную к юбилею вождя революции, он ухмыльнулся: “Ни дать ни взять – прямо-таки пряник архангельский, наших писак почти всех тоже медальной глазурью покрыли, а я мастью не вышел, не теми идеями башка забита... Я, честно сказать, и ехать-то не хотел, да узнал, что писателей на родину Ломоносова повезут... Вот, думаю, Бог послал возможность с родной стороной свидеться, в Емецке побывать... От Холмогор до Емецка всего ничего, раз плюнуть, а мне – свидание, когда ещё такая возможность выпадет... Мне хотя бы ржавый гвоздь из домашней стены выдернуть, на котором родительский портрет висел... На горькую мою, безутешную память...”

Через полчаса общения его увёл в фотолабораторию наш фотокорреспондент, чтобы сделать снимок к подборке стихов, которую отобрали для газеты, а я поспешил на торжественное открытие писательского форума в областном драмтеатре.

К сожалению, Николаю Рубцову не довелось услышать доклад Сергея Орлова, который долго и тепло говорил о его стихах: “Отсюда, с берегов Белого моря, вышел в Москву великий россиянин Михайло Ломоносов... Прекрасная старина встретилась на Севере и переплелась с духовной и промышленной новью, став выразительным современным единством. Традиции и новое – диалектика жизни никогда так ярко не раскрываются, как в столкновении и соединении их...”

*В деревне виднее природа и люди.  
Конечно, за всех говорить не берусь!  
Виднее над полем при звёздном салюте,  
На чём поднималась великая Русь.*

Это стихи Николая Рубцова из Вологды, весело, остро и по существу ощущающего связь времени в том мире, который именуется сельским... Николай Рубцов раскрывает с естественной простотой дыхания самое главное: традиционную и непреходящую сущность человеческого характера, сложившуюся в активном общении с природой русского Севера... Любовь к земле – традиция. Она идёт через оды Михайлы Ломоносова, через Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Блока, Маяковского, Есенина к поэтам старшего поколения, зачинателям русской советской поэзии, к поэтам совсем молодым, влюблённым в день грядущий, помнящим вчерашний день и думающим о завтрашнем дне... Из книг северных поэтов, определившихся в своей индивидуальности, наиболее интересными за последние два года мне представляются книги Николая Рубцова”.

О, знал бы уважаемый докладчик, с какими муками рождались первые поэтические книги Николая Рубцова, какому беспощадному вмешательству со стороны людей, мало что смыслящих в поэзии, подвергались они!

Современным рубцоведам хотелось бы порекомендовать восстановить для начала подлинные тексты произведений поэта, искромсанные вдоль и поперёк редакторской вкусовщиной и цензорской правкой. Особенно это заметно в публикациях и поэтических сборниках автора, увидевших свет в шестидесяти годах минувшего века.

На свою тонюсенькую, выхолощенную книжицу “Лирика”, вышедшую в Северо-Западном книжном издательстве, он без содрогания смотреть не мог. “От меня в ней и малой толики не осталось, — сетовал Николай. — За что меня так терпеть не могут редакторские костоломы и цензоры? Ты, говорят, Бога на помощь бы не звал, мы и без него с трудностями справимся, своими руками рай на Севере построим... Двурушники, а сами кресты тайком на шею носили...”

О том, что стихи поэта подвергались откровенной кастрации, свидетельствуют многие факты.

Так, Н. Яшина (“Письма Н. Рубцова к А. Яшину” — “Наш современник”, М., 1988, № 4), которой Николай подарил свою первую книжку стихов “Лирика”, писала: “. . . кроме правки почти в каждом тексте — девять стихотворений из двадцати пяти целиком перечеркнуты”. Редакторского насилия над стихами Рубцов не мог перенести и в знак протеста перечеркнул чуть ли не треть из них...

Журнал “Юность” (№6, 1966) опубликовал стихотворение Н. Рубцова “Русский огонёк” с пропущенной строфой.

М. А. Котов, редактор Харовской районной газеты “Призыв”, печатавший стихи поэта в 1968–1969 годах, впоследствии вспоминал: “При встрече в райкоме КПСС второй секретарь (по идеологии) выговаривал мне:

— Зачем вы публикуете такие стихи?

— Отличные стихи, — ответил я, — яркие. Рубцов публикуется в журналах, выпустил книгу.

— Нет, — вы вдумайтесь, вдумайтесь в смысл.

Я понял, что не понравилось секретарю, — разве доступна его пониманию чистая лирика, ему нужен красный ура-патриотизм” (газета “Сельская новь”, г. Череповец, от 18 января 1996).

Рубцов ехал в Холмогоры с явной мыслью проследовать дальше, в село своей младенческой колыбели — Емецк. Но этому желанию, по ряду причин, не удалось осуществиться. Всякий раз, приезжая в Архангельск, Николай оживлялся, когда речь заходила о Емецке. Доводилось ли ему бывать на родине или нет в прежние годы, когда, например, он в 1951–1955 годах связал он свою судьбу с Архангельским траловым флотом, мне так у него и не удалось выяснить. Он лишь отшучивался и отвечал уклончиво, что, мол, до сих пор помнит “дивное разнотравье, непередаваемую пестроту и пьянящие запахи трав на неохватном емецком лугу”. И читал стихи о тех годах, когда всерёз заболел морем:

*Как я рвался на море!  
Бросил дом безрассудно  
И в моряцкой конторе  
Всё просился на судно,  
Умолял, караулил,  
Но нетрезвые, с кренцем,  
Моряки хохотнули  
И назвали младенцем.*

Потом он приезжал в Архангельск уже по издательским делам. Так, осенью 1964 года он постучался в кабинет директора Северо-Западного книжного издательства Б. С. Пономарёва, который так вспоминал о встрече с поэтом: “Вошёл молодой человек с худощавым болезненно-серым лицом, молча опустился на диван, в смущении потирая руки и время от времени глуховато покашливая.

Мы, издательские работники, расспросили Николая о его жизни и поняли, что он оказался в стеснённом положении. В издательстве находилась рукопись стихов Рубцова, и с автором был заключен договор и выдан ему аванс. Довольный поэт уехал в село Никольское.

В 1965 году первый сборник стихов Н. Рубцова “Лирика” увидел свет...”

Вот и теперь, по прошествии пяти лет, каким-то чутьём, ведомым лишь ему, он перед вечерним выступлением в Холмогорах признал емчан в двух скромно стоявших у входа в Дом культуры мужчине и женщине. Подозвал меня: “Вот мои корни и сюда протянулись. Знай наших... Знакомься... Фами-

лию Рубцовых помнят...” Возможно, при любом другом случае я непременно бы записал имена и фамилии представившихся земляков Николая, но все мои мысли были уже на сцене, где предстояло мне выступить в именитом соседстве с Егором Исаевым, Виктором Боковым, Григорием Коноваловым.

Емецк (Емца) в прошлом – большое торговое село. Здесь с XVI века существовал торжок – крестьянский рынок, знаменитый на всё Поморье. Отсюда тянулись дороги во внутренние губернии государства, ходили длинные санные обозы до самой Москвы. В Емецке Антониев-Сийский монастырь покупал произведения деревенских ремесленников – кожи добрые, сукна простые, сукна серые, рядные, чёрные, как “полщенные”, так и “нетоптаны”, гребенину, домотканые материи, рубахи, холст и холщовые сермяги, “однорядки емские синие” и пр. Попадали на емецкий торг и привозные товары, даже шёлк. Продавались здесь и съестные припасы – хлеб, свежая и солёная рыба, дичь, масло.

Емца оставалась бойким торговым селом на протяжении всего XVIII века: “В селе и погосте Емецком по четвергам каждой недели бывает ярмонка, на которую не только Холмогорского, но и других околных уездов много съезжается крестьян для продажи и покупки домашних продуктов и рукоделий...” А ещё Емецк исстари славился своим праздником невест, который проходил на главной торговой площади в Иванов день (7 июля). “На него приезжали гости со всей округи, – пишет об этом в своих воспоминаниях старожил Емецка Т. В. Минина. – Уже с осени начиналась подготовка к этому дню. Девушек готовили их родители, бабушки и женщины, которым уже доводилось участвовать в празднике. Шили одежду, репетировали, как надо правильно себя вести. Сам же праздник проходил так. Зрители собирались вокруг площади с трёх сторон, и по звону колокола участницы выходили и вставали в круг. Снова звенел колокол, и девушки шли по кругу. Шли медленно, смотрели только прямо, без лишних движений. Первый круг прошли – опять звон, и шли уже в обратную сторону. Делалось это несколько раз. В последний раз ударяли в колокол, и девушки медленно выходили из круга, направляясь к родным, а зрители ещё некоторое время стояли и обсуждали их. Среди юношей бывало такое, что двоим, а то и троим нравилась одна и та же девушка. Разгорался спор, дело доходило даже до драк...”.

Что-то подобное приходилось слышать и Рубцову. Об этом старинном обычае высматривания и выбора невест он даже собирался написать стихи, как и о многом другом, что связывало его с колыбельной родиной.

Конечно, он помнил о том, что в Емецке останавливался Михайло Ломоносов. От постоянного двора шёл спуск к реке Емце, с выходом на Московский почтовый тракт. Среди местных жителей существует предание, будто М. В. Ломоносов попросил знакомого емчанина – прихожанина Сийского монастыря, которому Михайло ещё раньше продал свое полукафтанье, сообщить ему, когда пройдёт рыбный обоз на Москву. Через несколько дней тот сообщил Ломоносову, в то время исполнявшему обязанности псаломщика в Антониев-Сийском монастыре, что обоз вот-вот прибудет в Емецк. Михайло на одном дыхании преодолел 19 километров до постоянного двора и стал ждать обозников, чтобы с ними уйти в Москву. До исполнения заветного желания учиться наукам оставалось всего ничего...

Это важный момент в биографии юноши, ибо все сведения об уходе из дому Михайлы Ломоносова сводились к дате 9 декабря 1730 года. На самом же деле в своем первоначальном признании, данном позднее, в 1734 году, Ставленническому столу в Москве, Ломоносов называет другую дату ухода – в начале октября 1730 года. Почему же Михайло пытался исключить эти два месяца своего пребывания в Антониев-Сийском монастыре?

Какая угроза висела над 19-летним юношей Ломоносовым? – Его могли взять служить на флот. Корабельная повинность поморских уездов продолжалась вплоть до 40-х годов XVIII века. А предыстория её такова. Времена петровских преобразований коснулись и суши, и моря. На берегу Невы радиением Петра выросла новая русская столица – Петербург, создавалась новая национальная армия, а на море – первый в России военно-морской флот, который вскоре заявил о себе убедительными победами в морских сражениях.

На судостроительных верфях в Вавчуге, основанных холмогорскими купцами Фёдором и Осипом Бажениными, строились и спускались на воду “новоманерные” корабли, которые перегонялись затем вдоль Скандинавских

берегов на Балтику. Пётр I высоко ценил смекалку и отвагу поморов, их умение управлять судами, плавать на дальние расстояния и по опасным местам.

Молодых поморов стали привлекать на государственную службу. С этой целью из Петербурга в Поморье стали прибывать доверенные лица царя, чтобы набирать в экипажи действующих и строящихся кораблей “добрых и молодых” поморов. Количество рекрутов исчислялось сотнями. . .

Сильно потрясли Куростров предыдущие рекрутские наборы. Гвардейцы Петра хватали без разбору мужиков-поморов, лоцманов и кормщиков, промысловиков и рыбаков – всех, кто внешне выглядел здоровым и годным к морской службе. Хватали без всяких увещеваний и уговоров. Им было ведомо, что поморы – лучшие пловцы и искусные мореходы. Кого ни схвати, всяк для службы морской пригоден.

Хоть указ государев и гласил, что годных к службе в возрасте от 15 годов до 30 хватать не гляючи, вербовщикам приходилось туго. Каждая поморская деревушка за своих парней горой стояла, неделями шли переговоры, чаще откупались, платя скопом по 11 рублей, дабы избежать службы на строящемся флоте Петра. Всё чаще петровым вербовщикам приходилось прибегать к силе, появляясь среди поморов в сопровождении солдат (рейтаров).

Михайле не раз доводилось видеть на руках увечных, с желтушными лицами, а посему отпущенными по хворости и болезни бродяг и покрутчиков клеймо в виде креста возле большого пальца. Мужики на любопытные расспросы юноши только ухмылялись: “Оная отметка самого грозного царя Нептуна, дабы с флоту не сбежали, а служили верой-правдой и в шторм лихой с крутой волной, и в сражении морском с неприятелем”.

Указом царским почти поголовно юношей из поморских семейств отдавали в матросы на флот на пожизненную службу. А крестиками клеймили для того, чтобы из армии и флота не было побегов, а ежели подобное случалось – секли, ноздри рвали до костей и ссылали на каторгу. . .

Пётр I в первом Морском уставе писал: “Всякий potentant (властелин, коронованная особа), который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет”.

“Издrevле хаживали заморские суда из Европы в Россию. Вечно было российским Поморье и российскими же были многие крепости на Балтике. Скоро мы увидим, как всё вернётся на круги своя, а Поморье станет вратами государства Российского. Первейшим по знатности портом России будет Архангельск, – прорицал Пётр I. – Вот почему, други мои, царям не позволительно трон протирать, а весьма полезно путешествовать по землям, над которыми властвуешь, дабы служить пользе и славе государства. Далёкий Архангельск открыл мне очи на всю бескрайнюю Русь, и отсюда могущество России исходить будет”. Он понимал, что без регулярного морского флота Россия не сможет стать мировой державой, удерживать под своим влиянием огромные территории в Европе и Азии.

“Морским судам быть!” – твёрдое решение царя Петра в октябре 1696 года положило начало целевой государственной программе кораблестроения России. Более половины судов, построенных на верфях Санкт-Петербурга и Архангельского адмиралтейства, составляли многопушечные линейные корабли и фрегаты.

В Антониев-Сийском монастыре Ломоносов ждал, когда рекрутский набор пройдёт, когда лёд на северных реках прочней станет, чтобы далее к Москве идти, не опасаясь быть схваченным вербовщиками. И желание-то у поморского юноши было иным – на штурмана выучиться, морским офицером стать, потому и паспорт ему в Холмогорской воеводской канцелярии Банев выправил: мол, отпущен сроком на год к Москве и к морю. А какие моря в Москве могли быть, кроме Навигацкой математической школы, что в Сухаревой башне размещалась. Вот туда-то и нацелился с самого начала ступить Михайло. Да так уж случилось (Ломоносов этого не знал), что основные морские дисциплины из этого заведения в открывшуюся в Петербурге Морскую академию перевели.

А ещё, меняя дату своего ухода в Москву из родной деревни, он опасался, что руковождению Славяно-греко-латинской академии, куда он после неудачи с Навигацкой школой был принят, станет известен факт его служения в монастыре, где в то время находили приют скрывавшиеся старообрядцы – противники никоновских реформ, происходивших в Православной церкви.

История развела во времени пребывание в Емецке двух дорогих нам соотечественников. Местные старики утверждают, что неподалеку от того самого места, где Ломоносов поджидал обоз с мороженой и вяленой треской, был поставлен дом, в котором родится будущий знаменитый поэт России Николай Рубцов.

До сих пор стоит выходящий фасадом на улицу Горончаровского этот двухэтажный деревянный дом. Раньше его называли Орсовским коммунальным (ОРС – отдел рабочего снабжения). В 1935 году начальником ОРС Емецкого леспромхоза назначили Михаила Андриановича Рубцова из Вологды, поселившегося в этом доме вместе с семьёй на втором этаже – в трехкомнатной квартире, окнами выходящей на реку. Квартира по тем временам соответствовала занимаемой им должности, хотя было несколько “но”: общая кухня, общий туалет, на второй этаж вела крутая лестница, по которой нужно было носить воду с Емцы и дрова для печек. Неудобства второго этажа заставили семью поменять трёхкомнатную квартиру на меньшую, двухкомнатную, на первом этаже, где рядом были туалет и кухня. В селе теперь есть улица и краеведческий музей имени Николая Рубцова, а перед школой-интернатом в 2004 году ему открыт памятник.

Во время краткого пребывания на Курострове Рубцова взволновал рассказ Геннадия Ивановича Седакова, местного учителя и сына известного мастера холмогорской резьбы по кости, о том, что к строительству Ломоносовского училища были причастны и емчане. Холмогорскому мировому посреднику удалось уговорить градоначальника Емецка пожертвовать деревянный дом – одно из емецких училищных зданий – для Ломоносовского училища. Летом того же года оно было разобрано и на карбасах перевезено по реке на Куростров, в Денисовку, где 8 сентября 1871 года вновь собранный училищный дом принял своих питомцев.

Седаков привёл еще одну любопытную подробность. К 200-летию юбилею М. Ломоносова, отмечавшемуся в 1911 году, Российская Академия наук в память о первом российском академике стала почётным попечителем Куростровского учебного заведения. Подобное почётное попечительство до этого исполняло только Емецкое училище в лице купца Вальева.

...После радушного приема в Холмогорах мы возвращались в Архангельск в возбуждённо-приподнятом состоянии. Николай стал читать стихи:

*Русь моя, люблю твои берёзы!  
С первых лет я с ними жил и рос,  
Потому и набегают слёзы  
На глаза, отвыкшие от слёз...*

Но, резко прервав чтение, стал сокрушаться: “Никогда себе не прощу... Ведь была возможность в Емецк с земляками проехать, да стадный инстинкт в обратную сторону повернул... Не хотел Вологодскую делегацию подводить... Эх, чудь я, чудь заволоцкая!.. Не видать мне, видно, Емецка как своих ушей!..”

По-видимому, Рубцов, называя себя в запальчивости чудью заволоцкой, знал о Емецком городище XVI века, на котором в это время вела раскопки экспедиция Ленинградского отделения Института археологии Академии наук под руководством О. В. Овсянникова. Открытия, сделанные под Емецком, вплотную приблизили археологов к разгадке тайны “Чуди Заволоцкой”, о которой впервые упоминается в древнейшей летописи IX века “Повести временных лет”. Николай проявлял интерес к летописным сведениям и сохранившимся преданиям о том, как “Чудь” боролась против новгородцев, как “ушла” под землю и возникла из глубин земных внезапно, приводя в трепет своих недругов.

“Понимаешь, – резко рубил он рукой встречный порыв ветра, – речь идёт о местных племенах, с которыми пришлось иметь дело новгородцам, когда они пришли на северные, в том числе и емецкие земли. Так что порой я задумываюсь, какие крови во мне бурлят? А какие страсти кипят? – и думать не приходится. Ты сам тому свидетель... – Немного помолчав, добавил: – А перед Емецком я – в долгу. Впервые, может быть, против внутреннего голоса пошёл, убеждавшего хотя бы глазком глянуть на дом, где младенцем орал, где к материнской груди тянулся и свет белый увидел...”

“Чего уж так сокрушаться, – пытался я утешить сжавшегося в комок Николая. – Приезжай сюда по теплу на следующий год, организуем тебе командировку от нашей газеты. Что за свидание на сутки? Поживёшь с недельку, погостишь, что-нибудь и о Емецком крае, не чужом тебе, родится... Чувствую, душа твоя за местные предания ухватилась...”

Рубцов знаком был с преданием о том, что Ломоносов живо интересовался, почему река Емца, приток Двины, не замерзает и в 40-градусные морозы. Причина таилась в мощно бьющих в этом месте донных ключах. Позднее в своих трудах учёный неоднократно возвращался к северным загадкам природы и пытался дать им объяснение. А я прочитал Николаю стихи “Зимуют пристани на Емце”, написанные зимой 1967 года в Емецке, где проходило совещание педагогов Холмогорского района (в то время я был завучем Курейской восьмилетней школы):

*Прищурь глаза, прикинь, прицелься  
И пророни в восторге: “Ах!”  
Зимуют пристани-принцессы  
В песцовых кипельных снегах.  
Они голубо-бирюзовы,  
Как будто чуть удивлены,  
Что здесь, на Емце, слышен зов им  
Весенней, в радугах Двины!..  
Но нет...  
Ещё февраль и вьюжно,  
И снег всклокоченный ершист,  
И речка Емца добродушно  
Укрыть гостей своих спешит.  
Со всей Двины сюда причалив,  
Тоскуют пристани в плену,  
А ночью звёзды, словно чайки,  
Их грусть уносят в вышину...*

Николай молча выслушал стихотворение до конца и, не проронив ни слова, сжал мою руку...

И последнее. Понятно стремление вологжан укрепиться в мысли и желании, что Николай Рубцов всецело принадлежит им и более никому. Поэтому и литературоведы, и критики, и исследователи жизненного пути и творчества Н. Рубцова скромно умалчивают о месте рождения поэта. Все лавры почему-то достаются селу Никольское (Николе), Тотьме, Вологде. Но достаточно заглянуть в свидетельство о рождении северного самородка, чтобы узнать, что Николай Михайлович родился 4 января 1936 года в с. Емецке Холмогорского района Северного края, в состав которого входили бывшие Архангельская, Вологодская, Северо-Двинская и часть Вятской губернии. Центром Северного края был Архангельск. Такая административно-территориальная единица просуществовала в РСФСР с 1929 по 1936 год включительно, и только с 1937 года из него были выделены самостоятельные Архангельская и Вологодская области. Так что впечатляюще ёмко анализировавший творчество Н. Рубцова поэт Сергей Орлов не случайно назвал Рубцова достойным всего Севера и России в целом. И нам не следует об этом забывать.

ВИКТОР КОЖЕМЯКО

## РУССКАЯ ЛЮБОВЬ

Нынешнее корыстное и хищное время всё реже даёт повод для восхищения добром и любовью. Да и неудивительно: иные ценности господствуют. Понятие подвига, подвижничества для многих становится чем-то абстрактным.

Тем более отраден подвиг истинной любви, когда вдруг встречаешься с ним в череде теперешних огорчающих будней. Такой встречей (настоящим подарком жизни!) стало для меня знакомство с Майей Андреевной Полётовой – человеком необыкновенным, чья любовь и чьи подвижнические деяния поистине восхищают.

### Чем же она необыкновенна?

Могу сказать коротко: эта женщина создала в Москве музей поэта Николая Рубцова. И уже этого достаточно, по-моему, чтобы заострить читательское внимание. Не каждому ведь удаётся в жизни оставить после себя такую память – музей, куда приходят и будут приходить люди, чтобы больше узнать о классике русской поэзии...

Так-то оно так, однако далеко не всё этим сказано. “Чудо Полётовой”, как мысленно я его называю, произошло тогда, когда она впервые услышала стихи неизвестного ей поэта, которые, признается она потом, просто потрясли её. А произошло это в 1980 году на поле Куликовом, на юбилейных торжествах в честь 600-летия исторической русской победы. И названы стихи – “Видения на холме”:

*Взбегу на холм  
и упаду  
в траву.  
И древностью повеет вдруг из дола!  
И вдруг картины грозного раздора  
Я в этот миг увижу наяву.  
Пустынный свет на звёздных берегах  
И вереницы птиц твоих, Россия,  
Затмит на миг  
В крови и жемчугах  
Тупой башмак скуластого Батыя...*



От такой картины сердце её, наверное, вздрогнуло и сжалось, охваченное трепетом пронзительно яркой образности поэтического слова. Наверное, поднялись в её душе и собственные впечатления, пережитые когда-то при чтении страниц отечественной истории, а теперь усиленные общей атмосферой народного праздника на ратном поле. Но поэт, пока неведомый ей, заговорил исповедально о родной стране:

*Россия, Русь — куда я ни взгляну...  
За все твои страдания и битвы  
Люблю твою, Россия, старину,  
Твои леса, погосты и молитвы,  
Люблю твои избушки и цветы,  
И небеса, горящие от зноя,  
И шёпот ив у омутной воды,  
Люблю навек, до вечного покоя...*

Было ли ей близко это чувство? Не сомневаюсь, признание поэта восприняла она как своё собственное. А дальше... Вот дальше, думаю, и случилось потрясение, определившее (в полном смысле слова!) её судьбу на многие годы. Она услышала:

*Россия, Русь! Храни себя, храни!  
Смотри, опять в леса твои и доли  
Со всех сторон нагрянули они,  
Иных времён татары и монголы.  
Они несут на флагах чёрный крест,  
Они крестами небо закрестили,  
И не леса мне видятся окрест,  
А лес крестов  
в окрестностях  
России.*

Такое видение, неожиданное и грозное, пророчески предупреждавшее всех, кто никакой угрозы вокруг пока ещё не чувствовал, должно было всколыхнуть её сердце острой тревогой за завтрашний день. Хотя его, зловещее видение это, хотелось бы, наверное, отодвинуть, отогнать, обратившись к мирному, привычному и дорогому:

*Кресты, кресты....  
Я больше не могу!  
Я резко отведу от глаз ладони  
И вдруг увижу: смирно на лугу  
Траву жуют стреноженные кони.  
Заржут они — и где-то у осин  
Подхватит эхо медленное ржанье,  
И надо мной —  
бессмертных звёзд Руси,  
Спокойных звёзд безбрежное мерцанье...*

Я специально привёл эти знаменитые стихи полностью, поскольку, увы, не уверен, что они известны всем нашим читателям. Не знала же их Майя Андреевна в сентябре 1980 года, хотя появились они почти за два десятка лет до этого! Впрочем, главное не в том, что она, детский врач по профессии, уже в предпенсионном возрасте всё-таки открыла для себя выдающегося русского поэта Николая Рубцова, ушедшего из жизни к тому времени уже без малого десяти лет назад. Необыкновенность её — в силе любви, вспыхнувшей мгновенно, от одного услышанного стихотворения, и побудившей затем искать, читать, впитывать всё, что написано этим поэтом и о нём. Более того, она стала разыскивать людей, которые знали Рубцова, и записывать то, что они о нём помнили, начала собирать самые разные материалы, относящиеся к его жизни и творчеству, превратилась в неутомимого и талантливого распространителя и популяризатора стихов любимого поэта, в страстного защитника его личности от недружественных высказываний.

Словом, содержанием всей её дальнейшей жизни сделалось верное, самоотверженное и деятельное служение большой любви, которую она испытывала к поэту и его творчеству.

### Родом из детства

География её поисков необъятна, а круг охваченных тридцатилетними исследованиями людей неисчислимы. Каждый, кто был причастен к жизни Николая Рубцова, оказывался в сфере её интересов. Она сразу же отправляется к этому человеку или посылает письмо со своими вопросами, если самой добраться до него у неё нет никакой возможности.

Вот, скажем, выяснилось, что в Находке (дальневосточный край России!) живёт Геннадий Петрович Фокин, служивший в своё время с Рубцовым на эсминце “Острый” в Североморске. И вслед за письмом Майи Андреевны отправляются к нему её друзья из города Артём, основавшие здесь, в Приморском крае, Рубцовский центр.

А одна из бывших соучениц Рубцова по Литературному институту имени М. Горького живёт теперь в Праге, но и её воспоминания о поэте Майя Андреевна сумела добыть и поместить в музей.

Но больше всего интересных встреч и открытий связано у неё, конечно, с вологодской землёй, где Николай Рубцов вырос, и откуда берут истоки лучшие его стихи. О ней, об этой земле, напишет он, словно выдохнет:

*Тихая моя родина!  
Ивы, река, соловьи...  
Мать моя здесь похоронена  
В детские годы мои.*

Когда я думаю об особом чувстве Майи Андреевны к этому поэту, вижу мне здесь и что-то материнское. Недаром же так часто называет она его не Николаем Михайловичем и не Николаем, а Колей. Потрясение от его стихов ещё более в ней усилилось, когда начала она узнавать подробности детской его жизни, из которой многие стихи, несомненно, и выросли. Некоторые подробности стали широко известны и будут теперь известны всегда именно благодаря ей, Майе Андреевне Полётовой.

Так, она рассказала в своих уникальных книгах, к которым многократно я буду обращаться, о Евдокии Михайловне Киселёвой – заведующей Красковским детским домом, что в восемнадцати километрах от Вологды, куда шестилетний Коля Рубцов поступил осенью 1942 года: “Евдокия Михайловна была человеком высокой культуры, тонко чувствовала природу, любила и знала литературу, неплохо пела. В детдоме проводили занятия по музыке, развитию речи, рисованию. Возможно, что именно стихи, музыка, сказки Пушкина, прочитанные воспитательницами, нашли отклик в душе маленького Рубцова”.

А ещё, как удалось ей установить по воспоминаниям людей, работавших или живших в ту пору в том детском доме, дети любили танцевать матросский танец и с воодушевлением пели песню про матросов:

*Будем, будем мы матросами,  
Поедем на моря,  
Будут с лентами фуражка,  
Воротник с полосками,  
А рубашка нараспашку,  
Белая, матросская...*

“Кто знает, – заметила по этому поводу Майя Андреевна, – быть может, любовь к морякам, а в дальнейшем и к морю запала в душу маленького Коли именно в Красковском детском доме”.

Отсюда по достижении семи лет, в октябре 1943-го, детей перевезли в другой детдом – в село Никольское Тотемского района Вологодской области. И Майя Андреевна дотошно восстановила весь тяжёлый путь, преодоленный ребятами. Восемнадцать километров до Вологды они ехали на

телеге, затем несколько километров на пароходе до переправы через реку Сухону возле села Красное (Усть-Толшма), а потом, согласно плану, их должны были встретить после переправы, чтобы на телеге довести до Никольского. Но по какой-то причине телеграмма с просьбой прислать на пристань за детьми лошадь не дошла, и в холодную октябрьскую ночь, под проливным дождём, они двадцать пять километров вынуждены были идти пешком.

“Вот какие истории бывали в те суровые военные дни! – с волнением написала Майя Андреевна. – И я, будучи школьницей, эвакуированной во время Великой Отечественной войны из Москвы сначала в Рязанскую, а затем в Горьковскую область, помню, как нас переправляли на пароходе по Оке, а мы знали, что пароход с детьми, отправившийся перед нами, был уничтожен во время немецкой бомбёжки”.

Да, через подробнейший, богатейший документальный материал о Рубцове, собранный ею, зримо возникает и образ поэта – от раннего детства до трагической гибели, – и образ времени. А оно было не только суровым. Например, в общении с той же Евгенией Павловной Романовой (Буняк), рассказавшей о трудной дороге ребят от одного детдома до другого, Майя Андреевна поинтересовалась у неё, бывшей детдомовской воспитанницы, судьбами детей, запечатлённых на фотографии, которую она прислала. Обратила, в частности, внимание на очень весёлую, смеющуюся девочку во втором ряду. “Кто это?” – спросила Евгению Павловну.

– Это дочь ленинградских профессоров, – ответила она, – Рита Чекалина. Родители, отправляя дочь из блокадного Ленинграда, передали ей все свои золотые вещи, и хранились они в кладовой детдома. Мы часто просили, чтобы нас пустили в кладовую посмотреть и потрогать свои пожитки. Рита показывала нам золотые кольца, серьжки, брошки. Тогда она ещё не знала, что родители её погибли от голода.

– А не мог ли кто-нибудь взять у неё эти кольца, серьги?

– Нет, – возразила Евгения Павловна, – у нас не было в детдоме воровства.

– А кем стала Рита?

– Трактористкой...”

### **Первооснова поэтической души**

А Коля Рубцов стал поэтом. Но как это произошло? Благодаря чему проявился и возрос его природный дар? Вот что особенно интересует Майю Андреевну Полётову в её разговорах с людьми, знавшими поэта с малых детдомовских лет. И уже постаревшие люди, бывшие мальчики и девочки, вспоминают Колю на детских праздниках с неизменной гармошкой (музыкальное дарование – от отца), с пением (это – от матери), со стихами.

Тамара Васильевна Шанина, которая тогда была Шестаковой и девочкой попала в Никольский детдом вместе с двумя сестрёнками, а теперь живёт далеко, в Хакасии, в городе Саяногорске, приехала на встречу детдомовцев в село Никольское (или Николу, как его называют) летом 2006 года, где и познакомилась с Майей Андреевной. Одно из воспоминаний – радостный день 9 мая 1945-го – День Победы!

“Когда все расходились с линейки, – записала Майя Андреевна, – Коля Рубцов запел песню, и все воспитанники подхватили её. Пели громко, вдохновенно, с душой... Вечером этого дня мы выступали в клубе перед колхозниками. Зал был полон. Коля Рубцов играл на гармошке. Дети пели песни военных лет и пионерские, хором и по одному. Плясали белорусскую “Бульбу” под его гармонь и пение девочек... Коля Рубцов и Толя Мартюков со сцены читали наизусть стихи военных лет о Родине, о Сталине...”

Замечу, что Анатолий Сергеевич Мартюков стал журналистом, главным редактором газеты “Советская мысль” в городе Великий Устюг, а в рубцовском стихотворении “Детство” сохранится тот незабываемый майский день:

*Когда раздался  
Праведный салют,  
Когда прошла  
Военная мороза,*

*И нам подъём  
Объявлен был до срока,  
И все кричали:  
— Гитлеру капут!*

У поэта — своё восприятие и своя память, так что и тяжелейшая военная пора запомнилась, легла на душу и отозвалась в его стихотворных строках по-своему:

*Вот говорят,  
Что скуден был паёк,  
Что были ночи  
С холодом, с тоскою, —  
Я лучше помню  
Ивы над рекою  
И запоздалый в поле огонёк.*

Иногда о человеке больше многих слов скажет один какой-то эпизод. Как раз про такой характерный случай Майе Андреевне поведала Марта Александровна Потанина, в замужестве Бадьина, которая вместе с Колей Рубцовым попала в Никольский детский дом из Краскова. После седьмого класса Коля поступил в лесной техникум, находившийся в райцентре Тотьма, а Марта из-за болезни задержалась в седьмом классе на два года. Поскольку Никольский детдом закрыли, её перевели в другой, Тотемский. Однажды встретила она возле техникума Николая, рассказала ему, как у неё сложилась жизнь.

“И каково было её удивление, — передаёт Майя Андреевна, — когда в один из вечеров Коля появился у них в детском доме с гармонью. Он разыскал Марту, спросил, можно ли ему поиграть. Играл в основном вальсы, а дети танцевали. Потом он ещё раз приходил...”

Подтверждается это и рассказами Сергея Петровича Багрова, друга Николая по лесному техникуму. Оказывается, вместе с ним Рубцов часто ходил в детские дома, которых в городе Тотьме было три: война многих ребятишек лишила родителей. Серёжа оставался на лавочке у ворот, а Коля шёл к детям, играл на гармошке.

И вот заключение, которое делает М. А. Полётова — автор книг “Пусть душа останется чиста” и “Душа хранит...”: “Остро переживая своё сиротство, Рубцов не менее остро переживал и горе других детей. Пытался облегчить их долю, устроить праздник. Сострадание и равнодушие — качества, отличавшие Колю с отроческих лет. Может быть, это первооснова, на которой и рождаются истинно русские поэты?”

От Нинели Александровны Старичковой, вологодской поэтессы и подруги Рубцова, получила она копию его сочинения “О родном уголке”, написанного на выпускных экзаменах за седьмой класс (самой Старичковой, ныне покойной, сочинение передала вдова Николая Михайловича — Генриетта Михайловна, достав из сохранившегося его чемоданчика). Так вот, сочинение это демонстрируется теперь в московском музее Н. М. Рубцова, а Майя Андреевна в своей книге комментирует:

“Наши библиотекари, прочитав его, не могли себе представить, что написано оно четырнадцатилетним детдомовским мальчиком. На их недоумение мы отвечаем: “Пушкин на выпускном экзамене читал свои “Воспоминания в Царском Селе”, юный Лермонтов написал “Панораму Москвы”; Рубцов — такой же гениальный человек, как эти поэты”. Наверное, кто-нибудь скажет: “Перебор”. Но это будет либо тот, кто не знает рубцовского наследия, либо недоброжелатель, каковые, увы, у него имеются. Лично я согласен с Майей Андреевной, ставящей любимого своего поэта именно в столь высокий ряд. Разделяю и её признание:

“Когда я смотрю на фотографии детдомовских детей седьмого класса в селе Никольском, я не могу оторвать взгляд от самого маленького мальчика с тёмными волосами, в шарфике — Коли Рубцова. Неужели этот мальчик в четырнадцать лет уже понимал, что ему дано особое предназначение в жизни, если в этом возрасте написал стихотворение “Два пути”:

*...А от тракта, в сторону далёко,  
В лес уходит узкая тропа.  
Хоть на ней бывает одиноко,  
Но порой влечёт меня туда.*

*Кто же знает,  
может быть, навеки  
Людный тракт окутается мглой,  
Как туман окутывает реки...  
Я уйду тропой.*

### **Бесценен каждый штрих**

А вот Николай Никифорович Шантаренков, учившийся вместе с Рубцовым в Кировском горно-химическом техникуме, убеждал Майю Андреевну, что настоящему становление поэта началось именно здесь. Оказался Рубцов в городе Кировске Мурманской области после неудачной попытки поступить в Архангельское мореходное училище (море сильно тянуло!) и работы помощником кочегара на рыболовецком траулере. Хотелось всё-таки ему продолжить образование. Вот и подался он на маркшейдерский факультет горно-химического техникума, довольно смутно представляя себе эту профессию. Главной в жизни для него по-прежнему оставалась поэзия.

Майя Андреевна записала и собрала воспоминания многих, кто знал Рубцова в Кировском техникуме, — и его преподавателей, и соучеников, из которых выросли потом даже профессора и академики. “А поэт, — замечает она, — один”.

Классным руководителем у него была Маргарита Ивановна Лагунова, и она же преподавала литературу и русский язык. Видимо, хорошо преподавала, если не кому-нибудь, а ей посвятил поэт свой первый, ещё рукописный, сборник “Волны и скалы”. Вспоминая необычного ученика, она рассказала массу интересного о нём, подытожив: “В группе уже тогда было ясно, что Рубцов обладает недюжинным творческим даром”.

Но все ли это понимали? Вот какая произошла встреча у Полётовой с преподавательницей черчения: её воспоминания о Рубцове оказались далеко не такими тёплыми: “Сидел как посторонний человек, развалившись. Круглый живот выпирал. Одет был в общипанный, оборванный коричневый пиджак. У всех учащихся ручки маленькие, а у него руки — о-го-го!.. Я с ним не разговаривала. Он тоже сидел молча”.

Ну, и махнуть бы рукой на эту Раису Ивановну: понятно, что черчение не было у Рубцова любимым предметом. Однако здесь начинается история, характеризующая личность Майи Андреевны. Не могла она равнодушно пропустить это мимо ушей! И вот, пересказав в своей книге недоброжелательный отзыв преподавательницы, она пишет:

“Раиса Ивановна, наверное, тогда не представляла, что на уроке сидел не обыкновенный студент, а поэт. Обыденные события превращались у него в стихи. Не исключено, что, глядя в окно на уроке черчения, он уже рифмовал всё, что происходило вокруг него. А руки у него после работы на РТ-20 (то есть на рыболовецком траулере) помощником кочегара, возможно, и были “о-го-го!..”

Вы заметили, как ранила её несправедливость, относящаяся к этим рукам? Не могла она не отозваться и на то, что бывшая учительница поэта до сих пор не имеет даже представления о том, какой это поэт! Далее Майя Андреевна пишет:

“Выслушав Раису Ивановну, мы провели её в музей, рассказали биографию Рубцова. Стали читать ей стихи поэта, стараясь донести всю их необыкновенную живописность и лиризм. Раиса Ивановна впервые слушала их и приняла в своё сердце. Поняла одинокого бездомного мальчика — и сразу переменялась. Забыла обиды. Моя дочь Оля ездила на квартиру к Раисе Ивановне, записала воспоминания о жизни техникума... А творчество Рубцова Раиса Ивановна так полюбила, что теперь жить не может без его книги стихов, которую ей подарила Оля”.

Собственно, в этом и есть главный смысл всех её стараний: чтобы как можно больше людей узнали, поняли и полюбили поэта Николая Рубцова. Так, как любит его она сама. Ради этого, в конечном счёте, и был создан музей. Ради этого были написаны её замечательные книги, которые я отношу к лучшим изданиям о поэте. Ради этого она не устаёт читать его стихи всем и всюду, где только ей предоставится возможность.

О любом поэте лучше всего говорят его стихи. Но для этого надо, чтобы они дошли до души читателя или слушателя. Сам Рубцов умел донести их до людей, чему сохранилось множество свидетельств. Есть и забавный случай, про который известно стало Майе Андреевне от Геннадия Фокина – того рубцовского сослуживца по эсминцу “Острый”, что живёт сейчас в далёкой Находке.

Однажды отправились они на берег получать Колин гонорар. Там, в Североморске, Рубцов был активным участником литературного объединения при флотской газете “На страже Заполярья” и стал печататься не только в ней, но и в других изданиях Мурманской области, а иногда и в центральных газетах страны. Так вот, когда гонорар был получен, решили его “обмыть”. Бутылку достать удалось, но столкнулись они с патрулём, который привёл их в комендатуру. А поскольку в Североморске в это время был строгий сухой закон, дело грозило принять весьма серьёзный оборот. Вот тогда-то, недолго думая, Коля и начал читать стихи.

– Чьи стихи читаешь, матрос? – спросил дежурный офицер.

– Свои, – ответил Николай.

– Давай читай ещё, – попросил старший лейтенант, оказавшийся любителем поэзии.

– И представляете, – рассказывал далее Фокин, – Коля всю ночь читал ему и свои стихи, и Тютчева, и Есенина, которых я тогда не знал. Я дремал, время от времени просыпался, а он всё читал и читал.

Наутро их отпустили на эсминце. Да не просто отпустили, а с письменной благодарностью за выполненную в комендатуре “ночную работу”!

“Иногда я задумываюсь, – написала Полётова в предисловии к своей книге, – а нужен ли тот или иной, порой очень незначительный, эпизод из его биографии широкому читателю... Человек соткан из противоречий, он меняется, меняются окружающие его люди. Как важно не упустить это движение, понять его. Любое слово или поступок, любая, самая незначительная деталь жизни интересны. Жизнь обычного человека не представляет большого интереса для потомков. Рубцов же – “величина постоянная”. Пока будет существовать поэзия, интерес к его стихам не пройдёт”.

И, добавлю я, к его личности, неотделимой от стихов. Не единожды я слышал, как Майя Андреевна рассказывает посетителям музея про тот случай в североморской комендатуре и про другие, самые разнообразные. Они и в её книгах следуют один за другим, воссоздавая личность живого поэта в разных жизненных ситуациях – комических и драматических, печальных и смешных.

Вот он поёт под гитару свои стихи, что нередко бывало. Заканчивает одно и после небольшой паузы начинает другое, без комментариев. И вдруг кто-то уличает его... в присвоении чужих стихов: “Это же Блок!” На что Рубцов спокойно отвечает: “Я пел вам стихи трёх великих поэтов”. Действительно, это были стихи его, а также Блока и Тютчева, которого он особенно любил.

Или вот случай, про который удалось узнать благодаря Сергею Каменеву: его, как будущего юриста, в сентябре 1969 года направили на практику помощником участкового милиционера. Холодной московской ночью, обходя чердаки домов на улице Профсоюзной, милиционеры обнаружили неизвестного. При нём не было никаких документов, только небольшой жёлтый чемоданчик-балетка”. Доставили в 120-е отделение милиции, где тот объяснил, что он – поэт, приехал в Москву к другу, но не застал его дома и решил заночевать на чердаке. Каково же было удивление милиционеров, когда при осмотре содержимого чемоданчика они обнаружили письма на имя Николая Рубцова из редакций самых известных столичных журналов.

Отношение к нему сразу изменилось, голос начальника отделения потеплел, да и атмосфера стала почти домашней. Начальник обратил внимание на ботинки поэта, не просто изношенные, а рваные. Сочувствуя, предложил Рубцову ботинки, которые лежали в отделении почти месяц. К счастью, обувь

пришлась впору. Рубцов был тронут как тёплым отношением, так и этим неожиданным подарком. С тем его и отпустили. . .

А вот эпизод в редакции одной из районных газет Вологодской области, буквально потрясший всех участников той встречи с поэтом. Его попросили почитать стихи перед коллективом, и он начал, всё более загораясь. Но вдруг, не дочитав стихотворение до конца, остановился и замолчал. Все подумали, что он просто забыл текст, заволновались, поскольку пауза явно затянулась. Однако через минуту-другую, улыбнувшись, Рубцов завершил чтение. Когда потом начались вопросы, кто-то из молодых слушателей спросил:

- А почему вы так долго молчали?
- В эту минуту я писал другое стихотворение.
- А чем писали?
- Головой.
- А не могли бы вы нам его прочитать?
- Могу, – сказал Рубцов и прочитал:

*Я уеду из этой деревни...  
Будет льдом покрываться река,  
Будут ночью поскрипывать двери,  
Будет грязь на дворе глубока.*

Вот ведь до чего необычно рождалось это одно из лучших рубцовских стихотворений! Я думаю, Майя Андреевна с великой радостью воспроизводит в своих книгах наблюдение, повторяющееся почти дословно в нескольких воспоминаниях разных людей: “В глазах Рубцова была всегда работа”.

Заметил я, что в сносках к цитируемым воспоминаниям Майе Андреевне от одного издания к другому нередко приходится об авторах писать: ушёл (или ушла) из жизни тогда-то. И даты совсем недавние. То есть удалось, что называется, “схватить” их в последний момент. Не успела бы, не добралась бы до этого человека, не записала бы – и унёс бы он свою память о Рубцове вместе с собой. Невосполнимая потеря!

Бесценен каждый штрих. Например: “Никогда не имел кошелька, а деньги держал в комнате на виду. Одолжить у Рубцова деньги мог любой, часто не возвращали”. В ответ на шуточный совет-подначку “подыскать хорошенькую вдовушку” он парировал: “Рад бы в рай, да грехи не пускают. Кому я могу приглянуться? Видишь, уши у меня, как лопухи, и топорщатся. Впрочем, они мне не помеха. Запомни хорошенько:

*Пусть у меня большие уши,  
Зато я лучше слышу души”.*

Больше всего ликует Майя Андреевна, когда удаётся разыскать неизвестный автограф Рубцова. Так, в музее выставлен теперь черновик телеграммы (с большой фиолетовой чернильной кляксой!), которую поэт отправил из Москвы своему другу – писателю Василию Белову: “г. Вологда, ул. Ленина, 17, Союз писателей. Белову Васе. Прочитал “Привычное дело”. Очень радостно. Спасибо. Будь здоров ради бога. Рубцов”.

Видно, что автора переполняют чувства, которые он спешит выразить, отсюда и нечаянная клякса. Однокурсник поэта по Литинституту Николай Попов, сохранивший этот черновик, вспоминает, в каком невероятном восхищении, прочитав повесть В. Белова, побежал Рубцов на почту. Успех и радость других принимал он всегда всей душой – так же, как и горе. . .

А бывшая сотрудница череповецкой городской газеты “Коммунист” Римма Сергеевна Минина подарила основательнице музея Н. М. Рубцова рукописи двух его стихотворений, оставленные в редакции майским днём 1967 года. Это “Осенние этюды” и знаменитый “Русский огонёк”. Тот самый, где отчеканил поэт свою заветную заповедь бескорыстия:

*За всё добро расплатимся добром,  
За всю любовь расплатимся любовью.*

У этого стихотворения есть первый, более ранний и менее совершенный вариант под названием “Хозяйка”. А то, что предложил поэт череповецкой редакции, отличается и от первого, и от конечного текста. По этому промежу-

точному варианту можно видеть, как взыскательно работал над своими произведениями Рубцов, как он совершенствовал стихотворные строки, кропотливо оттачивая мысль и слово...

Нетрудно понять чувства Майи Андреевны, которые выплеснулись после того, как у неё оказалась целая стопа бумаг, исписанных карандашом, синими и фиолетовыми чернилами или отпечатанных на машинке с подписью "Рубцов". Подлинники!

"Пока везла их домой, думала: "Как много людей вокруг, и никто не знает, какое чудо у меня в руках! Автографы самого Рубцова! Везу то, что будут изучать специалисты, может быть, по строчке, по букровке, через лупу будут разглядывать эти пожелтевшие, надорванные в некоторых местах страницы, спорить и восхищаться. У каждого листочка – своя история. В каком году написано? На какой машинке напечатано? Где писал? Почему не закончил? Как долго вынашивал то или иное стихотворение, по привычке мысленно не раз переписывая и исправляя, прежде чем они лягут на бумагу?.."

Пожалуй, и в самом деле не имеют цены для Майи Андреевны рубцовские рукописи.

### **В защиту чести и достоинства**

А что её более всего мучает? Несправедливость по отношению к поэту, которую она воспринимает (совершенно правомерно!) как несправедливость к великой русской культуре.

Казалось бы, радоваться всей стране: в городе Емецк Архангельской области, где родился Рубцов, усилиями энтузиастов удалось открыть памятник ему. Но... "Это событие, – записывает Майя Андреевна, – в телевизионных новостях практически не было освещено. Хотя в средствах массовой информации в последнее время много говорят о патриотизме, но чувствуется лживость и двуличность во всех этих заявлениях".

Вот и в 2011 году, когда исполнилось 75 лет со дня рождения выдающегося русского поэта и 40 лет после его трагической гибели, телевидение рубцовскую тему полностью замолчало.

Вспоминая, как пять лет назад на официальном заседании речь зашла о предстоящих тогда юбилейных днях поэта, Майя Андреевна свидетельствует: "Одна наивная чиновная дама недоумённо воскликнула: "Ничего не понимаю! В чём дело? Почему это Рубцову открываются по всей России какие-то рубцовские центры, музеи? Кто их возглавляет и кто оплачивает?"

Ответ Полётовой: "Можем обрадовать всех чиновников России – народ. И вообще Рубцов – это баррикада. По одну сторону её находится вся русская классическая литература вместе с Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, а по другую – их убийцы: Дантес, Мартынов, г-жа Дербина и иже с ними".

Дербина – убийца Рубцова. Больше всего, до острой сердечной боли, не может смириться Майя Андреевна с противоестественным оправданием той, которая лишила Россию одного из самых пронзительных её певцов. А между тем попытки такого оправдания то и дело возникают, болезненно шокируя её. В книгах своих пишет она об этом с горечью и возмущением.

"В "Комсомольской правде" опубликована фотография Дербиной среди школьников деревни Павловской Вологодской области: отвратительное зрелище – убийца и дети. Кто мог такое допустить? Наше время удивительно цинично. Раньше ходили в театр, на творческие встречи, на музыкальные вечера, теперь ходят – "на убийцу"...

Эта страшная женщина, выгораживая себя, возводит клевету на Рубцова. Вот почему Майя Андреевна решила провести собственное расследование обстоятельств гибели поэта. И сразу же столкнулась с ложью, которую распространяет убийца о последних месяцах и днях его жизни. Она, в это время буквально охотившаяся за ним, утверждает, например, что Рубцов "выгнал" жену и дочь из своей квартиры. Дабы, понятное дело, освободить место для неё, "любимой" и "единственной".

Но как было на самом деле? Что произошло, когда жена Рубцова вместе с дочерью Леной приехали к нему из деревни в Вологду после долгой разлуки? О том рассказала Майе Андреевне соседка поэта по лестничной площадке Дина Александровна Романова:



– Летом 1970 года я выходила из своей квартиры. Смотрю, от него выбежала жена, Генриетта Михайловна, и крикнула: “Лена! Идём отсюда! Нам здесь делать нечего!” А вслед за ними бежит Рубцов. Раздетый, хромает и даже на улицу выскочил и кричит: “Родные мои, не покидайте меня! Я погибну без вас!” И всё бежал и кричал: “Я погибну без вас!” А потом вернулся. Не догнал... Идёт вверх по лестнице, голову вниз опустил, меня даже не заметил, не поздоровался.

А дальше Майя Андреевна продолжает уже от себя: “В том же году я приехала в село Никольское к Генриетте Михайловне, расспрашивала об этом грустном эпизоде. Как так получилось, что она не вернулась? Генриетта Михайловна ответила: “Я так была расстроена, когда увидела в его квартире эту женщину, слышала, что он что-то кричит, но слов его не разобрала”. Через две недели получаю от вдовы Рубцова письмо – она съездила в Петербург к дочери Елене Николаевне Рубцовой, которая подтвердила: “Именно эти слова кричал папа. Я запомнила их на всю жизнь”. Потом, встретившись со мной, Лена повторила то же самое”.

Когда-то, примерно года за два до смерти, Николай Михайлович написал для всех нас свою исповедальную клятву:

*Перед этой  
Жёлтой, захолустной  
Стороной берёзовой  
Моей,  
Перед жнивой  
Пасмурной и грустной,  
В дни осенних  
Горестных дождей,  
Перед этим  
Строгим сельсоветом,  
Перед этим  
Стадом у моста,  
Перед всем  
Старинным белым светом  
Я клянусь:  
Душа моя чиста.  
Пусть она  
Останется чиста  
До конца,  
До смертного креста!*

Однако после его ухода всяческих выдумок и клеветы нагорожено врагами поэта вокруг него много. Неустанный добросовестный труд Майи Андреевны Полётовой помогает противостоять этим наветам, защищает честь и достоинство русского классика, одного из самых совестливых поэтов нашей великой литературы.

### **Отдавать, а не брать – таков принцип**

Мне было интересно побольше узнать о ней самой. Суть, разумеется, стала понятной сразу: удивительная родственность душ – её и Рубцова. Но откуда она такая явилась? Где росла и кем воспитывалась?

Корни её, оказывается, в Подмосковье, в Клинском районе. Мать Наталья Игнатьевна Бизяева (в замужестве Бочкова) – из рабочей семьи. Как и сёстры, шестнадцатилетней пошла в 1914-м ткачихой на текстильную фабрику “Каулен и Кост”, окончив лишь три класса начальной школы в селе Спас-Коркодин. Потом всё время занималась самообразованием, много читала, однако систематическая учёба, скорее всего, на этом для неё и закончилась бы. Но после революции, в 1918 году, ей доверили возглавить комсомольскую организацию на фабрике (о чём она написала интересные воспоминания “На заре нашей юности”), а в 1920-м с группой подруг её послали в Москву, на курсы подготовки воспитателей для работы в детских домах.

Любовь к детям, передавшаяся впоследствии дочери Майе, определила её будущее. Пять лет, до 1925-го, — она работала с беспризорниками в детдомах Клина (как не вспомнить детдомовскую судьбу Коли Рубцова!), затем — учёба в академии имени Н. К. Крупской и, наконец, многолетний педагогический труд.

Судя по всему, педагогом она была незаурядным. Об этом говорит хотя бы такой факт: 26 января 1938 года “Правда” опубликовала её большую, “подвальную”, статью “О преподавании истории в школе”. А про то, какой она была человек, говорит факт, связанный со школьной эвакуацией во время войны. Она, директор интерната, заболела туберкулёзом, потому что голодала, стараясь всё до крошки отдавать детям.

Отдавать, а не брать... Не это ли составляет основу идеала русского человека, заключенного в Православии, вошедшего в национальную литературу и ставшего одним из принципов коммунистов, в том числе её, члена Коммунистической партии с 1927 года?

Вот и ещё один факт; он может показаться забавным, но на самом деле тоже о многом свидетельствует. Когда с Майей, учившейся в мединституте на педиатрическом факультете, подруга решила познакомить своего брата, который станет любимым её мужем до конца жизни, тот спросил: “А родители у неё коммунисты?” — “Да, да!” — был ответ. “Вот такая жена мне и нужна”, — сказал студент строительного института имени В. В. Куйбышева коммунист Николай Полётов, прошедший к тому времени войну и закончивший её в Берлине.

Напомню: в стихотворении Рубцова “Рассказ о коммунисте” герой — воплощение самоотверженности, жизни для людей, а не для себя. Именно таким было представление о высоком звании коммуниста у Майи Полётовой, последовавшей жизненному примеру родителей и мужа. Партийный билет коммуниста не как двигатель служебной карьеры, к которой она никогда не стремилась, а как соответствие глубокой внутренней потребности делать как можно больше доброго и необходимого людям.

Как можно больше! Ну, казалось бы, разве недостаточно того, что она, детский врач, влюблённый в свою профессию, спасает малышей, иногда крошечных недоношенных младенцев, спасает буквально от верной гибели? Разве недостаточно того, что она занимается серьёзными научными изысканиями в своей медицинской сфере и её доклады на престижных учёных форумах получают высшую оценку?

Но представьте, начав работать после института в сельской больнице Клинского района, она увлекается ещё и краеведением. Её интересует всё, что связано с историей этих мест, давней и близкой. Вот так же в другое время занялась историей родного края её мать, приглашавшая сына великого Д. И. Менделеева из соседнего Боблова читать лекции рабочим на фабрике...

Дочь особенно привлекли события только что отгремевшей войны на подмосковной земле. Город Клин недолго был в оккупации, всего две недели, но фашисты натворили здесь много бед: надругались над святыней — Домом-музеем П. И. Чайковского, издевались над местными жителями, расстреливали подозреваемых в связях с партизанами. Героизм проявили бойцы 1-й ударной и 30-й армий, освобождавшие город и район. А вскоре после освобождения, в середине декабря 41-го, сюда приезжала особая миссия из Великобритании во главе с министром иностранных дел Антони Иденом. Англичане увидели, что осталось в результате гитлеровского нашествия от красивого города Клина, и убедились, насколько уверены в победе молодые русские генералы, с которыми они встретились.

Чтобы разузнать в подробностях, как тогда всё было, юный врач Майя Полётова организует комсомольцев. И потом, когда она будет работать в московской городской клинической больнице № 64, создаст здесь комсомольскую поисково-исследовательскую группу. Результаты многолетнего коллективного труда огромны! Собранные материалы передавались в дар краеведческим музеям Клинского, Дмитровского и Солнечногорского районов, получили высочайшую оценку специалистов-историков из Музея обороны Москвы.

Или вот строки благодарственного письма, которое получила Майя Андреевна от главного хранителя Государственного дома-музея П. И. Чайковского в Клину: “Огромное спасибо за всё, что вы передали в наш музей! По иронии судьбы нашей историей занялись вы, а не мы... Вынуждены сознаться, что вы гораздо более нас преуспели”.

А ведь это и многое другое сделано было ещё до того, как в её жизни появился поэт Николай Рубцов...

### Свет души негасимый

Так кто же она, Майя Андреевна Полётова? Кто в наибольшей степени – врач, историк или теперь уже и литературовед? Возвращаясь к началу своих заметок и подводя итог, повторю самое существенное: она – подвижник большой любви. К людям и Родине, к поэтическому слову и жизненной судьбе одного из великих сынов России. Она и сама проявляет редкостное величие духа и благородство светлой души.

Действительно, вздумайте только: такой масштаб деяний творит она абсолютно бескорыстно. Свою пенсию готова отдать (и отдаёт!) до копейки, когда нужно это для нескончаемого рубцовского поиска, для музея, который она создала.

Каких невероятных усилий стоило это ей – особый разговор. Музей, который удалось разместить в помещении библиотеки № 95 Юго-Западного округа Москвы, в сентябре 2012 года отметил своё десятилетие. Назову адрес: улица Дмитрия Ульянова, 3 (ближайшие станции метро – “Академическая” и “Университет”). Если побываете здесь, надеюсь, будете искренне восхищены, как почти каждый из посетителей.

Но до сих пор у музея множество трудностей и проблем. Начиная с того, что само его существование в библиотеке остаётся, можно сказать, на “птичьих правах”, так что тревога за день завтрашний не убывает. Задаюсь вопросом: неужели столице России не нужен музей великого и по-особому любимого народом русского поэта?..

Радуюсь, что рядом с Майей Андреевной появилась ещё одна удивительная женщина, которой основательница музея в связи со своим возрастом смогла уверенно передать должность заведующей. Это Ольга Ивановна Анашкина, филолог по образованию, дочь моего знатного земляка-рязанца, Героя Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Ивана Николаевича Анашкина. Она проникнута такой же трепетной любовью к поэзии Рубцова, а ещё – что не менее важно! – роднят её с Майей Андреевной бескорыстие и самоотверженность служения долгу памяти поэта.

Прямо скажу, вдвоём они работают за целый институт. Если в прошлом году юбилей Рубцова всё-таки были достойно в столице отмечены, то это благодаря их стараниям. Они организовали Международную научно-практическую конференцию в Институте мировой литературы имени А. М. Горького “Россия, Русь! Храни себя, храни!..” Они же сумели провести конкурс юных чтецов на лучшее исполнение стихов Николая Рубцова в школах Москвы, найдя себе соратника для руководства жюри – народного артиста России Виктора Никитина. У них в музее регулярно происходят ежемесячные Рубцовские чтения: в нынешнем январе – уже восьмидесятые...

Все их дела не берусь перечислить. Теперь даже работники рубцовских музеев на Вологодчине, имеющих гораздо более долгую биографию, говорят им: “Вы – центр, а мы – ваши веточки”.

Не случайно именно они, Майя Андреевна и Ольга Ивановна, стали инициаторами сбора пожертвований на восстановление храма в селе Никольское. Как известно, разрушенный храм этот не раз помянут в стихах Рубцова, однако до сих пор пребывает он в развалинах. С присущей им энергией Полётова и Анашкина взялись практически продвинуть это святое дело. А вслед за ними развернули сбор средств на храм или хотя бы на часовню и другие энтузиасты.

Правда, очень тревожит будущая судьба Никольского. Сохранится ли это село, неразрывно связанное с Николаем Рубцовым, его заветная Никола? За последние годы всё здесь пришло в упадок. После развала коллективного хозяйства неизвестные московские бизнесмены скупили у сельчан землю и исчезли. Не обрабатывается земля, зарастает бурьяном. В селе уже не мычат коровы – ни одной не осталось. Начинают покидать родное гнездо местные уроженцы. А не будет Никольского – исчезнет и замечательный здешний музей Рубцова, которым руководит Галина Алексеевна Мартюкова.

Обо всём этом ой как болит душа Майи Андреевны! Вот и прошлым летом, несмотря на нездоровье, отправилась она, как всегда, на вологодскую

землю, где в городе Тотьма и в Никольском проводятся Рубцовские чтения. Поехала не просто так, а чтобы поделиться своим новым своим открытием. Прочитав её книгу, написала ей Дина Павловна Киселёва из посёлка Липин Бор Вологодской области. В детстве она не раз видела учащегося лесотехнического техникума Колю Рубцова, который приезжал в деревню Самылково Биряковского района. Между тем твёрдо считалось, что здесь, на родине отца и матери, он никогда не бывал...

Переписка, завязавшаяся у Майи Андреевны с Д. П. Киселёвой, её воспоминания о встречах с Рубцовым в Самылкове, соседнем Спасском, а позднее и в Вологде раскрыли совершенно неизвестные страницы из жизни поэта.

Немало интересного узнала она и от учительницы Рубцова в вечерней школе при Кировском заводе в Ленинграде Галины Николаевны Федотовой: отыскалась недавно, тоже благодаря книгам Майи Андреевны, на которые она откликнулась. И когда перед Новым, 2012 годом приехал я в музей, а потом вместе с Ольгой Ивановной сидели мы у Майи Андреевны дома, она всё рассказывала об этих двух открытиях последнего времени. Прямо-таки с юношеским воодушевлением рассказывала!

А ведь в прошлом году ей исполнилось 85! Я позвонил ей 2 марта, чтобы поздравить, а она объявила: “Ой, сейчас приедут девять моих внуков с семьями – готовлюсь к приёму”. У неё девять внуков – от трёх дочерей, а у покойной сестры Искры Бочковой, по профессии художника, одна дочь десятилетних внуков родила: это её внучатые племянники. Если же всех правнуков по обеим линиям собрать, получается двадцать человек!

Дружные все! Помню, как прекрасно пел на представлении книги Майи Андреевны в Союзе писателей России, членом которого она стала, самодеятельный русский народный хор “Ромода”, состоящий только из её потомков.

Счастье? Ещё какое! И она его заслужила. Давайте пожелаем ей многая-многая лета на благо родной и любимой отечественной культуры!

СТАНИСЛАВ ЗОТОВ

## ОПЫТ РАЗУМА И ДУШИ

*В. И. Гуров. “Опыт постижения Православия”, Москва, 2012.*

Как человек приходит к Богу?.. Это происходит по-разному, часто в силу воспитания с детства в религиозной семье, где он усваивает традиции и навыки своих предков. А бывает и иначе. Мы живём в странное время. Говорить, что оно переломное, стало уже банальностью – какое время в истории человечества не переломное?.. Наше нынешнее время, – время распутья, время подводить итоги целой эпохи, что отшумела за плечами – советской эпохи, эпохи великих дел, великих прорывов в будущее. Но она закончилась. И сейчас становится всё более и более ясно, что советская эпоха намного опередила историческое время человечества, она сильно забежала вперёд – в отдалённое будущее, поскольку лейтмотивом советской эпохи была мечта о светлом будущем всего человечества, для этого жила и развивалась великая советская держава. Строились электростанции и заводы, атомные корабли и научные лаборатории, и прорыв в космос, ракетостроение, космонавтика – все это было *на гребне волны*, на переднем крае этого невероятного исторического прорыва.

Валерий Игнатьевич Гуров, автор книги “Опыт постижения Православия”, – один из тех творцов *советской цивилизации*, на чьих могучих плечах, как на плечах атлантов, поднималась к небу советская техника. Он родился в 1940 году в Москве, получил высшее техническое образование, стал ведущим специалистом по разработке криогенных систем подачи топлива в жидкостных ракетных и воздушно-реактивных двигателях. Он и сейчас остаётся специалистом высочайшего уровня. Но в его жизни, в его миропонимании на определённом этапе произошёл коренной перелом. Он пришёл к Богу. И тут мы возвращаемся к самому главному вопросу: как это произошло? Можно предположить, что учёный приходит к Богу, к религии через разум, осмысливая своим отточенным умом гармонию Вселенной, управляемую законами мироздания, которые не могли же возникнуть сами собой из хаоса, а стали производными высокой Божественной воли, подчиняясь великому замыслу Творца. Эта парадигма Луи Пастером была сформулирована так: “Чем больше я занимаюсь наукой, тем больше становлюсь верующим”. Но тем более интересно, что автор книги “Опыт постижения Православия”, кстати, уже второй его книги на эту тему, пришёл к вере внутренним движением своей души. Вот что об этом сказала одна монахиня, с которой автор встретился, как он пишет, “в ...скитаниях по монастырям в первый год нынешнего века”: “Жить стоит ради того, ради чего, не задумываясь, ты готов умереть”. Это сокровенное движение души становится для автора лейтмотивом всей книги.

Это не цельное неразрывное повествование с единым сюжетом, на первый взгляд она может показаться хаотичной, но это лишь первое впечатление, и оно обманчиво. Собрание очерков, статей, заметок и воспоминаний автора, относящихся к разным периодам его жизни и работы, выстраиваются перед взором внимательного читателя в некую исповедь – исповедь души ищущего и неудовлетворённого своим душевным состоянием человека. Чего же ищет автор? Кажется, что он пытается объять *необъятное*: тут и рассказ о сельском батюшке, в глубинке России возрождающем разрушенный храм, тут и мысли автора по поводу романа Пушкина “Евгений Онегин”, тут и беседа для детей и родителей о пробуждении творческого начала при формировании личности ребёнка, и многое другое. Но всё, о чём пишет автор, пронизано одной мыслью: “Творец создал человека по своему образу и подобию. Одарил его разумом в отличие от животного. Разум – основа творческой деятельности”. Так сходятся для автора пути, ведущие к Богу, идущие от сердца, от души и от разума, без которого невозможно любое творчество. И эту книгу пишет человек-творец, всю жизнь проведший в инженерных и конструкторских бюро, трудившийся не покладая рук, никогда не бывший баклуши, *трудоголик* в лучшем смысле этого слова. И похоже, что и новую свою деятельность – на ниве духовного просвещения – этот незаурядный человек ведёт с таким же неукротимым напором и тщанием, с каким он в прежние времена строил ракеты.

Нельзя не сказать, что свою книгу-исповедь учёный и философ В. И. Гуров посвятил Станиславу Юрьевичу Куняеву – известному русскому поэту и публицисту, “знаковому воину Воинства Христова”, как пишет автор. Обращаясь к творчеству С. Ю. Куняева, автор находит у него нужные строки:

*Я вспомнил про русскую долю,  
которая мне суждена, —  
смирять озверевшую волю,  
коль кровопролитна она.*

.....  
*Мы павших своих не считали,  
мы кровную месть не блюли  
и только поэтому стали  
последней надеждой земли.*

С верою и надеждой написана книга Валерия Игнатьевича Гурова, с верою и надеждой на то, что мы не забыли ни мечту о светлом будущем всего человечества, ни храмы нашей веры, что и подтверждают удивительные светлые, оптимистические страницы его выстраданной душой и разумом книги.

Институт мировой литературы РАН, Литературный институт им. А. М. Горького, Союз писателей России и Бюро пропаганды СП России приглашают на ежегодную научно-практическую конференцию, посвящённую творческому наследию поэта Ю. П. Кузнецова

## “ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ: РУССКИЙ МИР И ЕВРОПА”

Основной целью конференции является освоение творческого наследия крупнейшего русского поэта рубежа XX и XXI веков **Юрия Поликарповича Кузнецова (1941–2003)**.

На обсуждение выносятся следующие темы:

- Исследование конкретных произведений Ю. Кузнецова, а также их сопоставление с произведениями отечественных и зарубежных писателей, философов, учёных;
- Мировоззренческие основы творчества Ю. Кузнецова;
- Ю. Кузнецов и русская цивилизация;
- Русское и европейское в творчестве Ю. Кузнецова;
- Влияние поэзии и личности Ю. Кузнецова на современный литературный процесс;
- Творчество Ю. Кузнецова и мировая история

*Конференция состоится 14–15 февраля 2013 года в Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН (г. Москва, ул. Поварская, д. 25а).*

*Заявки на участие с указанием темы и краткой аннотацией просим присылать (до 1 февраля 2013) по электронной почте: [russkijmiph@yandex.ru](mailto:russkijmiph@yandex.ru)*

*Справки по телефону: 8-916-674-76-87 (секретарь оргкомитета Евгений Богачков).*

# ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ 2012 ГОДА

**Премия имени В. В. КОЖИНОВА** за статью “Дело столыпинского масштаба” (№ 4) присуждена Евгению Степановичу САВЧЕНКО.

**Премия имени Л. М. ЛЕОНОВА** (номинация “Молодые прозаики”) за рассказ “720 часов” (№ 10) присуждена Алексею КАСМЫНИНУ.

**Премия имени Ю. П. КУЗНЕЦОВА** (номинация “Молодые поэты”) за подборку “Мой голос вплёлся в птичий голос” (№ 10) присуждена Ольге КОЧНОВОЙ.

**Премия имени А. Г. КУЗЬМИНА** (номинация “Молодые историки и публицисты”) за работу “Утопия и Устав” (№ 2–3) присуждена Ивану ДРОНОВУ.

**Ежегодные премии за лучшие публикации 2012 года присуждены:**

- Александру ВОДОЛАГИНУ, философу — за статьи “Феноменология русского духа. К 200-летию А. И. Герцена” (№ 4) и “Мистерия священной войны” (№ 9);
- Юрию ВОРОТНИНУ, поэту — за подборку стихотворений “И всё ищем, всё ищем потерянный рай” (№ 7);
- Николаю ДЕНИСОВУ, поэту — за поэму “Граница” (№ 1);
- Ивану ЕВСЕЕНКО, прозаику — за повесть “Дмитриевская суббота” (№ 5);
- Алексею ИВАНТЕРУ, поэту — за подборку стихотворений “Чем мы остаемся” (№ 8);
- Сергею КАРА-МУРЗЕ, публицисту — за статьи “Причины краха советского строя” (№ 1) и “Стратегия-2020” (№ 3);
- Альберту ЛИХАНОВУ, прозаику, общественному деятелю — за повесть “Эх вы!” (№ 6) и рассказ “Свора” (№ 10);
- Юрию ПАХОМОВУ, прозаику — за воспоминания “Прощай, Рузовка!” (№ 5);
- Михаилу ПОПОВУ, прозаику — за повесть “Перформанс” (№ 11);
- Ирине РОСТОВЦЕВОЙ, литературному критику — за статью “Лирическое, слишком лирическое” (№ 10);
- Алексею ТАТАРИНОВУ, литературному критику — за статью “Смерть русского героя” (№ 11);
- Игорю ТЮЛЕНЕВУ, поэту — за подборку стихотворений “Мы с державой не простились” (№ 7);
- Дмитрию УРНОВУ, литературному критику — за статью “Как Сталин “Гамлета” запретил” (№ 2);
- Владиславу ШАПОВАЛОВУ, прозаику — за рассказ “Маршевая рота” (№ 5);
- Вячеславу ШТЫРОВУ, общественному деятелю — за статью “Как нам обустроить Дальний Восток” (№ 12).

**Премия имени Г. Р. Державина (Казань)** присуждена КУНЯЕВУ Станиславу Юрьевичу.

## Поздравляем лауреатов!